МЫ И НАШЕ ВРЕМЯ

РАССКАЗЫ,
ПОВЕСТИ,
ОЧЕРКИ





Николай Шипилов
Борис Агеев
Александр Титов
Василий Белов
Анатолий Жуков
Владимир Карпов
Александр Белай
Ирина Полянская
Иван Евсеенко
Геннадий Ненашев
Анатолий Шевкута
Владимир Пшеничников
Олег Хандусь
Виктор Кузнецов
Алесь Кожедуб
Сергей Залыгин
Алла Тютюнник
Надежда Перминова
Георгий Гореловский
Валентин Распутин
Владимир Крупин
Евгений Лебедев



МЫ И НАШЕ ВРЕМЯ:

РАССКАЗЫ
ПОВЕСТИ
ОЧЕРКИ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1989

ББК 84(2) 7—4
К 29

Составитель и автор послесловия
ЭРНСТ САФОНОВ

С $\frac{4702010201-252}{078(02)-89}$ 094—89

ISBN 5-235-00432-9

РАССКАЗЫ
ПОВЕСТИ

Николай Шипилов

НАЗВАНИЯ ЭТОМУ НЕТ

1

По детству он прошел под кличкой Фюлер.

Когда захватчик подпер Москву, схватил ее под силки, Адольф Байсеитов собирал на помойке статуэтки вождей и писателей, строил их в шеренги, колонны и каре, а командиром ставил бюст Максима Горького. Он был всегда впереди своего безрукого воинства. Это был момент, когда многие взрослые освобождались от вещдоков, испуганные слухами о стоящем под парами локомотиве для вождей, а стоит он, дескать, носом к Сибири — тендером к столице.

Дети же все оставались патриотами, а потому с тезкой Гитлера никто не хотел играть. Не смотрели, что отец маленького казаха Жумарт, метростроевец, находится на передовой. И Адольф со всем своим ополчением, трехлетний толстячок, воевал в одиночку.

— Фю-юлер! Фю-ю-юлер! — вопили детишки и пинками разваливали форты Адольфа.

Московские деревья кланялись ветрам, казалось, что они силятся вышагнуть из земли и пойти на восток, в эвакуацию, по улицам, где еще недавно, в первые дни жизни грудничка Адольфа, висели нацистские флаги:

приезжал Риббентроп, а дядя Шмуль — парикмахер громко, как глухой, кричал во дворе перед согражданами:

— О-о, судари мои! Мы того Риббентропа еще по Одессе знаем — это птица с большо-о-ой буквы!..

Теперь он глядел на игры Адика молча, как немой, щурил глаз, а наглядевшись, брал в руки бюст Алексея Максимыча и говорил:

— Человек — это звучит гордо...

— Фю-ю-юле-е-ер-р-р! — кричал пионер с балкона, и дядя Шмуль смотрел вверх невидяще, как слепой, и разводил руками. Не запретишь, дескать, кричать и указом правительства.

Адик же еще не умел оскорбляться, а когда видел во дворе военного, то бежал к тому в поисках отца.

2

А отец Жумарт был Сталиным, вернее, стал им в силу хитросплетений военного времени.

Воевать он попал на тихий Карельский фронт, забытый командованием и интендантством фронт, не видевший уже несколько месяцев ни войны, ни провианта. Питались от леса, ягодами и дичью, обносились и обтрепались, обессапожели и обесштанели. Жумарта взяли в полон фашистские десантники, когда он углубился в чащобы, в мысли о домашней пище, о Москве и рвал бруснику. Не судьба б ему жить дальше, если б не опорки на ногах да азиатское лицо, раскроенное диковинно, по мнению белокурых бестий.

— Ты кто? — спросил переводчик. — Русский?

— Я казах, — с достоинством ответил Жумарт.

Немцы зауважали себя, разулыбались, стали обхаживать Жумарта, бить его в плечи и грудь:

— О-о! Казак! Казак!

И попал он во вражеский тыл целым и неконтуженным.

В пару ему подобрали башкира и отправили во Францию, экспонатами. Обрядили в черкески с газырями, в кубанки и легкие сапожки, в шаровары с напуском, дали советские винтовки со спиленными бойками, откормили, чтоб морды казались поугрюмей, и бросили на потребу журналистам. И пошли гулять по киножурналам и газетным полосам плененные русские казаки, аж до самой Сталинградской битвы, до «котла», до траура по всей Германии.

Кончилась потеха.

Башкира отдали одному бауэру, а казаха — другому. Заставили «казаков» побороться перед разлукой — и в путь.

Жумарта взял в работники обедневший немецкий барон и приставил его к лошадям, на конный двор. Утром барон выходил в костюме для верховой езды, гнул стек, как цирковой силач гнет кочергу, и кричал:

— Сталин! Пфе-ерд!

Жумарт выводил из стойла жеребца и брал руки в замок, чтобы барон мог встать на его ладони каблуком, а потом быть поднятым в седло. Сам барон был тощ и узкогруд, Жумарт, даже исхудавший на рабской похлебке, смотрелся вдвое шире — потому, наверное, уже в седле, хозяин с ненавистью поднимал стеком верхнюю губу Жумарта и играл желваками:

— Сталин капут! — Вороной жеребец уносил его от опущенного долу взгляда Жумарта.

Когда рядом с поместьем разорвался первый снаряд с востока, когда стены стали клевать родные осколки, Жумарт вскочил на неоседланного жеребца и рванулся навстречу наступавшим. Барон выскочил во двор и кинул ему вслед лопату, чтоб отвести душу, а потом нырнул в приконюшенную конуру, где еще мгновение назад жил Жумарт, и вышел оттуда в испачканной навозом одежде конюха.

Жумарта же вышибло из-за шеи жеребца взрывной волной, уже будучи без памяти, он вписался в чистое немецкое поле, и след его обнаружился на лесоповале в стране коми уже после войны.

Он был осужден как предатель Родины и сам считал себя таковым, а наказание нес просто и молчаливо, позабыв иную жизнь. В плену и на каторге человеку с воображением дня не прожить. Зачем жернова впустую крутить? Зачем душу молоть на тех жерновах? «Освобожусь, — позволял себе думать он, — куплю драповое пальто и шляпу... Поеду в Москву и погляжу на Адольфа...»

Иногда у него отнимали подушку, говоря:

— Дай мне другую подушку — эта какая-то черствая! — и отдавали взамен кусок сбившейся в ком ваты в драном напернике. Штопая дрань и рвань, он со страхом вспоминал Париж и с еще большим страхом Москву. Скреб каменными пальцами под треухом и жил до срока.

Жена Елена не разыскивала его, и оттого Жумарту

делалось спокойно: его позор принадлежит ему одному. В пятьдесят первом году он стал пилорамщиком, обзавелся женщиной коми, и это были уже ясные дни, если даже на северном небе хмарь, а чуни утопают в грязюке.

«Освобожусь... — говорил он женщине коми. — Куплю себе драповое пальто, шляпу и фибровый чемоданчик... Хочу поглядеть на Адика — он уже джигит!»

3

Теперь об Адике.

До четырех лет он не разговаривал, и мать Елена стеснялась перед отчимом, который, давая Адику леденец из красивой коробочки, спрашивал его:

— Ну что, немтырь?.. — потом зажимал легонько нос Адика двумя пальцами и, глядя в глаза, уточнял: — А?

Отчим обладал только правой рукой — левую оставил на Хасане, но и имеющейся он грёб изрядно: того добра, что он скупил за длинное время войны, хватило бы на три колхоза. Мать заискивала перед одноруким, и Адика они не стеснялись ни днем, ни ночью.

В школе ему бывало веселей, чем дома, а еще веселей на улице.

Кличка Фюлер осталась за ним, но уже лет в двенадцать он уверил себя, что когда получит паспорт — сменит имя и уедет на другую улицу или на Север к полярникам. С тем и жил, и даже смеялся.

Особенно смеялся, когда отчим турнул его из дому. И за дело. У Елены с одноруким не получалось детей, и они взяли привычку за каждую мелкую провинность шантажировать Адика тем, что плюнут на него, негодяя, и возьмут в дом хорошенького сироту. Рано утром приехали мусорщики, открыли задвижки мусоропровода, и оттуда высунулась рука в черной перчатке — это был протез Адикова отчима. Адик выбросил его раненько утром, а сам ушел бедовать, ушел и стал ширмачом.

А страна жила упоенно.

Шло и проходило свежее для живущих время, в котором мальчики играли в «налиток» отцовскими медалями, а девочки — в «магазин» облигациями государственных займов. Капай-города и хижины пригородов утепляли стены Почётными грамотами, а радиодикторы состязались в бодрости интонаций.

Адик ходил в кепке из шести клиньев, в темно-синей диагоналевой кепке и белом кашне; в четырнадцать лет

он был своим в Марьиной роще, брал гитару и играл марухе, толстой тетке с морковной помадой на сердечных губах, «Гибель «Титаника». И мало кто знал, который годок идет мальчишке, а виной тому — синдром Морфана, болезнь Линкольна и де Голля. Адик был сухопар, высок, клешняст, щеки и глаза его смотрелись запавшими, а лицо — суровым. Он доставал дно самого глубокого кармана, удача пресмыкалась перед ним, как мать Елена перед одноруким. Адик иногда уходил один в Сокольники, обнимал дерево и смеялся, разгружал сердце; он уже не думал менять свое имя на другое, помня, как ласково шептали ему девушки из хороших домов: «А-адик...»

Он говорил себе, что поворует до совершеннолетия и бросит.

Хорошо оденется, придет к матери Елене и скажет: «Я уже взрослый, я кормлю себя сам. Скажи: где мой отец? Я хочу к отцу...»

Так воровал до пятьдесят пятого года и был арестован еще несовершеннолетним, не видавшим своего паспорта.

...Возможно, на одном из северных перегонов ночью встретились и разошлись в пути два состава. Один шел на северо-восток, другой — на юго-запад. Один вез освобожденного отца, другой — заключенного сына.

И двум этим земным существам уже никогда не суждено было увидеться, обняться, слиться исстрадавшимися душами.

Прощайте же.

ЖИЗНЬ СЕРАФИМА

Первый свой синяк Серафим нажил в утробе своей матери, уборщицы Чуевой. Она мыла полы в конторе Взрывпрома и ткнулась животом в черешок швабры. Когда явился безвинный с подбитым глазом, со знаком суровой земной жизни, то фельдшер из сословия старых сибирских ссыльных сказал «кес террибле», сделал спиртовую примочку, да и забыл, зачем ее сделал, а потом вышел на крыльцо бревенчатого сруба, показал небесам стакан спирта и выпил его.

Тощие старухи из барака, Марья с Апросиньей, встретили мать с младенцем, улыбаясь, заглянули в сверток по старшинству и пробовали загадывать на будущее о судьбе Серафима.

В комнате родителей его положили на койку, стали хлопотать, ждать с работы отца и натопили жарко печь. И часу не прошло, как с потолка ухнул немалый шмат штукатурки. Он сыро развалился от удара о младенца, но тот не плакал, ему еще не было страшно, а было ль больно — кто знает. Мать, женщина терпеливая, веником смела с парня штукатурку на покрывало, а само покрывало вынесла к помойке и вытряхнула на октябрьский ветер.

Старухи, Марья с Апросиньей, опираясь на свои уже нездешние знания, предрекли Серафиму долгую жизнь и силу в отца.

Но и отец был хорош: на третьем месяце понес сына к кумовьям — хотел похвастать новеньким одеялом в пододеяльнике. Понес огородами, тропкой, и снежок падал на воротник его «москвички». Мужиком он был мускулистым после ударных строек и войны с фашистом, веса ничтожного мышцами не ощущал — выронил младенца в сугроб, а путь свой с пустым одеялом в охапке еще продолжал, думая о кумовой бражке ли, о реактивном ли самолете в небе над малым поселком, о Райке ли учетчице — неизвестно. Ладно, следом шла мать и увидела Серафима в пушистом саване. Она заплакала, потом засмеялась, стала кутать Серафима в полы солдатского бушлата. Этот бушлат купила она задешево у солдата — стройбатовца, и вторую зиму ее было не отличить от многих женщин поселка. Да и кому это надо было бы ее отличать? Мужик если и спутает с кем, так от него не убудет. И солнышко на западе не взойдет, и угля в ларе не прибавится, и картошки в подполе, ведь так.

Кумовья-хохлы жили в своем домишке с засыпными стенами.

Сразу стали пить да співать, слепого Шуру с аккордеоном перламутровым позвали, а дочке Галке наказали за Серафимом смотреть: цикава играшка — живой бессловесный мальчик. Он лежал на кровати крестных, на панцирной сетке, посасывал жамку в марлечке и урчал животом. Галка затосковала, ей интересней, цикавей было смотреть на слепого в т о й комнате и надавливать украдкой на кнопки аккордеона, похожего перламутром на винегрет.

А взрослые уже плясали.

Взбудораженная Галка метнулась на кровать, стала прыгать на сетке выше, выше, еще выше. Взлетал с нею и Серафим: вверх-вниз — с кровати долой. Крепко при-

ложился он к скобленому полу, тело через пеленки озанозил, прикусил язык голыми деснами и взревел, пробуя голос, закатился, лицом посинел.

Галку поставили на горох, как приютскую. Это очень больно: стоишь на коленях, а болит аж в бедрах. Она смотрела бесслезно на Серафима и думала: чтоб ты сдох!.. Чтоб тебя черти побрали!.. Биг бы тя побыв!

По стене полз клоп. «Куси малого!» — шептала клопу Галка. Ей бы молиться — молиться не умела.

После падения и слезного часа Серафим спал. Жил, как мог, в шуме, дыму и чаду. И клоп его ел, и сибирский кот часто шевелил ноздрями, ловя молочное дыхание младенца, а потом устроился рядом, обнял Серафима могучей лапой.

Старухи, Марья с Апросиньей, завидовали: долго будет жить Серафим — никакие строгости судьбы его не берут. Старухи были из раскулаченных, вдовые, уже и лица родных позабывшие, они все выведывали одна у другой: что на похороны припасено? Все им блазнило: то муж, сломанный Нарымом, окликнет, то сын военный с неба поглядит, то лошадь заржет за печкой, то коса свистнет в беспредельной январской ночи. Ждали летом фотографа, чтоб какие-то желтые фотокарточки увеличить. А когда родители Серафима уходили на работу, то старухи нянчились с ним, лазали пальцами ему в рот. Он покусывал эти вековые пальцы, эту древнюю кору: расти зубок. Призабыли старухи многое — мал для зубов Серафим, едва голову стал держать к пасхе. Марья с Апросиньей радовались тому, что человек Серафим скоро увидит лето, потом вырастет и про свои младенческие мытарства расскажет, а в карьере, где ломит камень отец, работать не будет — инженером станет, весело. Серафим кряхтел, улыбался и ничего не говорил.

Так и умер, не проронив ни слова.

Не проросли его слова и зерен не дали — едва крестить успели, как умер.

Случилось это о ту пору, когда отец уехал выручать свояченицу из колхоза. Он развелся с матерью и подался жениться на ее сестре, иначе в сельсовете той не выписали бы паспорта, а она бедовала на Алтае со своим сыном сорок первого года рождения, Серафимовым двоюродным братом.

Уехал он перед каким-то праздником, когда начальство решило обнадежить народ и в орсовский магазин навезли диковинных продуктов, даже печеночный паш-

тет. Все всего и накупили. Мать же, когда уходила в ночь сторожить и мыть контору, оставила Серафима со старухами, она им и паштета оставила: ешьте, старухи беззубые со младенцем беззубым! Слаще морковки и не едали-то ничего. Старухи с паштетом управились и Серафима напотчевали.

Утром мать стучится — у старух тихо.

Народ в бараке рвет паштетом.

Слепой Шура выставил ногой дверь, а там беда — все трое на небе.

Так и закопали двух и одного, три креста, как там и стояли.

...После мужниных побоев, после того, как кромсал он на груди выходную рубашку и обнажал шрамы, грозясь сжечь жену в бараке, она никак не могла доносить Серафимовых сестер и братьев. Фельдшер сказал: все! — и ошибся. Худая и молчаливая, она напряглась, родила все же сына, а назвала его Сергеем.

Хотела Серафимом, да забоялась судьбы.

Борис Агеев

УБОГАЯ

Городок этот, бывший некогда уездным, с мощенной булыжником центральной улицей, располагался на невысоком холме по правому берегу медленно влекущейся реки. Центр городка на самом холме состоял по преимуществу из низкорослых, строенных средним купеческим достатком домов с осыпающимися от древности кирпичными фасадами и прорастающей прямо из слоя уцелевшей кое-где штукатурки травой. По склонам холма — чем ни дальше от центра, тем пониже и попрочней — рассыпалась городская слободка мелочью обывательских строений.

Поменяв флаги, городок стал районным центром, булыжник на каком-то году новой власти залили асфальтом, центральной улице дали имя вождя, а вот река под мостом обмелела, и если раньше по ней вполне проплывал катерок с нехитрой баржой, то теперь это можно было совершить только по весенней воде.

К тому году, о котором здесь сказано, напротив исполкома было построено зрелищное сооружение под названием «кинотеатр «Простор», а неподалеку от въезда в город — здание районной газеты. Церковь на берегу лущилась отставшей краской ранее голубых куполов, не стерпев скудости прихожан, а вторая, на холме за испол-

комом, брошенная в незнаемые года, не только не пригодилась людям в качестве склада мебельного магазина, но даже и для пожарной каланчи отыскалось более устроенное место. Старый остов храма оказался самым высоким строением на холме.

А по левой стороне на берегу за редакцией газеты тянулась и расстраивалась потихоньку обметанная по заборам колючей проволокой тюремная зона, — появилась она тут в тридцатых годах.

Весной сквозь истертый асфальт меж округлостями булыжников на обочине просовывалась первая робкая травка, ветки тополевой аллеи, что вела к рынку, зернило вспухшими почками, из понизовья левого, затопляемого половодьем берега реки тянуло прелым запахом залежалого снега, лошади простолюдинов, везущие в телегах натуральный продукт из садов и огородов, оставляли на развилке дороги за мостом парные котяхи, и над всем этим восходило золотистое пышное солнце.

Никто не заметил, откуда и когда она появилась в городке. Уже лопнули почки и заструились первые бледно-зеленые листочки. Те, кто торговал на рынке, думали, что она городская, а те, кто покупал на рынке, предположили по ее внешнему виду, что ее привезли из деревни. В конце концов общество притерпелось к ее неладной внешности и вечно задранным вверх зрачкам глаз — маленького роста, она всегда словно бы заглядывалась снизу на людей. Видно, мать-природа не весьма озадачилась, вытворяя ее. Никто не знал, как ее зовут, и только потом кто-то случайно решил, что ее зовут Верочкой.

Сперва жила она в храме на горе и ночевала в церковном приделе на обитых драным дерматином лежаках пожарных дозорных. Сытые крысы беззастенчиво ходили по делам при свете дня, не обращая внимания на Верочку, а ночью она, забравшись с ногами на лежак, слышала стук лап по щербатому каменному полу, шорохи у лица и трепет крысиных схваток. Ветер иногда врывался в узкие высокие окна и тоскливо взвывал в безобразном безглазом алтаре. Да и холодно еще было в мае по ночам.

Тогда привел ее кто-то к сезонницам в общежитие. Верочка сперва не мешала им, пропахшим на прополке свеклы солнцем и девичьим потом, с избытком здорового тела, ждущего своего сокровенного ночного часа, но когда слободские парни лезли в окна знакомиться и звали их на круглую, освещенную яркой киловаттной лампой

танцплощадку, сезонницы стали Верочки робеть. Когда затевался переполох, тут-то они, пускай даже и уверенные в том, что Верочка ничего не понимает в их жизни, начинали стесняться своей молодости и здоровья, избегали ее в комнатах, пропахших дешевенькой косметикой и запахами кухни, обрывали смех и разговоры.

Приютила ее тогда бухгалтерша райтопа, женщина бальзаковского возраста и с тяжестью в душе от безмужья и бездетности. Что там — Верочка много есть не просила, где ни то и корочкой обходилась. Случилось так, что на Верочку обратили внимание два великовозрастных обалдуя из седьмого «Б», завели промеж собой разговор о том, а есть ли у Верочки это самое или она прикидывается девочкой, а потом, докурив один чинарик на двоих, подстерегли ее у дома бухгалтерши, заманили за угол и стали задирать на ней платье. Верочка смеялась счастливо: «Гы-ы, гы-ы», поворачивалась перед обомлевшими школярами, и неизвестно, чем все кончилось бы, если б ее не отбила бухгалтерша. Поплакав тайком, она изменила свое хорошее отношение к Верочке.

Приходила Верочка к церкви, но не оставалась ночевать из-за крыс, шла по извилистой дороге среди рощ на вокзал. На вокзале, однако, было суетно, свистели паровозы, ходило множество людей, тут же пропадая из глаз, тяжко давил лающий металлический голос, валом валивший с прокоптившегося низкого неба. Ушла Верочка с вокзала и скоро дорогу туда забыла.

А подвез ее оттуда на своем черно-синем мотоцикле милиционер Коля Мякишев и хотел было тогда же и определить ее куда надо, чтобы долг исполнить и служебный и человеческий, да отвлекла его авария у единственного светофора на повороте за мостом. То ли подвыпивший шофер слишком резко повернул, то ли борт полуторки не был как следует закреплен, но посыпались на землю сезонницы, возвращавшиеся с поля. Хорошо, что двое только и покалечились.

Верочка тихо ушла от криков и плача, постояла у дома бухгалтерши со светящимся окном в раме из выгоревших угловатых наличников, да и побрела дальше.

Летом скиталась она по рынку и по улицам слободки, вышла однажды к воротам зоны, посмотрела, как пересчитывают бесконвойных, возвращавшихся в свои бараки.

Но однажды познакомился с ней властный ветеран

прежнего высокоуглеродистого кова, привел ее домой, раскрылетился над ней и взял ее в опеку.

Петр Георгиевич ушел мальцом из нашего городка в гражданскую и по истеканию дней своей многотрудной жизни прибыл домой умирать. Ушел с красноармейскими частями по пятам за Деникиным и впереди волны эпидемий сыпного тифа и голода, захлестывался в стычках с ватагой крепкого мужика Матуило-Савицкого, а в шестнадцать лет отдали ему под начало кавалерийский полк.

Он бежал сластей житейской славы, честей и юбилеев не признавал, равно как и современного начальства. То, что он поселился в райисполкомовском особняке, восприняли как должное, на то, что он не дозволял к себе снисходительности и чурался номенклатуры, которая вскоре и оставила его в покое — было недоступно нашим мудрецам.

От каких пригретых очагов и дымящихся пепелищ пустился он одаль, могли только догадываться, но, как бы хорошо он ни конспирировался, главное о таких людях рано или поздно становилось известно. Знали маршрут его ежевечерних прогулок по центральной улице мимо церкви, рядом с которой он, сухой, высокий и прямой, как штык, неизменно останавливался и задирал голову к облезлым куполам. Знали, что читал он, кроме столичных газет, и труды классиков, знали, что забавлялся местными курантами, в которых, помимо совершенно необходимых сведений об оптимальных сроках осеменения колхозных телок, таблиц удоев и рацией о достижениях, помещались объявления о продаже жилых домов в селе Максимовка и призывалось поступать слесарем-инструментальщиком в арматурный цех. Негласно объявили Петра Георгиевича ослабевшим чудаком, находящимся в почетном отпуске, — местной диковинкой, а дальше не трогали.

Сидел он угасающей ночью над страницами то ли мемуаров, то ли еще чего-то стариковского, где тщился намотать на кончик своего пера всю российскую тьму, да и дать одним махом разгадку ее происхождения. Под одной рукой у него воркотал лезлый пыльный кот, что объявился недавно, а другой рукой, бестрепетной, знавшей и оружие и кандалы, выводил Петр Георгиевич в бумагах: «В нигилистических учениях о закономерностях и даже необходимостях раскола, в чем была своя сермяжная правда — но только лишь своя, — почувствовалась мне тем не менее величайшая боль и увиделась мысль о

милосердии к униженным, милосердии за счет принудительной справедливости к остальным. И пускай эти учения в дальнейшем совершенно естественно благополучно окаменели, только лишь на своем опыте довелось скорбно убедиться мне в том, что не стоит дом человеческий на краю, что не разовьется на расколе энергичное государство и не породит ничего иного, как страх, подозрительность и безверие. Продажные писаки в приступе идеологического онанизма уродливое эстетически оформят как прекрасное, а истинно прекрасное объявят отжившим и перестанут в таком государстве «пытать о вере на путях и на торжищах». И если Ты есть, как бы ни звался и какие бы личины ни принимал, скажи — за что покарал Ты Россию? Созреет ли на моей оскудевшей родине, родится ли из ее заглохших средин такое великое сердце, что могло бы вместить в себя все твое унижение, Россия, и твою безмерную историческую вину, которая заключается, может быть, только в том, что из глубокой и безоглядной веры обрушилась ты в беззаконную и деморализующую волю?»

Пригрелась Верочка у него, слегка раздобрела и даже с румянцем объявилась. Старикан признал ее сиротский статус, на секреты ее родословной не посягал, купал ее в ванне, саморучно варил манную кашу и кормил Верочку с серебряной ложечки, довольно приговаривая:

— Смотри-ка, ест. Ах ты, ерундиночка моя!

Купив ей подходящую одежду, словно в насмешку над городом водил ее гулять, держа за руку и беседуя с нею, на что она отвечала волнующим своим «гы-ы-ы». После чего хотя и блажным старика считать не стали, однако казенного уважения к нему поубавилось.

К себе-то ветеран был суров, а к Верочке все более мирволил, расспрашивал ее безответно, и расспросы эти доставляли его душе непонятное умиление и ввергали его в смутную робость перед силой вещей. Водил ее позировать художнику из клуба Василию Ивановичу Дорошеву, а поскольку живой жизни давно не знал, то отпускал Верочку позировать под ответственность Василия Ивановича.

Василий Иванович решил поразить мир историческим полотном, где одним из персонажей должна была быть юродивая в растерзанном платье.

— Как посмотришь на Верочку, — говорил он Петру Георгиевичу, — и сразу бога познавать хочется.

Был он слегка лысоват и округл, что в наших краях признается далеко не за редкость и в более молодом возрасте, дюж и полотнища с изображениями, крякнув, за веревку вздымал на крышу один. Как-то случилось такое, что закончил он монументальное отделение художественного училища и где-то проявил себя с очень талантливой стороны, но, поскольку с того времени утекло много жидкой краски, то и решил он, что то ли дело гроши заколачивать. «Дисквалифицируюсь, — иногда думал он, озирая не убывающие день ото дня груды подрамников и планшетов. — Эх, тоска!»

Посреди серых оформительских будней загорался, однако, и в нем уголек — подхватывал он пыльный мольберт и рывком уходил из очередного черного запоя в этюды, лечился красотой спокойной широкой равнины, передавал красками по холсту этот зыбко-золотистый с бирюзою тлеющий свет среднерусских небес, подернутые тусклой дымкой плавные линии холмов, пропадающих за горизонтом, а иногда до того расслаблялся душой, что оседал в траву у треножника своего и тихо плакал, взирая с тайной печалью на все то, что открывалось его еще не потерявшему чувствительности глазу, все то, что было проникнуто светом дня и чего нельзя было потрогать руками.

«Почему не бережем, — думал он, — ведь пропадет и никому больше не достанется».

Он спускался с холмов, шел по земле, таившей древнюю кровь, по полям, затянувшим свои надсадные раны и замкнувшимся в ожидании доброго семени, шагал по перелесочкам и карабкался через провалья глинистых оврагов, а то садился тяжело на почву и возлагал твердую мозолистую длань — слушал. А земля молчала.

Писал он в селениях простые лица доживающих людей, старух с темной мореной кожей на грубых, как сучья, пальцах рук, писал стариков, чьи отголубевшие глаза завесились поседевшими бровями.

Возвращался в город, отворачивал этюды и наброски к стене сушиться — и текучка заедала. Все же иногда повертывал их лицом, разгорался вновь, дописывал и исправлял по памяти, но за картину, которой всех вознамерился потрясти, так и не принялся.

Однажды спокойно и по-человечески попросил горничную из гостиницы попозировать, но в ответ на просьбу она, оскорбленная до глубины души и воспаляя целомудренность, сообщила куда следует.

«Пробы ставить негде, а туда же — Терпсихору ломает», — думал он, получив фитиль, и в грусти шел за водкой и расстегаем на закуску. Отчего подумал он на Терпсихору, а не на какую-нибудь иную — про то и сам не знал. Тем не менее, ворочая текучку и поругиваясь беззлобно с замом по идеологии, справлял лозунги и транспаранты, отмечал торжества и оборудовал маленькие районные ВДНХ всегда в срок, ибо стыдился работать абы как. За что и держали.

Приезжал к нему мой отец — а Василий Иванович приходился нам окольной родней, седьмая вода на киселе, — привозил меня и показывал ему мои рисунки тушью и пером. Василий Иванович добросовестно разглядывал рисунки и приглашал меня к себе на выучку. «Что-то в нем определенно есть, — говорил он отцу. — Пора ему начинать маслом работать».

Потом ставил передо мной букет сухих трав, наделял ватманом и углем и отправлялся с отцом в подсобку, чтобы меня не отвлекать, благо отец из деревни, кроме рисунков, привозил и гостинец, значит.

Их разговор сквозь шелест угля по бумаге доносился до меня.

— Раз нету хозяина у земли, пропали мы, — говорил художнику механизатор широкого профиля, мой отец. — Я не хозяин, я раб на земле. Колхоз не хозяин, а гурьба рабов. Государство хозяин? Так хто он такой, государство, из чего состоит? Нарисуй ты мне этого хозяина, я хоть посмотрю на него.

— Бу-бу-бу, — глухо отвечал ему Василий Иванович.

Случалось, отец отпускал меня в город одного, и я заворачивал к Василию Ивановичу и проходил у него выучку. Был и на первом сеансе с Верочкой.

Вот уж не знаю, как удалось Василию Ивановичу объяснить Верочке то, что от нее требовалось, но в короткое время он не только сделал нужные этюды, но и решил большую задачу написания отдельной с Верочки картины. Рассказывая ей «Колобка», остервенело мазал холст, и верилось ему в ту минуту, что исполнит задуманное. А Верочка полулежала, как было указано, на суконном солдатском одеяле, постеленном на кусок фанеры в подсобке, и смотрела в заляпанное красками окно.

Она и внимания не обратила, когда Василия Ивановича позвали на улицу руководить монтажом вечного стального каркаса под декоративно-монументальное те-

матическое панно на кровельной жести с изображениями сельскохозяйственных тружеников.

Василий Иванович некоторое время давал ценные указания бесконвойным, которых по просьбе идеологии выделял на громоздкие работы начальник зоны, горделиво поглядывал на одухотворенные лица с каменными подбородками под трафарет на панно, лица, которым он умудрялся мягкой масляной растушевкой придавать добрую крестьянскую основательность и которые наделял известной долей житейского оптимизма. А когда вернулся в подсобку, увидал Верочку в разорванном платьице лежащей на спине и смотрящей в потолок расширившимися от страха и боли зрачками глаз.

Художник все понял и, ощущая в себе приступ рвотного гнева, безотчетно схватил что первым попалось под руку — кажется, это была ножка от сломанного бильярда, — и стал калечить того третьего, кто пытался скрыться от него за кучей планшетов. Едва отбили своего вбежавшие на вопли бесконвойные, но это не помогло ему впоследствии.

Верочку определили поселить в надлежащее место.

С того случая и начала она спотыкаться. Вот идет она и спотыкается, а люди смотрят и потом отворачивают взгляды. Подходила она к милиционеру Коле, что стоял у мотоцикла и ворошил сапогом траву на обочине: и слева посмотрит, и справа.

— Пятнадцать копеек где-то обронил, — объяснит он Верочке и, вспомнив о долге, застенчиво спросит: — Покататься хочешь?

«Тихая-то она тихая, — думает он, — а приглядеть за ней теперь некому. Там хоть душа за нее будет спокойна — в яму не свалится, с моста не нырнет. Пускай никто не знает, как зовут, и паспорта не имеется, а непорядок это, что живет на белом свете и нигде не прописана».

— У Петра Георгиевича с пенсией накладочка вышла, поехал выяснять, — говорит Коля то ли Верочке, то ли самому себе и на секунду верит даже в то, что говорит. — Не горюй, скоро вернется.

— Гы-ы-ы, — ответила Верочка. Да и что еще могла она сказать...

Знать, стариканових классиков переписали на библиотеку, а бумаги его свезли в архивный подвал, после чего и сожгли, вероятно, как несвоевременные.

В тот же день встретился ей и я. Отправили меня на

рынок с мешком каленого прошлогоднего луку, что засиделся в мякине на чердаке, — все людям польза, да и мне прибыток. Верочка узнала меня, подошла и вопросительно посмотрела. Я решил, что она каким-то образом догадалась о том, что у меня в мешке именно лук, а не редька или, скажем, бураки, и ей интересно будет узнать, почем продавать собрался.

— По двадцать копеек, — сказал. — На новые.

И поскольку разрешено было мне купить на выручку, что пожелаю, то и приобрел я в книжном магазине произведение Якова Тайца, а также географические альманахи «Глобус» и «На суше и на море». Звало меня тогда куда-то и манило крепко.

А увели ее с собой богомольные старушки, что приезжали на службу из деревни Угоны. Обучили там ее ходить чисто, порылись в сундуках и нарядили в прабабкино старинное: поверх льняной длинной сорочки с кружевной вставочкой на груди — цветастый сарафан. Недолго, правда, жила она в Угонах, помнивших своим названием ордынские акции, и под осень, спотыкаясь на каждом шагу, опять появилась в городке. Кто-то христа ради вынес ей старенькую телогреечку, кто отдал сношенные полусапожки, а кто и вытертую темную шаль.

Видно, помнила она Петра Георгиевича, ходила к его дому, но не знала того, что, завидев ее в окно, не открывают на ее поскребывание нынешние хозяева и что стариканов кот не прижился здесь, почуял свободу, отправился в бега и сгинул.

Когда приютила Верочку у себя Авдотья Павловна, считая ее простой, то, будучи сама женщиной не сильного ума, не догадывалась о прописке, а милиционер Коля, размыслив, махнул на них рукой.

Авдотья Павловна жила в своем домике на склоне холма, была согбена в четыре дуги и клюкой подпоясана. Любливала она сосать карамельки беззубым ртом, смотрела на Верочку выцветшими от слез и белого света глазами и говорила:

— Ить рази плохо нам с тобой, матушка? На чай да сахар пензии хватит, а остальную морковку мы с огорода возьмем. Будь мой младшенький не такой прокудный, поженила б вас, больно ты мне по душе.

И, вспомнив о беде своей, заводила уж и без слез:

— За што ж меня бог пометил, да чем жи я яго прогневала! Порастеряла я всех своих детушек! А младшей мой, Павел Андреич, который раз по местам пошел, а

четвертенький мой сямнадцатый годок матери не кажется, дажыть имя яво забывать стала, а третьяка-то мово, свет Михаил Андреича, лесоповалом убило, и глазами яво не видала, а второй сынок спился от жаны злой да немянучей, а старшей, свет Николай Андреич, во сырой зямле лежит. Порассыпались сынки мои по пустой зямли, как горох по стярне. Девок бог не дал, а девки все сохранней. О-ох, все ж без горя и горя не бывает!

Верочка знала, когда Авдотья Павловна тосковать начинает, подвывала ей: «Ы-ы-ы, ы-ы-ы», и слезы у ней по щекам — ливнем.

Как сидели они на лавочке в саду под отгоревшим в октябре и высоким небом, перебирали сушеный укроп, чеснок и лук низали, лущили семечки или другое что делали огородное — любо было на них посмотреть. Загадывала Авдотья Павловна Верочке загадки и сама же на них отгадки находила:

— А угадай, што это: четыре четырки, две растопырки? Да корова жи! Му-у.

И задумывалась:

— Хто ж денным денна твоя печальница, а? Иде тебя бросила? Ну, хтоб ни была, а теперь мы с тобой родня. Обеи, сиротинушки, на одно красно солнышко смотрим.

А потом:

— Да не туда пятрушку ложишь, клади в кошелку. Семечки с укропа вот суда, в банку, кроши. То ли дурочка ты, што ли? То-то ж.

Верочка смеялась и крошила семечки в банку. А потом лузгала поджаристые тыквенные семечки и семечки подсолнечные, разжевывала и размачивала во рту и давала Авдотье Павловне, а та жмурилась, кивала головой:

— То-то сладимо.

Так и перезимовали.

А весной, когда отсеялись, вновь заболела Верочка бродяжьим зудом, пропадала днями и не всякую ночь возвращалась под кров, и тогда почуяла Авдотья Павловна своим сердцем, что останется опять одна.

— Либо я чем виновата перед тобой? Опять в люди пошла, а люди — они всякие бывают, хто во што горазд. Не отпущу, хуть убей.

Потревожилась Авдотья Павловна, перед иконой по-

молилась и попричитала, однако совладать с Верочкой ей было не дано.

Проводила до той самой дороги, что вела в сторону Угон — может статься, подберут ее прежние старушки и никуда не отпустят. Только и оставалось верить в это. Стояла Авдотья Павловна на теплой горке под весенним солнышком, сосала карамельку, крестила Верочкину спину, кивала трясущейся головой и шептала про себя:

— Бог с тобой, милая, бог с тобой.

И спустилась Верочка в дол и побрела, спотыкаясь, по вставшей дыбором дороге, бездомная, как смертный грех этой земли, и даже оглянуться на Авдотью Павловну не догадалась.

Теперь, спустя двадцать пять лет, отблукав по свету, подумал аз грешный как-то обо всем, сел и написал вот этот рассказ. Судите и меня, люди.

А городок наш завелся от шатров княжеской дружины, во времена похода на степняков ставшей лагерем на холме на берегу реки, шевелящей течением длинные волосы донной травы. И назывался именем самого князя, который в народе нашем то ли по причине его предательства, то ли еще какого злодейства, подробности которого истерлись в веках, известен бывал еще и прозвищем Окаянный.

Ох ти, Родина моя!..

Александр Титов

ПУЧКОВ

На посиделки к деду часто приходил высокий жилистый мужик по фамилии Пучков. Он был здешний уроженец, сын священника. Говорил он редко, все больше слушал, и почему-то никогда не смеялся. Бывало, стены комнаты трясутся от дружного хохота, а он лишь приоткроет в любопытствующей улыбке беззубый рот и смотрит на всех по очереди с каким-то удивлением.

Пожилые люди помнят, как забирали попа и попенка. Никто не знал — действительно ли Пучков-старший был против того, чтобы церковь превращали в районный Дом культуры. Вполне возможно, что в глубине души он был против, и это решило его судьбу.

Пучков-младший, тогда еще пятнадцатилетний подросток, вцепился в руку отца и не хотел отпускать его из дома. Так и увели обоих из поселка, из памяти людей. Пучков-старший сгинул навсегда, младший вернулся в пятьдесят шестом году.

Его, может быть, и раньше бы отпустили, если бы на его счету не было двух побегов. Блуждал в тайге, едва не замерз, отморозил пальцы. На левой руке они у него были ампутированные — короткие, синие, с бугристыми, словно оплавленными кончиками.

В правой здоровой руке он держал обычно самокрут-

ку, заправленную крепким дедушкиным самосадом, задумчиво слушал байки мужиков. Вид у него был какой-то рассеянный, он будто дремал, привалившись к печке узкой спиной. Печку он любил, всегда старался сесть к ней поближе. Казалось, холод, скопившийся в нем за долгие годы, никак не выйдет из тощего тела.

Курил он всегда экономно, пока могла держаться меж пальцами едва видная двумя-тремя буковками газетная завертка. Огонек слабо тлел в последних табачных крошках, освещая грубые, будто из камня, ногти.

Печка наша пышала теплом, и Пучков, обернувшись, прислонялся к ней своими большими клешнястыми руками, трогал ее, будто ласкал.

Здесь, в поселке, Пучков жил на квартире у каких-то престарелых старушек, помогая им по хозяйству. Работал он скотником на ферме, и от него всегда пахло навозом.

Пучков, несмотря на свою молчаливость и замкнутость, непременно включался в разговор, едва речь заходила о коммунизме. Его будто пружиной подбрасывало, когда он слышал это слово. Пучков верил в близкое счастье сильнее, чем я, подросток, ждал его прихода так сильно и страстно, как больной человек ждет исцеления.

Он говорил, что доживет до коммунизма и научится не только улыбаться, но и смеяться. Во время разговоров Пучков уважительно называл коммунизм Он — с большой буквы, словно бога. «Вот придет Он, и все обиды сгладятся, позабудутся. Наступит Он, и залечит все болячки. Явится Он, и все простит!»

В небольшом подвале под клубом был устроен тир, обклеенный сверху донизу разноцветными досаафовскими плакатами. До начала танцев тир битком набивался парнями и подростками. Сизый дым папирос туманом качался впереди, застилая мишени. Большая электрическая лампа, подвешенная к потолку на витом шнуре, предохранялась колпаком из жести, и все равно мальчишки норовили попасть в сверкающий кончик лампы. У заведующего, сердитого старика, на этот случай был припасен огрызок школьной указки, и он, не задумываясь, выгонял озорника и всю его компанию.

Взрослых парней не всегда устраивали металлические фигурные мишени: медведь, ударяющий кувалдой по на-

ковальне, всадник, падающий с лошади, пьяница с бутылкой в руке, откидывающийся на спину в забавной позе. Часто стреляли на приз — брали у старика бумажные мишени с кругами и цифрами и состязались в меткости, получая в награду пузырек одеколона, пачку лезвий для бритвы или расшитую бисером тюбетейку.

Все толкались, шумели, старик заведующий то и дело стучал желтой палкой по барьеру, надувая щеки и шевеля густыми бровями: тише, товарищи, вы не в кабаке!

Наступала тишина, один за другим хлопали выстрелы. От желающих стрельнуть отбоя не было. Старик едва успевал продавать патроны и, не пересчитывая монеты, лишь шевелил их в горсти и спрашивал: сколько? Затем отсчитывал на ощупь серенькие, похожие на миниатюрные наперстки пульки.

Хрустели стволы ружей, сгибаемые юными нетерпеливыми руками, дзенькали, отскакивая от мишеней и от стены, свинцовые пульки, с гороховым сухим треском скакали по бетонному полу, чернели серыми расплющенными точками.

Однажды взрослые парни, собравшиеся в левой стороне тира и захватившие к себе почти все ружья, о чем-то заспорили. Один из них, по прозвищу Хмырь, желая доказать свою правоту, перепрыгнул через барьер и, не обращая внимания на ругань старика, подошел к стене, постукал по мишени костяшками пальцев, уверяя своих приятелей, что именно из этого клочка бумаги он сделал решето.

Синела сквозь покачивающиеся облачка дыма татуировка на оголенной до локтя руке — Хмырь отсидел два небольших срока за хулиганство.

В этот момент его приятель и собутыльник (назовем его условно Стрелок) — крепкий, высокий, щеголевато одетый, в тюрьме не сидевший и не собиравшийся туда, стоящий в другом углу возле барьера, быстро, почти не целясь, вскинул винтовку и выстрелил в растопыренную Хмыреву ладонь. Сделал он это скорее всего из озорства.

В шуме и гвалте никто не услышал щелчка выстрела, но я видел, как дернулась мушка на стволе, а Хмырь отпрянул от мишени, словно его ударило током. Он поначалу даже не понял, что случилось, и продолжал кричать что-то свое, шлепая ладонью по мишени, оставляя на ней темные блестящие пятна.

Глаза Стрелка радостно сверкнули — попал!

Он мгновенно в то же время бесшумно отложил ружье. Оно и не стукнуло при этом о гулкий деревянный барьер, словно бы так и лежало на этом месте. На лакированном стволе темнел, испаряясь, туманный след его пальцев.

— Кто? — воскликнул Хмырь, перекрывая пронзительным, с блатными визгливыми оттенками голосом галдеж. При этом он с недоумением глядел на кровоточащую ладонь. Так и переводил взгляд: то на ранку свою смотрит, то на всех собравшихся в тире, хищно поводя во все стороны полупьяными глазами.

Наступила тишина. За толстыми стенами подвала послышалось шипенье радиолы, заиграла приглушенно музыка — там начинались танцы.

Отсасывая кровь из ранки, подстреленный Хмырь побрел обратно к барьеру, мыча на ходу ругательства. Неожиданно, вскинув голову, он остановился на полдороге и пристально взглянул на Стрелка, отыскав его каким-то чутьем или догадкой в темном углу.

Тот бесстрастно, с небрежной улыбкой, глядел ему прямо в глаза, демонстрируя свою непричастность. Некоторое время они неотрывно глядели друг на друга, шла напряженная работа встречных взглядов. Я стоял на воображаемой пунктирной линии этих взглядов, и мне хотелось пригнуться, спрятаться за барьером.

Хмырь кашлянул в кулак и медленно побрел к выходу в окружении толпы сочувствующих подростков, набившихся в подвал. Возле двери он вдруг остановился, и спутники его тоже придержали шаг. Поднеся ладонь к лицу, он с брезгливой гримасой разглядывал пульку, застрявшую в мякоти, сдувая и стряхивая крупные, мгновенно набухающие капли крови, отсасывая ее из ранки тонкими злыми губами. Черная пулька была похожа на крупинку грязи, застрявшую в алом обескровленном разрезе.

— Дайте кто-нибудь нож! — громко потребовал Хмырь и сплюнул розовой слюной. — Надо выковырнуть ее оттуда...

Стрелок подскочил первым, достал из кармана новенький перочинный ножик.

— Руку давай! — скомандовал он четко, требовательно и в то же время благожелательно.

Хмырь опять пристально взглянул на него, медленно, с какой-то брезгливостью протянул растопыренную ладонь. Лицо его в этот момент просветлело, стало блед-

ным. Таким серьезным и одновременно смущенным я Хмыря никогда еще не видел.

Стрелок занес нож над ранкой, на мгновенье задумался, наморщил лоб. Вспомнив о чем-то, завертел головой по сторонам, заорал, не глядя ни на кого, притопнул раза два ногами:

— Дайте же спички! Спички!..

Он вопил так громко, словно силой голоса собирался как-то приглушить собственную вину.

Один из парней похлопал себя по карманам, звякнул коробок со спичками.

— Зажигай! — скомандовал Стрелок. На лбу его выступили мелкие капли пота.

Парень неспешно чиркнул, спичка с шорохом загорелась. Закачался, разгораясь, желтый огонек.

— Дезинфекция! — торжественно пояснил Стрелок, держа лезвие над пламенем, заискивающе, глядя на раненого, будто медицинский термин, так отчетливо и значимо произнесенный им, должен был успокаивающе подействовать на Хмыря. Стрелок выковырнул кончиком закопченного лезвия пульку, брезгливо зашвырнул ее в угол.

Куча ротозеев поредела. Хмырь в последний раз отсосал кровь и протянул руку своему обидчику. Непонятно было, что он хотел выразить этим вялым небрежным рукопожатием: то ли это был знак тайного примирения, то ли благодарность за медицинскую помощь. Они как-то чересчур быстро и деловито пожали друг другу ладони. Оба при этом глядели в землю. И тут же разошлись, растворились на сверкающей огнями, гремящей музыкой танцплощадке.

Спустя несколько дней я увидел мотоцикл с коляской. На заднем сиденье находился Стрелок, в коляске восседал полупьяный Хмырь с покачивающейся головой.

Управлял мотоциклом председатель сельсовета Иван Фролович, которого в нашем поселке называли всегда по отчеству. Это был полный, низкого роста, почти круглый человек в запыленной кепке и хромовых сапогах. Фролович был малоразговорчив, зато любил выпить и хорошо поесть.

Поверх коляски был пристроен, прикручен проволокой свежий, из белых досок, гроб. Хмырь придерживал

его рукой, но все равно крышка стучала и цокала на малейшей выбоине.

Мотоцикл подъехал к ступенькам магазина, дернулся и заглох. Стрелок спрыгнул с заднего сиденья и, стряхивая с курточки пыль, выжидательно, не поднимая глаз, приблизился к Фроловичу. Тот, пыхтя, неспешно рылся в боковом кармане и вскоре извлек оттуда потрепанный лоснящийся бумажник. Затем долго, сопя и почесывая лоб, отсчитывал зеленые трехрублевки, вертел их так и этак, стараясь вручить Стрелку более потрепанные купюры, демонстрируя свою знаменитую скупость.

— Ну и жмот ты, Фролович! — Стрелок не выдержал и выхватил деньги из толстых пальцев преда. — Тут как раз на шесть бутылок, как и договаривались.

— Много... — проворчал Фролович.

— Еще мало будет, за добавкой придется посылать.

Фролович согласно кивнул, глубоко вздохнул. Несмотря на прижимистость, он мог пить водку до тех пор, пока не кончалась, и никогда не пьянел. На спор мог выпить тридцать девять сырых яиц, но после сорокового его всегда вырывало. Однажды на рыбалке я был свидетелем того, как он съел без всякого спора полведра вареной плотвы вместе с потрохами. Однажды Фролович поспорил, что съест буханку хлеба, искрошенную в миске с водкой, — и выиграл! Из выспоренного литра отпил еще граммов двести, после чего провел собрание активистов сельсовета по выполнению плана закупки шерсти у населения. «На этом собрание считаю закры...» — сказал он и захрапел на своем председательском стуле. Фролович был гордостью нашего поселка. Он был скуповат, зато прост и справедлив.

Стрелок взял деньги и скрылся в магазине. Я подошел к Хмырю и, кивнув на гроб, спросил, куда это они его везут.

— Пучков умер! — ответил Хмырь и зевнул. — С самого утра хлопочем. Вчера какие-то люди нашли беднягу на тропинке, уже холодного. Родственников у него нет, приказано похоронить за счет сельсовета, — Хмырь показал пальцем на Фроловича, спавшего за рулем в сидячем положении. Могло показаться, что он нарочно прикрыл глаза, но Фроловичево похрапывание — будто гладкие камешки перекатываются в горле — не спутаешь ни с каким другим. В уголке рта его сиротливо дымилась папироса.

— Пучков!.. — надо было пойти домой и сказать де-

душке. Пучков нам не родственник, но часто бывал на посиделках, дедушка его жалел и уважал. Еще вчера днем я видел Пучкова возле дороги — он стоял, держась за дерево, тяжело дышал. Ему, наверное, было плохо, но я постеснялся подойти ближе. Ну почему, почему не подошел? Принес бы ему лекарство или вызвал бы врачей...

— Поехали с нами? — предложил Хмырь. — Будешь на крышке сидеть для равновесия. А то она, собака, два раза уже падала.

— Куда это ты собираешься его брать? — Из магазина вышел Стрелок, держа в руках несколько бутылок водки. — И без того мотоцикл перегружен, в одном Фроловиче сто двадцать кило!

— А ты не родственник случайно Пучкову? — спросил Фролович, приоткрывая один глаз. И, не дожидаясь ответа, толкнул ногой рычаг стартера. Мотоцикл затарахтел, и у меня на душе стало как-то тревожно.

— Пусть едет, — сказал опять Хмырь, — я этого парнишку знаю, вместе курить привыкали, хоронились под забором.

Хмырь был прав — мальчишки с папиросами прятались обычно за серым школьным забором. Мне это занятие сразу не понравилось, я так и не научился вдыхать дым в себя, закашливался. От досады и ради забавы дразнил наших мальчишек-курильщиков: подходил на цыпочках к щели, прижимался к ней лицом и, подражая голосу директора, произносил спокойным взрослым басом: «Это кто же здесь курит? Кого-то я сейчас отведу в свой кабинет!»

И вот однажды выбегает из школы здоровенный второгодник Хмырь и просит у меня закурить. Я развожу руками: нету! Попроси у тех — и показываю пальцем на забор, над которым вьется синий дымок. «Только пугни их вначале...» И я объяснил ему, как надо погромче и построже прикрикнуть на курильщиков.

Хмырь приник к забору, хрипловато пробурчал чего-то. И тут же послышался дикий рев. Я не понял, что такое там стряслось, но на всякий случай убежал, и правильно сделал, потому что Хмырь погнался за мной. Оказывается мальчишки, которым надоели мои розыгрыши, но не знавшие, что на сей раз их пугает Хмырь, прижгли ему сигаретой нос.

Садиться можно было только на гроб, другого места не было, но Стрелок, грубо оттолкнув меня, приподнял

крышку и положил в гроб бутылки, завернутые в какую-то мешковину.

— Чего толкаешься? — Я пристально взглянул на него.

— Да ничего... — смутился он. — Садись, держись крепче за проволоку и за Хмыря, а то свалишься.

Стрелку все-таки не хотелось, чтобы я ехал с ними на похороны — помнил, наверное, что я тоже был в тот злополучный вечер в тире.

Я уселся на гулкую твердую крышку — гладкую, свежеоструганную, пахнущую смолистым древесным запахом. Фролович дал газ, и мы поехали. Гроб качался, погромыхивал на неровностях грунтовой дороги, и я боялся, что свалюсь вместе с ним. Правда, мотоцикл двигался медленно — Фролович редко развивал скорость более двадцати километров в час.

Хмырь поманил меня тонкой ладонью, чтобы я наклонился к нему поближе.

Стрелок смотрел на нас внимательно и с подозрением.

— Жмот! — тихо воскликнул Хмырь, показывая пальцем на Фроловича, чуть ли не тыча ему в бок. — Деньги для похорон выделены, а он машину не захотел нанимать — целый день на мотоцикле раскатываем.

Стрелок ерзал на заднем сиденье, внимательно прислушиваясь к нашему разговору.

Подъехали к маленькому дому под соломенной крышей, где Пучков снимал угол у старушек, дождались, пока Фролович слезет с мотоцикла, вошли следом за ним в избу, дверь которой была открыта. На пороге стояла старушка хозяйка с печальным и в то же время торжественным выражением, какое бывает лишь при покойнике. Она посторонилась, уступая дорогу начальству, перекрестилась.

Дверь была низкая, даже Фроловичу пришлось пригнуть голову, а длинный Хмырь и вовсе согнулся в три погибели.

Пучков лежал на кровати уже обмытый, одетый в чистый костюм. В руках, сложенных на груди, горела, потрескивая, тонкая свеча. Лоб был закрыт бумажной церковной лентой, скрывавшей давнишнюю синюю татуировку, сделанную мелкими буковками: «Раб человеческий».

Десять лет назад возвратился он в поселок, найдя приют в этом домике, пригретый двумя старушками, пытавшимися обратить раба человеческого в раба Христова. Сын священника не верил в бога к великому их огорче-

нию, не читал книг, не слушал молитв. Пучков не верил в высшую силу, однако никогда не сказал, не пожаловался: дескать, если бы Он был, то разве бы Он допустил... Просто не верил ни во что, не верил глухо и бездумно.

— Первый стакан, как и положено, начальству! — весело воскликнул Стрелок. Все трое уже сидели за столом, под коптящим огоньком лампадки. Старушка в черном платке несла им закуску: соленые огурцы, облепленные мокрыми темными листьями смородины, желтыми палочками укропа.

Старушки тоже приблизились к столу, выпили по стопке, но присаживаться не стали. Фролович ревниво косил на них большим сонным глазом, с хрустом кусал огурец.

— И на поминках небось выпьют стаканчика по четыре! — вздохнул он, показывая поочередно пальцем на обеих хозяек. — Знаю я этих старух!

...— Тут мне кто-то кэ-э-а-ак трахнет под дых! — продолжал рассказывать Хмырь свою историю, начало которой я прослушал. — И дальше, братцы, ничего не помню. Очнулся уже в милиции, в одежде, но босиком. Вот тебе, думаю, и погостил у братца в городе...

Далее Хмырь подробно описывал, как он босиком удрал из милиции. Выяснилось, что и «под дых» никто ему не давал — сам спьяну вылетел на балкон, ударился о перила, перегнулся и упал с третьего этажа. Но не разбился, хотя и потерял сознание. Но самое главное, что поражало его до сих пор, — это уцелевшая бутылка вина, которую он держал в тот момент в правой руке.

В таком виде его и подобрал ночной патруль.

Старушки, покачивая головами: вот, дескать, как бывает! — налили себе еще по стаканчику.

Фролович, глядя на опорожненные бутылки, сокрушенно качал головой:

— Ничего не останется на поминки! Ну и мероприятие, мать вашу разэдак...

Стрелок начал спорить с Хмырем. Он подверг его рассказ сомнению, придираясь ко всем деталям, особенно к уцелевшей бутылке портвейна. Хмырь дернул на груди рубашку: сейчас они возьмут порожнюю бутылку и он, Хмырь, прыгнет с колхозной водокачки.

— Ну будя, будя... — окоротил их Фролович и степенно закурил, прищуривая глаза, выпуская густые умиротворяющие клубы дыма. — Делом надо заниматься! —

и, покурив в тишине, добавил: — Ну, с богом, приступим.

Стрелок и Хмырь затащили гроб в избу, уложили в него Пучкова, поставили гроб на две табуретки. Старушки пропели «Вечную память». Пели они вдохновенно и тонко, Фролович даже задремал, прислонившись к дверному косяку.

Вынесли гроб на улицу. Следом выбрели старушки. Все щурились от яркого солнца, и покойник в гробу тоже словно бы прищурился.

— Может, на мотоцикле так его и отвезем? — сказал Фролович задумчиво, обращаясь как бы к самому себе. — Авось до кладбища близко, километра не будет...

— Не жлобься! — выкрикнул захмелевший Хмырь. — Тебе деньги на похороны выдали, вот и трать. Государство хоронит, а не ты. Пучков — государственный человек сейчас, он мертвый полноценный гражданин, понял?!

Слово «гражданин» Хмырь выговорил с трудом, подступаясь к нему несколько раз, но все-таки выговорил, напрягшись при этом до красноты.

— Какой еще мотоцикл? — поддержал его Стрелок. — Ты, видно, Фролович, на жаре совсем свихнулся. Говори, да не заговаривайся. Одно дело пустой гроб на мотоцикле везти, а другое — человека! Давай десятку — пойду машину сагитирую...

В который раз вздохнув, Фролович вытащил из кармана свой лоснящийся бумажник, достал нечаянно красную десятирублевку, но тут же затолкнул ее обратно, вынул три зеленых трешницы, затем выковырнул еще откуда-то бумажный рыжий рубль. Пошевелив губами и немножечко подумав, заменил бумажный рубль монетами.

— А за пятерку шофер не согла... — хотел спросить он, но Стрелок брезгливо выхватил у него деньги и побрел в сторону дороги ловить попутку. Фролович, присев на колени, подбирал с травы рассыпавшуюся мелочь.

В ожидании машины с полчаса томились на жаре, лицо покойника совсем почернело. А когда сообразили отнести его в тень, в конце переулка появился старый запыленный «газик», в кабине которого победно восседал Стрелок. Машина остановилась. Хмырь и Стрелок повели шофера в дом угостить. Фролович тоже присоединился к ним. День начинал клониться к вечеру.

Наконец все вышли наружу, общими усилиями взгромоздили гроб в кузов, продвинули его вперед по визжащим обломкам кирпичей, валявшихся на дне кузова. Одну старушку посадили в кабину грузовика, вторую —

в коляску мотоцикла. Мы с Хмырем забрались в кузов. Стрелок, собиравшийся поначалу ехать на мотоцикле, передумал и тоже присоединился к нам.

...— Я сдавал кровь часто, — продолжал разглагольствовать Хмырь. — Как захочется похмелиться, так иду поскорее на донорский пункт. Там даже удивляются — откуда в такой худобе кровь? И по двести граммов выкачивали, и по триста. Спиртику поднесут, талончик на обед — красота! А позавчера пришел в больницу — стоп! Спирту ни капли, инструкция какая-то у них вышла. Суют под нос квитанцию — дескать, получишь по ней килограмм пшена. Я такой шум устроил — вся больница ходуном ходила. Кровь за пшено! Кровь работяги за ваше... пшено?! Хотели меня в милицию сдавать, но тут пришел главный врач и мне, как почетному донору СССР — у меня и медаль такая есть! — приказал отлить из своего личного запаса целую бутылку...

Могила была вырыта в глубине кладбища. Подвыпившие мужики, матерясь и спотыкаясь, тащили гроб на полотенцах. Следом шли старушки, пели «Вечную память». Одна из них несла узелок с кутьей, вторая — два табурета, на которые ставили гроб во время частых передышек.

Я тащил на голове крышку, ноги подгибались и дрожали. Кладбищенские тропинки, путаясь меж кустами и оградами, вели незнамо куда. Наконец дошли до могилы, установили гроб на табуреты. Мужики молча курили, отдыхали.

Фролович, докурив папиросу, велел было заколачивать крышку, но Хмырь запротестовал: как же так? Полагается слово произнести. «Ты, Фролович, какого хрена молчишь?»

Фролович крякнул, снял кепку и, прижимая ее к круглому животу, сделал два шажка вперед.

— Товарищи! — привычно кашлянул он в кулак. — Сегодня мы хороним бесхозного человека. Это печальное мероприятие мы провели в соответствующие сроки, не дав покойнику качественно испортиться. Наше государство... — Фролович прислонил коротконалую пухлую ладонь к груди, — помнит о каждом человеке... Забивайте, товарищи, крышку!

— Нет, погодите... — я вышел вперед под их недоуменные усталые взоры и, волнуясь, начал рассказывать все, что знал о Пучкове, о том, что еще вчера видел его живого, но больного, и не подошел, не спас человека...

Я рассказал, как Пучков бежал из лагеря, замерзал в тайге, боролся с дикими зверями. Этот человек любил свой поселок и всю большую Родину, несмотря ни на что, и умер с этой любовью. — Вот мы хороним его, именно мы, потому что больше некому... — здесь я сбился и не смог закончить свою мысль.

Хмырь всхлипнул:

— Я тоже люблю Родину, я тоже хочу умереть. Я мертвый, ребята, мертвый!.. Фролович, черт, откупоривай бутылку!

Чтоб успокоить голосящего Хмыря, пришлось открыть последнюю бутылку и дать ему выпить. Заодно выпили все остальные, в том числе и старушки. Я тоже отпил глоток, после которого вдруг заработало обоняние, мне казалось, я чувствую запах каждой травинки в отдельности. Приторно пахли кладбищенские, потрескивавшиеся на жаре вишни.

Гроб заколотили, опустили в могилу. Каждый бросил туда по сухому комку глины. Зарывали могилу долго: Фролович, как начальник, не работал, Хмыря и Стрелка здорово развезло, и от них уже было мало толку. Трудились в основном мы с шофером.

Поминки были короткие: старушки раздали кутью — вареный рис, перемешанный с изюмом. Изюминки лопались на зубах, и во рту становилось сладко.

Стрелок выпил, вытер губы мятым платочком и подмигнул мне, кивая в сторону Хмыря: как, мол, я его подловил в тире!

Хмырь, укладываясь спать возле старого, поросшего мягкой травой бугорка, вдруг резко привстал, оперся на локти, нашел взглядом Стрелка и, глуповато улыбаясь, погрозил ему длинным грязным пальцем.

Фролович поднялся, поправил пиджак, отряхнул кепку от пыли двумя ударами о колено, затем аккуратно водрузил ее на голову.

— Мероприятие закончено, товарищи. Деньги, отпущенные на обряд, израсходованы полностью.

— Вр-р-решь! — промычал Хмырь, не открывая глаз.

Фролович неспешно достал бумажник, разлепил его, показал каждый из его многочисленных закоулков. Выпала какая-то старая квитанция, серым лепестком упала на свежий земляной бугорок.

— Не верю! — бормотал Хмырь, засыпая. — Не верю, не верю...

Василий Белов

ДЕРЕВЕНСКОЕ УТРО

Валентин, механизатор (по прозвищу Пан Зюзя), очнулся утром и начал вспоминать, какой сегодня день. Чем сильней вспоминал, тем неразрешимей становилась задача. В понедельник умер Лещов, а вчера были похороны (не тот Лещов, который приехал из Ленинграда и привел в дом старушонку, а тот, у которого была приговорка «возьми любого и каждого»).

Какой же нынче день, среда, что ли? Нет, не среда... Про число-то лучше и не заикаться, хоть бы день вспомнить. Вот жил, жил Валентин между двух Лещовых, справа Лещов и слева Лещов. И было как-то спокойнее. Теперь остался один Лещов, Александр Николаевич, то есть Коч. Вместе вчера делали гроб. Или позавчера? Валентин выпил еще до выноса, не дождался законных поминок, а выпил оттого, что расстроился. Завел же его тот же Коч, начал спорить. Коч говорил, что класть Лещова надо обязательно с орденом Красной Звезды и со всеми медалями. А для чего зарывать в землю ордена и медали? Пусть бы остались на память либо для какого музея. Но Коча не переспоришь. Он восстановил против тракториста всю лещовскую родню, и покойника положили в гроб со всеми наградами. Видя такое дело, старухи сунули в изголовье еще и деревянную иконку —

Егория на белом коне. Какой смысл? Еще весной один знакомый милиционер из райотдела сулил Валентину за Егория на две бутылки. Но жена Лещова икону Вальке не отдала. А тут вот зарыла в землю вместе с медалями...

Валентин кое-как поднялся с кровати, помылся, посчитал за шкапом спящих ребятишек. Все были дома. Только жена уже ушла на телятник. Электрический чайник еще не остыл, но чаевничать Валька отказался и вышел из дома.

«Беларусь», не больно и чистый, совсем холодный, терпеливо ждал, когда объявят силосование. А может, уже объявили? Надо было раньше вставать да и слушать местный радиоузел. «Не в этом дело!» — чуть не вслух, а может, и вслух, произнес Валька. Хотелось ему огрызнуться покрепче, но, кроме петуха, поблизости не было ни одной живой души.

Конечно, можно было б сходить домой к Лещову, но там еще в день похорон все было выпито. Своя личная брага, спрятанная в предбаннике, не поспела, она только что начала бродить. Может, Коч выручит? У Коча имелось два июньских талона. Это Валентин знал твердо, но одну бутылку они выпросили у Кочовой старухи еще вчера. Где вторая? Вторая спрятана в коробье, коробья в чулане, на чулане замок. Ключ от замка в избе, висит в шкапу на гвоздике. Вспомнилась почему-то поговорка: перенесение порток с вешалки на гвоздок. Покойный Лещов употреблял ее в разговорах про РАПО и про агропром. «Пр-гр-пр-пр...» — язык сломаешь, пока выговоришь...

Валька решительно направился к дому Коча. Увы, замок висел не только на чуланчике, но и на Кочовых воротах. Чего-чего, а замков у Коча навешано много. Даже у бани и на картофельном погребе — везде замки и замочки. Особенно после Кочовой женитьбы. Куда уплелись молодые? Старуха, Кочова жена, иногда ругала Пана Зюзю на чем свет стоит, а ведь сам Валька ее и сосватал! Вышло на свою же шею. Правда говорится в пословице: не делай добра, ругать не будут.

Он перебрал в уме все оставшееся дома. Нигде никакого просвета. Разве к Марье Смирновой, может, что и выгорит...

Радио у Смирновых годами не выключается, поет и долдонит чуть не круглые сутки. Зайдешь в комнату, а оно поет. Хозяев не докричишься. Поет радио, а больше

говорит либо бьет по ушам. И так из недели в неделю, из месяца в месяц, пока в какой-нибудь столб не влепится самым своим вострием летняя молния. «Бывают, конешно, и другие причины...» — подумал Валька, и ему стало легче от самокритики. Вспомнилось, как сам наехал в прошлом году на столб и оборвал провода. В конторе его начали прорабатывать и стыдить, он им и выложил: «Не пьет один только этот столб телеграфа! Да и то потому, что стакан у его вверх дном». Нынче придумал кто-то месячные талоны. При людях и на словах Валька почем зря честил начальство, свое и московское. Но сам про себя рассуждал так: «Ладно, пожалуй, это сделано. Иначе-то совсем пропадем».

Радио говорило про самый длительный мирный период. Пан Зюзя услышал, что живем мы без войны уже больше сорока лет, не обратил на это никакого внимания и громко поздоровался.

Никто не ответил. Валька сел на лавку у края стола, начал разглядывать красивые узоры клеенки. Старательно прослушал «колотиловку», как он называл новомодные, вроде бы и русские, а совсем непонятные песни, когда будто кто-то чем-то мягким колотит и колотит тебя по темечку. Теперь даже последние известия с колотиловкой, про сберкассу там и про страховку имущества — все промеж колотиловки.

«И никуда мне не деться от этого», — пропело радио каким-то не женским, но и не совсем мужским голосом. «Распетушья точно так вот поют», — подумал Валька и поискал глазами выключатель. Выключателя, однако ж, не было, репродуктор привинчен под потолком. Надо вставать на лавку, чтобы выключить. Да и какое он право имеет в чужой избе радио выключать?

Навалившись на стол, сидел, сидел Валька, глядел, глядел на клееночные узоры и постепенно стал засыпать. Голова сама как-то незаметно для него разместилась на руках, сложенных на конце стола.

Марья Смирнова, хозяйка, пришла с огорода, где полола капусту и прореживала морковь. Она еще долго бы не пришла, если б не боялась, что без нее проснется гостивший городской внук. Марья пришла поглядеть внучка, а за столом спит неизвестный мужик. Она испугалась сперва, но по кудлатой, давно не стриженной голове тотчас узнала Вальку, и у нее отлегло от сердца. Сразу стало понятно, кто, что и зачем. Она даже обрадовалась и звучно шлепнула ладонью по столешнице:

— Вставай, проклятой заклейменной!

Незваный гость вздрогнул, суматошно вскинул голову и вытаращил красные бессмысленные глаза. Он позабыл во сне, где он и зачем пришел, а когда вспомнил, то ничего не успел ни объяснить, ни сказать, Марья говорила сама:

— Пришел, поди-ко, опохмелку искать! Нету, Валя, ничево нету, батюшко! Ничево, золотой, у нас нетутка. Да что к Лещовым-то не идешь? Неужто вчерась весь запас выждрали?

— Всё! Еще и у Коча выпросили.

— А вить у Коча-то моя и была! Унес, когда грядки под картошку пахали, да и не отдает. Мне мамка говорит: Марютка, не отдавай никому бутылку-то. Иной раз после бани в чай немножко ленёт да и выпьет. Да ведь и Валерка с часу на час домой ждем.

— Ну, Валерко-то со службы придет, мы уж с ним дернем! — Пан Зюзя не спешил уходить и задымил. — У меня наведено, целая фляга. Поспеет как раз ко времю. В надежном месте.

— Сиди! Вся деревня знает про это надежное место. Милиция, еще Лещов жив был, проезжала деревней, матациклет останавливала. Опять тебя оштрафуют, дадут принудиловки.

— Не оштрафуют. Где старуха-то?

— Да за мурашами утянулась! Взяла пустую полулитру, прополоскала, в корзину положила да и в лес. И кабанов нонь не боится. Ой, Валя, что кабаны-ти наделали! Всю пустошь наскрозь изрыли, и косить негде. Одне от их борозды, а какая там трава-то была в прошлом годе. Откуда их лешой взял, с какого конца пригонил?

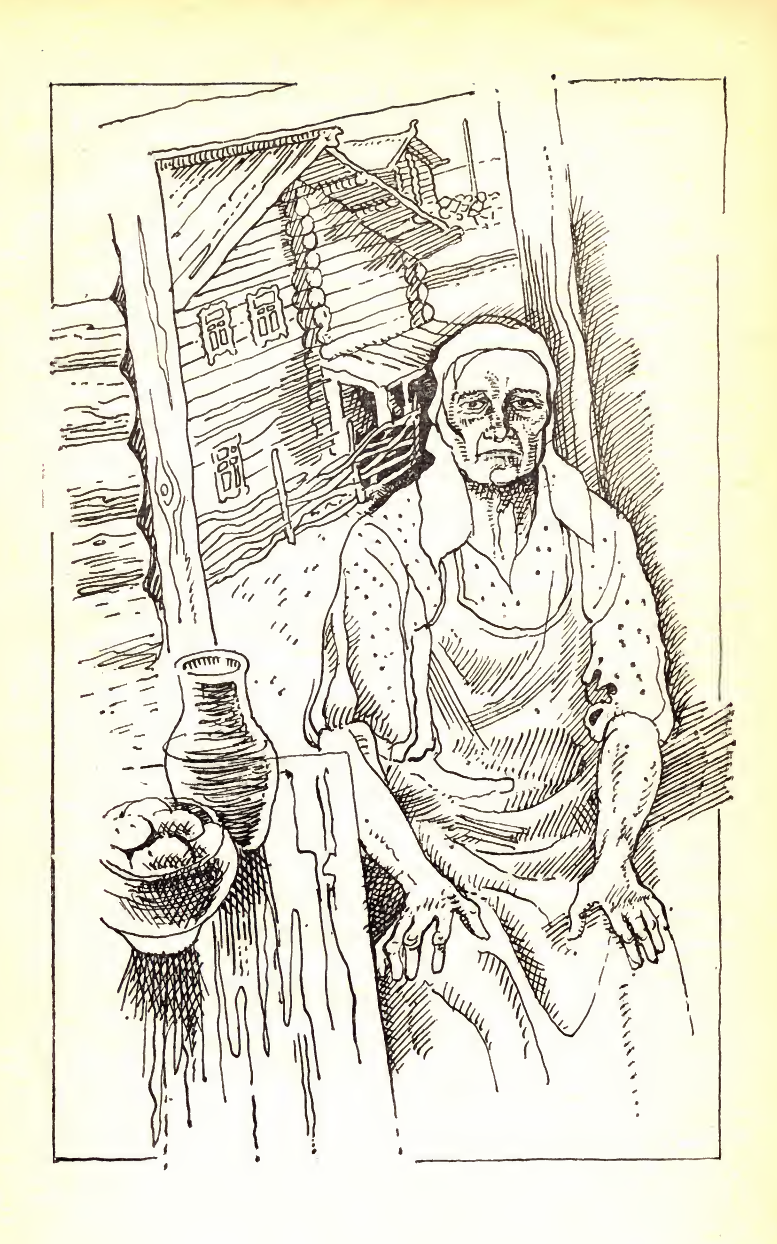
— С Кавказу, — сказал Валька.

— Вот кто их привез, того бы носом-то и сунуть в эти борозды. А правда, что оне, как медведи, и муравьища зорят?

— Правда.

— У мамки суставы-ти болят, да и у меня, грешной, к погоде тоскуют. Муравьиным-то маслом помажешь, вроде и легче. Нонь вот и у дочки руки болят. Третьего дня говорит: ой, мама, как Валерко придет из солдатов, так бы и пусть сразу женился, а я бы ушла из доярок. Я говорю: уйдешь, дак и греха меньше, вся измаялась.

— Ей сколько до пенсии-то?



— Да что ты, бес, ведь она тебе ровешница! Мне-то на троицу было семьдесят один, а ей, дочке-то, на ильин день будет сорок четыре. А мамка-то у нас, мамка-то! Ведь и счет потеряла, вроде без году девяносто. Вон, в поскотину убрела! А у меня сердце болит, хоть бы не заблудилась. Иной раз на верхний сарай уйдет, и то боязно. А тут по мураши да за пустошь. Письмо-то Валерково возьмет из шкапа да и вертит в руках-то, перебирает бумажку-то. Иной раз попросит: «Ну-ко, Марютка, почитай». Я говорю: мамка, ведь уже четыре раза читали. Вот скоро придет новое либо и самого отпустят. Она не отступается, все спрашивает, чево он там да пошто. Я ей говорю: мамка, он довг выполняет, скоро отпустят. Какой довг? Терциональной, говорю. А она-то вот чего: в нашем, говорит, роду довжников сроду не было, не брали в довг никогда. Иные вон всю жизнь в довгу, как в шовку, разве дело? Ой, Валентин, не знаю, печь-то севодни топить аль нет, два дни не топлено...

— Чево ее топить?

— Ладно, коли. Пирогов-то не натворила, опять поленилася. А сварю на плите. Мамка вчерась обабков нашла, да половина трухлявые. Она в куте противнями брякает, сушить наладилась. Я говорю: мамка, печь-то холодная, не высохнут, только раскиснут. Не чует. Зимой двое сидим при огне. Дочка на ферме, а я вздумала шерсти напрясть, вон хоть Онтону на рукавички. Только я взяла пряслицу-то, мамка и говорит: «Марютка, дак мы которая моложе-то, я али ты?» Я говорю: да что ты, мамка, разве забыла, как ты на моих смотринах на лавке стояла?

Марья так весело рассмеялась, что Пап Зюзя вспомнил, зачем и куда пришел. Хотел он перебить хозяйку, да побоялся и вновь набрался терпения. Надо было ждать момента...

— Дочка с фермы пришла, я ей рассказываю про баушку-то, а моя доча хоть бы слово. Как воды в рот набрано, ой, господи! Валя, батюшко, это пошто нонь люди-то эк маются?

— А чево? — Валька начал сердиться. — Никто не мается.

— Да как не маются! Она вон, дочка-то, овдовела скорей моего. Так ведь я овдовела из-за войны, а она-то из-за чево? Ты ведь помнишь ихнюю свадьбу, сам ездил в свидетелях. Разве думано было, что эк все повернется? Кабы он вина-то не пил, он бы живой был. Каково нам

в глаза-ти людям глядеть? Вон и Валерко рос без родного отца...

Она промокнула глаза своим цветастым передником. Пан Зюзя молчал, не хотел вспоминать про смерть Марьина зятя. Потому что пили с ним вместе и та смерть была ужасна. Зятя Марьи Смирновой задавило тракторной гусеницей в темную августовскую ночь. И пусть трактор был не его, не Валькин, не он, не Пан Зюзя, сидел тогда и за рычагами. Но ведь пили-то вместе! Эх, кабы фары-то не слепые, не задавило бы...

Валька заерзал на лавке.

Второй Марьин зять оказался не русский, пожил в деревне, пока было холодно, с осени до весны, да и был таков. Знал Валька про все, знал, да не хотел вспоминать. И, словно жалея его, Марья говорила уже совсем о другом:

— Вот по радиву говорят, что посуду из-под вина не принимают. Да лешой бы с ей, с этой посудой! Кто в очередях-то за вином стоит, тому, видно, делать-то нечего. Стоят да начальство ругают. За вино-то готовы на любое убийство, только и знают пить. У нас дедушко, бывало, в гости ходил со своей рюмкой, а рюмочка-то поменьше наперстка. А бабушка, та и о праздниках ничего, кроме сусла, в рот не бирала. Помню, еще до колхозов, возьмут меня в лес, на покосы. Дедушко меня на копну посадит, красных ягодок насбирает, скажет: «Сиди, Марьюшка, ешь, да не торопись. Бери по одной. А как ягодки кончатся, ты меня и кричи, я тебе опять насбираю». У меня той минутой ягодок нет, а дедушка звать не смею. И с копны-то самой не съехать. А он уж несет, не красненьких, а черненьких. Потом до голубеньких дело дойдет. Сидишь, сидишь на копне-то, да и сама в лес. Один раз лису увидела, думаю — волк. Да как заревлю! Сбежались ко мне все косари, кто по голове гладит, кто нос утирает. Утешают меня всем миром. Сколько радости-то! Дедушка-то сперва в колхоз волокли силком. А когда согласился, дак не стали пускать. Записали, вроде облагодетельствовали. Он, помню, ругается: «Не буду в колесии жить, лучше умру!» Колхоз называл колесией. А тятя у меня партейный был.

— Да ну?

— Веселый такой шутник. Бывало, каждый день собранье, а собранья в те поры были долгие, иное и до утра. Придет домой, хохочет: до чего, говорит, досидишь, что в голенище нассишь! — Марья то и дело гля-

дела в окно. — Ой, господи! Хоть бы не свалилась, в голове-то ведь шат стоит. Он, тятя-то, сперва на бригадирстве сидел, потом на сельпе. А посадили его за песню.

— Чево-чево? — тракторист снова очнулся.

— А выпивши тоже был! В ильин день пошел плясать, да и спел.

— Да чего спел-то? — разозлился Валька, но сразу вспомнил, зачем он тут, и переменил голос: — Я его вроде немножко помню...

— Нет, батюшко, ты не должон помнить, тебя тогда и в помине не было. Когда тятю-то увезли, мы с твоей маткой еще девчонки были. Мамка без тяти осталась сама четвертая, вот меня, бедную головушку, в няньки и отдали. Ох, наревелася я! Тятю увезли, дедушко умер, мамка от темна до темна на колхозном поле. Дома без призору два малолетка, спички от их спрятывали. А я-то в чужом дому, у Сковородника, и ем и ночую. Да не дают спать-то! Вставать надо вместе с солнышком. У Гудковых в зыбке годовалая девка, звали Таиской. Да ведь ты ее знаешь, на Судострое живет. В Северодвинском.

— У Лещова на поминках была.

— Приехала?

— Напилась да плясать пошла.

— Тьфу! Да кто играл-то?

Пан Зюзя смутился. (Дело в том, что после поминок он первый и забыл про Лещова и сам сволок со шкапа гармонь. Таиска северодвинская едва успела стереть с инструмента пыль, как ноги у нее сами пошли в пляс.)

Марья продолжала судачить:

— До чего мы дожили, царица небесная! На поминках пляшут, белым хлебом скотину кормят. Нет, видно, близко конец свету. А я вить эту Таиску вот эконькой помню. Такая была хорошая и по ночам не плакала. Зыбку средь ночи качнешь, она и спит. Днем робятка на улице все, кто на реку бежит, кто играет в галу. Одна я у зыбки сиди. Вот я девку на спину, на закукорки, да и тоже на улицу. Марютка, кричат, пойдем по горох! Тово году в колхозе наросло много гороху. Раньше-то полоса-две, а тут все заднее поле. Ржи в то лето не было, овса-ячменю совсем ничего, а гороху наворотило. Помню, и шти хлебали с гороховиком, до того недобро. В роте-то набьется... Ой! Вот зашли мы в горох и давай щипать, кто в кепку, кто в карман, кто просто в горстку. Я платок расстелила, робеночка в сухую борозду положила.

Дело под осень, тепло, комаров нету. Спит у меня Таисьюшка, а я с подружками стручки щиплю да щиплю. Вдруг бежит бригадир. Не помню, кто в те поры и бригадирничал, вроде Гудков. Оне часто менялися. Иной раз по два на году. Робятка с поля все врассыпную, кто куды, да и я в том числе. Спряталась за большой камень. Бригадир изловил одного, уши надрал да и ушел. Я из-за камня вылезла. Ну, думаю, Таиску схвачу да и тоже в деревню. Подхожу к тому месту, девки-то нет! Господи, у меня так серчо и обмерло. Я туды, я сюды — нет робенка-то! Что мне теперь будет-то, милые, может, звирь какой Таиску унес. По полю-то бегаю сама не своя, ревлю, а поле колхозное на версту, много гектаров. До чего я по нему доразалась, из силы выбилась. Ноги-то у меня в крове, сама плачу. Да и пала в горохе-то. Без памяти...

— Ничего себе! — сказал Валька.

— Лежала, лежала, не знаю уж, сколько пролежала, вдруг очнулася. Умом-то сама себе и думаю: вот жизнь моя и кончилася! Одна мне нонче дорога — в темный омут, прости меня, тятя с мамой. Дедушка спомнила, тятю спомнила. Одного-то на белом свете нет, другой жив, да неизвестно где. Заплакала я того пуще. Ревела, ревела, вдруг чую, вроде голосок сказывается. Стрепенулась я птицей. Господи, неужто поблазнило? Нет, слышу опеть. Где? Головой-то верчу, жду, когда витер уляжется. Ой, вроде оттуда! Бегу. Нет, нету. Я на старое место. Жду, жду — нету голоску-то, опеть не слышно. Матушки! Чево делать-то мне! Тут, чую, голосок-то совсем явстенно с другой стороны. Кинулась я, бегу, гляжу, а моя Таиска лежит в борозде и пеленки в разные стороны. Ногами тепет, пузыри губами пускает, и вот ей чево-то смешно! А в ротике-то один зубок, будто снежинка на десенке-то. Господи, до чего я ей обрадела, век не забыть.

Валька решил, что сейчас самый удобный момент, и уже открыл рот, чтобы опять попросить бутылку взаймы, но Марья лучше его знала все его планы.

— Нету, Валя, нету, милой. Была одна, да и ту Кочу отдала. Иди, ежели, да у него и спрашивай. Ой, а вить я парня-то не кормила.

— Чего его здря будить? Пусть спит.

— Давно он не спит. Онтонко? — За шкапом затихло какое-то шевеление. — Вылезай из-за шкапа, вставай со Христом. Не слушает баушку-то. Ну-ко штаны наде-

вай да марш к рукомойнику. Вот-вот, миленькой, я тебе водички налью. За ушами хорошенько потри. Вот какой у нас парень хороший! И нос вымыл, и ушки вымыл. Полотенце на гвоздик повешай да садись завтрекай. Я тебе сперва молочка налью. Это как так «не буду»? Это пошто «не хочу»? Во всех газетах только про молоко и пишут, по радиву тоже кажинный час. Все молока требуют, все ждут, а ты от молока рылом в сторону. Гляди! Не станешь молоко хлебать, большой не вырастешь, такой и останешься. Вот-вот, ешь, батюшко. По сторонам-то меньше гляди. Валентин, а Олешка-то Воробьев где нонь живет? Не в Мурманском?

— В Кандалакше.

— Я чево про Олешку-то спомнила, вить до семи годов титьку у матки сосал. Штаны ему сшили, на другой год в школу идти. А он все маткину титьку мумлеет да мусолит. Заревит весь, ежели не дают! Матке-то его жаль, возьмет да и сунет. Я его одинова спрашиваю: Олеша, батюшко, довго ли еще титю-то у мамы будешь требовать? Неужто до самой школы? Надо, батюшко, отставать. Он говорит: «Корова отелится, дак и отстану». А когда корова отелится? «Да на паску». А ты, Онтонко, не хочешь молока. Вот увезут тебя в Мурманское, там уж эково молочка не будет. Иди, бегай. Сейчас-то тебе слобода, а вот ужо приедут родители...

— Когда приедут? — с раздражением спросил Валька.

— Да на успенье. Уже тогды не то дело-то будет. От их ведь только и слышно: «Онтон, положи мутовку! Онтон, кошку не вороши!» Этого не бери, туды не бегай. И правда, ты, Онтонко, весь в свата Василья, такой рукосуй! Ты-то, Валя, не попьешь молочка?

Пан Зюзя почувствовал, что его начинает тошнить, и сделал вид, что не слышит Марьина предложения. Старуха продолжала:

— Глядишь, у ево опеть в руках какая-нибудь уразина. То шило, то ножницы. А то и до топора доберется. Вчерась молоток дала. «Бавшка, я буду молотком молотить». Молоти, батюшко, молоти. Сама ушла в ту половину. Он по пальцу — хлесь! Я гляжу издали, весь он напрындевел, ну, думаю, будет реву. Нет, вижу, стоит у лавки молчком, только ногой лягает да ручонкой трясет. Слезы-ти по щекам так и текут, а голос в себе держит, не выпускает. Я подождала маленько да и вы-

глянула: «Что, батюшко, помолотил?» Молчит. Ну, говорю, молоти еще, обмолотишь, дак веять будем. Возьмешь чистый височик, маслом пальчик помажешь да и завяжешь. Так скрозь все лето фронтовиком и бегает, то одно место завязано, то другое. На колышек его не привяжешь. А вот мамка один раз про Коча баяла... Это куды она, лешая, убрела? Хоть бы не заблудилась. Не про Коча, про евонного дедушка.

— Ну?

— Давно было, а знаю, что в ихном роду.

— Дак чево говорила-то? — У Вальки уже кончалось терпенье.

— Жили старик да старуха, у их был сын Антипа. Старик перед смертью велит Антипу женить. Невесту нашли баскую, дальнюю. После свадьбы на первый день невестка со свекровкой разругались, да с этого и пошло. Ругаются каждый день да все шибче. Сын-то от горя чуть не плачет, не знает, что делать. И матку жалко, и женку нельзя обидеть. Оне ругань подымут, у ево все нутро обмирает. Ну, чисто кошка с собакой! До того дело дошло, что стали за волосье друг дружку таскать. Антипа-сын плачет, у старика, у отца-то, совет просит: «Тятя, чево делать, не знаю!» Отец Антипе говорит: «А ничево, сынок, с ними не надо делать, только ножик со стола обирай».

Марья рассмеялась своему же рассказу, дремавший с похмелья тракторист снова очнулся.

— Антон, а ты у нас умный? — спросил Валька. Малый насупился.

— Чево долго думаешь? — поддержала Вальку и бабка. — Говори!

Мальчик сказал:

— Умный!

— У тебя сколько извилин?

Мальчик подумал и, показывая пять своих пальчиков, выпалил:

— Пять!

— Ну тогда ты и правда умный, — сказал тракторист. — Лично у меня только две. Одна для белого вина, другая для браги. А у трактора, знаешь, сколько всяких извилин?

— Трактор-от у тебя, Валя-батюшко, тоже не больно умен, — кротко сказала Марья. — Он у тебя только на одно вино и молотит. Бывало, как сейчас вижу, при-

гонили в деревню трактор. На колесах-то у ево вот экие зубья, сидит на ем человек в фуражке, от жару да пару, от карасинного духу лица на ем нету, а я-то, грешница, сарафан в руку и бегу прямо по грядкам...

Тракторист не выдержал и перебил:

— У тебя, Марья, ведь было-то две!

— Чево две? Руки-то?

— Две у тебя было, точно знаю.

Старуха замялась, но тут же опомнилась:

— Нету, говорю, нету, ты што не виришь-то?

— Я ведь сразу отдам! — Валька почувствовал слабинку, встал. — Как за июль по талонам выкуплю, так сразу! Как штык! Не стал бы просить... фляга только-только... Кабы выбродило, я бы, это самое... Не пришел бы. Я вам это... как только снегу порхнет, дров привезу. Самых березовых...

— Да нету! Вот истинный Христос, одна и была. Вон бери, ежели, талон, один и остался. Дочка говорит: «Оставь, мама, один-то, Валерка вот-вот со службы отпустят».

Пан Зюзя замер.

Марья, как утка, тяжело переваливаясь, подошла к шкапу, открыла дверцу, достала сперва очки, потом шкатулку со всякими квитанциями. Долго искала талон.

— Ты чево сразу-то не сказала? Сижу здря целое утро! Да я... Это самое... С Валерком-то мы найдем слой. Мы што, слой не найдем? Я его — во! С таких лет! В бане целая фляга. Ходит уж. Гудит, не хуже атомново Чернобыля. Выпьем, вторую навести плевое дело.

— Сиди, к водяному, со своей отравой! — рассердилась старуха, подавая Вальке талон. — Вон поглядико в окошко-то, у дому опеть машина. Милиция-то как тут и была, к тебе и приехали.

Валентин взглянул в окно и сразу обмяк:

— Точно. Ну, пропало дело! Ёствой мать, к бане пошли! Выльют, гады, как пить дать! Еще и акт напишут... Ну, Марья, я бегу! Спросят, скажи, что не видела...

Валька, намереваясь исчезнуть, пулей вылетел из избы.

Марья гладила белую Антонову голову, другой рукой придерживала занавеску и глядела в окошко. Двое —

один в форме — не дошли до Валькиной бани, остановились посредине загороды. Постояли в нерешительности и увидели за изгородью Коча, который обрывал картофельные рядки. Коч показал, куда надо идти. Они вышли из Валькиной загороды и пересекли улицу.

«Да какая это милиция? — подумала Марья. — Нет, это вроде бы не милиция. А чево им у нас-то надотко?»

У Марьи ослабли ноги.

Пожилой человек в офицерской форме уже ступил на крыльцо. Брякнуло старинное, еще дедушково, колечко. И впрямь, какая же это милиция? На плечах у милиции совсем не такие погоны. И фуражки другово цвету...

Анатолий Жуков

ПОЦЕЛУЙ МЛАДШЕЙ СЕСТРЫ

Красивая она у меня, темно-русая, сероглазая, статная, с плавной и быстрой походкой. И имя прекрасное, двойное — Людмила. Хочешь — Люда, Люся, можно и Мила. Я зову Людой. Удивительно гибки и изящны у Люды руки, очень выносливые, неустанные. С такими умелыми руками будь она и дурнушкой, я любил бы ее, пожалуй, не меньше, если не больше — сестра же, родная сестра, младшая к тому же. Я нянчил ее, кормил, учил ходить и говорить. И она меня любит ответно, причем не за эти благодеяния в ее раннем детстве, о котором она не помнит, а потому, что я родной брат, старший к тому же. А зовет по-нашенски, по-деревенски — братец. Она, стало быть, сестрица, а я — братец. Жили-были сестрица Аленушка и братец Иванушка...

— Здравствуй, братец! — говорит она распевно, поволжски, поставив чемодан у порога и обнимая меня. — Кажется, не виделись целую вечность — так соскучилась! И звонко целует в небритые щеки. — Опять тебе некогда, опять в запарке?.. Здравствуйте, мои родные! — Она целуется с моей женой, с обеими дочерьми и сообщает: — Я проездом от Толи, из Архангельска, вечером домой. Сейчас малость отдохну, сбегаю по магазинам —

и в аэропорт. — Она скрывается в ванной, чтобы навести легкий марафет, накудриться после долгой дороги.

И так всегда. Заскочит в два-три года на денек, и тот изведет на бытовые хлопоты: в городе у них ни дефицитных продуктов, ни модных промтоваров, а Москва еще выручает.

Муж Люды, корабельный радист, мой тезка, почти два десятка лет «ходит» по международным водам планеты, и живут они вместе лишь во время его отпусков да коротких пребываний его теплохода в советских портах. Тогда Толя дает домой телеграмму, Люда подхватывается со сборами, вымаливает на работе недельный отпуск без содержания, и одна, а чаще с сыном Сережкой летит в Ригу, Мурманск или Архангельск, чтобы побыть с мужем денька два-три, пока теплоход стоит под погрузкой. Толя любит море, тоскует без него, а она любит Толю и в жертву этой любви уже принесла учительскую свою профессию, призвание, вузовский диплом. В школе ведь немыслимы такие внезапные, когда придется, отлучки, и Люда уже сменила не одну профессию, научилась не одному делу, благо руки у нее умные, сильные и, как уже сказано, красивые.

— Ну, я ринулась по магазинам, братец. — Люда помахала рукой и уже с сумкой побежала к двери.

— Кофейку хоть попей, закуси. Что ты как нахлыстанная!

— Потом, братец, потом. Адью!

Я опять сажусь за письменный стол — срочная работа, к завтрему надо поспеть, — но дело что-то не двигается. Приветственные поцелуи Люды, как всегда, еще горят у меня на щеках, оставляя тревожное впечатление неясной вины и боли. Я опять вижу сестру юной, пятнадцатилетней, на пустынной сельской дороге, и сердце у меня ноет от беспомощности, оттого, что она остается у чужого поселка Бряндино, а мне ехать в глухое село Помряськино, где доярки — они сами написали об этом в редакцию — добавляют в молоко воду, чтобы выполнить план и стать «маяками», и где председатель колхоза пьянствует. На обратном пути редактор велел еще заехать в Татарское Урайкино и взять положительный материал для очерка о передовых кукурузоводах.

Тяжелый мотоцикл с коляской татакает на обочине — он плохо заводится, — песчаные дороги правильнее бы называть бездорожьем, августовская жара к полудню усилилась.

До Мелекесса тут не больше часа, но у меня еще нет водительских прав, территория нашего района кончилась, и первый же чужой гаишник поставит мотоцикл на прикол. Да и не успею я в оставшееся время выполнить редакционное задание.

«Людочка! — прошу я, извиняючись. — Ты проголосуй на попутную, ладно? Грузовики тут ходят часто. Видишь, вон уже пылит».

«Ладно, братец, проголосую».

«Не могу я, Люда, прав у меня нет. И времени в обрез. — Я поднял руку навстречу стремительно растущему грузовику, помахал, но он будто не заметил, обдал горячей пылью и укатил. — Вот негодяй!»

«Ты не беспокойся, братец, до ночи еще полдня, уеду. — Она стоит рядом с авоськой в руке, почти взрослая, но еще худенькая, угловатая, в легком платьице, самая младшая моя сестра. — Поезжай, братец, не теряй время. Я же слышала, сколько заданий надавал тебе редактор. До свидания!» —И неловко припала ко мне, чмокнула в щеку.

Детский ее поцелуй будто подстегнул меня. Развернув мотоцикл, я врубил газу до отказу, скорости все сразу, и рванул в обратный путь. Ничего, если и подождет лишние полчасика, ничего. Тут все на попутных ездят. На пригорке виновато оглянулся: Люда голосовала очередной машине, но та, будто специально, чтобы стегнуть меня побольнее, опять не остановилась.

На песчаной дороге чем быстрее хочешь ехать, тем безнадежно медленней получается: сухой песок податлив, текуч, колея у мотоцикла с коляской у́же автомобильной, я еду между колеями, срываясь то задним колесом, то боковым прицепом, буксую, и тогда, спрыгнув с мотоцикла, толкаю его, паразита, а в нем триста с лишним килограммов. И затылком все еще вижу Люду с поднятой рукой и проносящиеся мимо нее бесстыжие грузовики. Ради чего я тут маюсь, куда спешу, бросив на проселке родную сестру?

В километре от Помряськино, захудалого степного села, два комбайна обмолачивают тощие валки колхозной пшеницы. Вернее, обмолачивали, а сейчас стоят в ожидании разгрузки бункеров. Неподалеку лафетные жатки валят реденький ячмень. Комбайнеры ругаются: зачем валить, а следом подбирать, если зерно поспело? Глупость же, надо сразу напрямую. А тут — двойная работа, двойные затраты, двойные потери... Куда смотрит

наше начальство? На дно стакана смотрит, в загуле оно, председатель укатил на грузовике за водкой. Потому и стоим.

На ферме доярки подтвердили: да, это мы писали в газету, да, и сейчас разбавляем молоко водой, да, не хотим быть такими «маяками»...

Председатель у них был крупный, лет сорока пяти, весь награжденный, будто на парад собрался, горластый, опухший от водки. Он сидел в своем кабинете колхозной конторы, брезгливо жевал сушеную рыбешку и глядел на меня, молодого газетчика, снисходительно:

«Валят спелый ячмень? Ну и пускай валят, приказано убирать раздельно, мода теперь такая... На ферме разбавляют молоко? Так ведь жирность летом всегда ниже, скушаете. У меня вон колхозные свиньи на кладбище свежих покойников жрут. Одного и сейчас за ногу таскают по могилам, можешь поглядеть... Ну не злись, не злись, я шутю! Что еще делать? Кормов нет, урожай скудный, распоряжения глупые... Почему выполняю? Попробуй не выполнить! А я солдат, войну прошел, тебя защищал, между прочим».

«Хватит паясничать! — не стерпел я. — Меня защищали отец, его братья и братья матери. И трое из них там остались — понял, защитник? Навсегда остались, навечно! А я с детских лет в упряжке под началом таких, как ты, награжденных и заслуженных. И такие, как ты, герои куражатся и еще смеют меня попрекать!»

Председатель удивленно откинулся на спинку стула:

«Выходит, я что же... сволочь?.. Я, фронтовик, ветеран, орденоносец, коммунист...» — И вдруг замотал головой, упал зазвеневшей грудью на стол и заплакал надрывными, пьяными слезами.

Я был еще молод и верил, что нормальные, здоровые люди добросовестны, порядочны и самоотверженны. А тут в горячее время страды пьянствует руководитель хозяйства, и из-за этой пьяной размазни я оставил на проселке свою сестренку. Да гнать его, гнать в три шеи, чтобы не разваливал тут колхоз, не заслонялся званием коммуниста и ветерана!

Гневный свой фельетон, после которого председателя сняли, я писал, видя перед собой не только обозленных комбайнеров, виноватых доярок и пьяного председателя, но и безнадежно голосующую Люду в облаках пыли и дыма от равнодушно бегущих мимо машин. Они тоже торопились выполнить задания семилетки, и что им ка-

кая-то девчонка с авоськой, которую даже родной брат оставил у дороги.

Ну да, шофера тех машин не знали, что ее оставил родной брат, не знали, что он такой же активный, заряженный идеями борьбы за коммунизм, победа которого была обещана через двадцать лет, но я-то об этом знал. Правда, я справедливо надеялся, что не бессердечные же они люди, наверняка имеют дочерей и сестер и не могут не взять мою Люду, которой и ехать-то осталось не больше часа. А у меня неотложные дела, которыми пренебречь я не мог. Правда, никакие дела не могут быть важнее человека, но вот и шофера почему-то не останавливаются, тоже куда-то стремятся, спешат...

Ах, господи, как же бестолково бурлил я тогда, как искал виноватых вокруг себя! Может, еще потому, что тосковал о родном совхозе, оставленном два года назад, после вызова в обком партии и направления в районную газету. Но не принудительно же поехал я в газету, охотно поехал, из нетерпеливого желания приносить больше пользы своей великой Родине, из неудержимого стремления полнее реализовать свои способности, свои силы на благо родного советского народа. Вот ведь как высоко! А Людочке тогда было только тринадцать лет, ровно вдвое меньше, чем мне, она еще нуждалась в моей опеке, я же старший, я отвечаю за них. Ну да, я уехал не на край света, а только в соседний район, я не оставляю их без внимания, моих родных, к тому же трое уже выросли, осталась младшая, последняя, но и она радовалась, что я буду работать в редакции, заранее гордилась тем, что одну из настоящих газет, какие разносят по домам почтальоны, будет *составлять* ее любимый братец. И все же, уезжая из совхоза, я с сердечной болью переживал прощанье с мамой и младшими сестренками, ощущал на лице их торопливые поцелуи и слезы. Особенно жалел Люду, она ведь младше Вали на целых три года, она последняя у нас, самая ласковая, самая нежная, и она никогда не видела отца. Все мы знали его, помним, а ей помнить было нечего. Мои рассказы о нем только увеличивали боль потери: такой-то хороший, заботливый, любящий, а она его даже не видела. Она родилась восемь месяцев спустя после ухода отца на фронт, а еще через пять месяцев, в конце января 1945 года, нам прислали похоронную.

Мать лежала на кровати вниз лицом и вздрагивала от сдавленных рыданий; в голос, с причитаниями вопила

больная бабушка, ее мать; заливались испуганно Тося и Валя, безмолвно лились слезы у нас с Шуркой, меньшим моим братом. Мы с ним считались уже взрослыми, четырнадцати и двенадцати лет, почти мужики. И даже крохотная Люда, полугодовалая малышка, жалобно хныкала в своей зыбке, слыша семейное горе и не понимая его.

Я вынул ее из зыбки, перевернул в сухую теплую пеленку, и она, прильнув ко мне, успокоилась, уснула.

Она всегда успокаивалась у меня на руках, мне тоже было приятно держать, прижимая к груди, маленькое горячее тельце. А весной, когда нас отпустили на каникулы, я уже учил ее ходить. Она держалась за мои пальцы, я потихоньку пятился от нее, и она, неуверенно поспешая и качаясь, будто пьяная, переступала по полу худенькими ножками. Мы все тогда были худые, тощие. А когда в обеденный перерыв или вечером, после работы мы ходили на пруд купаться, я брал ее с собой и нес на закорках. И опять было приятно ощущать спиной ее тело, ножки, которые я держал за подколенки руками, и ее ручонки, обнимавшие меня за шею. «Но-о, лошадка!» — кричала она, пытаясь пришпорить меня босыми пятками, и я, с идиотским ржаньем, припрыгивая, бежал по траве к берегу, как если бы был верховой лошадью под седлом, а Люда звонко смеялась и визжала от радости. Она не знала, что я мог устать за день: я ведь был уже большой, мама не раз говорила им с Валей, что я у них за отца.

И еще я вспомнил о раннем чувстве милосердия у Люды, о том, что она не боялась его отстаивать, это чувство, поднимаясь порой до великодушия. Такая-то крошка. Однажды, когда ей было года два с половиной или три, за праздничным семейным обедом я легонько стукнул Тоську ложкой по лбу: не лови до времени мясо из общего блюда, ты не лучше других. Отеческое наказание старшего, обычное и необидное в крестьянских семьях того времени. Но Люда тут же вступилась за сестру: «Она же не съела, братец, она нечаянно!» Мама строго сказала, что порядок есть порядок, Тоське девять лет, совсем взрослая, должна соблюдать. Если зачерпнула нечаянно — положи, а она ко рту понесла. «А мне и не больно, — сказала, ухмыляясь, Тося. — У меня как раз тут чесалось!» И махнула рукавом по мокрому лбу.

Никого сейчас нет поблизости из родовой нашей

семьи. Разлетелись-разъехались по разным городам все три сестры, в Казахстане живет единственный мой брат. Конечно, все они давно семейные, немолодые люди. У Шурки, то есть у Александра Николаевича, уже есть внуки. Сын Люды, Сергей, тоже почти взрослый, заканчивает девятый класс. Но по-прежнему я чаще тревожусь о ней, меньшей моей сестрице: она хоть и ближе всех, в Ульяновске, но город большой, не очень уютный для сельского душой человека, муж вечно где-то плавает, и она одна, одна, одна. И Сережка растет без отца, набалованный, строптивый...

Я перебираю бумаги на столе, перечитываю разные заготовки, выписки, высказывания авторитетов о семье, чтобы сосредоточиться наконец и написать заказанную статью. Но дело что-то затормозилось и не идет. Может, потому, что современная семья — не просто важная, злободневная тема, а нечто большее для меня, глубоко личное, безнадежно больное. И Люда тут вроде бы кстати, я кружу возле нее со своей непонятной виноватостью, все пытаюсь понять, в чем моя вина, и не понимаю.

Я уже не сомневаюсь в своей вине, потому что я всегда уходил, уезжал, улетал от своей сестрицы — сперва в школьный интернат, потом на работу, на службу в армию, в газету, на учебу, в бесчисленные журналистские командировки. Их нельзя было отложить, мои командировки, потому что число людей, подобных пьяному председателю, сердитым комбайнерам и виноватым дояркам, не уменьшалось, за развалепными колхозами и хилыми совхозами тосковали брошенные земли и деревни с заколоченными домами, и я писал об этом, будто от моих писаний что-то исправлялось, уезжал постоянно от семьи, пока не потерял ее. Во второй семье постепенно привыкли к моим поездкам, к тому же теперь они стали пореже, а сестер я не видел годами, особенно Люду. Может, поэтому каждое прощанье с ней не забывалось. В бестолковой нашей жизни, когда мы больше живем не своими заботами и заботами родственников, а вмешиваемся в судьбы других, часто совершенно незнакомых людей, занимаемся их производственными и бытовыми неурядицами, уверенные, что иначе нельзя в нашей коллективистской демократической стране, — так вот, в бестолковой этой жизни зеленым островком устойчивого порядка было воспоминание об отцовской прочной семье, которая теперь развалилась, и среди того далекого

островка стояла в окружении родителей и нас, старших детей, Люда, младшая, оберегаемая нами и любящая всех нас. Маленькая, она награждала меня ощущением ранней взрослости и ответственности за нее, подростком она уже умела прощать наши ошибки, а взрослая стала самоотверженной и великодушной. Я почти не помню встреч с ней, в памяти остались только расставания, всегда я уезжал, а она оставалась, и ее прощальные поцелуи горели на моем лице, как укор жестокосердию, хотя она никогда ни в чем меня не укоряла. Только спрашивала, и всегда с заботой, обо мне. «Ты скоро приедешь, братец?» — спрашивала она в детстве, когда я уходил на работу, и в ее вопросе слышалось опасение, что вдруг по какой-то горестной нечаянности я не приду совсем.

«Братец, а ты правда-правда вернешься?» — прошептала она мне на ухо в суматохе проводов в армию, и, помнится, я удивился недетскому ее горю в глазах, ее страху за меня. Хотя чего удивляться. Все провожавшие тогда были по обычаю хмельные, пели «Последний нонешний денечек...», плакали, и это ее, дошкольницу, пугало. После войны прошло всего пять лет, она так и не дождалась отца, которого, по нашим рассказам, провожали вот так же всей деревней, тоже хмельные, с такой же песней, и он не вернулся, не увидел младшую свою дочку.

В армии, особенно в первые месяцы службы, по-крестьянски тоскуя о земле, о доме, я часто думал о своих родных, видел во сне меньшую сестричку, ощущал худенькие ее руки, сомкнувшиеся у меня на шее в прощальном объятии, детский ее поцелуй в щеку, возле уха. И с каким-то горьким наслаждением вспоминал разные бытовые случаи нашей жизни. Например, о грозе.

Вскоре после войны, в сильную грозу, сотрясавшую ветхий наш домишко так, что дребезжали стекла в окнах, мои сестренки сгрудились вокруг меня и опасливо следили за Шуркой, который торопливо закрывал печные задвижки, а меньшая Люда, сидевшая у меня на руках, заметила за расстегнутой рубашкой сосок у меня на груди, припала к нему губами и зачмокала, засопела. Мы все тогда были голодны, но смеялись над несмышленой Людой весело и уже не так боялись грозы, истерически хохотавшей над нашей деревней, над нами, голодными среди черноземной совхозной равнины.

Тогда же, в армии, я с тревогой заметил, как начинает распадаться наша семья. На третьем году службы

я получил солдатский треугольник от Шурки, солдата-первогодка, который мечтал после увольнения в запас закатиться в Темир-Тау, на большую индустриальную стройку, что потом и осуществил. Тося тогда училась в педагогическом техникуме и планировала уехать к тете в Караганду, чтобы работать там воспитательницей в детском садике. Валя видела себя городской учительницей, Люда глядела на нее. И когда меня вызвали в политотдел и предложили остаться в армии — возглавишь комсомольскую организацию своего полка, пошлем на учебу, станешь кадровым военным политработником, — я решительно отказался. Какой политработник, когда дома так неладно!

Деревня меня встретила с радостью и надеждой. Из годков-сверстников здесь осталось всего четверо, включая меня, но самоотверженная мама, узнав о перспективе стать офицером, сожалительно вздохнула: «Что же ты не рискнул, сынок? Там, говорят, и жалованье хорошее, и одевают-обувают даром». Я огорченно удивился: «А как же вы?»

«Что ж мы? И нам оттуда помог бы побольше. А тут что сделаешь? Земля не наша, дом разваливается, зарплата только на хлеб...»

Да, заработки в совхозе оставались скудными, урожаи низкими, порядка нет, и моего терпения хватило на три с половиной года. Предложение работать в газете мама одобрила: девчонки, считай, выросли, Людочка перешла в седьмой класс, поезжай. А Люда посулилась через годик-другой быть в гостях. Тогда она станет совсем-совсем взрослая и приедет одна, без сопровождения.

И вот она приехала, как обещала, и после своего первого гостеванья оставлена на степной дороге, стоит с поднятой рукой, и проходящие грузовики обдают ее клубами пыли и дыма, а она все же не опускает руку, терпеливо голосует, но машины мчатся мимо, мимо, мимо, и она стоит там вот уже тридцать лет, ждет, и все эти трудные тридцать лет я, торопливо оглядываясь, уезжаю от нее, и у меня полыхают уши от стыда за эту торопливость, за вечную свою занятость, за то, что у меня нет прав (я их тогда получил в ГАИ через месяц после отъезда Люды), за неспособность плюнуть на всякие права и на занятость ради человека, к тому же родного человека, любимой моей сестрицы, самой меньшей, последней.

Часто думая и тревожась о ней, я назвал младшую



свою дочь Людой, но это меня не успокоило, конечно, хотя девочка мне кажется похожей на сестру, а почерк у них одинаковый, один к одному. И вот я сижу за письменным столом, перебираю бумаги, пытаясь возвратиться в рабочее состояние, а сам прислушиваюсь к каждому шороху у двери, жду ее, мою сестрицу.

Из похода по магазинам Люда возвратилась нагруженной как вьючная лошадь, только в зубах не было сумки.

Я с радостью оставил письменный стол, мы устроили семейное чаепитие, Люда рассказала нам о родственниках и знакомых, а потом мы помогли ей уложить чемодан, и я проводил ее до автобусной остановки.

Сидя на лавочке в ожидании автобуса, Люда озабоченно сказала, что я пишу, должно быть, о чем-то трудном, если так непривычно молчалив и забыл побриться. Я ответил, что пишу о семье, которая распалась, о нашей, в сущности, о родительской семье.

— Но как ее сохранишь, если мы давно выросли, братец! — возразила Люда. — Мы же создали новые семьи, свои. Пусть не такие большие, как у наших родителей, но зато целых пять семей. Из одной!

— Шесть! У меня — вторая. У Тоси развалилась. Ты одна...

— Но не мы же виноваты, братец! Зачем же печалиться?

— Не знаю, Людочка, если бы знать.

Она склонилась к моему плечу, поворошила чуткой и ласковой рукой мои волосы:

— У тебя по-прежнему густые и волнистые волосы. Только очень много седины. Скоро вся голова станет белой... Знаешь, почему в тебе эта печаль о семье? Потому что ты у нас старший и горюешь уже не от себя, а как бы за отца. И обо мне тревожишься поэтому. Я ведь не знала его, и с тобой мы все врозь и врозь.

— Может быть. Я до сих пор вижу тебя на дороге у Бряндино. Помнишь свое первое гостеванье?

— Но я же тогда благополучно доехала, братец, сколько говорить!

— Хорошенькое благополучие — ждала до вечера.

— А что сделаешь, если была уборка и машины торопились с хлебом на элеватор.

— Они всегда торопятся: весной с семенами, осенью и зимой с фуражом, летом с хлебом... И вот ты стоишь на жаре и в пыли час, другой, третий, четвертый, пя-

тый... Губы, наверно, запеклись от жажды, а машины все не останавливаются, надежда уехать тает, надвигается ночь, а они будто не замечают тебя, подростка, совсем еще девочку...

— Но ведь один все же остановился, я же говорила. Старый такой дядечка, добрый, даже денег не взял. И при чем здесь ты, братец? Я же точно знаю, что ты не мог тогда ехать дальше Бряндина, о чем беспокоиться! И вообще хватит об этом, сколько можно!

— Да, конечно, хватит, ты права. Это, наверно, от больного воображения, комплексую, пунктик такой образовался, накатывает одно и то же наваждение, извини.

— Да ладно, о чем говорить! — Она притулилась ко мне, чмокнула в щеку. — А помнишь, как ты встречал меня в Люберцах, а потом мы сидели, обнявшись, в автобусе, ты поцеловал меня вот так же, а старая тетка принялась нас стыдить? Такие-сякие, милуются с утра, потерпеть до ночи не могут! Как же мы тогда смеялись!

— Да, смеялись мы весело, радостно — долго не виделись, кажется. А вот других встреч я не помню. Запоминаются почему-то одни прощанья.

— Правда? А я, наоборот, помню только встречи. Они всегда радостные.

Подошел автобус, мы попрощались. Я подал чемодан Люде, автобус нервно захлопнул дверцы, сразу отрезая от нее, фыркнул и, обдав меня дымом, поплыл, удаляясь.

Люда стояла у заднего окна, махала рукой, и у меня горели щеки от торопливых ее поцелуев. Я уже знал: вот сейчас скроется за поворотом автобус, и опять возникнет она, меньшая моя сестрица, худенькая девчонка на степной дороге, — в одной руке легкая авоська с гостинцами маме, другая поднята навстречу попутным машинам, которым не до девчонок. И Люда будет стоять тут час, и два, и три, и четыре, и пять, а они все будут мчаться мимо и мимо, даже не притормаживая. Да остановитесь же наконец, братцы! Негодяи вы, что ли? Не до самой же ночи ей ждать, не вечно же мне быть виноватым!

Владимир Карпов

ПРИВЫЧНЫЙ ВЫВИХ

Сухого кряжистого старика с морщинистым лицом и длинными белыми волосами Борис узнал сразу — он торговал билетами лотереи «Спринт» в переходе около центральной площади. Сидел неподвижно, как истукан, и монотонно, скрипуче повторял: «Счастливые билеты... За рубль — автомобиль...» Походил на Скупого рыцаря, точнее на старого гримированного актера в роли Скупого рыцаря. Юноша и девушка рядом с ним за ресторанным столиком, как скоро выяснилось, оказались его сыном и снохой — миловидная такая окольцованная парочка! Впрочем, Юра, сын, был гораздо привлекательнее жены, если говорить о внешности, — с нежными, правильными чертами лица, и не то печальным, не то безразличным ко всему отсутствующим взглядом. Таню, жену его, можно было скорее назвать броской — зубастый ободок глаз, густая плоть ярко накрашенных губ, выпирающая из-под губ белозубая улыбка... На улице таких сотни. Хотя вот оказался Боря напротив нее — защемило дух, словно закусила она его своей этой общей зубастостью.

Борис же пришел в ресторан с женой в знак примирения после очередной семейной размолвки. И было им немножко странно: старика лотерейщика они вот помни-

ли, а их, актеров областного театра, довольно часто мелькающих на экране местного телевидения, не узнал за ресторанным столиком никто.

Разговорились. Старик сразу задал тон: при всей своей интеллигентной, утонченно-интеллигентной внешности несколько с блатной даже бравадой рассказал, как пару дней назад хорошо «поддал» — слово это тоже не вязалось с его обликом, — открыл коробку «Спринта» и давай рвать билеты! Дома было четыре коробки — все изорвал! И ничего. Восемьсот рублей в трубу выбросил! Такой азарт в старике тоже было трудно заподозрить. Правда, по его словам, девять продавцов из десяти в городе знали, что в поступающей партии должна прийти машина, ловили выигрышный билет. И вот, подлая жизнь, попался он тому, десятому, — только устроившейся новенькой женщине. А та, дура, конечно упустила из рук...

Называли его молодые «батей». На Тане были золотые серьги, кулон, и она похвалялась: «Это все батя мне, батя...» Батя скоро пригласил на танец жену Бориса, привстав, медленно склонив туловище и протянув руку — ну точно, будто Скупой рыцарь к сундуку! А Боря, пользуясь случаем, потянул на пятачок перед эстрадкой Таню. Та опять принялась хвастаться: «Он нам может и машину купить, если захочу...» Она своими глазами видела батину сберкнижку, на которой двадцать пять тысяч, но у него, наверное, не одна, еще есть. Борис при своем актерском окладе в сто тридцать рублей и прочих небольших приработках был ошарашен: откуда? Неужели такие деньги приносит торговля билетами «Спринт»? И Таня объясняла: если в очередной коробке останется совсем немного билетов, а выигрыша не было — продавец обычно покупает оставшиеся билеты сам. Когда людям выпадает выигрыш, допустим, рублей пятьсот, то лотерейщик предлагает выдать сейчас же наличными, скажем четыреста семьдесят пять, дескать, больше у него при себе нет. Люди, конечно, соглашаются, подумаешь, четвертак, все равно дармовые деньги, зато никуда ходить не надо... А раньше батя ездил шабашником по селам, потом сам уже не работал, был кем-то вроде маклера у шабашников. Теперь занялся этим делом: если он занялся, значит, навар есть...

Юра же, не в пример жене, все больше молчал и не поднимался из-за стола, ухмылялся только — как это они сейчас научились ухмыляться, расслабленно, притом-

ленно и снисходительно. Лишь изредка что-то ироничное вставлял — опять же как сейчас любят вставить ироничное словцо. Но Борис тоже не лаптем щи хлебал, и с умниками вел себя просто — не обращал внимания. Это для них хуже всего, для умников. Говорил с батей, а когда тот уводил жену Бориса танцевать, исключительно с Танюшкой. Она как-то все ближе делалась, начинала казаться простой, отличной девчонкой! И в театр он ее уже успел пригласить, хоть контрамарку оставит, хоть со служебного входа проведет. И как бы для того, чтоб к театральному искусству приобщить, телефон мужских гримерных ей дал.

— Дружок мне один рассказывал: пришел он к женщине, — веселил Боря компанию, пытаясь выглядеть свойским парнем, невольно как бы подыгрывая бате. — Приятная из себя, порядочная, квартира двухкомнатная, правда, ребенок. А жена у него... Вот если бы туалет был не в квартире, она бы за ним туда ходила, следила. А тут еще работы у него много, халтуры — некогда гулять, а... охота! Ну, дома он большую предварительную работу провел, блесна какие-то точил — на рыбалку собирался. Версию заранее придумал: мол, рыбы наловил — во! Инспекция накрыла — пришлось отдать, чтобы не засадили. Короче, пришел. Коньячку бутылочку купил, с бормотухой, говорит, думаю неловко — она начальница какая-то. Гляжу, говорит, она в халатике, на кухню побежала сразу, того-сего приготовить, ага, думаю, нормально. Прошел, сел на диван. А там этот, ее ребенок. Лет пять пацану — и давай по нему, и давай! Он аж, говорит, с ним и на четвереньках, и в прискок... В поту весь — со своим сроду столько не играл! Стала она его укладывать — часа полтора сказки ему рассказывала, былины разные... Уснул. Только сели за стол, разлил по рюмочкам — ба-ба-бах! Этот пацан в двери: «Мамка, — орет, — мамка!» Да так, будто там его режут. Опять ему сказки, и колыбельные, и блатные... Снова сели, только рюмочками дзинь! — ба-ба-бах! «Мамка, — опять орет, — мамка!» И так еще раза три. Где-то уж в двенадцатом сели за стол, оба на цыпочках, полушепотом... Подняли рюмки, он говорит: давай за твоего пацана, активный парень растет. Она: «Ха-ха-ха». Закатилась. Он рюмку-то ко рту подносит, глядит — фигня какая-то! Она как хохотала, так и осталась с разинутым ртом. И смотрит, говорит, так... Остолбенело. Он спрашивает: чего ты? Она в ответ: «Ы-ы-ы...» Он понять не может, дурачится иль

того... А она опять: «Ы-ы-ы...» И челюсть у нее — вперед куда-то выперла. Взяла карандаш, написала: «Привычный вывих». Называется так, привычный. Он у нее уже одиннадцатый раз. Зевнет широко иль расхохочется сильно — и челюсть вылетает. Ну, говорит, думаю... Стали вправлять эту челюсть, тянул ее за зубы, тянул, ничего не получается. Пришлось идти в травмопункт. А как раз чемпионат мира показывали. Иду, говорит, и думаю, сидел бы сейчас дома в кресле, смотрел хоккей или уж на рыбалку, правда, поехал. Вправили ей там, вернулись. Он наливает, ну, говорит, давай, чтоб дальше без вывихов. Она: «Ха-ха-ха». Опять как хлебало-то разинула, так и застыла! Что ж ты, говорит, думаю, дура, гогочешь-то без конца! А она еще и в рев, с ней чуть ли не истерика! Опять в травмопункт! На этот раз ей все лицо замотали, чтоб не хохотала, одни глаза остались. А он, говорит, вернулся, оглоушил всю бутылку и лег на раскладушку. Утром, говорит, иду домой: счастливый — жене не изменил и заразу, точно знаю, никакую не прихватил!..

— В мозгах у вас... вывих, — снова покривился Юра.

Борю задело это «у вас». У него-то, значит, у Юрия, вывиха никакого нет! Прочитал поди за жизнь полторы книжки, две-три мысли усвоил, а спеси!.. Ладно, ухмыляйся, подумал мстительно Боря, проухмыляешься... Тане он «по секрету» сообщил, что история, какую рассказывал, приключилась вовсе не с каким-то другом, а с ним самим, чем вызвал у юной женщины взрыв хохота и доверия! Соврал, конечно, в обоих случаях: история была собирательной.

Старик оказался самым стойким кавалером: танцевал не только с женой Бориса, но и с молодой снохой, которая с течением вечера становилась все более возбужденной, и в широко раскрытые ее, как бы прочмокивающие разводы глаз Боре так и хотелось прыгнуть с моста без разгона! Но приходилось придерживать коней. Рядом была жена, да и Танюшкин муж, какой ни есть он ухмылистый... Когда оставались за столиком втроем, без бати и Тани, Боря изо всех сил старался ухаживать за женой, хотя на самом деле пережидал время. А жена, видимо, чувствуя перед безучастным ко всему Юрой неловкость или по-человечески заинтересовавшись им, пыталась его разговорить. Получалось это, если слушать и смотреть со стороны, довольно забавно.

— А вы, наверное, где-то учитесь?

— Нет.

Молчание. Жена понимающе, с состраданием в глазах, кивает.

— Работаете? — опять волной надвигался наполненный округлый звук.

— Работаю, — отвечал хлипкий, угасающий голос.

Молчание. Кивание.

— А где?

— Здесь.

— В этом ресторане? Кем?

— Сторожем.

Юра рисовался, но не шутил — он был как бы выше этого. Стало понятно Борису, почему официант Игорь, обслуживающий стол, тоже весьма слащавый малый с капризно вздернутой верхней губой, то и дело подходил, склонялся к Юре и Тане, приобнимая их, чего-то говорил им...

Как только Таня была за столом, Борю снова охватывал прилив красноречия.

— За троицу! — поднял он тост, вспомнив, как утром старухи в трамвае говорили, что троица сегодня. В данном случае и на Юру немножко постарался «сработать», давно заподозрив, что парня этого, как всякого слабого, замкнутого на себе человека, должно притягивать мистическое, потустороннее. — Сегодня же троица: за отца, сына и святого духа!

И все уже было дружно подняли фужеры — женщины вообще с большой охотой пьют за религиозные праздники, чем за любые другие, включая сюда даже Новый год и собственный день рождения. Звякнуло в чоканье торжественно стекло...

— А ты разве веришь? — тихонько, мягким своим голосом спросил вдруг Юра.

И словно подсек Борю, как легко можно сбить подножкой не ожидающего того человека.

— Да при чем здесь... веришь, нет, — пытался душевно отвечать Боря, но слова уже застревали: отбрыкивался он, а не отвечал. — Праздник — почему его не отметить? Может, и зачтется, а?! — искал он поддержки у остальных.

Юра глядел уныло исподлобья — был он все-таки собою не то чтоб уж очень красив, а именно хорош, мил, изнеженно мил, как подумалось Борису.

— Зачем? — опустил он глаза. — Для кого-то это вера, святость. Пусть они заблуждаются, а мы нет... Зачем притворяться? Раз не верим, давайте так и будем пить — молча...

Боря, конечно, мог бы при усилии воли найти резонный ответ. Но не хотелось. Он ведь и сам подумал примерно как Юра, когда Танюшка напротив взметнула ресницами, ах, дескать, неужели сегодня троица!.. Троица иль христов день, все едино — лишь бы праздновать! И взглянул тогда Борис на изнеженного, ломучего с виду юнца, иначе.

Юра не был юнцом. И не только потому, что исполнилось ему уже двадцать два года (выглядел он на восемнадцать). В какой-то момент, когда остались один на один, Юра вдруг без всякого к тому повода спросил:

— А хочешь, я про твою кое-что скажу? — И продолжительно так, искоса посмотрел.

И Боря даже при желании ничего вымолвить не смог: настолько неожиданным был вопрос. Знает он жену, что ли? Видел где-то? С кем-то? Здесь!.. В ресторане!.. Да нет же, нет, не могла она здесь быть ни с кем... Боря уж готов был в него вцепиться, говори, закричать, говори все, что знаешь!.. Да вовремя сообразил — это же он так, осадить, нервы пощипать, психологический практикум...

— Тебя это волнует? — прищурил пристально глаз Юра. И сам себе ответил: — Волну-ует...

Протянул он это по обыкновению с усмешкой, но не в адрес Бориса, а как бы подытоживал свою какую-то мысль. И умолк в иронической сосредоточенности.

У Бори совсем отлегло от сердца: он стал понимать дело так, что Юра всего-навсего хотел свою проницательность проявить, назвать какие-то подспудные черты характера его жены...

— А я тоже когда-то хотел актером стать... — еще раз, теперь уже окончательно, вышиб Бориса Юра из себя.

Или наоборот: вернул к себе. Стыдно стало!.. Выходит, все этот парень видел, замечал, все «ужимки и прыжки»; другому оно, может, и простительно, а ему, актеру, носителю духовности, как ни говори, очень уж стыдно.

И потом, уже на улице, где они опять же были один

на один, вышли «дыхнуть» воздухом, Юра рассказал, как поступал в театральный институт и почти год прожил в столице. Говорил по-прежнему сквозь ухмылку, тоном нарочито бесстрастным и безразличным — горько ли ему, приятно ли, понимают его, нет...

После десятого класса Юра и его лучший друг Игорь — тот самый официант, который обслуживал стол, — поехали в Москву поступать в театральный. Оба всегда считались красавцами, участвовали в самодеятельности, куда им, как не в артисты?

Устроиться в гостиницу не смогли, ночевали на вокзалах: на Казанском, на Ярославском... К ним тогда часто подходили мужчины, приглашали к себе домой, музыку послушать, коньячку выпить... Они с Игорем сначала не понимали, в чем дело, думали, ограбить их хотят, в какую-нибудь преступную группу затянуть... Измучившись совсем, согласились поехать к одному, деликатному такому с виду, толстенькому человеку — решили, может, просто добрые люди им попадаются, готовые бескорыстно помочь... Посидели, выпили хорошо, легли спать, проснулся ночью, а его кто-то целует... После такого ночами уж ни ногой с вокзала. Мужчин этих научились сразу, по взгляду различать — смотрят, как на женщин. И наоборот — как женщины. Обольстительно. Да и повадки все, слова, какими мужчина женщину завлекает... На экзамены, на творческий конкурс, приходили замызганными, невыспавшимися — поживи-ка неделю на вокзале! Присесть негде, найдут место, притулятся только — милиционер будит, документы проверяет... Провалились, конечно, оба. Хотя был с ними третий, рябой, морда утюгом, поступил! Теперь уже в кино мелькает... А они — нет. Игорек сразу уехал обратно, домой: он и поступал-то больше за компанию, из солидарности с другом. А Юра остался: ему действительно хотелось стать артистом. Он и на гитаре ничего... лабал.

Юру познакомили с женщиной, которая пообещала с ним позаниматься и через год устроить его в театральный. Он поселился у нее — как бы помогать, присматривать за квартирой, когда хозяйка уезжала, выгуливать собаку... Было ей сорок семь лет, ему шел восемнадцатый. Правда, она очень следила за собой, выглядела неплохо для своего возраста... Юре, как периферийному мальчику, нравилось, что его женщина вращается в высоких кругах и часто посещает заграницу. Он привязался к ней — она была для него первой...

Рядом вдруг появился распаленный официант Игорь, оценил метнувшимся взглядом обстановку.

— Разговариваете? А я уж думал, вы тут... — он изобразил жестами легкий спарринг руками. Попросил закурить, затянулся, и тут же, поняв о чем разговор, совершенно беззастенчиво поведал:

— У нас с ним примерно в одно и то же время одинаковая история вышла. У директрисы вагона-ресторана жил — той уже весь полтинник был, но из себя тоже — еще сядет на диван, закурит, ногу на ногу и халатик так специально откинет... Она по пятнадцать суток работала: пятнадцать в поездке, пятнадцать дома. Уезжала, мне две сотни оставляла и ключи от квартиры! Сейчас бы, конечно, на фиг она нужна, а в восемнадцать лет: чего не жить, не балдеть?! И вот же, тварь старая: как-то вернулась из поездки, я свое отработал — и через пару дней насморк, который не из носа! Ну же, корова ненасытная!.. Главное, я как раз ни с кем не был!..

Истории действительно были похожи: более интеллектуальная Юрина пассия денег давала ему меньше, но приодела, купила кожаный пиджак, джинсы... И кончилось все тем, что Юра узнал о существовании еще одного, более взрослого любовника у своей молодящейся сожительницы... (Кто она, кем работала, говорить он не захотел.) Был тогда апрель, начинали щебетать весенние птицы и будоражить в потерявшейся юной душе тоску по дому. До экзаменов оставалось совсем недолго — творческий конкурс в театральный начинается уже в мае. Юра снял кожаный пиджак, снял фирменные джинсы, облачился в старый костюм, купленный когда-то покойной матерью, и с трешкой в кармане отправился на Казанский вокзал. Дождался нужного поезда, прошел в общий вагон и ехал двое суток на третьей полке, почти не спускаясь вниз, голодный, поджав ноги и прижимаясь хребтом к перегородке.

В армии Юра не служил: они тогда с Игорьком стали немного покалываться, но Игоря все-таки призвали, а Юру отправили в психушку.

Юра окончил курсы официантов и до недавнего времени работал в лучшем ресторане города, потом перешел в этот, куда устроился после армии Игорь. Два месяца назад его за обсчет перевели в сторожа. Какой из Юры «обсчитывальщик», можно судить по тому, что джинсы на нем были самодельные. Официанты самопала не но-

сят! И увольняют не тех, кто обсчитывает, а тех — кто «не умеет работать», как, пользуясь специальной терминологией, пояснил Игорь.

На Тане он был женат уже около года. Сначала так, приютил ее — она ведь с виду такая веселая, а за жизнь-то натерпелась. Родители у нее слишком много сдавали порожней посуды... Поэтому теперь она такая довольная — ничего хорошего никогда дома не видела, одета всегда была кое-как, а батя ей фирменных тряпок накупил, золотишко... Бориса только удивило, хотя и смолчал о том: почему это батя, коль так он печется о снохе, о сыне-то, видно, не очень заботится?..

Наутро Боря не испытал обычного после бурных вечерушек ощущения нелепости прожитого, постыдности собственного поведения и горячего, несоразмерно откровенного общения, когда в результате хочется соскрести с себя грязь, отмыться делами хорошими, жить чисто. А первое, что ему пришло на ум, заставив с содроганием биться сердце и выкручивая мозги, это Юрина фраза: «А хочешь, я кое-что скажу про твою...» Как же Боря дал такого маху! Не расспросил исподволь, не выведал, когда на улице стояли и говорили по душам! Сначала проделикатничал, не хотел унижаться, оправдал Юрины слова особенностями его психики, потом из головы вылетело! Занялся, видите ли, ранимой душой... Дундук! Он же, Юра, в театральный поступал, наверняка и по сей день интересуется театром, по крайней мере жизнью артистов... Слышал что-то, хотя, конечно, какие только слухи про актеров не ходят...

День минул, неделя, Боря приглядывался пристально к жене, задавал иногда наводящие и провокационные вопросы, но прямого разговора не заводил — понимал, насколько это дело бесполезное. Однако и жить с висящей над головой, словно кувалда, фразой: «Хочешь, я про твою...» — тоже было невпроворот.

Заскочил один раз в ресторан, надеясь на встречу как бы невзначай и специально для этого заняв червонец, ибо сразу после посещения вышеуказанного заведения им с женой и рослой восьмилетней дочерью в самом буквальном смысле пришлось перейти на сухари, благо — заранее насушенные. Ни Юры за столиком, ни официанта Игоря в зале не было — попал не в смену. Однако червонец он все-таки истратил, оправдывая себя томленьем души и накопившейся в ней тяжестью. По-

сле чего Боря сдержаться не смог. Потребовал от жены ответа.

— Откуда я знаю, почему он так сказал! — восклицала та, как и должно, с возмущением. — Я этого Юру в глаза никогда раньше не видела! У него бы и спрашивал!

— И спрошу!

— И спроси!.. А я тебе и так могу сказать, что за его девахой ты приударил!..

Боря еще раз в ресторан наведался, высчитав смену, днем — опять нет. «Игоря сегодня не будет, — с какой-то уничтожающей любезностью отвечала метрдотель. — И Юры тоже не будет...»

— А когда они будут?

— Игорь должен быть в следующую смену, послезавтра, а Юры больше не будет совсем.

Боря кивнул, поняв по тону, что Юру рассчитали окончательно. Не угодил. И почему-то подумал про себя: водкой, наверное, ночами торговал...

— Видел я Юру... — начал Боря исподволь, когда вернулся домой.

— Ну и что он тебе интересного сказал?.. — проговорила жена небрежно и отвернулась, словно бы не нуждаясь в ответе. А Боре подумалось: хитрит, глаза прячет!

— Странно складывается наша жизнь, — продолжил он неопределенно. — Я радуюсь, что приезжий режиссер сразу заметил мою жену и пригласил на главную роль!.. А она, оказывается, к нему в гостиницу, в «нумера» к нему бегала...

— Я к нему по делу заходила! — вспыхнула жена и круто развернулась. — По делу! Выяснить сверхзадачу! Он сверхзадачу неясно поставил!

— Сверхзадачу?! — сорвавшимся голосом возопил драматический актер, успев на миг вспомнить о доверчивости Отелло. — Сверхзадачу он тебе не так поставил?! А в номере — он ее поставил как надо?!

Разделились: Боря взял только несколько книжек и переселился на кухню. А денька через два, подзаняв еще денег, устроил на весь театр «сквозное действие» с молоденькой костюмершей. Тогда и довелось встретить Игоря.

— Как твой дружок поживает? — спросил он его с той натужной непринужденностью, с какой обычно говорят с официантами и таксистами.

И лицо парня стало меняться.

Ровно через неделю, как высчитал Боря, после того совместного их сидения в ресторане на троицу, Юры уже не было в живых.

Накануне случившегося Юра пришел на дежурство, был обычен, и даже Игорь, знавший его, как себя, ничего не заподозрил худого, когда он снял с пальца обручальное кольцо и кинул на тарелочку... Кольцо как-то очень долго каталось по кругу, потом прыгало со звоном с боку на бок, пока не остановилось окончательно. «Пусть будет у тебя», — сказал. Игорь решил, что друг, наверное, немного повздорил с женой, и теперь неприятно иметь колечко при себе... Юра принял дежурство, закрыл изнутри центральный вход в ресторан и, видимо, скоро вышел из ресторана через служебную дверь...

Таня среди ночи вошла в ванную и увидела — муж в брюках и рубашке сидел в ванне, неестественно выпрямив и вытянув спину, уронив голову на грудь. От шеи к трубе уходил небольшой шнурок, из вен на руках еще сочилась кровь... На стене было выцарапано крупными неровными буквами: «Не могу жить из-за Тани и отца».

Слушал Боря Игоря, скорбела живая душа актера, западал все более в нее образ Юры — юный, красивый, ироничный... и словно бы затравленный. Проникала в самое нутро его незащищенность, и уходили силы, сжигались в несмирении и вопросах.

Что ты хотел доказать, Юра?! Кому? Думал, наверное, что накажешь своей смертью отца и жену на всю жизнь... Или уж ничего этого не думал, а просто не мог жить, и все?..

Выходит, при всей испорченности, ранней затасканности была душа твоя чиста! Не могла она принять измены жены, сладострастного кощунства отца... Не могла жить в безверии. Иначе не полез бы в петлю, махнул бы на все рукой, а то бы еще и на машине разъезжал, купленной батей... Другое дело — силы не было. Не было силы противостоять. Откуда ей взяться, силе-то? От отца-батюшки? У него, как рассказал Игорь, еще два сына есть — оба по тюрьмам. Вернутся, продолжал Игорь, отца могут запросто за Юрку «кончить». Они оба успели притомиться, особенно самый старший, в свои двадцать два года всё — кроме нормальной человеческой жизни с заботой и ответственностью. Откуда же ей, силе?..

Татьяна, рассказывал Игорь, делилась с собравшимися на Юрины поминки: «Мы так с батей нанервничались за эти дни, так нанервничались — хотим поехать на юг, в Ялту, отдохнуть, расслабиться...»

Однако и сам Игорь странным образом помянул лучшего друга, вместе с которым в одну группу детского садика еще ходили. Я, говорит, напился с горя, и двух баб... — за Юрку и за себя!

Да, Юра — вывих. Привычный вывих.

— За рубль — машину, не жалейте рубля, — продолжал причитать в подземном переходе возле центральной площади седовласый старец с прокопченным южным загаром лицом Скупого рыцаря. — За рубль — счастье...

Александр Белай

СВЯТОЕ ПИСЬМО

Сергей Иванович Тутыхин, учитель истории, после уроков нарочно задержался в учительской, оттягивая возвращение домой. Когда остался только военрук Загорелов, оформлявший за столом один из своих бесчисленных стендов, он набрал в стакан воды, размешал соду и над раковиной начал полоскать горло. Загорелов спросил не оборачиваясь:

— Что, так и болит?

— Угу-м! — кивнул с полным ртом Тутыхин, задрал голову, побулькал и выпустил в раковину длинную струю. Глядясь в зеркало, он глотнул слюну с тошнотворным остатком соды, проверяя, не полегчало ли горлу, но оно продолжало болеть как ни в чем не бывало. Тутыхин вымыл стакан и присел за стол к Загорелову, думая, что у него, вполне вероятно, рак гортани.

— Может, рак? — весело спросил он.

— Раз болит, то не рак. Рак не болит.

— Ты-то откуда знаешь? — с надеждой спросил Тутыхин.

Военрук кончил скоблить лезвием, сдул соринки на брюки Тутыхину и посмотрел на него с таким видом, что уж он-то знает, что такое рак; и Тутыхин, сразу успокоившись и забыв свою утреннюю клятву не курить, от-

чего он и не взял сегодня с собой сигарет, закурил из пачки Загорелова, лежавшей на столе.

— Куришь ты, Ефим Павлович, всякую дрянь. Ты бы с фильтром покупал.

— Не употребляю. Трава... Ты что домой-то не идешь?

— Как это не иду? — подозрительно покосился на него Тутыхин: неужели заметно, что дома у него нелады? — Я иду... Сейчас докурю вот и пойду. Горло проклятое замучило. А врачи одно и то же: выпишут какую-нибудь гадость — полощи. У меня глотка от этого уже стала вдвое шире, чем положено... Курить бы вот бросить.

— Ну, не знаю. Я курю — и ничего. Кому как.

«И здоров как бык! — подумал Тутыхин, одеваясь и глядя на крепкого, с блестящей коричневой лысиной Загорелова. — На двадцать с лишком лет меня старше, а здоровее, пожалуй».

— Ладно, пойду я, Ефим Павлович. Ты здесь все тогда запри.

Сергей Иванович в пальто и в шапке спустился по лестнице, поминутно глотая слюну и анализируя реакцию горла — оно то вроде не болело, то побаливало, как обычно, а то вдруг в боли появлялись новые зловещие оттенки, — и вышел на улицу.

Шел домой он с тяжелым сердцем, потому что вот уже месяц ревновал свою жену Любу. Началось с того, что в их компанию, в которой они привыкли проводить время, встречаясь по разным приятным поводам то у них, Тутыхиных, то у Саблиных, то у Чесалкиных, втесался некто Зубцов, холостяк, года на четыре моложе Тутыхина, ровесник Любы. Черт принес его откуда-то, сдружил с Саблиными и очаровал им всех. Всех, кроме Тутыхина. С первых же встреч Зубцов сделался противен и даже ненавистен Тутыхину тем, что в числе прочих очаровал и Любу: с ним она не смеялась, а хохотала, не танцевала, а уж чересчур дерзко, на взгляд Тутыхина, канканировала, в медленных танцах бесстыдно прижималась; вообще все у нее, когда они с Зубцовым были рядом — а теперь в компаниях они, как казалось Тутыхину, все время старались усесться рядом, — выходило преувеличенным и непристойным. Причем Зубцов нагло и настойчиво, с подстрекающей усмешкой в черных навыкате глазах смотрел на Любу так, будто все время видел ее всю, даже если смотрел просто в лицо. От этого его взгляда и от того, как он действовал на Любу, Тутыхину

в родной компании становилось тошно, точно среди людей, о которых он узнал, что они сговорились сделать ему подлость. Он уже не шутил и не смеялся, а только изображал это, не чувствуя к себе почему-то никакого уважения.

А тут еще недавно Саблин, повстречавшись на улице и разговорившись, вдруг среди разговора хлопнул его по плечу, будто вспомнив что-то очень забавное:

«А ты знаешь, Зубцову твоя половина весьма и весьма понравилась. Очень недурна, говорит. И знаешь, что он еще сказал? Что вид у нее голодный, так что пусть мужик, то есть ты, смотрит за ней в оба!» — и захохотал, скотина. Тутыхину ничего больше не оставалось, как сказать весело: «Учту!» — и тоже захохотать.

Теперь Тутыхину казалось, что, собираясь в гости к Саблиным или к Чесалкиным, где отныне непременно бывал и Зубцов, Люба и наряжается, и накрашивается с особой страстной тщательностью и слишком придирчива к своему нижнему белью; а прощаясь на вечер с детьми, которых они в таких случаях оставляли теще, — лжет, извиняясь перед ними за что-то, что сильнее ее, и если еще не произошло, то должно произойти. То, что она и раньше делала все это точно так же, с теми же движениями и с тем же выражением лица, Тутыхина не успокаивало, напротив: он подозревал теперь разницу в выражении души, а эти подозрения самые ужасные, потому что их невозможно даже высказать перед взглядом лживого, но вполне правдоподобного изумления: о чем, собственно, речь?

Любе было тридцать шесть лет; она часто, смеясь, называла себя бальзаковской женщиной со всеми вытекающими отсюда последствиями, и ее подруги — и Саблина, и Чесалкина, также женщины бальзаковские, смеялись, подхватывая эту шутку; смеялись и их мужья и вместе с ними Тутыхин. Теперь Тутыхину в таких случаях стало не до смеха. Он с ужасом видел, что чем дальше, тем больше делается угрюм, привередлив, занудлив, общение с друзьями и даже с детьми при Любе дается ему с мучительной натугой — и он обвинял Любу, наверняка понимавшую его состояние, но считавшую это его личным делом.

Шутка Зубцова о голодности Любы, переданная дружком Саблиным, ошеломила его; расставшись тогда с Саблиным, он свернул в сквер и присел на обледенелую скамью, чтобы обдумать это. И чем больше думал, тем силь-

нее отчаивался. Да, долг долгом, но, в сущности, он, пожалуй, переоценивал роль и значение супружеского долга, слишком полагался на него, будто они с Любой уже мирно состарились — а ведь нет! Далеко нет! Конечно, когда Люба в обществе Зубцова, он, Тутыхин, вспоминаясь ей, вполне может быть ей противен как предмет именно только долга. Тутыхин представил себя таким, каким его постоянно видит Люба, — в вечном своем халате и шлепанцах, бреющимся не на ночь, а с утра, непрерывно жалующимся на всевозможные боли и недомогания, кряхтящим, когда поворачивается в постели с боку на бок — боже мой! ведь и жаловался, и кряхтел с удовольствием, что есть кому это слушать и понимать; представил, каков он в ее глазах, когда, уходя пораньше спать, говорит ей, посмеиваясь: — «Ну, голубушка, ты как хочешь, а я —баюшки», — и как она с равнодушной улыбкой укрывает его и без всякого разочарования идет доделывать свои дела. Идиллия, которая дорого может стоить. Голодна... ну конечно! А в последнее время он, вечно хмурый и ко всему придирающийся, ненавидящий ее наряды и косметику и ее радость от них, наверняка стал ей отвратителен. Ведь дошло до того, что, когда Чесалкины еще неделю назад пригласили их на день рождения Чесалкина (это должно было быть завтра), где, разумеется, будет и Зубцов, Тутыхин сказал, что не пойдет и не пустит ее, Любу. Предлог был смехотворный, он сам это знал: накануне их сын Алешка схватил простуду и сидел дома, почитывая книжки, счастливый внеплановыми каникулами. Тутыхин, противный самому себе (что уж тут говорить о Любе), с пафосом изрек, что родители не вправе где-то веселиться, если ребенок болен. Иначе чем глупостью это нельзя было назвать, что Люба и сделала, сказав, что с детьми прекрасно посидит ее мать — по крайней мере они будут весь вечер видеть лицо человека, готового играть с ними, во что они только захотят, а не спину папаши, читающего за столом «Московские новости». Тогда Тутыхин, холодея, объявил ей полную волю ехать одной и, услышав вдогонку: «И прекрасно!» — вышел из кухни, где они разговаривали.

Все последнее время Тутыхин думал об этом, да еще о раке гортани; дела валились у него из рук, и он опасался, что не только коллеги, но и школьники в конце концов начнут это замечать.

Придя домой, он молча разделся; демонстративно не поздоровавшись с Любой, потому что не знал оконча-

тельно, решилась ли она все-таки ехать завтра к Чесалкиным без него, прошел к детям, пощупал лоб у Алешки, поцеловал в затылок старшую дочь Женю, учившую за столом уроки. На кухне Люба, в майке и спортивных штанах в обтяжку — Тутыхин старался не смотреть на ее тело, обтянутое, слишком проступавшее и враждебное ему сейчас — мыла после детей посуду. Она выглядела успокоившейся своей правотой в их ссоре и безразличной к тому, считает ли он ее правой или виноватой. Тутыхину сразу расхотелось есть; он, поворачивая назад из кухни, сказал с чувством человека, объявляющего голодовку в борьбе за правое дело:

— Я есть не хочу.

Он ждал, что Люба встревожится этим, как обычно. Но она только пожала плечами и, вымыв руки над раковиной, молча стала вытирать их посудным полотенцем. Тутыхин вдруг снова захотел есть, но голодовка была уже объявлена. Он ушел в спальню, где стоял его письменный стол, уселся, включил лампу, не зная, что будет делать, и задумался. Он вспомнил рассказы Чесалкина, недавно вернувшегося из дома отдыха. Особенно поразила тогда Тутыхина история — будто он первый раз услышал такую историю — с внезапно приехавшим к одной дамочке мужем, которую как раз Чесалкин, пожалев эту дуру, бегал вызывать из чужого номера. Так она, только мельком на бегу взглянув на себя в зеркало и мгновенно преобразившись, бросилась мужу на шею как ни в чем не бывало... Все четверо — Чесалкин, Саблин, Тутыхин и Зубцов — особенно Зубцов! — высмеяли этого осла, но Тутыхину показалось, что Зубцов при этом посмотрел на него, Тутыхина, откровенно издевательски. И вот Люба... если бы она поехала одна на курорт или в дом отдыха (кстати, с ужасом вспомнил Тутыхин, она уже както спрашивала, как он к этому отнесется, ведь отпуска́ у них в разное время!) — Люба вполне могла бы сделать с ним то же самое, что та дамочка со своим мужем. Даже наверняка так и было бы. Неужели она устояла бы? Смешно...

Люба заглянула, бросила что-то на стол и тут же скрылась, сказав уже из-за двери:

— Тебе тут письмо, я забыла.

Тутыхин, обрадовавшись поводу отвлечься, распечатал конверт, вынул клетчатый листок, вырванный из школьной тетради, и стал разбирать буквы, написанные

почерком, похожим на тот, каким писала ему окончившая когда-то ликбез покойная матушка.

«Святое письмо. Мальчик 12 лет видел на берегу Господа Бога. Господь сказал — пишите письма. Они должны облегчить весь Белый Свет. За это письмо получите счастье и не забывайте Господа Бога.

Настанет время весь Мир истребится!!! Молитесь почаще во имя Отца Сына и святого Духа.

Одна семья написала 12 таких писем и разослала в разные края в этой семье было огромное счастье и радость. А другая семья не поверила и выбросила в огонь в этой семье было большое горе и получили коварную болезнь.

Это письмо должно облегчить весь белый Свет. Не забывайте если вы задержите это письмо больше 3 недель то будет несчастье. Поверьте, это уже проверено. Напишите 9 таких писем и разошлите по белому Свету. Не забывайте Господа Бога. Да благословит вас Господь».

Тутыхин, дочитав, живо схватил конверт, чтобы посмотреть обратный адрес, но, как и следовало ожидать, его не было. Пустота на месте обратного адреса отчего-то расстроила Тутыхина. Он еще раз осмотрел конверт и письмо, но там было только то, что было — обычное свойство всякой анонимной угрозы.

Тутыхин почувствовал самый неприятный, унизительный страх — страх от явной чепухи, вроде мыши или таракана.

— Святое письмо... Мальчик... на берегу — на каком берегу-то? господа бога... господь сказал... Чушь какая! Есть же люди!.. Мир истребится... ну, это любой дурак знает, что мир не вечен. А безграмотно до чего! Это просто хулиганье.

Но нет. Хулиганы отмочили бы что-нибудь поостроумнее. Тутыхин вспомнил, как в прошлом году кто-то из старшеклассников оформил подписку на журнал «Мурзилка» в адрес директора школы, жившего вдвоем с женой (дети выросли и разъехались). Так они с Загореловым тогда животы надорвали от хохота, хотя, конечно, и негодовали. Ну а это — уж совершеннейшая банальность. На кого рассчитывают, интересно? Однако... черт!

— Большое горе... коварную болезнь... — Он сделал глотательное движение, ощутив знакомую боль в горле, уже год как не проходившую, подумал о Любе и о завтрашнем дне. — Это уже проверено... Интересно, что за люди хоть?

Тутыхин и раньше слышал о подобных письмах, но не верил, что они способны производить впечатление. Он собрался было разорвать письмо и выбросить в корзину, но рассудил, что это всегда успеется, а пока все-таки надо обдумать что-то, что, он чувствовал, оставалось еще недодуманным. Глядя на место обратного адреса, он попробовал представить себе автора и представил вдруг чрезвычайно отчетливую картинку — он никак не ожидал такой прыти от своего воображения. Он увидел маленькую, словно бы подвальную комнатку без окон и с голыми стенами, стол и над ним пыльную тусклую лампочку без абажура, холодный грязный пол, какое-то убогое ложе, темный угол, где сидит и играет сам с собой ребеночек без лица; а за столом, отвратительно сладко улыбаясь, склонился пожилой и скудного вида человек в пиджаке на голое тело — и пишет это письмо. Тутыхин даже явственно услышал, как он бормочет его, Тутыхина, фамилию и адрес, выводя их на конверте. Потом он высовывает язык, отчего физиономия его из сладкой делается ехидной — и это ехидство жестокости к любому усомнившемуся в написанном, — смачивает край конверта слюной, грозит ребеночку, и тот умолкает в своем углу с выражением понимания тайны и важности ее, и выходит: на улицу, к почтовому ящику, разумеется.

Тутыхин затряс головой. Он был уверен, что представил совершенно не то и не так, как оно было на самом деле; но ему и этого хватило за глаза. Он уже не мог выбросить письма, не поделившись наперед с кем-нибудь, будто боялся взять на душу какую-то ответственность. Хотел крикнуть Любе, но раздумал. Его потянуло прочь из дома. Он решил сходить к Загорелову, жившему поблизости.

В прихожей Тутыхин нарочно громко завозился, одеваясь.

— Ты куда это? — спросила из комнаты Люба.

Значит, все же тревожится... Но Тутыхин не ответил, чтобы она за время его отсутствия помучилась неизвестностью.

Ефим Павлович, в футболке с короткими рукавами и в старых офицерских брюках, сидел один в кухне, пил чай из огромной эмалированной кружки, курил и сквозь очки читал мемуары маршала Жукова. Жена его, как всегда, мирно смотрела в комнате телевизор. Ефим Павлович был весь мокрый от пота и, прихлебывая чай, наслаждался этим — он считал любое потение оздорови-

тельным процессом. Тутыхин при виде его положительного, с твердым выражением багрового лица сразу же успокоился насчет письма, а насчет своих отношений с Любой еще хуже расстроился. Про письмо говорить ему расхотелось, а захотелось о своей семейной жизни; он вздохнул, как вздыхают, желая невозможного, и присел к столу. Загорелов не удивился его визиту и даже особенно не среагировал: историк то и дело наведывался к нему вечерами, главным образом, для того, чтобы на свободе — у Загорелова это было запросто — покурить, попивая чаек. Дома он, во-первых, вынужденный женой, а во-вторых — и сам сознавая вред для детей от табачного дыма, мог курить только в туалете, разлученный при этом с чаем и с серьезным чтением.

Тутыхин сам налил себе чая и, отхлебнув и умягчив горло, закурил. Вынул все же письмо.

— Гляди, Ефим Павлович, что мне сегодня подкинули.

Загорелов заложил книгу чайной ложкой, взял и прочел письмо, два раза грозно откашлявшись, пока читал.

— Хамы, что еще сказать. Хамы, больше ничего. Развелось их... На каких только придурков рассчитывают?

Тутыхин, услышав о придурках, вдруг покраснел и торопливо взял письмо назад, потому что Загорелов уже искал взглядом, куда его выбросить; сложил и, крякнув от смущения, снова положил в карман. Слово «придурок», уже в единственном числе, засело в сознании; делать здесь было больше нечего. Тутыхин допивал чай, придумывая, что бы еще сказать, чтобы Загорелов забыл свои слова о придурках. Тот открыл книгу и снова начал читать.

— Я, собственно, Ефим Павлович, за книгой пришел. Думал, ты уже кончил. Стыдно: историк, а мемуаров Жукова не читал.

— Да ведь я сказал: прочту, тогда сам принесу.

— Конечно, конечно... Просто думал, что ты кончил... ты уже вторую неделю читаешь. Сегодня как раз вечер свободный, делать нечего. Дай, думаю, зайду, может, кончил...

— Ну, видишь же, что еще читаю! — разозлился Загорелов. — Терпеть не могу, когда торопят. Успеешь, ничего с тобой не случится.

— Нет-нет, ради бога, читай!.. Ладно, пойду, дома ждут. Не провожай.

Он потушил сигарету, пожал руку Загорелову, исподлобья взглянувшему на него, оделся и вышел.

Возвращаться домой было глупо — измельчала бы интрига его необъясненного ухода. Он поднял воротник и пошел по улице, думая: а на что, в самом деле, рассчитывали эти люди? Вот он — способен ли он дойти до такого, чтобы исполнить их идиотские требования? Вряд ли... И тут у Тутыхина ужас сковал сердце при мысли, что те, кто писал ему, не обязательно так уж глупы, чтобы действовать наобум. Боже ты мой! Да разве мало всяких сект... хитрых, фанатичных, предприимчивых... Почему это он, Тутыхин, так уж уверен, что писавшие не знали его, просто взяли первую попавшуюся фамилию в справочнике? Может, даже слишком хорошо знали? Может, сначала они наблюдали за ним, выведали о нем все? И то, что он подозревает у себя рак, и то, что жизнь с Любой превратилась для него в кошмар? И вообще выяснили, что он человек слабохарактерный, мнительный (от страха Тутыхин не мог сейчас врать себе). Какое все-таки опасное заблуждение думать, что только ты сам и знаешь себя до конца! Напротив! Только со стороны, внимательно наблюдая, и можно понять человека таким, каков он есть, — и вычислить его будущее! Да, они вполне могли знать, что он ждет в своей жизни катастрофы. Он, конечно, им не подчинится, рука не поднимется на такую глупость... но, может, им нужно не столько это, как то, чтобы над ним свершилась кара? И они оттого послали письмо именно ему, что знали, вычислили безошибочно, что ему не миновать беды? И теперь ждут и призывают эту беду — возможно, даже с какими-нибудь мерзкими заклинаниями, — как торжество своей правоты? И мало ли... такие вполне способны, если он все-таки вопреки их прогнозам вывернется как-нибудь из несчастий (близость какого-то кошмарного несчастья Тутыхин ощущал сейчас беспрекословно), специально подстроить ему что-нибудь... чтобы никто не смог сказать про их угрозы, что они чепуха!

— Да благословит вас господь... вот негодяи! — вслух с ужасом подумал Тутыхин, резко поворачивая назад. — И знали, знали, кому! Загорелову так не прислали!

Он почти бежал, ему жутко и тоскливо было от безнадежного желания как-нибудь разыскать этих людей, чтобы сказать им: что же вы делаете! Разве так можно!.. Получи он по почте ультиматум: положить в условленное место тысячу, накопленную у него на книжке, — в

сравнении с сегодняшним благословением это показалось бы ему даже чем-то благородным в своем прямодушии.

Дома мысли о письме чуть отпустили его, потесненные интересом, что скажет Люба по поводу его отсутствия и придумыванием ответа позагадочнее; он опять захотел есть и, раздеваясь, жадно внюхивался в кухонные запахи.

В кухне он увидел Любу: она была почему-то в самом своем нарядном, сильно открытом платье, причесанная, пахнущая духами, употреблявшимися ею только для важных случаев. На столе лежала открытая коробка конфет, стояли чашки с недопитым чаем и пепельница с окурками; Люба ела конфету и допивала чай ярко накрашенными губами. Тутыхин остановился как вкопанный. Люба, быстро поставив чашку, всплеснула руками:

— Представь, только ты ушел, принеслись как сумасшедшие Саблины с Валеркой (Валеркой был для нее уже Зубцов). Ждали тебя, ждали... куда ты пропал? Ну, посидели, чайку попили. Короче: завтра не у Чесалкиных, а у Зубцова! Представляешь...

Тутыхин мигом утратил аппетит — казалось, на всю жизнь. Ему захотелось бежать отсюда. Он представил, как Люба, открыв им дверь, восторженно взвизгивает; вспыхивает, поймав на себе взгляд Зубцова, умоляет подождать ее, а пока рассаживаться без церемоний, и в ванной лихорадочно оголяется, переодевается, красит губы, обрызгивается духами — все ради того, чтобы даже в эти несколько минут выглядеть перед самцом в полном блеске. Он перебил ее, невыносимо, страшно оскорбленный:

— Я смотрю, ты так нарядилась... Такая честь для заскочивших на минутку Саблина и особенно... Зубцова!

Люба сделала изумленные и обиженные глаза — ничего лживее этих глаз Тутыхин не видел в жизни.

— При чем тут... Не могла же я в таком виде...

— Нормальный был у тебя вид. Вид жены, матери, занятой хозяйством, — нормальный, почетный вид! Ты что же, только в вечериночном наряде чувствуешь себя человеком перед... Зубцовым? И потом: нормальная жена, а не психопатка интимных общений, не будет устраивать в отсутствие мужа для чужих мужчин... — любых мужчин! — всяких там чаепитий. И еще: я, кажется, уже сказал, что не могу и не хочу идти завтра к Чесалкиным... а тем более, как ты теперь говоришь, к Зубцову! Как ты смеешь делать вид, что этих моих слов не было? Все!

И завтра, и впредь — решай эти свои... делишки... сама! И ни слова больше! Ни слова!

— Ты рехнулся, ты это знаешь?

Тутыхин встал, чтобы ударить ее. Он ее ненавидел за то, что она, прекрасно понимая его муку, решила упорно не понимать — так защищается сознательный, продуманный разврат. Он не ударил ее, но все было кончено между ними. Он вышел, передернувшись при виде ее ярко накрашенного рта; машинально зашел к детям и поцеловал их на ночь; в беспамятстве от сознания своей бесприютности и ярости за нее на Любу достал из комода простыни, подушку и одеяло, понес их в большую комнату и постелил себе на диване, поставив на стул в изголовье лампу, будто собираясь читать, хотя ни читать, ни вообще делать что-либо был сейчас не в состоянии; разделся и лег лицом в подушку.

Так прошел, быть может, час. Дети улеглись; улеглась в спальне и Люба — Тутыхин слышал через перегородку каждое ее движение и больше ни в чем не сомневался и ни на что не надеялся.

«Это конец, никакой возврат немыслим. Какая ложь, какая отвратная ложь! И усмешка тому, что я бессилен прошибить эту ложь... Нельзя больше ей верить, никакое правдоподобие уже не убедит, бесполезно... Да, она голодна... потому что ненасытна! А завтра, после скандала, тем более будет голодна, и озлоблена, и формально права передо мной — этого ей вполне достаточно, чтобы оправдать любой поступок против меня. Завтра, при гостях, конечно, ничего у нее с Зубцовым еще не произойдет... но наверняка все будет между ними сказано, как уже глазами сказано давно, и скреплено поцелуем — где-нибудь в ванной, куда Люба, призывно оглянувшись на Зубцова, пойдет вымыть руки, а он будто случайно заглянет. Она начнет ездить к нему... У него квартира... Будет выдумывать сверхурочную работу, какие-нибудь воскресники, будет лгать легко, вдохновенно, выдумывая на ходу ярчайшие подробности. Зубцов изменится ко мне: пропадет эта вечная усмешка, появится доверительность... Да и Люба изменится, станет уступчивее, даже нежнее, — как человек всех любит и никому не желает зла, когда насытится. И всего этого я не смогу не знать, как не смогу ничего доказать. И так жить? Жить, как я живу последний месяц? Нет, развод, развод... И пусть тогда делает, что хочет!»

Подумав только сейчас о разводе как о деле, безого-

ворочно им решенном, Тутыхин сразу понял, что будет плохо, очень плохо. Шутливое мнение знакомых, кстати, и было таково, что уж кому-кому разводиться, но только не ему, Тутыхину: пропадет. Да, он пропадет. Да, в разводе он будет гораздо слабее Любы. Жить с ней в одной квартире скоро станет для него невыносимо — уж она постарается, чтобы жизнь здесь пошла мимо него. С Саблиными и Чесалкиными, от великого стыда придется порвать, Люба же, конечно, останется с ними, причем пару ей составит на первых порах Зубцов. Жить негде, он снимет комнату, и ему придется по очереди с хозяйкой мыть прихожую, унитаз, ванную. Алименты, плата за комнату... подрабатывать он не умеет... значит, нищета. Он обносится, опустится, заболеет... рак. Люба, чтобы оправдать себя, настроит против него детей, и те при встречах, которые она найдет способ ему отравить, будут с ним только испуганно-вежливы. Немолодой, больной, без денег, надломленный душевно — кому он нужен? А Люба вполне может выйти замуж. По крайней мере, мужчины-то ей найдутся. У нее будет все — дом, семья, любовь, у него — ничего! Тоска от этой роковой несправедливости сделается его манией; захваченный ею, он не сможет как следует работать, потому что работа, как и вся жизнь, станет ему в тягость. Да и стыд перед коллегами... нет, он уйдет и с работы. Чтобы не умереть от голода, он устроится где-нибудь чем-то вроде носильщика... или мусорщика... Однажды он повстречает Любу — веселую, накрашенную, идущую под руку с элегантным мужчиной. Они его не заметят, потому что он спрячется за мусорным ящиком или нырнет в вокзальный туалет (ему представлялось это на вокзале). И в этот день его существование абсолютно лишится смысла — бессмысленным покажется наутро встать с постели, даже чтобы напиться, не то что выйти на улицу, в жизнь...

Тутыхин заплакал без слез, сморщив лицо и задергавшись всем телом, поняв ясно, безнадежно, что в этот день он убьет себя. Как бы прощаясь, он представил свой последний час. Он увидел себя в маленькой, словно бы подвальной комнатке без окон и с голыми стенами, сидящим на убогом ложе, спустив на грязный пол босые ноги, стынущие на грязном полу, глядящим на тусклую пыльную лампочку без абажура над голым столом; из темных углов наплывает и душит его невиданная никогда прежде тоска. Что-то еще должно произойти... Тутыхин напряг воображение и увидел, как отворяется дверь и вхо-

дит тот, писавший ему святое письмо, и ребеночка ведет за руку, грозя ему, чтобы не мешал Тутыхину мучиться; он улыбается с кротким лицемерным торжеством, говоря тихо, еле слышно, и в сторону: «Ну вот, теперь все слава богу... уж у нас это проверено, что ж сделаешь... Теперь да благословит тебя господь».

— Как же они, сволочи, точно все рассчитали! — прошептал Тутыхин, дергаясь от бесслезных рыданий.

Он поднял упавшие со стула брюки, достал письмо. Там должно было быть еще что-то, чего он просто не заметил, не могло не быть. Надо только еще раз не торопясь, спокойно прочесть... Он сунул в рот сигарету и привычно пошел в туалет, но, испугавшись читать святое письмо в таком месте, вернулся и прочел при свете лампы, присев на диван; закурил, забывшись, прямо здесь же, спрятав письмо под подушку, чтобы обдумать все еще раз, но выкурил сигарету без единой мысли, в тупом горестном оцепенении. Он обнаружил это уже в кухне, когда выбрасывал окурок, и пришел в отчаяние. Ничего не соображая, он открыл кран и напился, потом так же бессознательно достал апельсин и жадно, с неожиданным наслаждением стал есть его, откусывая, как от яблока, и выплевывая в ведро корки. Дверь открылась, он вздрогнул и повернул туда лицо, облитое соком, который тек с подбородка на шею; руки он держал на отлете, и с растопыренных пальцев тоже капал сок. Последнее, что он подумал перед тем, когда вполне разглядел в дверях Любу, — что он ест этот апельсин как свинья.

— Ты ложиться думаешь по-человечески? — гневно, со слезами в голосе прошипела Люба. — Утро скоро, мне вставать чуть свет, а ты этот спектакль затеял. Себя не жалеешь, так хоть меня пожалей.

Она села на стул и заплакала. Тутыхин стоял, машинально облизывая пальцы и вытирая ставший отвратно липким подбородок. Он мучительно не знал, что ему теперь делать со своей непреклонностью в решении развестись — ничего столь досадно лишнего еще не возникало в его жизни.

— Конечно, тебе надо выспаться, — сказал он наугад, облизываясь. — Чтобы завтра вечером выглядеть свежей... разумеется.

— Что ты пристал ко мне с этим вечером! В конце концов: это твои друзья, а не мои! А я за тебя изворачивайся перед ними! Люди пришли звать, у них такое

торжество... а я не знаю, что и говорить. Вру им, что ты будешь очень рад... они же не знают, что́ ты за самодур! И я же еще плохая, я же не так себя веду!

— Ну уж и торжество. Подумаешь: Чесалкин изволил на свет появиться. Мог бы и не появляться, невелика потеря.

— Я ж тебе говорю, только ты не слушаешь: завтра не у Чесалкиных, а у Зубцова! Он женится! Да еще мебель мягкую купил! Вот и решили все вместе... Он сегодня уже с невестой был, хотел нас познакомить, только тебя носило неизвестно где.

— Да-а-а? И... что же там за невеста?

— Невеста как невеста. Ничего... Небольшая, изящная очень, худенькая... брюнетка... Саблин ее замучил ухаживаниями. Пристал к Валерке: зря ты ее с Тутыхиным хочешь познакомить, она резко в его вкусе, смотри... Ты же знаешь Саблина.

— Брюнетка? И вовсе не в моем вкусе, чего он врет? Тем более худая...

— Ты еще поговори у меня!

— Да ну вас всех к дьяволу! — Тутыхин со вздохом сел перед холодильником и открыл дверцу. — Жрать хочу, как собака, вот что.

Ирина Полянская

ТВОЙ ЧИЖИК

Прозвучали жирные шлепки босых ног, как отзвук далеких аплодисментов, и он восстал в проеме двери с колышущимся от наигранного негодования животом, интересы которого явился защищать.

— Это ты мне поставила кабачковую икру? — Уличающий жест в сторону жены.

— Начинается, — проронила она.

— Мне, я тебя спрашиваю? Я что — за свою жизнь не заработал себе на черную?

— Чем плоха кабачковая?

— А чем она хороша?

— Все ж едят.

— Вот все пусть и едят. Пусть они вот, — он подходит к окну и жестом римлянина, обрекающего на смерть гладиатора, указывает большим пальцем вниз, — они пусть жрут твои кабачки.

— Ладно, заткнись, развыступался. Пошел бы поработал во дворе на субботнике, вон люди кусты сажают.

— Плевать я хотел на твоих людей и на ихние кусты, — немедленно отвечает он и действительно плюет в раскрытое окно сильной, сварившейся от ненависти слюной, и попадает в середину клумбы. Цветы, не успевшие

увернуться, жухнут, сворачиваются, уходят под землю. — Чихать я на всех хотел, вот так — апчхи! — но чихнуть ему не удается, и это продлевает жизнь выжженной посередине клумбе, юной зелени тополей, сомкнувшейся над нею.

— Ладно, расплевался. Иди отсюда и ешь свою икру, она в поддоне.

— Правильно. И съем. И впредь буду есть только черную икру и запивать холодным немецким пивом.

Не понимаю, зачем он старается вызвать к себе чувство, которое вызывает. Он видит его в моих глазах и в глазах жены и потирает руки от радости, потому что в доме он хозяин, чтоб все понимали: хочу — хожу босой, хочу — голый, и плевать мне на всех вас. И никто не может запретить мне выжигать вас своей ядовитой слюной.

Он отправляется на кухню, открывает холодильник, берет початую баночку икры, ложку, табурет и снова возвращается к нам. Табурет он ставит в дверном проеме, садится, принимается за икру и, торжествуя, смотрит на нас, приговоренных к этому зрелищу. Поев, он ставит банку на трюмо, сгребает в ладонь французские духи, неторопливо открывает флакон, подымает над головой и переворачивает. Духи капают на его плешь, текут по лицу, и по комнате плывет удушающий запах черной икры.

— Молчи, — тихо говорит мне его жена, — хуже будет.

Так мы сидим, точно заплатили за представление огромные деньги, прикованные им, и молчим, и смотрим безучастно, чтобы не раззадорить его еще больше, и нет на свете таких духов, могущих отбить этот упорный, сытый запах убитой во младенчестве рыбы. Утопив свою ярость в нескольких каплях духов, он уходит на кухню, рыщет в холодильнике, залезает в него с головой, снует по полкам, склоняется над лежащей на блюде, как одалиска, перламутровой розовой севрюгой, подмигивает батону колбасы, хлопочет над маслиной, но нет яства, могущего утолить его голод, и он несчастен. Подсоединяет к своей глотке алюминиевую пивную баночку, и пиво с бульканьем обрушивается в его заранее утомленный желудок. Ни устрицы в вине, ни цыплята табака, ни поросенок с хреном не приносят душе утешения. Он распинает на сковородке кусок мяса, склоняется над ним в ребяче-

ской заботе: отбивная ответно зажмуривается, заходясь от жаркого восторга, брызжет кровью в лицо.

Поев, он появляется с куском черного бархата и бросает его передо мной.

— Купи.

— Да убери ты! — вопит его жена.

— По двадцать рублей метр, тут два.

— Спасибо, мне не надо.

— Бери по пятнадцать.

— Спасибо, нет.

— Ну и дура, — обижается он. — Бархат сейчас — самый писк, его нигде не достать. Давай по десять.

— Отвяжись ты от нее, — снова выкрикивает жена.

— Ну давай за весь кусок десятку, только шустро, мне уходить надо. — Он несколько секунд стоит с протянутой рукой, а мы с его женой отворачиваемся. Наконец он убирает руку и бархат.

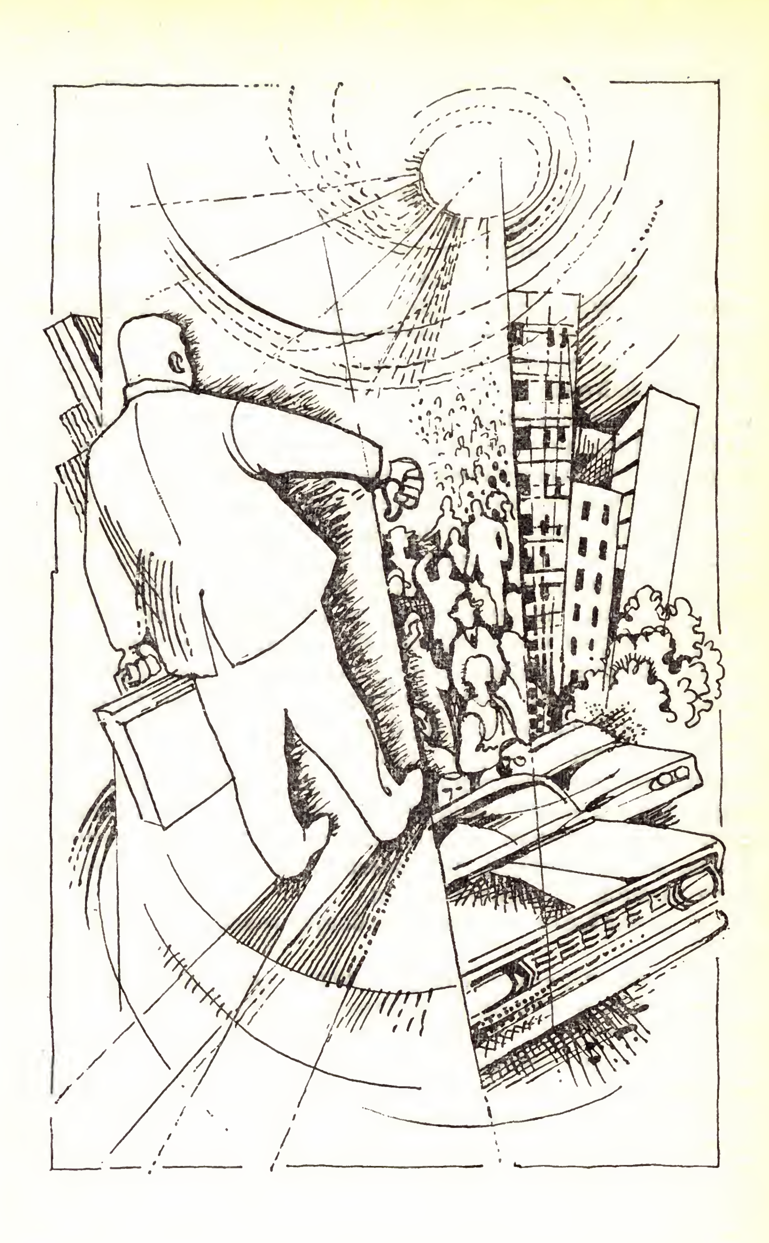
— Вот гнида, — тихо удивляется его жена, — и как его еще держат на работе, ворюгу. Избавиться от него никак не могут.

Через некоторое время он снова появляется перед нами в синем велюровом костюме, в мягких кожаных туфлях, белой французской рубашке, в фирменной кепке с козырьком — в этом костюме он исполняет роль фата. Приветственно поднимает руку:

— Девочки! Я пошел!

Он втискивается в лифт, и в который раз матерное слово, нацарапанное большими, как Ш и Б на таблице окулиста, буквами выпрыгивает перед ним. И не увернуться, оно написано на уровне лица, плюет жильцам в самые очи, это непотребное слово, вдолбленное на дюймовую глубину. Скоты, думает он, три месяца смотрят и хоть бы кто замазал. Никто себя не уважает, а впрочем, и не за что. Огромное слово пристально, каждой отдельной буквой смотрит в лица невинных девушек, мечтательных отроков, малых деток. Огромное злое слово клеймит позором каждого, подымающегося вверх и низвергающегося вниз, отпечатывается на лбу, и некуда спрятать стесненных глаз, стой и читай иероглифы, тащие в себе куда более страшный смысл, чем буквальное их прочтение. И квохчет, бегая туда-сюда по вертикали, лифт, и вот опять снесся этой запекшейся на стене гадостью.

Куда лежит одинокий его путь? Расчищая себе доро-



гу раздражением и отвращением к ним, потным, спешащим, с сумками, с детьми, он плывет как большой корабль к автотрассе и одним движением брови примагничивает такси. Машина на всех парусах так и разлетелась к нему, велюровому. Он садится в такси и, поважнев, размышляет над своим образом, уже запечатленным в душе шофера, образом делового человека, известного в самых широких кругах, который и отдохнуть-то может себе позволить лишь в такси едучи. Шоферская душа тает от почтения, потому что у шофера есть дочка, и она, такое совпадение, прямо бредит театром, так вот не может ли он — о, он может все, решительно! — ей семнадцать лет, хорошенькая, чем можем, отблагодарим, вы не сомневайтесь, замолвите словечко, вам это ничего не стоит, а для девочки вопрос жизни и смерти. Он ведет дочь шофера по знакомым коридорам театрального училища, и все расступаются перед ним, девочка трепетно дышит, директорская секретарша вскакивает, завидев его, взволнованно жмет на кнопку селектора, он входит в кабинет, рассеянно жмет руку директора и одновременно подталкивает на авансцену девчонку: «Способная, посмотри...» «С вас еще тридцать копеек», — сквозь зубы говорит шофер и показывает на счетчик. Он надевает очки и смотрит: верно, тридцать. «С десятки сдачу найдешь?» Шофер мотает головой и видит, что велюровый костюм на пассажире вдруг начинает лысеть, протираться, засаливаться, терять пуговицы, на лацкане мерцает жалостно какой-то глупый значок. Тридцать копеек набираются из меди, последняя, тридцатая, отыскивается в тупоносой тяжелой туфле. Шофер смотрит пассажиру вслед, а тот, кряхтя, поднимается по ступеням роскошного здания, открывает двери.

— Михайлыч, привет, — бодро говорит он гардеробщику.

— Здорово, — без воодушевления отвечает Михайлыч.

— Меня никто не спрашивал?

— Никто.

А мы с его женой в это время обнаруживаем, почему он так тепло и с ожившей надеждой на лице попрощался с нами. В коридоре на полу валяется моя раскрытая пустая сумочка. Его жена уныло спрашивает, сколько там было, я отвечаю, что была мелочь, и она успокаивается, ибо денег у нее нет.

Мы умолкаем, смотрим ему вслед, как он поднимается по лестнице, а спешащие туда-сюда люди не узнают

его, а кто узнает, машинально сует ему руку, за которую он хватается с такой силой, точно хочет утопить человека. «Сегодня, — скажет он жене, — П-ов перехватил меня, два часа уговаривал снова начать с ним работу, с другим администратором у него то и дело накладки. Но я плевал на все это». А П-ов, высвободив руку, потом целый день ходит с ощущением, что она отсыхает, и говорит сам себе: «Так тебе и надо, лицемер, не жми руку всякой сволочи. Главное, чего разлетелся, он же теперь нуль, пустое место, от него ничего не зависит. А вот поди ж ты — рука сама из кармана выползла. Впрочем, сколько таких с позволения сказать рук ты пожимала на своем веку, бедная моя, вовек не отмыть. Тьфу, жалко, что тебя, мразь, пять лет тому назад не засудили, так бы и плюнул в твою хитрую рожу. Пошел небось путевку в Мисхор выбивать, деятель культуры! Гад!»

А гад опять стоит на балконе, подставив свой беременный черной икрой живот лучам заходящего солнца. Он смотрит во двор на все еще копошащихся с юными деревцами и лопатами людей внизу, и во рту снова собирается слюна бессильной ненависти. Но вдруг он вздрагивает, опасливо поднимает голову и смотрит вверх, не стоит ли кто над ним этажом выше, не копит ли слюну?

На всякий случай он поворачивается и уходит с балкона.

Я смотрю в его удаляющуюся спину, и мне хочется, пока он не ушел далеко, во сырую землю, посвистеть ему вслед и окликнуть: «Чижик!» Он медленно, не веря ушам своим, обернется, с его оплывшей физиономии слой за слоем начнут сползать, как прошлогодний слежавшийся снег, маски: животный страх, злоба, злокачественная опухоль зависти, полученные им плевки и пощечины, понимающие улыбки и слезы унижения, чужой пот и собственное сало, из ушей как гной потечет ложь, которой он наслышался, язык окостенеет от лжи, которая стекала с него, и ему сделается жутко, как никогда в жизни, которая была у него, должно быть, страшнее, чем война, потому что не война, а мирная, теплая, сытая жизнь выплюнула этот сгусток яда, который почти полвека тому назад, будучи человеком, огрызком карандаша писал письмо моей маме:

«Дорогая сестричка! Мне трудно бросить сейчас свои мысли на бумагу. Я не могу говорить слов соболезнования тебе, потому что не хочу быть пошлым к памяти Ро-

мы, и потому, что смерть научила меня относиться к ней уже без слов. Она стала для меня обычным явлением. Каждая смерть встречается болью в душе, но мозг и сердце все больше мужают. Сердце уже закрылось броней против таких понятий, как жалостное отношение к врагу, из мозга выветрилось понятие — гуманность. Зверя надо уничтожать по-зверски. Если смерть пощадит меня, я не пощажу ни одной вражьей жизни. Среди врагов будут павшие в знак отомщения и памяти Ромы, который погиб, как настоящий мужчина. Я, лейтенант Чижов, обещаю тебе это. Пожелай успеха моему оружию.

Твой Чижик».

ПЛОЩАДЬ

Мы стояли на площади тесной, душной толпой и выкрикивали свой заранее обреченный протест, на который, в свою очередь, были обречены не только законным гневом, но и раздувавшим облака над головой, тугим и крепнувшим ветром, и своею молодостью. И я кричал вместе со всеми, но голоса своего не слышал, и сам себе казался симулянтом, затесавшимся в стройные ряды хора, исправно разевающим рот, чтобы никто не заметил моего пересохшего горла, полное отсутствие слуха. Мы выбрасывали вверх руку и кричали «Долой!» — не важно кого, и да здравствует свобода. Это прекрасное слово, раздувая паруса, летело над площадью вместе с тихой, замедленной катастрофой облаков. Да, я стоял со своими товарищами, как они того хотели, как я сам того желал, чтобы потом не презирать самого себя, но, стоя в толпе, презирал себя еще больше, точно был лазутчиком, пробравшимся в тайное сборище, запоминающим слова и лица для того, чтобы, придя домой, сладострастно скрючившись над листом бумаги, написать секретное донесение в ту заоблачную область, до которой не долетал и самый яростный наш крик, превращаемый при помощи простого акустического фокуса в дружную, бодрую песню. Костюм борца болтался на мне, и я спотыкался, переставляя ноги на своих котурнах. Стоявший рядом сказал: «Вот здорово, а?» И я с завистью посмотрел в его воодушевленное лицо и, спохватившись, выбросил вверх руку и закричал еще громче, чтобы слышал стоявший рядом: «Долой!» На наш крик потихоньку съезжались машины по переулкам,

вытекающим на площадь — пока еще без определенных целей. Мы стояли лицом к лицу с этим зданием; огромный балкон угрюмо выдвинул челюсть и молчал, как боксер на ринге, презрительно угадывая немощь соперника, размахивающего в углу своими детскими кулачками, примеряющего удар. Из машин неторопливо вышли люди и стояли без всякой цели, тоже глядя на балкон. Я чувствовал их сквозь толщу других людей, своих товарищей. Я ничего тогда не знал про себя, но заранее стискивал зубы, чувствуя спиной этих людей, и азартное чувство товарищества крошилось на зубах от страха: я знал, что это за люди.

Человек, стоявший за моей спиной, чье горячее дыхание я чувствовал на своей щеке, тот, с которым я всегда ощущал свое мучительное сходство, начал потихоньку пробираться на выход. Пустое место тотчас заросло другим товарищем, а тот, петляя, задом шел к своей цели, с глазами, перескочившими в минуту опасности на затылок, видящими лишь людей из машин, больше ничего. Его удаляющееся лицо смотрело пустыми глазницами. Прокладывая себе дорогу, он постарался уменьшиться, и с середины пути пополз, сбросив кожу и позвоночник, как вспугнутая ящерка, ловко и стремительно. «Резиновые дубинки, бронетранспортеры и слезоточивые газы...» — перешептывались в это время радиостанции, а другие им вторили спокойными голосами: «Жертв и разрушений нет», а третьи опечаленно рассказывали: «Двадцать один человек погиб, трое пропало без вести, сорок четыре получили ранения». Тот человек уже барахтался в мелкой воде на краю людского моря. Он еще с минуту собирал свое осколочное зрение, вращал хрусталиками так и эдак, чтобы отыскать среди лиц оцепивших площадь солдат простое лицо, на котором будет написано одно лишь большое детское изумление — такой человек его выпустит отсюда. Он подошел к солдату небрежной походкой пешехода, идущего по своим делам. «Закурить не найдется?» — грубовато спросил он и понял, что ошибся: солдат насмешливо посмотрел на него и по-домашнему ткнул в бок своего товарища: «Слышь, закурить просит». Тот рассеянно дал сигарету. Человек стоял с ними, стараясь посильнее вжаться, вжиться в солдатскую массу, вплавиться в нее. Он стоял в вольной позе, как и они, но колени его дрожали. Тот солдат, что дал закурить, спросил: «Чего они там орут?» — и человек, благодарный тем, что его отделили от н и х, прохрипел: «А черт

его знает!» Он боялся пошевельнуться, двинуть пальцем, это можно было сделать лишь после того, как он сумеет окончательно слиться с защитным солдатским цветом, а он чувствовал, что еще, увы, не слился. Тогда, в толпе, его сердце стучало как вечевой колокол. Сейчас сердце его стучало как гиря в пустой барабан, как шар-баба, разрушающая ветхие строения, и барабанные перепонки лопались от ужаса. Страх сгущался в крови. И в то же время он думал: ну что это я! Ну, задержут, ну, запишут адрес, ну, пожурят в университете, отчитают родители, вот и все. Кто мы такие? Безвестные представители и послы, звучащие голоса писем, что летят над страной как птицы, не имеющие гнезда. Но страх, свивший гнездо в утробные времена динозавров, развившийся во младенческих забавах княжеских распрь, взошедший в юности на крепких дрожжах опричнины и Слова и дела, затягивающий горло столыпинским галстуком, отстоявшийся во времена чисток и репрессий, он стоял над маленьким человеком, как удав на хвосте с раскрытой пастью, кипящей бешеными клубами дыма.

Другой солдат еще раз поднес спичку к его потухшей сигарете, и он еще больше задрожал: то, что сигарета потухла, это была улика, указывающая на его причастность к этому сборищу. Он попытался вслух поблагодарить доброго солдата, но трудно было извлечь голос из темных, узких шхер голосовых связок, заполненных ужасом, поэтому он лишь кивнул. Его не гнали. Он страстно, каждой порой пропитывался защитным цветом хаки, выбрасывал щупальца, лепясь к державной скале, метал икру на каждом ее выступе, полз по ней как дикий виноград, как клещевина, и когда какая-то девушка подошла к солдату, которого он облюбовал, и попросила его выпустить ее отсюда, он сделал негодующее и насмешливое движение в сторону девушки: «Ишь, чего захотела!» Но солдат посторонился, и девушка побежала прочь по булыжной мостовой. Человек затрепетал: у него было больше, чем у девушки, причин быть отпущенным, ведь на него уже была потрачена целая сигарета, две спички и усилие пальцев, он был теперь как бы свой парень, поэтому он вызволил наконец свой заржавевший голос и сказал с нервным зевком: «Пожалуй, и я пойду...» Но солдат, давший ему прикурить, опечаленно покачал головой и легким прикосновением пальцев выщелкнул его назад, в толпу.

Это был не я, не я! Я покорно стоял и кричал сло-

ва протеста. Покорно протестовал. Против чего? Да ведь шагу нельзя ступить, чтобы душа не возмущалась, здравый смысл не противился, сердце не заходилось от бессильной ненависти к бессмысленному устройству нашей жизни. То тут, то там разворачивались митинги, и всегда находились зачинщики, всегда — хор, всегда зрители, не было только противника! Нет его! Неужели приемщик, не берущий пустые бутылки, — враг? Он не виноват, у него тары нет! Продавщица, что ли, виновата, что колбасу продает стеклянную, оловянную, деревянную, но не мясную? Водитель виноват, что трамваи не ходят? Подайте Тяпкина-Ляпкина, выбросьте в толпу с Красного крыльца первых попавших бояр, чтобы отвести нашу ярость в спокойное русло! Ну, подадут, ну, выбросят, ну, напишут, ну, напечатают! А я-то, не меньше виноватый, чем они, с кровью, створоженной от страха, кишащей микробами, зараженный неверием, стою здесь и свидетельствую от своего безвестного имени: я ничего не могу!

Я ничего не знаю. Не понимаю происходящего. Не могу вникнуть в суть. У меня нет информации. Не знаю, что предложить. Мне больно, что убивают, когда бы ни убивали: во времена походов Карла Великого или теперь, и где бы ни убивали: в Древней Спарте или у нас. Но я, лично я, могу помочь своим гражданам с таким же успехом, как если бы захотел спасти калеку ребенка, сбрасываемого лакедемонянами со скалы. Не верю я в то, что, стоя в толпе и выбрасывая кулак в непроницаемый, пружинящий воздух, служу делу прогресса. Мой сад лежит в стороне от этой площади, и я не знаю, что можно построить на месте Карфагена — дома в стиле барокко с каменной челюстью. Если б знал — каким радостным воздухом полнились бы мои легкие, как сладко было бы крикнуть: «Долой!»

Когда я подумал об этом с отчаянием, превозмогшим даже страх, вдруг кто-то коснулся моего плеча, и я оглянулся. И не успел еще встретиться взглядом с ее грустными, знакомыми глазами, как шум и крик стихли, точно кто-то отключил звук. Будто только что бушевавший костер оказался огарочком свечи, который накрыла большая, спокойная ладонь. Не помню, каким было это лицо, но я сразу узнал его, и в горле набух тайный ком счастья, как это бывает, когда видишь во сне давно умершего любимого человека. Не сказав ни слова, она повернулась и пошла прочь, уводя меня из толпы, в которой яб-

локу негде было упасть, но она проходила легко, как луч сквозь стекло, освещая мне дорогу. Не оборачиваясь, она говорила: орган по-настоящему звучит под сводами храма, а голос поэта в его стихах, на шумной же площади и того и другого не слышно. Перед моим лицом то и дело возникали руки со сжатыми кулаками, но возбужденные глаза не видели меня. Мы прошли сквозь толпу как бессмертные строки сквозь века, и ни будущее с его зовущими, ни прошлое с его взывающими, тянущимися вдогонку руками уже не пугали меня. Мы шли, должно быть, самым длинным путем, потому что за это время я решил про себя, что буду делать и как жить, а такие вещи в минуту не решаются. Когда мы вышли с площади, нас обступила просторная звездная ночь, и я обернулся посмотреть, нет ли пострадавших, чтобы оказать им посильную помощь, но площадь была пуста.

Иван Евсеенко

КРЕСЛО

А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают.

Н. В. Гоголь. Нос

Смастерил это кресло лет семьдесят тому назад знаменитый у нас в городе столяр-краснодеревщик по прозвищу Проножка. Как всякий мастеровой человек, любил он здорово выпить, опохмелиться, а то и загулять на неделю-другую, но в столярных своих делах был на редкость удачливым. Каждое воскресенье Проножка ходил на ярмарку купить себе вина, табаку да посмотреть, какой товар нынче выставили на продажу его сотоварищи краснодеревщики.

И вот однажды заметил он в дровяных рядах двух мужиков, продававших громадную дубовую колоду. Проножка был уже навеселе и, подойдя к мужикам, ехидно постучал по колоде донышком бутылки:

— Краденая, что ли?

— А тебе какое дело? — набычились и встали плечом к плечу мужики.

— А то, если краденая, так надо бы сбавить малость.

Мужики задумались, почесали затылки, а потом и сбавили...

Всю зиму колода эта валялась у Проножки во дворе, сохла, вымерзала на крепком морозе, выветривалась. А по

весне он распустил ее с подмастерьем на брусья и принялся за дело.

Славное получилось у Проножки кресло! Спинка и подлокотники резные, украшенные виноградными гроздьями, ножки чуть выгнутые, похожие на львиные лапы. Кожу он поставил на кресло тоже первосортную, воловью, в палец толщиной, которую по случаю выменял у знакомого скорняка. Была она опять-таки краденой, добытой у одного перекупщика за бесценок. Но Проножке было это совершенно без разницы. Настроение у него в те дни установилось веселое, легкое, и он, не беря ни капли в рот вина, трудился над креслом всласть.

Когда оно было уже совершенно готово, покрыто лаком, он не выдержал и созорничал. Обычно Проножка писал на изделиях полное свои имя: Дехтярев Иван Аверьянович, но тут, словно подтолкнул его нечистый, взял он и вывел на тыльной стороне сиденья голубой несмываемой краской крепко уже поднадоевшее ему к тому времени прозвище — Проножка. И мало того, что вывел, так еще и поставил спереди и сзади три крестика. Никакого злого умысла у Проножки тут не было. Так, баловство одно, похмелье, а вот надо же, получилась из этого баловства совершенно необыкновенная история.

Продавал кресло Проножка уже здорово во хмелю, тянулся за каждую копейку, чего на трезвую голову за ним никогда не водилось. Двум покупателям: бывшему попу и, опять-таки, бывшему владельцу винного магазина он вообще отказал, хотя те давали вполне сносную цену. Не уступил он свое изделие и настырному подозрительному гражданину из приезжих, который явно ничего не знал и не слышал о Проножке и его столярном искусстве. Но зато, когда кресло стал торговать завхоз из недавно открывшегося отдела социального обеспечения, Проножка уступил кресло без особых колебаний. Очень уж ему понравилось слово «обеспечение».

Все вырученные за кресло деньги Проножка пропил. Была у него одна причуда, страсть. Раз в году, чаще всего по весне, заходил он в трактир, накупал вина, закусок, потом нанимал себе гармониста из нищего, вечно крутившегося здесь люда и начинал гулять. Ничего, конечно, особенного в этом гулянии не было. Случалось, и другие мастеровые гуляли в трактире или на ярмарке, отмечая удачно проданную вещь. Но Проножка затевал все не ради только одних выпивок и закусок. Вдоволь угостив всех желающих и сам, конечно, подгуляв, как

следует, он вдруг снимал сапоги, отбрасывал их далеко в сторону и заказывал нанятому гармонисту гопак.

Нет, надо было видеть, как танцует Проножка! Вначале он распрямлял, чуть подкручивал усы, потом закатывал до локтей рукава праздничной сатиновой рубахи, потом медленно, с вызовом проходил по кругу, изредка лишь притопывая босыми пятками, потом с досадой водил плечом, опускал руки, как бы показывая публике, что танец у него нынче никак не идет. Но когда публика, готовая уже поверить, что так оно и есть на самом деле, начинала расходиться, Проножка весь вздрагивал, оживал — и начиналось...

Никто не мог остановить и одолеть в этом танце Проножку. Танцевал он в тот раз до позднего вечера, вгоняя в изнеможение и пот гармониста и случайных напарников, а к ночи кое-как добрался домой, упал на верстак и заплакал. У него частенько заканчивались этим гуляния. Но кто из русских мастеровых людей не плачет во хмелю, кто не бьет себя в грудь, кто не страдает и мучается?! Все страдают, все мучаются! А отчего и почему, поди разбери их?! То ли душа не находит себе покоя и места, то ли просто блажь и безрассудство...

Но как бы там ни было, а Проножка пропил свое кресло, протанцевал, вдоволь поплакал, лежа на верстаке, да и забыл о нем напрочь...

А между тем с креслом начали твориться невероятные истории. Всего через две недели в отдел социального обеспечения нагрянула ревизия, обнаружила взяточничество, подлоги, денежную растрату, и начальник, человек на редкость благоприятного вида и звания, предстал перед судом. Кресло на том суде фигурировало в качестве вещественного доказательства, стояло на самом видном месте. После вынесения приговора его, посоветовавшись с присяжными, купил прокурор...

И что же вы думаете, посидел он в нем всего месяца полтора, а потом был найден мертвым в доме своей близкой знакомой, секретарши губфинотдела. Кресло самым странным образом перекочевало к ней, поскольку, оказывается, на него была оформлена дарственная.

Но и секретарше с креслом не повезло. Сиживали в нем самые завидные городские женихи и просто так, знакомые, претендующие не столько на ее руку, сколько на сердце. А вышла замуж она за владельца мелкой галантерейной лавочки, бывшего, правда, дворянина, но человека алчного и играющего в карты. Вскоре после свадь-

бы лавочник разорился, стал бить секретаршу смертным боем, а кресло продал какому-то писателю из только что призванных в литературу.

Говорят, этот писатель, сидя в кресле, написал знаменитый роман. Но напечатать его не смог ни тогда, ни даже теперь, когда печатается все, что только терпит бумага.

От писателя кресло перекочевало к военным, вначале к интенданту, заведовавшему фуражом и амуницией, а потом к строевику-кавалеристу, менявшему ежемесячно при помощи этого интенданта сапоги и шпоры. Потом года два, после разжалования обоих военных, томилось кресло в какой-то канцелярии (впоследствии, говорят, сгоревшей) и наконец оказалось в том учреждении, о котором у нас и пойдет речь.

Когда кресло впервые занесли в это учреждение, времена были крайне неустойчивые, шаткие. Не успеет начальник как следует в нем пристроиться, привыкнуть к высокой полированной спинке, к удобным резным подлокотникам, к толстой несгибаемой коже, как ночью уже стучатся к нему домой трое — и исчезает он из учреждения на долгие годы, а то, может, и навсегда. На его место приходит другой, по своему социальному происхождению самый что ни на есть верный человек. Но вскорости исчезает и он. И так было до тех пор, пока не пришел в учреждение начальником бывший кочегар с маневрового паровоза Степан Николаевич Дальнозоркий. Первым делом Степан Николаевич, привыкший сидеть возле паровозной топки на березовом чурбачке, расправился с креслом. Он настороженно обошел вокруг него несколько раз, попробовал черной, пожизненно прокопченной углем ладонью сиденье, потом перевернул кресло вверх ногами, по складам прочитал надпись, крепко задумался над голубыми крестиками, испытующе посмотрел на своих подчиненных — да и велел подать себе самый обыкновенный стул...

И вот вам результат! Руководил Степан Николаевич учреждением, сидя на том стуле, более сорока лет. И ничего его не взяло: ни ревизии, ни доносы, ни анонимные жалобы, ни даже смена времен и правительств. То ли социальное происхождение его выручало, то ли редкостная, по слухам, нигде больше не встречаемая фамилия...

А кресло все эти годы пылилось и старело на чердаке. Постепенно о нем все забыли, тем более что народу

в учреждении за последние десятилетия сменилось великое множество. Из старожилов остался, считай, один Степан Николаевич. Но ему вспоминать о кресле не было никакой надобности. Во-первых, сиживать в нем и испытывать всякие превратности судьбы Степану Николаевичу не довелось, а во-вторых, человек он был идейный, закаленный в боях и схватках, и разным там предзнаменованиям верить не привык.

Два года тому назад Степан Николаевич ушел наконец на пенсию, и его место занял молодой толковый начальник, присланный в областной город откуда-то из провинции.

Вот тут все и началось!..

Начальник этот, Иван Александрович, человек был дотошный, въедливый. Он не просто принял от Степана Николаевича дела, а обследовал каждый уголочек в своем учреждении, заглянул в каждый шкафчик, в каждый ящичек стола, проверил ключиком каждый замочек в сейфах и потайных дверцах. Само собой разумеется, что поднялся Иван Александрович и на чердак. И вот, когда он разгреб всякий книжный хлам, когда отбросил в сторону запылившиеся портреты и лозунги былых времен, его взору открылось кресло. Говорят, Иван Александрович от умиления и отрады даже заплакал.

Так ведь и было отчего! Сколько лет, еще там, в провинции, он мечтал именно о таком кресле, о его широкой, просторной спинке, о его резных, украшенных виноградными гроздьями ножках, о его мягких, не издающих ни единого звука пружинах, о его знаменитой ворованной коже, о лаке и политуре и даже о трех голубых поставленных на изнанке сиденья крестиках! Сколько раз оно снилось ему по ночам, еще в те времена, когда он был всего-навсего рядовым инженером со сторублевой зарплатой. Случалось, только закроет он глаза, только смежит уставшие веки, как — вот оно — уже витает перед ним в облаках, витает и манит к себе. И тут уж хочешь не хочешь, а взберешься на него, нажмешь на столе кнопочку и, когда появится секретарша, как гаркнешь на нее во все горло:

— Ну-ка позвать сюда главного инженера!

И вот инженер уже перед тобой. Стоит, трясется, как осиновый лист, худой, тощенький, штаны на коленях пузырятся, физиономия вся серая, похмельная. Поглядишь на него сверху вниз, прикинешь в уме, казнить или помиловать. А он уже мысли твои чувствует, читает на

расстоянии, вспоминает, должно быть, окаянный, как мордовал Ивана Александровича, звал его Ванькой да каждое утро посылал в гастроном за пивом и плавлеными сырками... «Ну-ну, — думаешь, — вспоминай, кайся, не все коту масленица, пришел и постный день».

А иной раз вдруг найдет на тебя хорошая минута, расслабление... Нажмешь опять-таки на кнопочку, улыбнешься загадочно так, по-отцовски:

— Сонечка, а не попить ли нам чайку?

Само собой разумеется, что попить...

Не проходит и десяти минут, как дверь уже заперта на ключик, самовар исходит голубым паром, а на столе перед тобой и сушки, и сухарики, и ломтик шоколада, и любимая твоя девятикопеечная булочка-сдоба. Сонечка сидит рядом. Ножка на ножку, вот так, в руках сигаретка медовая, заграничная, во взгляде ночь и томление. Одним словом, только намекни ей, только подай знак...

Ах, да что там говорить... Сон один, сказания Шехерезады, не думал и не гадал Иван Александрович, что все это когда-нибудь сбудется.

А ведь сбылось, осуществилось. И вот заветное кресло уже в его кабинете, уже сидит он в нем, молодой, вовремя перестроившийся, постукивает пальчиками по подлокотнику, нажимает на кнопочку:

— А позвать-ка сюда главного бухгалтера!

Ждать Ивану Александровичу долго не приходится. Главный бухгалтер тут как тут, мнется посреди кабинета, сучит ногами.

— Как стоите?! — кричит на него Иван Александрович. — Забыли?!

Нет, ничего не забыл главный бухгалтер! Все помнит! И как терзал Ивана Александровича там, в провинции, во время ревизий, и как выпивал с ним в лесочке на берегу реки, и как не отказывался от сверточка-другого, положенного перед отъездом в багажник. Все помнит, бестия, все держит в уме! Потому и вытягивается во фрунт, потому и раскладывает на столе перед Иваном Александровичем папочку, тисненную золотом...

После разговора с бухгалтером настроение у Ивана Александровича заметно улучшается, он в изнеможении откидывается на спинку кресла и еще раз нажимает кнопочку:

— Валечка, а не попить ли нам кофейку?

И сон, как говорится, в руку. На столе и чашечка ко-

фе, и сушки, и булочка-сдоба, и, конечно же, Валечка, сидит чуть в сторонке, потупила глазки, не дышит...

И все это, заметьте, всего в тридцать один год. А что будет дальше?! Каких высот еще добьется Иван Александрович, в какие кресла еще попадет, с какими секретаршами будет еще распивать чаи и кофе...

На этом, может, и стоило бы нам прервать свой рассказ. Все хорошо, все прекрасно складывалось у Ивана Александровича. Хозрасчет, бригадный подряд и прочее самофинансирование для него сущий пустяк. Там, в провинции, он и не такие дела проворачивал, и не из таких петель выскальзывал... А здесь, где и размаху побольше, и народ понадежнее, он еще себя покажет...

И вдруг Иван Александрович стал замечать, что по ночам кто-то в его кресле сидит-посиживает, словно примеряется к нему...

Первым делом он подумал на уборщицу Тамару Павловну. Женщина она была простая, необразованная и вполне даже могла вечером во время уборки присесть в кресло, а то даже и задремать в нем. Иван Александрович немедленно вызвал ее к себе и без всякого еще нажима в голосе предупредил:

— Павловна, ты кресла моего лучше не трожь!

— Да что вы, Иван Александрович, — заволновалась та, — я и не подхожу к нему.

— Подходить как раз можно, — смягчился он, — но пыль не вытирай. Я сам!

Павловна обиженно замолчала, вздохнула, и Иван Александрович по этому стариковскому беззащитному вздоху понял — нет, не она.

Собираясь домой, он поставил кресло особым манером, чуть наискосок к столу. И мало того, что поставил по-особому, так еще и обвел вокруг одной ножки мелком. Мол, если кто сдвинет, так уж обязательно будет замечено.

И что же вы думаете — сдвинули! На следующий день Иван Александрович обнаружил кресло повернутым к окну и даже еще теплым, как будто в нем всего минуту тому назад кто-то сидел.

— Валечка! — закричал Иван Александрович. — Что здесь происходит?!

— Что? — испуганно предстала перед ним секретарша.

— Полюбуйтесь! — указал он на кресло. — Кто-то бывает в кабинете по ночам и сидит в моем кресле.

Валечка от страха прикрыла рот ладошкой, ойкнула и едва не упала на пол.

— Не я, — только и сумела она проговорить.

— Значит, так, — принял решение Иван Александрович. — Сегодня остаемся на ночь и проследим.

— Хорошо, — кое-как справившись с волнением, ответила Валечка. — Остаемся...

Часов до восьми они сидели каждый на своем рабочем месте. Иван Александрович писал справку в вышестоящую организацию, а Валечка по своему обыкновению печатала на машинке. Правда, как-то странно печатала, с долгими перерывами и остановками, словно постоянно к чему-то прислушиваясь.

Наконец Иван Александрович погасил в кабинете свет и позвал Валечку к себе. Они присели на двух стульях в самом уголочке, крепко прижались плечами и стали ждать. Было тихо и сумрачно. На столе у Ивана Александровича перестали звонить многочисленные телефоны, затих селектор, замедлили ход, а потом и вовсе почему-то остановились электронные часы. Иван Александрович хотел было посмотреть, что там с ними случилось, но Валечка не отпустила его, задрожала всем телом и едва слышимо прошептала:

— Мне страшно...

— Мне тоже, — слукавил Иван Александрович и, крепко сжав пухленькую натруженную руку секретарши, вдруг предложил: — Давай перейдем в приемную.

Валечка давно и сама чувствовала, что перейти в приемную надо бы. Сидеть на жестких венских стульях было неудобно и тесно, а там, в приемной, стоит широкий, просторный диванчик, предусмотрительно заведенный для посетителей еще покойным Степаном Николаевичем.

Перешли они на этот диванчик в полном согласии и благоразумии да и скоротали на нем всю ночь, поминутно поглядывая в кабинет: не бродит ли там кто из угла в угол, не сидит ли в заветном кресле Ивана Александровича? Никто вроде бы не бродил и не сидел. Было по-прежнему тихо и спокойно. Часы, правда, сами собой включились и пошли дальше, за какие-нибудь две-три минуты догнав упущенное ночное время. Но ни Иван Александрович, ни Валечка не обратили на это никакого внимания.

А утром... Нет, вы представьте себе состояние Ивана Александровича! Ровно без пятнадцати девять он, как всегда, зашел в свой кабинет — и что же увидел?! Крес-

ло его было не только сдвинуто, а стояло в совершенно противоположном углу возле батареи, словно ночной гость, озябнув, перенес его поближе к теплу.

— Это все Петр Петрович! — закричал, теряя последнюю волю, Иван Александрович. — Он давно метит на мое место!

— Да вы что?! — попробовала заступиться за Петра Петровича Валечка. — Ему же до пенсии три месяца.

— Тогда главный инженер! — не мог уже остановиться Иван Александрович.

Но и главного инженера Валечка сумела отстоять. Должность Ивана Александровича ему предлагали еще два года тому назад, но он благоразумно отказался.

— Тогда экономист!

— Экономист вполне может, — немедленно согласилась Валечка, имевшая к экономисту некоторые претензии.

Иван Александрович на минуту даже успокоился, но потом, пораскинув умом, предположение свое решительно отверг. Экономист был человеком такой неимоверной толщины и такого веса, что, решись он только приблизиться к креслу Ивана Александровича, как оно тут же бы рассыпалось на мелкие части.

— Тогда... — заметался он в ярости из угла в угол и вдруг наткнулся на уже заплаканную к тому времени Валечку. — Почему до сих пор не установлена сигнализация, почему дверь на ночь не опечатывается?!

— Сегодня же сделаем! — пролепетала совсем растерявшаяся Валечка и потянулась (несколько, правда, демонстративно) к аптечке за валокордином.

К вечеру сигнализация действительно была установлена, а после рабочего дня дверь в кабинет Ивана Александровича опечатана двумя сургучными печатями.

Но, как говорится, от судьбы не уйдешь. Утром кресло опять было сдвинуто. На этот раз, правда, не к окну и не к батарее, а к книжному шкафу, где у Ивана Александровича хранилось пока всего несколько книг: «Основы трудового законодательства», «Уголовный кодекс РСФСР» да еще тоненькая брошюрка «О нравственном воспитании», которую ему иногда в минуты отдохновения читала Валечка.

Иван Александрович вернул кресло на прежнее место, обреченно уселся в нем и крепко задумался. Надо было принимать какие-то совершенно радикальные меры. Но какие?! Ничего путного ему в голову не приходило.

Мелькнула было мысль собрать совещание и допросить всех с должным пристрастием, устроить, так сказать, очную ставку. Но он тут же отказался от подобной мысли. Знает он все эти нынешние совещания! Такую разведут гласность, такие понапишут друг на друга бумаги, что после сам черт не разберет!

Пришлось Ивану Александровичу отвергнуть и еще одну, на первый взгляд, казалось бы, вполне здравую мысль — уволить всех теперешних сотрудников вплоть до Тамары Павловны и Валечки и набрать новых. Но вот они, «Основы трудового законодательства», а там статья на статье: этого делать не смей, на это не замахивайся. Ну еще одного-другого уволить можно, а всех не получится: по судам затаскают, со света изживут. Да и наверху на такую меру не согласятся. Особенно теперь, когда всюду выборы и демократия, когда какая-нибудь Валечка, если что не по ней, способна единственным своим голосом решить твою судьбу и участь...

Можно, конечно, еще было написать обо всех этих безобразиях куда следует, потребовать, так сказать, социальной защиты. Но, опять-таки, по нынешним временам это не выход, это теперь не приветствуется...

В общем, бороться Ивану Александровичу надо было в одиночку. И он на борьбу эту поднялся со всей присущей ему решимостью и страстью.

Еще со школьных времен Иван Александрович знал, что ничто так не досаждает человеку, ничто так не выводит его из терпения, как всякие мелкие пакости и обиды. Припомнилась Ивану Александровичу история с Федей Сушковым, соседом по парте. Противный такой был сосед, дотошный, все время математику списывал. Избавился от него Иван Александрович испытанным школьным методом. Только учительница поднимет Федьку отвечать, так он тут же подложит ему на сиденье парочку канцелярских кнопок. Мелочь вроде бы, пустяки, а через неделю Федька запросился на другую парту.

«Запросится и этот», — с ехидцей подумал о ночном госте Иван Александрович и, уходя домой, насыпал на кресло целую горсть громадных, чем-то похожих на лошадиные подковы кнопок. Но гость, судя по всему, тоже учился в школе и все эти проделки знал. Две ночи подряд он аккуратно сметал кнопки с сиденья и, должно быть, от нечего делать расставлял их ровненькими рядами на письменном столе. А на третью ночь подловил самого Ивана Александровича. Зайдя утром в кабинет и

увидя на столе стройные ряды кнопок, он со всего размаха плюхнулся в кресло — ну и, само собой, был наказан! Да еще как — три дня пришлось принимать посетителей стоя...

Пробовал Иван Александрович подставлять ночному гостю чернильницу-непроливанку, которую с трудом отыскал дома, старинные бухгалтерские счеты, один раз оставил даже на сиденье мокрую перемазанную мелом тряпку.

Но опять все напрасно! Гость приходил, как ни в чем не бывало, смахивал на пол все подложенные предметы, оттаскивал кресло то к окну, то к батарее, то к книжному шкафу и неизвестно зачем проводил там всю ночь.

Иван Александрович совсем было отчаялся и, делать нечего, собрался писать соответствующую бумагу куда следует. Но потом его вдруг осенила веселая, счастливая мысль: «А черт с ним, пусть ходит! Бумаг не трогает, в документах не роется, ничего не ворует и даже воды из графина не пьет!»

И так спокойно, так легко стало Ивану Александровичу от этой мысли, что он не выдержал и на одном из совещаний в райкоме рассказал о ночном госте своим сотоварищам по должности, таким же, как и он, молодым, удачно перестроившимся начальникам и управляющим...

А делать этого, как оказалось после, никак было нельзя. Роковую ошибку, можно сказать, допустил Иван Александрович и поплатился за это многим...

Теперь каждое утро, как только он входил в кабинет, сразу начинались телефонные звонки от этих друзей-товарищей:

— Ну как там, был? — с подначкой в голосе спрашивали они.

— Известное дело, был, — вначале весело и легко, а потом все тяжелее и натужней отвечал Иван Александрович, возвращая кресло на законное свое место.

— А ты капкан не пробовал? — продолжали подначивать его сотоварищи.

— Пробовал, — багровел и наливался отчаянием Иван Александрович.

— А силки?

— И силки тоже пробовал, — уже во весь голос кричал в трубку Иван Александрович, слыша оттуда смех и какое-то перешептывание.

Но бог с ним, с этим смехом и перешептыванием. Иван Александрович там, в провинции, не такое еще переживал! И что же?! Он теперь в области начальником

и, надо сказать, немалым, а те, кто посмеивался над ним да перешептывался, где они?! Вот то-то и оно! Сидят эти пересмешники, как и сидели, по своим захолустьям да локти покусывают, глядя на Ивана Александровича.

Хуже было другое. Стал вдруг Иван Александрович замечать, что друзья его, товарищи, сослуживцы и даже просто так незнакомые люди поглядывают на него с подозрением. Только где он появится, как тут же все затихнут, сокрушенно закачают головами и вмиг разойдутся, не принимая его в свою компанию. На нескольких совещаниях он по совершенно неясной причине не попадал в президиум, на что сразу многие обратили внимание, а он даже хотел написать записку самому Владимиру Мартыновичу. Мол, как же так, за что такая немилость и пренебрежение? Но, слава богу, вовремя хватило ума сдержаться. Хотя, конечно, обидно. Предприятие, возглавляемое Иваном Александровичем, не последнее в городе, план у них выполняется по всем показателям, вплоть до ввода жилья.

А слухи и обструкция вокруг Ивана Александровича все росли и росли. И даже несколько раз уличные мальчишки гнались за его служебной голубенькой «Волгой», кидались камнями и, ни капли не стесняясь, кричали на весь квартал:

— Ванька-встанька, старый табурет!

И никто, заметьте, никто, ни одна живая душа не остановила их, не сделала соответствующего внушения. Тем более что совершенно неясно, при чем здесь старый табурет. А ведь все происходило в двух шагах от дома, где жил Иван Александрович и где еще вчера каждый встречный-поперечный почитал за честь поздороваться с ним.

Но больше всех поразила Ивана Александровича Валечка. На все его предложения остаться еще разок после работы да покараулить незваного ночного гостя она отвечала самым решительным отказом. А потом и того хуже, завела какую-то особую желтую тетрадку и на всех летучках стала записывать за Иваном Александровичем каждое слово. Вначале он не обращал на это никакого внимания, думал, это она от особого уважения записывает его мысли и изречения, чтобы после по случайности или по рассеянности не забыть. Но недели через две-три его вдруг осенило. А не по заданию ли какому она все это записывает, не докладывает ли кому все слова Ива-

на Александровича? Что-то раньше у нее этой желтой тетрадки заметно не было. Иван Александрович прямо на летучке потребовал тетрадку себе, но Валечка, ничуть не смутившись и даже не покраснев, спрятала ее под стол и ответила:

— Это мое, личное!

Нет, вы только представьте себе, с каких это пор у наших секретарш появилось свое, личное, о чем начальнику знать не положено?!

В общем, круг сужался, становился даже не кругом, а малюсеньким таким пятачком, на котором Иван Александрович уже с трудом стоял на одной ноге. Но вскоре и этот пятачок из-под него выбили. В один прекрасный день раздался по вертушке телефонный угрожающий звонок, и Ивана Александровича пригласили, куда следует. А там даже по нынешним новым временам разговор короток.

— Вот что, — сказали там, — либо наводите у себя в учреждении порядок, чтоб никаких слухов и обструкций, либо...

Дважды Ивану Александровичу повторять, что означает это «либо», не надо было. Он сам не раз повторял его...

«Ладно, — стойко вынес он этот удар, — вы еще не знаете Ивана Александровича! Вы еще будете плакать горючими слезами, будете просить прощения и пощады! Всех разоблачу, всех выведу на чистую воду! Ночного этого гостя поймаю, свяжу веревкой, посажу вместо Валечки за пишущую машинку, и будет он мне ежечасно готовить кофе, караулить дверь да читать вслух желтую тетрадку...»

Одним словом, распалился Иван Александрович не на шутку. Вызов, куда следует, к высокому начальству, обструкции товарищей, бесстыжие дразнилки мальчишек и особенно двурушничество Валечки задели его за живое.

Прихватив из дома веревку покрепче и подлиннее, он перехитрил Валечку, которая теперь не спускала с него глаз, и заперся в кабинете на ночь один. Наученный горьким опытом, он не стал прятаться в углу на стульях, а гордо и даже чуть-чуть торжественно занял место в кресле, решив про себя: «Будь, что будет...»

Но ничего не было. Всю ночь просидел Иван Александрович в кресле, не смыкая глаз, зорко следя за две-

рью и еще почему-то за громадным металлическим сейфом, в котором при желании вполне даже мог затаиться человек. И все напрасно! Летняя ночь была на редкость тихой и безветренной. Из окна тянуло запахом матиолы, холодной мяты, гвоздики и еще каких-то неведомых, но горячо любимых Иваном Александровичем цветов. А какие были в ту ночь звезды! Все крупные, яркие, величиной со старинный, теперь почему-то отмененный орден Станислава первой степени. Иван Александрович размечтался, примеряя этот орден на себя, и выходило, что он ему очень даже к лицу. И особенно если бы к этому ордену да еще через плечо широкую атласную ленту, чем-то похожую на Млечный Путь. Вот тогда бы посмотрели на Ивана Александровича и его друзья-товарищи, и Валечка, и эти из высокого кабинета, которые только и умеют, что произносить: «Либо, либо...»

Ну да ладно, все еще будет: и орден, и Млечный Путь, и даже, может быть, Государственная премия, дай только изловить этого ночного злоумышленника.

А он, словно насмехаясь над Иваном Александровичем, в эту ночь не явился. Странно, конечно! То безобразничал в кабинете до самого утра, передвигал с места на место кресло, а то вдруг забоялся. Может, кто предупредил его?! Валечка, наверное, скорее всего. Небось пряталась где-нибудь в коридоре, выслеживала Ивана Александровича, а потом и шепнула привидению, мол, так и так, не ходи сегодня, Иван Александрович остался в кабинете на карауле. Все они заодно, все они против Ивана Александровича.

Но тут уж, как говорится, нашла коса на камень. Иван Александрович был человеком твердого характера и задуманное предприятие всегда привык доводить до конца. Остался он в кабинете и на вторую ночь, и на третью. Но, представьте себе, все напрасно. Матиолы каждую ночь расцветали еще пышнее, звезды и созвездия сияли еще ярче, Млечный Путь опоясывал землю еще туже. А непрошеный гость не появлялся...

Иван Александрович впал было в отчаяние. «Да что ж это такое, — думал он, — насмехается надо мной судьба или в прятки играет?! А может...» Нет, об этом Ивану Александровичу даже страшно было подумать. Хотя чего уж тут: страшись не страшись, а думы, вот они, роятся в голове, ввергают в сомнение. Может, не было никакого гостя, может, никто и не мыслил зариться на кресло Ивана Александровича? И все

это лишь его воображение, плод, так сказать, воспаленного ума?..

Иван Александрович просто похолодел от такой догадки. Это что же тогда получается?! Выходит, что правы его друзья-товарищи, права Валечка со своей желтой тетрадкой, правы даже уличные мальчишки, которые, должно быть, по науськиванию родителей кричат ему вслед: «Ванька-встанька, старый табурет!» — а он не прав?!

Ну уж, нет! Ну уж такому никогда не бывать! За всю жизнь ни разу еще не случалось, чтоб Иван Александрович был не прав! Такая уж у него судьба, такая натура. Не успеет он где-либо появиться, а правда уже бежит впереди него, прокладывает дорогу, крошит всю неправду налево и направо...

Много еще всяких самых торжественных мыслей появлялось в те дни в голове Ивана Александровича. И не зря!

На четвертую ночь решил он перехитрить ночного гостя. Чтоб не смущать его своим присутствием, он в кресло садиться не стал, а спрятался за толстой широкой портьерой и затаил дыхание.

И вот ровно в полночь остановились на столе Ивана Александровича электронные часы, потом скрипнуло, словно отворилось, окно, потом явственно послышались легкие человеческие шаги и даже человеческое дыхание, и наконец по кабинету промелькнула темная пугающая тень. Чуть отодвинув кресло от стола, она уселась в него, взяла в руки «Основы трудового законодательства» и стала читать их в полной темноте. И мало того, что читать, так еще и раскачиваться самым бессовестным образом в чужом кресле, что-то насвистывать и щелкать тыквенные семечки, которые принесла с собой.

Будь Иван Александрович человеком не такого твердого характера и не такой решимости, он, наверное, потерял бы, стоя за портьерой, дар речи. Но не зря он там, в провинции, прошел огни, воды и медные трубы, не зря простоял столько часов на коврах перед высоким начальством, не зря просидел столько суток, месяцев, а может, и лет в приемных, даря секретаршам шоколадки, цветы и наборы одеколона. Воля его окрепла и закалилась до последнего предела, и никакие испытания ему были не страшны.

Приоткрыв чуть пошире портьеру, он повнимательней

всмотрелся в ночного гостя и, представьте себе, узнал его. Уж бог его знает каким образом, но в голове у Ивана Александровича пронеслась сокрушающая мысль, озарение — Проножка! Никогда в жизни не видел он никакого Проножки, не знал даже, кто это. Но сомнений у Ивана Александровича не было — в его любимом, заветном кресле с тремя голубенькими крестиками на изнанке восседал Проножка и, пощелкивая тыквенные семечки, читал «Основы трудового законодательства».

Роковой, смертельный час борьбы для Ивана Александровича настал. Решительно откинув портьеру и покрепче сжав в руках веревку, он твердым, несокрушимым шагом двинулся на Проножку, ни капли не сомневаясь в исходе схватки. Так, должно быть, шел на последний свой бой, подбадриваемый многотысячным войском, какой-нибудь Пересвет...

Проножка, заметив Ивана Александровича, чуть повернулся к нему, но особого беспокойства не выказал, продолжал щелкать семечки и даже перелистнул в «Основах трудового законодательства» очередную страницу. У Ивана Александровича от негодования едва не зашлось сердце. Он готов был с победным криком кинуться на своего обидчика. Но тот, словно предчувствуя это, многозначительно усмехнулся и, достав откуда-то из-под стола четвертинку водки, запечатанную на старинный манер сургучом, вдруг предложил:

— По махонькой, что ли? За знакомство.

Выдержать подобного нахальства Иван Александрович уже не мог. Ведь сами подумайте, сами станьте на его место! Чтоб по нынешним трезвым временам да затевать в начальственном кабинете при закрытых дверях и погашенном свете пьянство?! Кто же это простит, кто же за это помилует?! Тут уж никакого «либо», «либо», тут уж один исход — лишение всех прав и послаблений...

— Вон отсюда! — закричал, не помня себя, Иван Александрович. — Вон из кабинета! Мое кресло!

— А это как поглядеть... — опять усмехнулся и пьяненько постучал по четвертинке ногтем Проножка. — Ну так что — по рюмочке?..

Сердце у Ивана Александровича действительно похолодело и провалилось куда-то под ребра. Нет, этого уже и представить было невозможно. Забрался среди ночи в чужой кабинет, пьянствует, безобразничает да еще и на-

мекает насчет кресла. Да мало ли кто мог построить это кресло, мало ли кто мог вложить в него душу и замысел! Главное, кому оно по документу принадлежит, у кого на балансе числится! Главное, кто здесь днем сидит, а не по ночам, словно разбойник, шастает!

Иван Александрович заново разгорячился, собрал воедино всю свою волю и сделал к Проножке последний шаг...

Но и на этом его испытания еще не закончились. Проножка, не торопясь, выпил одну за другой две неизвестно как появившиеся на столе рюмочки, подкрутил усы. А потом, проворно выбравшись из-за стола, единым движением снял яловые пахнущие дегтем и стружкой сапоги, ударил себя ладонями по груди, притопнул босыми пятками по ковру и заказал Ивану Александровичу, словно какому-либо подручному:

— Гопак!

И уж как оно так получилось, бог его знает, но Иван Александрович тоже ударил себя разгоряченными ладонями по груди, тоже сбросил с ног лаковые югославские туфельки и, весело напевая какое-то подобие гопака, прошелся вслед за Проножкой по кругу. Необыкновенная легкость и отрада овладели всем его телом. Подбадривая себя задорной музыкой, пощелкивая пальцами и стараясь не отстать от Проножки, он то пускался вокруг стола плавным гусиным шагом, то кружился под высокой погашенной люстрой настоящим волчком, то, широко раскидывая руки, с завидным умением отплясывал гопака вприсядку...

Чем бы закончилось это танцевание, трудно сказать! Но вдруг в голове у Ивана Александровича наступило минутное просветление. Он оборвал на полушаге танец, с изумлением и ненавистью поглядел на Проножку, закричал что-то необыкновенно воинственное, дерзкое, которое, говорят, слышали все жители города, и ринулся на него, потрясая над головой веревкой...

...Жив остался Иван Александрович или нет, не знаю. Слухи ходят самые разные. Может, и жив... Но в городе, говорят, появился какой-то странный человек в длиннополом почти до пят пальто, в шапке-треуголке и совершенно без выражения на лице. По ночам он стучится во все учреждения, требует немедленно пригласить к нему какого-то Степана Николаевича и, если то-

го не приглашают, страдает и грозится написать, куда следует...

Днем его несколько раз видели на базаре. Ходит он между рядами, где теперь, после издания трудового закона, расположились всякие кооператоры, и торгует у них табуретки. Но ни одной пока не купил, то ли дорого с него просят, то ли чего-то побаивается...

А кресло из учреждения, где служил Иван Александрович, будто бы исчезло. И вот сиди теперь да гадай, где оно объявится? Хорошо, если у нас в городе или у соседей, а если где-нибудь выше, а потом еще выше, а потом и совсем уже высоко?..

Куда же девался Пропожка, того и вовсе никто не знает...

Геннадий Ненашев

ВОТ ИДУ Я ПО ПАРИЖУ

Хутор Ново-Кураково-Соболевский — малоприметный. В том смысле, что затерялся он в снежной кутерьме-круговерти вдали от других поселений, увяз по самую крышу в глубоких снежных сугробах так, что если бы не дымящая печная труба да не красная тряпица на длинной жердине, без роздыху трепыхающаяся на стылом ветру, обнаружить хутор было бы почти невозможно.

К хутору примыкает приусадебный участок и довольно значительный — с охватом площади не в привычных сотках или даже гектарах, а чего там — в десятках и сотнях квадратных километров непаханых и никем не мерянных земель, привольно лежащих по все четыре стороны света.

Однако земледелие в здешнем краю по вине капризного климата является занятием малопродуктивным, потому хуторяне используют свои необъятные, девственные владения лишь как охотничьи угодья, да и то редко. И ходить на промысел далеко не надо: дернет на себя изнутри входную дверь хуторянин, выберется через снежный тоннель на свет божий, прихватит дробовик на случай, постоит, осматриваясь по сторонам и оставляя у ног глубокие рыжевато-желтые проталины, — глядь, а вот она и

стайка куропаток подлетела или заяц поблизости скачет; шмальнет из двух стволов — и есть на жаркое. А если окно еще снегом не завалило, и того проще — прямо через форточку косого снять можно. Дело нехитрое: непуганой живности вокруг хутора — пропасть!

Хутор Ново-Кураково-Соболевский до недавней поры не имел такого цветистого и многоступенчатого названия. Обычный передвижной домик на полозьях из металлических труб, наспех сколоченный из обрезной доски, принадлежащий недавно открывшемуся золотодобывающему прииску на Чукотке, забросили вертолетом в глубь тундры километров за семьдесят от основной базы и опустили с небес там, где прямо на поверхность выступают залежи каменного угля.

Рабочие прииска живут в этом домике по три-четыре человека начиная с глубокой осени, как только заканчивается промывочный сезон, и всю долгую зиму; заготавливают топливо для нужд прииска открытым способом, имея при себе незамысловатый инструмент: ломы, носилки да лопаты.

По причине оторванности, обособленного существования и окрестили домик с чьей-то легкой руки «хутором». А проживающие в нем в настоящее время молодые парни, Антон Новиков, Егор Кураков и Женя Соболевский, не комплексуя ложной скромностью, дали ему название из благозвучного ожерелья собственных фамилий.

Название прижилось, и теперь если снаряжался с прииска санно-тракторный поезд в эту сторону, то посылали его уже не просто «за углем», а за углем на Ново-Кураково-Соболевский.

Жизнь на хуторе утомительно однообразна и скучна. Если днями за работой при условии сносной погоды время еще как-то движется, то по вечерам и в период пурги — бывает, затяжной, многосуточной — оно будто застывает на месте, материализуется в этакую бесконечную заледеневшую глыбину, и та давит на душу, гнетет смертным гнетом. И ничем не растопить ее, тяжкую, и никак не сбросить. Забыты надоевшие пешки, валяются там и тут камни опостылевшего домино, давно лежит без дела разбухшая и измочаленная донельзя колода карт, а сами хуторяне, исхлестав этими картами друг другу уши и носы и одураченные игрой в «подкидного» по тысяче и более раз, маются в тоске, лежа на нарах поверх спальных мешков, шитых из оленьих шкур, в ожидании следующего дня и затишливой погоды.

Убийственно-медлительной поступью плетется над хутором время, и потому со слабыми нервами жить здесь нельзя. С ума, правда, пока никто еще не сходил, но бывали случаи, когда присланные сюда рабочие — может быть, даже и друзья, — вскоре надоедали друг другу до лихоты. Надоедливость затем перерастала в тихую глухую ненависть, а уж это чувство переходило в открытую вражду. И тогда по носам и ушам хлестались уже не картами, а увесистыми литыми кулаками и хватались за ружья.

Для скандальной вспышки порой достаточно было самого ничтожного повода.

Предшественники ныне живущих хуторян, к примеру, рассорились вдрызг и даже передрались между собой из-за обыкновенного таракана. Ну, может быть, чуточку не совсем обыкновенного, но все же из-за таракана, от соплеменников которого стараются избавиться во всех нормальных домах и квартирах.

Завелись каким-то образом таракашки и на хуторе. Здесь им никто сопротивления не оказывал. Напротив, с ними вроде даже как-то и повеселее стало — бегают, привлекают внимание. А один из них, таракан Гоша, заметно отличался от своих сородичей удивительной доверчивостью, покоряющей непринужденностью и общительным нравом. Словом, Гоша был тараканом коммуникабельным, компанейским. За компанию Гоша и выпить был не дурак. Потому и навязался в приятели к двум дюжим молодцам, жившим в ту пору на хуторе и любившим пображничать.

Влекомый пагубной страстью, пренебрегая опасностью, Гоша выполз однажды из укромного места на люди и поддержал веселое застолье, невозмутимо осушив несколько капель небрежно пролитой горьковато-сладкой жидкости. После чего, благодарно пошевеливая усами, нетрезво удалился под восторженный гогот хуторян.

В дальнейшем ни одна пирушка без Гоши уже не обходилась. Он получил не только собственное имя, но и свою персональную чарку — крышечку из-под вьетнамского бальзама «Звездочка».

Гоша, видно, подспудно понимал, как тяжело возвращаться с попойки, если далеко живешь, и облюбовал себе место для проживания прямо рядом со столом, по ту сторону физической карты мира, висевшей на стенке. Стоило заскучавшим хуторянам легонько постучать по карте и позвать: «Гоша, валяй, мол, сюда, разговор есть»,

как таракан Гоша, не заставляя себя ждать и упрашивать, появлялся со стороны Восточного полушария, где-то в районе Новой Гвинеи, быстро продвигался по экватору до Африканского континента, затем брал курс на юг, к мысу Доброй Надежды, пересекал Индийский океан и Антарктиду, после чего устремлялся и жадно припадал к своей заветной посудине, всклень наполненной его двуногими и безусыми дружками. Назад он добирался, уже не ориентируясь по карте, полз наугад — лишь бы поскорей с глаз долой.

Такой нездоровый образ жизни не сулил ничего хорошего: все трое сотрапезников печально кончили.

Первым из них пострадал Гоша.

Как и большинство людей, пристрастившихся к зловредным напиткам, таракан Гоша заскользил по наклонной, морально разлагаясь и деградируя. Хроническое пьянство и панибратское отношение с сомнительными типами довели бедного Гошу, что называется, до ручки: Гоша начал приворовывать. Ему, таракану, явившемуся «под мухой» в свою обитель, все чаще стало казаться, что «мало». Он опять пускался к столу, когда хуторяне засыпали, и надирался уже до упора. А в последний раз упился аж до летального исхода, то есть до смерти; забрался в чужую кружку и так набрался, что не смог выбраться. Захлебнулся.

Утром хуторяне обнаружили Гошины останки в остатках застолья, взгрустнули, помянули, конечно, как водится, бывшего в чем-то близкого им таракашку, а уж потом — слово за слово — поругались. Один обвинял второго, что тот оставил роковую кружку недопитой, а второй наседал на первого за скупердяйство: надо было, дескать, чем самому все до дна вылизывать, лучше бы Гоше на опохмелку капнуть.

Так, мало-помалу, от слов они перешли к делу, состоящему в нанесении обоюдных телесных повреждений.

После чего вопрос о совместном их проживании даже не возникал. Их заменили. Сейчас, правда, те ребята снова находятся вместе. Но уже в лучших природных и климатических условиях — под Магаданом. В аббревиатуре их новое место работы называется ЛТП. А попросту — лечебно-трудовой профилакторий.

Учитывая сей вероятный фактор психологической несовместимости, руководство прииска ограничивало сроки пребывания на хуторе, периодически подменяя одних рабочих другими. Но добровольцев, жаждущих уединения

и покоя, становилось все меньше и меньше. Не подавали о себе знать и активисты-энтузиасты прииска, как только речь заходила о добыче угля. Что-то сковывало их инициативу, мешало проявить себя. Не последнее значение в этом играло, должно быть, отсутствие материального стимула: работа не из легких, быт не из лучших, а оплата по тарифу. На прииске же привыкли зашибать звонкую деньгу.

И все тяготы хуторской жизни и деятельности подневольно ложились на плечи тех, кто так или иначе успевал нарушить трудовую дисциплину или сумел «отличиться» каким-то иным неблаговидным деянием.

Новиков, Кураков и Соболевский, ныне живущие на хуторе, не были исключением из этих устоявшихся правил.

Бульдозерист Егор Кураков, крестьянский сын, атлет по фигуре и вахлак по натуре, вернулся из отпуска с недельным опозданием, за что и был незамедлительно отправлен на хутор для опальных. В отпуск уезжал Егор с новенькой медалью «За трудовую доблесть», да подзадержался в родной деревне под Витебском. А оправдание: «Билетов не было» — не нашло в черствых душах начальства должного отклика.

Электрик Женя Соболевский, разбитной тридцатилетний малый, породивший хутору загогулистое название, прибыл сюда в результате жаркого, бескомпромиссного разговора с главным энергетиком.

А уж Антон Новиков загремел на хутор и вовсе чудно.

Двадцатилетний Антоша этой весной демобилизовался из армии. И нерастраченная душа романтического юноши устремилась на поиски экзотических мест с условиями жизни, близкими к экстремальным. И привела его сюда, на этот далекий прииск. За один промывочный сезон работа на гидромониторе по двенадцать-пятнадцать часов в сутки без праздников и выходных, в промозглый холод и комариное тепло, без свежих сорочек и кино, без танцев и мягкой постели, без общества девчат и без маминой заботы, без... и без... без... не смогла еще отрезвляюще повлиять на его экзальтированный темперамент. Он был счастлив, что попал в край сильных и мужественных, и писал домой с этой забытой богом стороны восторженные письма. И потому, когда «сослали» его на хутор, он не только не огорчился, но воспринял как награду (хорошая возможность испытать себя на прочность, дух зака-

лить). А «сослали» вот за что: совершил Антон Новиков затяжной прыжок с самолета. Нет, парашютным спортом он не занимался. Да и за это пока не наказывают. Антон просто вывалился из самолета.

Случилось так. Промывочный сезон кончился. Зима наступила. Взял Антон отгульные дни и решил провести их в Анадыре, со столицей Чукотки познакомиться. Раньше он был там однажды, но проездом. Там друга встретил, служили вместе. У того комната своя, правда, не в самом Анадыре — в Тавайвааме, но это не так уж и далеко, в город на автобусе ездить можно. Время провели весело, чудесно, можно сказать. Антон успел даже с девчонкой из педучилища познакомиться. В кино вместе ходили, на дискотеку... Все бы хорошо, да надумали друзья в день возвращения Антона на прииск выпить. На прощание. Тут и подвел Антона молодой, неокрепший его организм, не привычен он был к спиртному.

Когда в грузовую «аннушку» садился, был Антон еще «в себе». А в салоне «поплыл», привалился к мешку с почтой и заснул. Проснулся от того, что сильно его мутило, прямо все внутренности наизнанку выворачивало. Где проснулся, не поймет, а выйти надо. Подошел к двери — дверь странная какая-то, гнутая, низкая. Дернул на себя — не открывается, толкнул от себя — тоже. Вбок качнуло Антона — поехала дверь...

И уйти бы Антону вслед за Гошей по той же причине, да благо самолет уже на посадку шел.

Сорвало Антона ветром — полетел вниз, только шуба заворачивается...

Приземлился в глубокий сугроб и еще несколько метров под сопочку катился. Только здесь, внизу, и успел испугаться.

В результате беспримерного полета Антон вывихнул ногу, ободрал лицо и правильный вывод сделал — зарок дал: никогда не пить больше «эту заразу».

Столь необычное происшествие с Антоном получило, что называется, широкую общественную огласку, и скромный, застенчивый Антон неожиданно познал тяжкое ярмо большой популярности.

Из комсомола Новикова не вытурили, а вот на хутор директор его тут же благословил, как только нога поджила. Вызвал к себе в контору-балок, долго и удивленно рассматривал Антона, как некое допотопное существо, случайно выжившее, потом произнес задушевно-ласково: «Прилетел, значит, сизый голубь, да?» Потом директор

еще долго и много говорил, но уже такое, что и вспоминать не хочется. И отправил Антона долбать уголь наземным транспортом.

В отличие от своих некоторых предшественников живут парни пока без отрицательных эмоций. Мирно и дружно. Характерами они не сошлись, а это положительное обстоятельство позволяет надеяться, что два оставшихся месяца (из трех обусловленных) пробудут они здесь в том же теплом и тесном контакте, в каком просуществовали и первый.

Поднявшись нераннцм утром со своих постелей, парни умываются из рукомойника талой снеговой водой (Антон по армейской привычке не забывает еще и зарядку сделать), влезают в робы, неторопливо жуют консервы «Завтрак туриста», пьют крепкий чай с галетами, нехотя обмениваясь короткими фразами. Потом надевают ватники, шапки и, прихватив теплые цигейковые варежки и брезентовые верхонки, так же неторопливо выходят на улицу, светя в сенцах и по тоннелю карманным фонариком.

Багровое от натуги солнце никак не может оторваться от горизонта, хмуро смотрит сквозь морозную дымку на белую и немую безрадостную округу. И пройдя недолгий путь по краешку небосвода, словно устыдившись своей немощи, виновато блеснет угасающим лучом и спрячется прикапливать силы для завтрашнего дня.

Поеживаясь от холода, парни бредут цепочкой по узенькой стежке, протоптанной в глубоком снегу, прикрывая рот варежкой (ветра хоть и нет, но дышать в варежку все же легче), к угольному карьеру — черной родинке на белом лике тундры.

Самое трудное в работе — это начало. А взмахнул «карандашом» — ломиком раз да второй, отвернул, налегая всем телом, тяжелый, объемистый кусок бурого угля, отнес в охапке к саням, перевалил его через дощатый борт да с десяток носилок туда пересыпал, и просыпаются окончательно мышцы, веселее бежит кровь, незаметно приходит и разгорается в работе азарт, и уже кажется, в воздухе потеплело. А вскоре становится и совсем жарко.

Отработав короткий световой день, стряхнув с одежды въедливую угольную пыль, парни возвращаются в свою берлогу в приподнятом духе: курящаяся дымом труба над сугробами (это Антон часом раньше сбегал

подкинуть в печь) обещает плотный ужин и уютное тепло.

— На-ам не стать привыкать, пусть ма-а-ароз наш трещи-ит! — во все горло распевает Женя Соболевский, шагая руки за спину, подавшись грудью вперед, и слова, вырывающиеся вместе с клубами пара, далеко разносятся в сумеречной тиши по засыпающей тундре. — Наша русская кро-овь на морозе гори-ит! Антоха, а как вот ты себе понимаешь: «мороз трескучий»? — не оглядываясь, спрашивает он у сзади идущего Новикова.

— Сильный значит, — живо откликается тот.

— Ну и что «сильный»? Счас вот тоже сильный, а не трещит.

— Тогда не знаю, — сдается Антон.

— Э-э-э! Десять классов человек окончил! Прошел, так сказать, воинскую повинность, — покачивает головой Соболевский, — имеет за плечами двадцатилетний жизненный опыт, а простых секретов родной природы не знает. Стыдись!

— Для меня родная природа — на Кубани, — уточняет Антон, — а там таких холодов нет.

— Трещит не мороз, — не слушая отговорок, поясняет Соболевский, — а от мороза трещит: стены домов трещат, деревья... А тут, глянь, чему трещать? Все голо.

— А ты от чего трещишь без умолку? От мороза? — добродушно интересуется Кураков, идущий в цепи последним.

— От хорошего настроения, — отвечает Соболевский, — принес мне этой ночью во сне почтальон четыре письма и две посылки из дома. Письма я прочитал, а посылки сейчас придем вскроем.

— То-то погужуем!..

Войдя внутрь домика, они зажигают керосиновые лампы, заправленные соляркой: одну на длинном грубо сколоченном столе, покрытом сверху листом сучковатой фанеры, — другую, висящую поближе к выходу и печке, над крошечным кухонным столиком, заставленным разной нужной утварью.

Язычки фитилей медленно разгораются под семилинейными стеклами, и от желтого неровного света слепнет единственное окно, становится черным. По закопченным стенам, облепленным иллюстрированными обложками журналов, по полу и потолку движутся тени от вошедших парней, и в ожившем балке кажется тесно.

Вдоль боковых стен тянутся просторные двухъярусные нары на четыре спальных места. Одно, нижнее, завалено картонными и деревянными ящиками со съестными припасами, а на остальных лежат спальные мешки с несвежими вкладышами и тощие подушки с наволочками неопределенного цвета. Правый от двери угол обит асбестом: его занимает печка, сваренная из толстого листового железа. Здесь же стоят ломы и лопаты, на которых ночуют и сушатся валенки и портянки. На печке греется вода во вместительной фляге. В левом углу на проволочных крючках висит одежда, ружье и патронташ. Самое же почетное место занимает стол с двумя широкими лавками по бокам: за ним едят хуторяне и ведут всевозможные беседы, коротая долгие-долгие вечера.

Сейчас они скинут тяжелую одежду, вымоются по пояс, поливая друг друга теплой водой, переоденутся в легкое, сварганят ужин и снова засядут за стол. И будет их пичкать Женя Соболевский удивительными рассказами.

В первые дни совместной жизни разговоры хуторян носили как бы ознакомительный характер: кто, да как, да откуда. Вспоминали дом, друзей, курьезные случаи, происшедшие с их знакомыми, и те, что волей-неволей выпадали на долю самих рассказчиков.

Но с каждым днем запасы увлекательных историй и забавных анекдотических моментов, способных живо заинтересовать слушателей, оскудевали. А тут еще задуло, поднялась пурга, пять дней кряду сидели хоторяне безвылазно. И говорить стало как будто бы совсем не о чем.

Конечно, многое тут зависит и от самого человека, от его естества, склонностей и способностей.

Егор Кураков, например, вообще любит помолчать. Слушать — он пожалуйста, а из него слово вытянуть — употеешь. Родился и вырос в деревне. Учился по восьмой класс и на курсах механизаторов. Служил. Из пяти своих братьев и сестер — средний. Братья старше его, сестры — младше. Это все, что поведал он о себе, не вдаваясь в лишние подробности.

Руки у Егора более выразительны, чем язык, они постоянно бывают заняты: то стружат, то режут, то лепят, то печку топят, то есть готовят — последнее из перечисленных увлечений выше всего ценится в Егоре его товарищами. В вопросах пропитания они заботушки не ведают.

Антон Новиков — парень, в общем-то, словоохотли-

вый, но жизненный багаж его еще мал. Все самое значительное, интересное и необыкновенное он пока только с нетерпением ждет от ближайшего будущего. Надеется, что вот-вот наступят в его жизни события яркие, незабываемые.

Что ж, если учесть его нешаблонный прыжок с самолета, то он вправе думать, что полоса великолепных приключений уже началась. И довольно неплохо. Своеобразно, во всяком случае. Если и дальше у него пойдет все в таком же разрезе и на таком же высоком уровне, от Антона как рассказчика можно ожидать многого. А пока что он мог припомнить лишь несколько расхожих школьных шалостей да рассказать «уморительные» штучки из армейских будней.

Начинал повествовать Антон увлеченно, с жаром, но тут же, к его немалому удивлению, выяснялось, что и Женя и Егор в свое время так же, но только под команду другого старшины, катали плоское, носили круглое и так же рыли глубокую могилу, чтоб с должными почестями схоронить в ней небрежно брошенный кем-то окурок. Антон зардевался от смущения и умолкал.

Вот уж кто мог «держать» слушателя, так это Женя Соболевский! Он и вполне заурядные вещи умел подать увлекательно, а уж если начнет из того, что «из ряда вон», — закачаешься. И никогда у него не поймешь, где правда, где правда с легким домыслом, а где чистое без примеси вранье.

Уроженец захолустного сибирского городишка, Женя успел за свои тридцать с мелочью лет прилично поскитаться по земле. Если верить его словам, то он чуть ли не пешком исходил с геологами всю Туркмению, валил лес в Карелии, работал на БАМе и вот года три назад прибыл сюда, на Чукотку, прямо с алмазных приисков Якутии. «На Курилы скоро сорвусь. Туда тянет», — делился он ближайшими замыслами с товарищами по несчастью.

Все это, конечно, могло иметь место в затуманенной биографии Соболевского, вот только представить, как худой и щуплый Женя, ростиком что-то около среднего, валит корабельные сосны, казалось делом проблематичным. Для этого надо было обладать по меньшей мере воображением самого Соболевского.

Понятно, что ему не во всем верили. Соболевский не обижался. Он и сам, казалось, давно запутался в том, что

было с ним в действительности, а что он попросту сочинил.

Хотя уличить его во лжи было так же трудно, как и поверить. Женя мог, прицельно сморкнувшись в мусорное ведро, стоящее в отдалении, достаточно правдоподобно описать званый ужин у какой-либо известной личности, где он, разумеется, фигурировал в числе приглашенных. И если бы Соболевскому вдруг вздумалось рассказать, как он летал в космос, то можно не сомневаться, что он сумел бы не только передать свои ощущения от состояния невесомости, но и точно назвать все узлы и детали в сложной системе управления космическим кораблем.

Но до поры Женя Соболевский от родимой земли далеко не отрывался, блукал в пределах ее исторически сложившихся границ. Его охотно слушали, в чем-то верили или старались поверить. И даже тогда, когда он нес, казалось, уж вовсе несусветную придумку, «заправлял баки» так, что аж через край лилось, никто его круто не одергивал. А если и слышались изредка недоверчивые реплики: «Свистишь, Женя, не может такого быть!» или «Слушай, фильтруй хоть чуточку, фильтруй» — так это звучало не упреком, а скорее как поощрение, похвала: хорошо, дескать, треплешься — дуй дальше.

Но прошла одна неделя, вторая, пурга, как на беду, закрутила дикую карусель, закидала хутор снегом, утопила во мраке. Заскучали парни, затомились бездельем. Карты, домино... — осточертели эти примитивные развлечения! И Соболевский, кажется, выдохся, помалкивал.

Валялись хуторяне поверх спальников, вертелись с боку на бок. А сутками лежать на нарах, погребенным в снегу, это совсем не то, что на песчаном пляже. Да ведь и на пляже, если на то пошло, долго не пронежишься, ежели по принудиловке. «Возникать» станешь, уросить. Здесь же... тоска начала подтачивать. Наползала черная меланхолия.

Именно в такой тяжелый для коллектива момент и ударился впервые Женя Соболевский в длительное путешествие по заграницам. Только вот верить ему...

Началось с того, что Антон Новиков в приступе навалившейся хандры мучил «Спидолу», пытаясь поймать по ней что-нибудь веселенькое. В приемнике долго пикало, бзикало, действуя на нервы, наконец Антон, кажется, нащупал, что его устраивало: мелодии зарубежной эстрады. Под музыкальную какофонию надрывались артисты,

будто соперничая, кто кого переорет, а кто женщина, кто мужчина — уяснить невозможно, голоса одинаковы.

Антон лежал с закрытыми глазами, внимал словам песен на непонятных ему языках. Но концерт к его неудовольствию скоро кончился. Антон вздохнул горько, выключил «Спидолу» и промолвил ни к кому не обращаясь:

— Теперь все пропало. Теперь мне никто хорошую характеристику не напишет.

— А тебе надо? — сонно спросил его Женя Соболевский. И тут же вызвался: — Давай я напишу. Ты парень рисковый, отчаянный. Егора вон попроси, он не откажет.

— Не смейся, — снова вздохнул Антон, — мне правда надо было. Хотел я будущей осенью после промсезона путевку профсоюзную за границу попросить. В Болгарию съездить, поглядеть, как за границей люди живут, и пляжи, говорят, там шикарные, покупаться бы.

— Живой ладно остался, — подал голос с нижних нар рассудительный Егор, — какая Болгария.

— В том и дело, что живой, — обиженно произнес Антон, — раз и выпил, а клеймо теперь на сто лет.

— Это уж точно, — поддержал младшего товарища Женя Соболевский, — подпортил ты себе крепко. С такой репутацией крылатой да в Болгарию! Кто поручится? Оставь надежду, — постучал кулаком о стойку нар, — всяк сюда входящий.

Соболевский помолчал некоторое время, потом потянулся так, что аж косточки захрустели, зевнул и с паточной улыбочкой на заспанном лице произнес лениво, будто в издевку над обидно уплывшим красивым будущим Антона:

— Э-ха-ха-а!.. А я, было дело, намотался по заграницам. Да. Плывешь, бывало, на океанском лайнере, в ночном баре коктейли через соломинку глушишь. Средиземноморская волна тебя баюкает. Идешь Босфором меж двух материков: справа по борту Европа, слева — Азия; впереди по носу Мраморное и Эгейское, значит, моря с перспективой на Грецию, а за кормой турецкий берег. Стамбул прощальными огнями горит. Да. Теплый бриз тебе легенды из древности шепчет, сказки Шехерезады. А современные волшебницы-официантки с тебя глаз не спускают: стоит знак подать — подплывает краля, ножками семенит, бедрами этак покачивает. Вся в расположении, улыбается, готовая обслужить: чего еще подать-принести?

Доверчивый Антон, слушая Соболевского, от удивления и доброй зависти аж глаза вытаращил.

Егор Кураков новую информацию мимо ушей пропустил. Только с нар поднялся. Сел за стол и принялся большим охотничьим тесаком прорезать стенку консервной банки, замышляя изготовить из нее ажурную пепельницу.

А Соболевского было уже не остановить; понесло его по морям, по волнам без руля и компаса.

Изумленный Антон ему буквально в рот заглядывал.

Егор долго и смиренно слушал Женю, потом, не отрываясь от рукоделия, спросил глубокомысленно:

— Значит, говоришь, ты и в Турции был? Ну-ну... Мало тебе Карелии.

— А что «ну-ну»? — скромно, но с достоинством ответил Женя. — Был. И не только в Турции. Меня и в других странах с успехом показывали.

— А в Африке ты не бывал? — снова поинтересовался Егор, продолжая кропотливую работу.

— Нет, в Африке не бывал, — честно признался Соболевский, — берега только близко видел. Туниса. Когда из Валетты — столицы Мальты — в Малагу шли. Да. В Испанию. Но это потом было, а сперва Турция. Ты меня, Кураков, не путай, я и сам запутаюсь.

И Соболевский, уставившись в грязный, закопченный потолок и мысленно вторгнувшись в чужие пределы, беспрепятственно пошел разгуливать по площадям и улочкам Стамбула. И, к его чести, неплохо там ориентировался, живописуя музеи, исторические места и всевозможные памятники. Он запросто, без доклада входил во дворцовые палаты султанов, без стука — в гаремы, уведомляя при этом хуторян, что наложниц там, увы, теперь нет, разувшись, осматривал мечети, а натянув ботинки, торопился на восточный «Золотой» базар.

— Вот это, я вам доложу, базар! — скосив плутоватый глаз на зачарованно притихшего Антона, восхищался Женя. — Туши свет! Сорок квадратных километров — все под крышей. Да. Вдоль и поперек — переходы, лабиринты, ряды. По ним витрины, магазины, ларьки, развалы... И все они друг к дружке и друг на дружку сплошняком лепятся. И какого барахла там, мужики, только нет! Все горит, сияет, блестит — глаза разбегаются — ни-ичего не видать! Да. Народищу тоже, и шмоток, со всего света — тьма. Публика пестрая: индейцы, китайцы, негры, японцы и наш брат славянин в том числе. Австра-

лийцы, южноамериканцы, европейцы — кто откуда, пойди разберись. В одеждах — одна чудней другой, и каждый по-своему лопочет. Гул стоит, будто в улей тебя сунули. Башка кругом — офонареть можно! Базар, одним словом, да.

Соболевский, запрокинув удобно руки за голову, соловьем заливался.

Бедный Антон слушал, не шелохнувшись.

Егор, отставив консервную банку, острие ножа вдумчиво ногтем щупал.

— ...Но больше всего мне там пацаны понравились, — не переводя дыхания, продолжал Соболевский, — турчата. Ох, и продувные! Вот уж действительно на ходу подметки рвут. Хотя и босиком многие. Мордахи смуглые, как у наших цыганят, глаза прохиндейские, челноками в толпе снуют, а прилипнут — не отвяжешься. Гомонят, как скворчата, а лучше сказать, воробьи, потому как шустрые до предела. «Ченч, — орут, — ченч», — «обмен», значит, по-английски. Меняют они открытки турецкие на всякий шурум-бурум, а охотней всего — на сигареты, видно, табак там дорогой. «Ченчуют», в общем. А как поймут, что перед ними русский, тут же кричат по-русски: «Шахер-махер! Шахер-махер!» Я чуть со смеху не обмочился. Да. С горсть значков у меня было — раздал им. Конечно, — неожиданно посмурнел Женя, — нужда, она дисциплинирует. Школы там — пятидневки, пацанва, значит, пять дней в неделю учится, а два дня «ченчует» — помогает родителям. Народ турецкий все же бедновато живет. Базар-то хоть и страсть как богатый, а одним из самых что ни на есть дешевых считается. За бесценок все купить можно. Я не верил, а теперь и мне понятно: когда жрать охота, задарма отдашь.

Вскользь коснувшись бедственного положения простого люда, покинув базар, Женя еще долго мотался по стамбульским достопримечательностям. А поздним вечером, уставший от беготни и волнений, когда мулла самозабвенно отвещает в микрофон, призывая мусульман к вечерней молитве, когда ярко горящие свечи высоченных минаретов, устремленных ввысь, поближе к аллаху, прожгут черное-черное южное небо, на котором лимонной долькой прилип желто-золотистый месяц, Женя закатывается в злачное место, а именно в ночной ресторан «Караван-сарай», где, расслабившись после дневной маеты и сутолоки, пьет из тонких хрустальных бокалов искристое янтарное вино и смотрит страстные до исступ-

ления танцы «живота» смуглотелых полунагих турчанок.

— Вот это, я вам доложу, танцы! Гаси лампу! — восторженно, как и о базаре, заявляет Женя. — Но... как ни странно, дурных, нескромных мыслей, таких, как сейчас у нашего Антона, в голову не приходит. Да.

— Каких мыслей? — румянится Антон.

— Знаю каких, не первый раз замужем. Когда из-за кулис она почти голая выходит — будто током тебя долбанет, а начнет танцевать — забываешься. И ни о чем таком уже не думаешь. Вот что значит искусство! Живот ну просто ходуном ходит — танцует, короче. Да. А ты чего на меня так уставился? — спрашивает Соболевский Егора, который уже давно, забыв о недоделанной пепельнице, как-то странно и подозрительно наблюдал за ним.

— Ни-ичего, я-а, я слушаю, — заикаясь, торопливо ответил Егор. Сам напряженно соображал: «Аптечка Женьку не спасет, тут, как пить дать, нужна серьезная врачебная помощь. Рации нет — не сообщишь. А когда люди сюда прибудут — неизвестно».

— Думаешь, вру, что ли? — нервно хохотнув, допытывался Соболевский. — Нужда была! О, вспомнил! — Женя подхватился с места, спрыгнул на пол, вытащил из-под нар свой рундучок с вещами, стал рыться в нем, приговаривая: — Счас я вам покажу. Счас...

Егор с Антоном терпеливо следили за ним.

Наконец Женя отыскал, кажется, что хотел, в толстой пачке писем.

— На, смотри, вот она, киска! — протянул он Егору двойной листок цветной блестящей бумаги, похожей на поздравительную открытку, и протянул самодовольно: — А то будут они мне еще тут...

Вверху, на лицевой части открытки, красными и белыми буквами на черном фоне были написаны слова по-английски, почти не требующие перевода: «Караван-сарай», а чуть ниже — «Ночной клуб-ресторан». Под словами крупным планом была изображена танцующая девица. Крутобедрая, пышногрудая, с тонкой талией, красивым рельефным животом и ослепительной улыбкой. Из одежды на ней почти ничего: узкий треугольный поясок с бахромой, расшитый сверкающими камнями, да игрушечный лифчик на сосках. В волосах лента, и босоножки с каблуками на стройных ногах. Все.

Антон, свесившись с верхней полки нар, долго и вожделенно изучал картинку.

А сердобольный Кураков, взглянув на открытку, повернул ее, чтоб поудобней Антону, пожалел девушку:

— Всем я, всем я хороша, да бедно одета. Видно и впрямь там неважнецко живут. Стыдобушка-то какая!

— Женя, а где ты откопал такую? — спросил взволнованный Антон.

— Хо! Опять за рыбу деньги! Говорю же, в Турции! — возмутился Соболевский.

— Да ладно разыгрывать, — обиженно сказал Антон, — я по правде спрашиваю.

— Вот чудило! А я тебе как? Это же не просто открытка, а проспект-реклама ресторанская. В ресторане и взял. Там всем давали. Лежат на столике — подходи и бери. И я сунул в карман. На память. Я, если хотите знать, целовал эту даму. В неофициальную часть.

— В какую часть? — переспросил огорошенный Егор.

— Неофициальную.

— Хм, интересно, — хмыкнул Егор, — это где же такая?

— В... вот где! — в сердцах выругался Женя. — Вы что, ненормальные?! Танцевал я с ней, вам понятно?

— Вот так же? — хихикнул Антон, кивнув на открытку.

— Как же?

— Ну тоже, что ли, голый?

— Во дают ребята! Я в зале сидел. Пассажиром. Зрителем то есть, — с чувством досады пояснил Женя. — В костюме, при полном параде. Меня на сцену от нашей делегации вытолкали, говорю же: в неофициальную часть программы. Я и вышел. Я «Цыганочку», значит, бацаю, как умею, а она животом и бедрами молотит. В дружеской обстановке. После букетик цветов ей поднес, она меня в щечку поцеловала, а я — ее. Что тут особенного?

Соболевский взял со стола открытку, терпул рукавом пыльную стенку и прикрепил ее лейкопластырем к обеленному месту.

Егор Кураков не знал, что на него и подумать: ведет себя обыкновенно вроде, а плетет что попало, заговаривается. О психических расстройствах, случающихся в подобных местах, как хутор, он уже кое-что слыхивал.

— Так, — отступил от турчанки Женя, оценивающе глядя на нее — ровно ли прикрепил, — и торжественно произнес: теперь, значит, нас четверо будет! Она весе-

лая, а ест только ласковые взгляды — прокормим. — И пропел, перевирая слова: — Хаз-Булат удало-ой, ей с тобой не житье-ео, золотою казной мы осыпем ее-е-оо! — Он присел на лавку, закурил «беломорину», глубоко и со вкусом затянулся и, вытянув губы в трубочку, вытолкнул изо рта вереницу дымных колец. Изрек буднично: — А в Испании, — вновь затянулся, — в Испании «фламенко» отплясывают. Огневой танец! В руках побрякушки — кастаньеты называются — и поше-ел! — И Женя, неожиданно сорвавшись с лавки и отшвырнув окурок к печи, действительно «пошел». Плечо вперед, рука над головой, прищелкивая пальцами и бубня губами, он прошелся в дробном перестуке босых пяток мимо ошарашенного Егора до двери и обратно.

Выглядел Женя весьма колоритно в эту минуту: кудлатый, давно не бритый, в спортивном трико с дырой на коленке и босиком, он, конечно, впечатлял своим видом.

Когда вернулся на место, глаза его, как два елочных фонарика, горели вдохновением.

Юный Антон заливисто хохотал, глядя на новоявленного кабальеро.

Егор хмуро молчал. Положение казалось ему нешуточным. Если картинка с танцующей бабенкой имела хоть какую-то связь с турецким заскоком Соболевского, то уж эта «испанская» выходка просто ни в какие ворота не лезла. А диковатые, полоумные глаза танцора и вовсе привели Егора в крайнее замешательство.

— Женя, — осторожно спросил Егор, потирая висок тупым коротким пальцем, — а ты ненароком не того... не Наполеон, не Македонский?

— Закидонский! — огрызнулся Соболевский, закуривая новую папиросу. Но тут же успокоил товарища: — Не бойся, Кураков, не Цезарь я, не Бонапарт и даже не папа римский. Хотя — опять же ты не поверишь — с папой встречался, когда Рим посещал. Я, Егор, без мании, простой советский электрик, Соболевский Евгений Серафимович. Устраивает такой ответ? А ты подумал, я что, — Женя по примеру Егора потер пальцем свой висок, — «с рельсов сошел»? Что у меня «крышка поехала»? Не функай, Егор, все путем-ладом.

Услышав достаточно вразумительное, Егор хоть и не до конца успокоился, но все же ему полегчало.

— Слушай, Женя, — ласково, едва не заискивая, попросил он, — ты знаешь, это... держись, а. Нам тут жить еще долго, смотри.

— Смотрю, Егор, — устало и совсем не дурашливо ответил Женя. Видно, мгновенный эмоциональный всплеск после долгой апатии стоил ему немалых моральных сил, — добрая ты душа, смотрю. — Он поднялся и пошел к своей постели. — Только ты не подумай чего, — гнул все-таки свое Женя, — а папу римского я по натуре видел.

— Вот и хорошо, хорошо, — проводил его глазами Егор, будто под руку. — Видел, и слава богу. Давайте отдыхать будем. Пурга стихает, пора и за ломы браться. Вот-вот за углем приедут, а мы токо спим, едим да... танцуем.

Соболевский уже засыпал, когда услышал вкрадчивый полушепот Антона:

— Женя, а Жень, а как та книжка называется?

— Какая еще книжка?

— Ну вот, что ты сейчас рассказывал? Про Турцию?

— «Из Пантелеевки в Стамбул» она называется! — рыкнул Женя. — Вот только автора позабыл. Пришвин, кажется.

— Пришвин о природе писал, я знаю, — вежливо возразил Антон.

— Сам знаешь, а спрашиваешь, — пробурчал Женя. — Ты слушай меня больше, я тебе такого наплету! Семь верст до небес — и все лесом, лесом. Спи, Антоха.

Но потревоженное воображение никак не давало Антону заснуть. Правду рассказывал Соболевский или беззастенчиво врал, но далекие и прекрасные края реально действительно существуют. Вот бы побывать там, все увидеть своими глазами. Но ему уже стукнуло двадцать один — третий десяток распечатал! — а судьба что-то не больно на событийные подарки раскошеливается. Конечно, Север, Чукотка — валютный цех страны, тундра с хищным комарьем, стужей и пургами — все это прекрасно. Но ничуть не помешало бы ему поглядеть на страны тропические, на племена языческие. И вот на тебе — неприятная история с самолетом, вернее — чего уж там, — с треклятой выпивкой...

Антон еще раз с тоской посмотрел на танцующую турчанку. Загасил лампу и уснул в расстроенных чувствах. Ночью турчанка привиделась Антону: все те же смеющиеся глаза и милая улыбка, но танцевала она почему-то в кухлянке...

Как и предполагал Егор Кураков, пурга действительно стихла.

Утром Соболевский пошел откидать снег от окна, а Егор затопил печь, чтоб разогреть мясные консервы и вскипятить чай.

Измученный думами, Антон еще спал.

От стараний Соболевского окно постепенно бледпело; в балок пробивался отрадный дневной свет. В нем стало как бы просторней и чище.

— Все, осада снята! — шумно ввалившись в хату, объявил Женя и, не целясь, набросил шапку на крючок вешалки. — А снегу — жуть! Ох и погоняю я седни косоглазеньких по свежим-то следам! — Взглянул на спящего Антона. — Салагу пора будить — прииск трудовых подвигов от нас ждет, Антоша! Гудит гудило — вставай милок!

— Теперь не до косоглазеньких будет, — сказал Егор, ставя на стол шипящую сковороду и чайник. — Сколь дней пролодырничали, наверстывать надо, — и он потянул Антона за ногу. — Подымайся, робенок!

— Забава делу не помеха, — возразил ему Соболевский, — и землю попашем, и попишем стихи, как поэт велел. А консервы уже в горле стоят. Да. — Увидел турчанку на стенке, поздоровался: — Гуд монинг, мадам! Етти! — к столу ее пригласил, рукой на чайник показав: — Шай пауркен. Что? Не волокешь по-чукотски? На завтрак приглашаем. Консервы не любишь? Ну-у, — развел Женя руками, — пардон, бананов нет, персиков не держим. У нас от них аллергия, даже запаха не переносим. Понимаешь? Все тело пузырьками и зудиться начинает. Се ля ви, к'элюк'ымминкри — жизнь, говорю, такая.

Обождав задержавшегося к столу Антона, друзья принялись опоражнивать сковородку.

Ни утром, ни в течение всего дня Женю Соболевского ни в какую заграницу больше не заносило. Егор Кураков внимательно следил за его поведением и значительных отклонений от привычного уже не замечал. К вечеру он окончательно успокоился. И когда перед ужином Соболевский вновь оседлал своего плохо еще объезженного конька и пустился вскачь, пыля дорогами воспоминаний, Егор Кураков, можно сказать, уже адаптировался к его свежей роли и только рукой махнул: «Мели Емеля — твоя неделя».

А Женя, поотстав на часок после работы, принес двух зайцев, сдал их «завхозу» Егору и, прихлебывая из кружки горячий обжигающий чай, убежденно доказывал

любознательному Антону, что женщин смазливей наших он нигде не встречал.

— ...Ни в Риме, ни в Париже — ни-игде! — уверял он, жестикулируя свободной рукой. — Я это с полным основанием говорю.

Кураков снова приуныл.

За ужином разговор о дальних странах продолжился. Наконец Кураков отважился спросить: по какой такой надобности Соболевский был за границей и чем, собственно, там занимался. Соболевский ответил искренне и просто: «По туристической путевке от комсомола ездил в круиз по Средиземному морю. С посещением семи европейских капиталистических стран. За двадцать четыре дня».

Вот оно, оказывается, в чем дело. Но ушлый Соболевский так все живописал, так представил, что создавалось впечатление, будто он не единожды за границу ездил. Во что, при всем желании, поверить было невозможно.

И вообще представить этого парня в кругу не только наших почтенных, интеллигентных людей, не говоря уже об обществе чопорных иностранцев, было просто невозможно. И все эти бары, таверны, ночные клубы и отели, знаменитые пляжи и гавани, дворцы и площади с дивными, громко известными названиями, которыми пересыпал он, как драгоценными камешками, свою речь вперемежку с круто сдобренным, прихотливым русским междометием, не совмещались с его обликом и натурой, весьма далекой от светских манер и условностей. «Вот иду я по Парижу», — ковыряя в зубах надломанной спичкой, до скуки буднично повествует он, как будто идет ну... по анадырской улице, да и то не по центральной, и не идет даже, а «чемчикует» в лучшем случае.

Стоило только посмотреть, с каким завидным аппетитом уминает Соболевский жареную картошку, загребая ее ложкой с таким усердием, что аж сковородка юлит. Да еще ложку держит не по-людски — не в пальцах, а в кулаке. Наперевес. Заячью ногу обгрызывает — руки в жиру, и подбородок лоснится. Сам тут же рассказывает, какие блюда ему приходилось откушать. От чьих мудреных наименований язык своротишь и не в каждой кулинарной книге найдешь.

Еще и убогость хуторской обстановочки оказывала свои отрицательные действа — в резком она контрасте с фешенебельными отелями; и род занятий хуторян;

и строгий, унылый ландшафт данной местности входил в явную дисгармонию с пышными излишествами природы субтропических широт. При всем желании, как тут поверишь?

Женя нисколько не обижался на друзей и в моменты полного откровения (а такие моменты бывали), когда не «гнал дурика», сам присоединялся к их неверию.

— Мне легко не поверить, — смачно жуя, говорил он, — потому что и самому теперь уж плохо верится, что это — было. Будто цветной сон видел. Да это как во сне и мелькнуло. Мне так же, как вот сейчас Антону, везде побывать хотелось, все объять разом. В школе я больше всего географию любил. Среди нас, школяров, даже игра такая была — по карте путешествовать. Так мы эту карту до миллиметра знали, что где находится. К истории я также прилежным был. Для меня и сейчас тот же камень возьми — не просто булыга, а свидетель времени. Подумать только, сколько пролежали эти угольные пласты, которые мы сейчас долбим, сколько снежных бурь над ними прошумело, сколько дождей пролилось, сколько людских судеб и жизней в небытие ушло! Что мы об этом знаем? — Соболевский вопросительно взглянул на Егора с Антоном и сам же ответил: — Да ничего ровным счетом! Мы вообще историю свою не знаем, я уж не говорю за наши мифы, былины, легенды... Об Илье Муромце и то можем припомнить лишь только, что он тридцать три года сиднем сидел, других же героев народных преданий и множество реальных исторических имен не назовем — будто их и не было на Руси. А скажи, Антон, сколько совершил Геракл подвигов и каких?

— Двенадцать, — не раздумывая, ответил тот, довольный собой, и начал перечислять: — Конюшни авгиевы почистил, амазонок победил, золотые яблоки своровал, с кентаврами бился, зверей укрощал, Прометея, кажется, освободил...

— Садись, пять! Завтра с мамой придешь, — остановил его Женя. — Про Одиссея я уж не буду спрашивать, а то мне долго молчать придется, только слушать. А я с закрытым ртом не могу долго, мне надо глотку проветривать — слова закисают. Да. Так вот не верилось и мне — хотя душа от радости кувыркалась, — пока из Одесского порта не отошли, что ступлю на античную землю Греции. И можете себе представить, с каким благоговейным чувством шел я по набережной Пирей — неважно, что асфальтовой — или в Афинах у Акрополя.

Или на арене Колизея стоял, где гладиаторы бились, Спартак в том числе. И как поверишь, когда все вокруг тебя так непривычно и ново. Если вчера только по тундре, по мерзлым кочкам в вонючем вездеходе трясся, холодные консервы с ножа, как баклан, глотал, а тут уже сидишь на пароходе в столовой-ресторане и меню изучаешь: что заказать на завтра. А меню — вот такая портянка! Да. — Женя отмеряет на столе добрых полметра. — И каких там блюд только не вписано! Кормили нас, конечно, на убой. Но я после одного казуса в кулинарные дебри не лез. Отмечал «птичкой», что знаю, остального не касался, чтоб впросак не попасть. А то продегустировал раз, — Женя нахмурился, — заказал суп с гренками — а мне с сухарями принесли. Оказывается, одно и то же. Да. — Женя терпеливо переждал, когда Егор с Антоном отхохочутся.

Антон чайник принес, подал масло, галеты, сахар.

Пока чаи гоняли, Женя успел сады Хенералифе в Гранаде осмотреть, концерт послушать в пещере Драх, что в Манакоре, и в Помпеях побывать, в мертвом городе, погубленном изверженной лавой Везувия. В порту Пальма, на Мальорке, видать, притомился, перекур сделал.

Хуторяне затихли, сидели под впечатлением, забыв о чае. Соболевский словами так ярко описывал, что казалось: все то, о чем он только что говорил, находится не где-то за тридевять земель, а совсем рядом, стоит лишь за порог выйти.

В минуту затишья захотелось и Егору Куракову свое заветное слово сказать.

— Я вот тоже... — начал он с расстановкой, с теплой задумчивостью в васильковых глазах, — еду как-то в международном поезде: Москва — Прага... — Егор вздохнул, замешкался, подпер кулаком подбородок.

В домике стало совсем тихо: ни звука, ни жеста, и кажется, огоньки в лампах замерли, не качнутся. Наконец Антон тишину эту парализованной речью нарушил:

— Тт-ты ттоже, что ли... бы-был зза-а границей? Или вы оба... надо мной издеваетесь?!

Соболевский на Егора с интересом взглянул, однако ничего не сказал.

— Не за границей, — нехотя пояснил Егор. Он уж и не рад был, что встрял, — картошку я в райцентр продавать вез. Подсел в тамбур с мешками... В отцепной вагон.

Женя с Антоном скатертями на стол полегли. Ры-

дают. Антон, так тот еще и кулаками пристукивает. В экстазе таком. Турчанка и та, дура заморская, с картинки смотрит — рот до ушей скалится.

Егор посмурневший сидел. Не до смеха ему.

Женя с Антоном, хорошо понимая всю неловкость создавшегося положения, все же не скоро в себя пришли. А когда от смеха помаленьку очухались, наперебой извиняться давай перед товарищем. Но тот не желал вступать в переговоры. Упорно молчал. Потом, не подняв головы, сказал раздраженно:

— Плевать мне на вашу заграницу! Если хотите знать, я бы и задаром туда не поехал, не то что за деньги! В телевизор вон посмотришь: то стреляют там по людям, то дубинками их секут, то газами травят или еще чего. Хулиганье всякое, — машины жгут, переворачивают. Фашистов опять же там молодых расплодили — кодлами по улицам ходят небитые-недоделанные, че попало творят, и управы на них никакой. Так что... приснилась мне ваша заграница. На витрины большие, красивые я и в Москве нагляжусь. А суп с гренками... — закончил он, скосившись на Соболевского, — суп с гренками я сам сварю хоть сейчас. И никуда ехать не надо.

Ни Женя, ни Антон не решились оспаривать столь узкое, однобокое, хотя и верное отчасти представление о загранице: провинились, что тут скажешь!

Смех выплеснулся сам собой, стихийно, никто из них, конечно, не хотел Егора обидеть, тем более принизить. Однако же оба понимали, что смех-то нехороший получился: злой, по сути, едкий, будто на место ему указали: сиди, мол, куда ты-то прешь, деревня лапотная!

Женя Соболевский в душе сильно каялся, что вообще затеял этот треп о местах отдаленных. До времени он и не трогал этой темы по простой причине, что его могут неправильно понять и желание развлечь примут за желание себя как бы над толпой поставить. Выщелкнуться. Но вот, хоть и против его воли, а получилось примерно так. Конечно, Егор, что называется, «выдал на-гора», и все равно надо бы как-то полегче, а то раскудахтались, как защекоченные. Пора кончать эти импортные шутки-разговорчики, решил он. Так и всерьез рассориться можно.

Размолвка, однако, тянулась недолго; всеобщими усилиями хуторяне на следующее же утро забыли о ней.

Пару дней Соболевский данный себе зарок держал, на «запретную тему» не выходил, предлагая вниманию

скучающих друзей воспоминания, имеющие отечественную приписку.

Первым заартачился Антон:

— Женя! — взмолился он. — Ну что ты снова о приисках! Сами на прииске, какая разница, золотые они или алмазные? И о Карелии ты уже не раз говорил, и как тебе в южных песках каракурт чуть нос не отгрыз. Расскажи лучше о чем-нибудь из той поездки!

— Да не был я ни в какой поездке! — отрекся Соболевский. — Сосед у меня был моряк, от него нахватался. А сам нет, не был.

Тут и Егор вмешался:

— Будет врать-то.

— Ну дают ребята! — воскликнул Женя. — Был — «вру», и не был — «вру»! Вы что?

— Ври, что был, — подсказали ему.

— Ладно, — согласился Женя. Но в форму не сразу вошел. Стартовал вяло, без подъема, потом, отклонив предложение перекинуться в «покер» с экзекуцией ушей, вызвался: — Давайте я вам лучше расскажу, как в Монте-Карло на интерес играл.

Никто, понятно, не возражал. Только Егор уточнил:

— Это где в рулетку играют, я слышал?

— Да нет, Егор, — возразил Соболевский, — Монте-Карло — город, а не игорный дом. В княжестве Монако, посреди Франции расположен. А играют в казино, и не только в рулетку. Вот в казино я и навел шороху — что ты-ы! Тряхнул мошну с нетрудовыми доходами капитализма! Но — все по порядку. Из Марселя прибыли мы в Ниццу. Через Канны ехали.

— А при чем здесь Монте-Карло? — воткнулся Антон.

— При том, что все это рядом, — терпеливо пояснил Женя. — Франция — не Чукотка, там города друг к дружке лепятся — в тундре кочки дальше стоят.

Прибыли в Ниццу, — продолжил Соболевский, — пошли первым делом на кладбище. Там Герцен похоронен. Да. Кладбище, я вам скажу! Чисто, опрятненько, могилки ухожены, каждый памятник с особинкой — не штамповка. На плитах надгробные вазы стоят, амфоры, — цветы в них. Живые. А есть и фарфоровые, и хрустальные. Стоят — хоть бы что! Да. У нас, падло, в одну бы ночь все растащили, что можно. А что нельзя — разломали, искурочили. Там — нет. Мы повосхищались вслух, а гид-француженка сказала: «Если и осталось что свя-

того — так это на кладбище». Да. Ладно, хоть на кладбище. У нас же кое-где на могилах плясать начинают. Могилы братские грабить, разрывать, курочить. Вот скотинизм! Дьявольщина! Ну да речь не об этом, прав Антон. Возложили мы, значит, цветы на могилу, воздали должное писателю и демократу. Спустились вниз. По Английской набережной продефилировали — есть там такая, — в «бистро» зашли. Похавали. «Бистро» — это вроде наших забегаловок. Слово, между прочим, русского происхождения. До меня там, во Франции, русские солдаты уже бывали. Да. Вечно им тоже некогда было. Вот они и торопили: «Давай, хозяйка, быстро, быстро!» С тех пор и пошло: «бистро». Поели шустро — и в автобусы. Приезжаем в Монте-Карло. Княжеский дворец там посмотрели, смену караула, то-се. Идем в казино. Теперь слушай, Антон. Двухэтажное, коренастенькое такое здание, у дверей мордовороты стоят, порядок блюдут. Без галстучка не пропустят, нет. Внешность у тебя образцовой должна быть. Я — с иголочки — захожу. Огляделся. Народишку в зале много, внешне все пристойно вполне, но глаза у людей чумные, с бесоватым огнем. Да. От нездоровых страстей. На второй этаж кого зря не пускают, у вышибал глаз наметанный — там, видать, игра по-крупняку идет, миллионеры режутся. А тут, внизу, гул стоит и монетный перезвон. От него как раз и дикошарыми становятся. Да. Я сам азартный, спасу нет, удила закусил — в атаку рвусь. Но, откровенно говоря, мне не столь фортуну хотелось испытать, как отметиться: в Монте-Карло играл! Не халя-баля! Пару долларов на франки поменял — пятнадцать железных монет дали. В рулетку играть не стал, правил не знаю. Подхожу к «однорукому бандиту».

— К кому? — не удержался, переспросил Егор.

— Ты слушай, Егор, и помалкивай, — с мягкой улыбкой одернул его, в свою очередь, Антон. Но сам, конечно, тоже ничего не понял.

— Автомат такой игральный. Как бы вам популярней объяснить... Ну что-то вроде нашего для газводы. Сбоку ручка длинная. Потому и кликуху получил: «бандит однорукий». Стоит и ждет дураков с деньгами. Грабит. В середине автомата барабан вертится, после того как денежку в отверстие кинешь и ручку нажмешь. На барабане деления с картинками и прочей чепухой. Самая фартовая комбинация — «три бара», «бар», «бар», «бар». А пониже барабана — где мы под газводу стакан ста-

вим — корытце этакое из тонюсенькой жести. На задней стенке корытца зеркало. И до чего же там прохвосты-психологи тонкие!.. — Женя в восторге от матерных слов не удержался. — Все-все продумали! Да. Смотрите, что получается: если комбинация на выигрыш пала, ну франков на двадцать, скажем, то ссыпаются в корытце они не сразу, а с перебором. Бьют франки по тонкой жести корытца — будто град по железной крыше, налетают на передний борт по энерции, скатываются — со встречными сшибаются — звон стоит — ошалеть можно! И вся эта монетная свистопляска в зеркальце удваивается. Эффект и слуховой и зрительный. Представляете? Кажется, на тебя золотой дождик пролился. Да. А на самом-то деле... Вот ведь как... целая наука, чтоб человека облапошить. Такая игра. Да. Подхожу к автомату, кинул франк в щель, «бандитскую» руку жиманул вниз, жду, на чем барабан остановится. Пусто. Раз — пусто, два — пусто. Да я на выигрыш и не рассчитывал. Прокидать деньги надо было, чтоб в казино по пути зафиксироваться. Однако «бандит» начинал мне все меньше и меньше нравиться.

— Женя, извини, — спросил Антон, — а разве нашим играть можно? Советским?

— Как тебе сказать... Наши туристы приезжают в казино, чтоб ознакомиться, иметь представление. Играть тебя никто не неволит. А если хочешь с валютой проститься — пытай счастье. Не запрещают. Но и... не рекомендуют. Да. И так прокидал я почти все монеты. Две осталось. Думаю: одну кину, а другую на память оставлю. И тут как загремело! Как обвал! Я от неожиданности аж назад отпрянул. «Три бара»!!! Выгреб франки из корыта, не считал, правда, сколь там — не до того. Возможностей пощекотать себе нервы у меня прибавилось. Да. И понеслась тут моя душа в рай! — раз да через раз выигрываю. Кармашек узенький джинсовый набил, и горсть левой руки полная — деньги девать некуда. С сумками-то не пускают. Группа наша возле меня собралась — кто не играл, кто уже проиграл, — стоят, смеются, подбадривают: «Давай, Женя, — кричат, — давай, раздевай буржуазию. Знай наших! Накажи их за эксплуатацию слабостей!» Одна женщина где-то консервную банку выискала, грамм на семьсот. Я и ее полнехоньку! Да. Рядом со мной, надо заметить, еще старуха играла. Иностранка. Лет ей — под восемьдесят, не меньше. Сгорбленная, седая, голова и руки трясутся. Длин-

ный нос коромыслом, глаза без ресниц черные молнии мечут и аж дымятся от азарта. Рядом клюка деревянная к «бандиту» прислонена. Ведьма! Я просто влюбился в эту старуху! А она... в два автомата одновременно. И везет ей так, будто колдовское слово знает. На меня раз взглянула, будто я тоже с нечистой силой связан, за своего признала. Да. Склонила голову набок, как ворона, улыбнулась мне, подмигнула, кажись. Ну и улыбочка, япо-онский городовой! До сих пор вижу. Как вспомню, так вздрогну. А публика вокруг нас с бабулькой гудит. Ажиотаж предельный! Страсти, как на международном футбольном матче СССР — Франция. А время экскурсии к концу подходит.

Руководитель группы, переводчица в автобус приглашают. Взволнованные зрители у них отсрочки минут на десять попросили. Ну, начальству также ничто человеческое не чуждо, навстречу пошли. А мне больше десяти минут и не потребовалось. Мне их во-от так хватило! С присыпочкой, — Женя чиркнул себя ребром ладони по горлу и потянулся за папиросами. Похоже, что дальше рассказывать ему стало неинтересно. — Ну что, — предложил он, взглянув на свою полку поскучневшим взором, — давайте спать укладываться? А завтра я вам расскажу про Лувр и Нотр-Дам де Пари — собор то есть Парижской такой богоматери.

— А как же Монте-Карло? — взбунтовался Антон. — О нем-то доскажи!

— Много всего-то выиграл? Сколько? — зашел с практической стороны Егор.

— Все! — просиял лицом Соболевский и расхохотался. — Все, что выиграл, «бандюга», паразит, назад отобрал! Недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал. Говорю, десять минут хватило. Когда народ-то ко мне нахлынул, тут я и забыл первую заповедь картежника: «Остановись вовремя». Проснулся во мне артист. И начал я играть на зрителя. Да. Такая, думаю, популярность когда еще ко мне придет. Пусть проиграю, пролечу, но прозвеню бубенцами, да и людям-то вон какая потеха и услада! Ну и прокидал до последней монеты. Даже ту, что на память сберечь хотел. Теперь по себе знаю, что искусство жертв требует. Об этом случае в казино один московский поэт — он тоже с нами ездил — даже стишок сочинил. Поэта того Петром зовут, а вот фамилию позабыл я. Хороший мужик, простой — без гонора. Это его песня «Пропел гудок заводской, конец рабочего дня».

Стишок я зря не переписал, теперь жалею. Там он подтрунивает, как я миллионером стал, да только ненадолго. Но мне чего переживать? Я своей целью обогатиться не ставил. Собственных всего два доллара спустил — невелика утрата. А вот на соседку мою, бабусю-многостаночницу, действительно жалко было смотреть. Та в дым продулась! Да. Прокидалась, шарит по карманам кофтенки, что такое — нету! Не верит. Вывернула карманы — нету!! На автоматы смотрит в недоумении — ведь только что много было! Как так? Когда дошло, скукожилась, будто душу из нее вынули, сломалась вдвое — голова у колен, руки с клюкой на загорбке. Пошла, еле ноги волочит. А две минуты назад от «бандита» к «бандиту» птичкой порхала. Да. Что значит вдохновение! Остановилась еще, оглянулась, автоматам костлявым кулаком погрозила, сама бурчит, ругается по-своему. Да. Я только одно слово и разобрал: «каналья». Представляю, что там на втором этаже творится, где миллионеры резвятся, миллионы, поди, в трубу летят. Неподалеку от казино, я вам замечу, скалистый обрыв есть. Не обрыв — пропасть. Вниз глянуть страшно! Вот я и подумал: не одна-то забубенная головушка на дне того обрыва с долгами расквиталась, да-а... Нет, ребята, — заключил свой рассказ Женя, — не жили мы богато и не надо начинать.

— Кабы они своим горбом те денежки зарабатывали, — зло сказал Егор, смерив суровым взглядом Соболевского, будто он в данное время представлял клан толстосумов. — Не раскидывались бы так. Сосут, гады, кровь из рабочих и за людей их не считают.

Егор за этот вечер ни слова больше не проронил, и когда спать лег, заснуть долго не мог. Веселая болтовня Соболевского подействовала на него в этот раз хуже некуда, навела на мрачные размышления. Лучше б тот о втором этаже и не поминал. Потому как, если посудить, и в настоящей жизни, а не только в казино, паразиты и тунеядцы тоже находятся как бы на втором этаже. Куда трудовому народу и не подступиться. Хотя, ежели по справедливости, прозябать бы тем в погребах и подвалах общественного дома. Нет, наверху жить лезут, ничем не брезгуют. И людей на белую и черную кость разделяют. Трудишься — черный, за счет других кормишься — наш человек, белый. Сколько и у нас, если по совести разобраться, таких выкормышей-чинуш по большим постам и при портфелях на простой люд как на козявок смотрят, а работу лишь ту признают, что в их шкурных интересах.

К легкому, бездумному обращению с деньгами у Егора Куракова было также свое особое мнение. Соболевского Егор не осуждал, хотя сам бы так, конечно же, не поступил, — тот из любопытства поиграл, упрекать не стоит. А вот о старухе он подумал совсем не так, как Женя. Егору представилось, как идет она по улицам к игорному дому, сгорая от нетерпения, шаркая ножками, стучит костыльком об асфальт, глухая и незрячая к чужой беде, проходит и не остановится, не наклонится над кружкой нищего положить монету, не протянет ему руку помощи, а будет судорожно тянуть ее, скрюченную и высохшую, к корыту с дармовыми франками.

Егор не был скупым, но деньги считать умел, с малых лет знал им цену. А потому и крепко виноватил людей, которые швырялись ими, выказывая к ним полное пренебрежение.

На прииске тоже в картишки на «интерес» поигрывали. Тайком и малым числом, но играли. Из рук в руки большие деньги ходили. Бывало, с кона по тысяче и больше за раз снимали. А кто и за одну ночь без месячной зарплаты оставался. Потом до следующей получки на еду занимал. А получку ту ждал, чтоб за проигрыш реванш взять, да не всегда те ожидания оправдывались. Спроси у такого придурка: зачем он это делает? Он глянет на тебя свысока и скажет с ухарской бесшабашностью: «Деньги — вода, деньги — зло. От них избавляться надо».

В их поселке и точно от денег с пользой «избавиться» трудно: мебельный гарнитур не купишь, да и не нужен он тут, универмагов нет и ювелирных магазинов. И деньги, не находя себе применения, шибко в цене падают. Но есть на прииске ма-аленькая почта, на ней можно телеграфный перевод оформить, хотя бы рублей на полста. На адрес отца с матерью. Но забывают о почте широкие натуры, торопятся в кельдымы, сгорая от накала «высоких» страстей.

На следующий день Женя Соболевский, хорошо чувствующий аудиторию, сторонясь тем, что могли бы так или иначе навлечь мрачные мысли о социальной несправедливости и таким образом больно задеть ранимую душу Егора, повел друзей по музеям Парижа, знакомя их с тем, что они имеют внутри и как выглядят снаружи. Но в оторванности от живой кипучей современности речь его хотя и была предельно эмоциональна, но по содержанию чрезвычайно бледна. В архитектурных стилях Женя был

ни в зуб ногой, потому и передать толково не мог ни внешнего вида достопамятных сооружений, ни их интерьера. Описание древних строений в его устах звучало не хуже анекдота: посмотришь на купол — вот это да-а! Глянешь на фасад — ни-ичего себе!! Так что Антон Новиков счел возможным вставить ехидно-восторженную фразу: «Ну и память у тебя, Женя!»

И тут совершенно неожиданно появилось неопровержимое доказательство того, что за границей Женя действительно был.

Этот предновогодний вечер хуторяне коротали одни. Пару дней назад они отправили прицеп с углем, но к себе никого не ждали. В домике было по-праздничному убрано, а на чисто выскобленном столе красовалась елочка из густо-зеленых веток кедрового стланика, добытых из-под толщи снега стараниями Жени и Антона. Егор Кураков нарядил елочку: обернул ее «родные» кедровые шишки блестящей фольгой из-под чая, увешал «игрушками»: конфетными фантиками и макаронами, картофелинами и кусочками угля, матерчатыми лоскутами и пузырьками с лекарствами из аптечки; венчала елочку звезда из цветной жести, а внизу в белом ватном сугробе стоял краснощекий и густобородый Дед Мороз в шикарной дубленке из вывернутой наизнанку варежки; кроме керосиновых ламп, горели на этот раз и несколько тонюсеньких свечей, изготовленных Егором из старых оплывших огарков.

Хуторяне сидели за столом в свежих неглаженых рубашках и под словесный аккомпанемент Соболевского пили чай, когда в распахнутую дверь вдруг шумно ввалился приисковый вездеходчик Эдик Джаптаев. Балагур и хохотун, он прямо с порога обругал хозяев за то, что сам же сбился в потемках с тракторного следа и долго плутал, пока снова на него не наткнулся, но, поостыв, развязал мешок, который втянул с собой. Вынув из него кипу газет и журналов, кинул ее на свободные нары, затем вручил каждому из хуторян с крепким рукопожатием по прозрачному пакету с новогодним подарком от профсоюзного комитета и крепко пожал руку от имени коллектива прииска.

— А это — лично от меня! — и Эдик с хитроватой улыбкой на скуластом лице вынул из-под мехового комбинезона бутылку шампанского, серебристо сверкнувшую в его темной от мазута руке, и поставил ее рядом с елкой.

Из пакетов вытряхнули содержимое, и на столе, помимо конфет разного сорта, появились нарядные желто-оранжевые шары апельсинов и три большущих свежих огурца.

Стол накрыли не хуже чем в банкетном зале.

— Я, понимаешь-нет, отказывался к вам ехать, — сознался Эдик, когда все уселись за праздничный ужин. — Только из рейса вернулся, в Тавайваам ездил, собрался в баньку. Отмою, думаю, годовалую грязь да посижу с дружками, встречу Новый год по-людски. Никаво! Начальника, понимаешь-нет, принесли черти — езжай, говорит, на хутор. Я — наотрез! Вы что, говорю, меня за человека не считаете? Я что, в кабине жить должен? Да ведь вы сами знаете, как он уламывать может. «Ты, — убеждает, — Джантаев, поставь себя на их место». На ваше то есть. Мне эта идея его не больно понравилась. Меня-то за что? «От сумы да от тюрьмы не отмолишься, — отвечает, — не зарекайся. И войди в положение. Мы тут колхозом живем, а им там одним каково? В праздник тем паче? Нельзя, — говорит, — без внимания людей оставить». Я еще согласья не дал, куражился, а он, понимаешь-нет, повернулся от меня и пошел, будто уже сговорился — дело в шляпе. Издаля крикнул еще: «Поедешь — ко мне загляни!» Вот так: хошь не хошь — пришлось ехать. К нему заскочил — вот эту вынес, в бумагу завернутую, — Эдик кивнул на шампанское. — «Смотри, — говорит, — не брякни кому. Это тебе довесок к сверхурочным». Могила, отвечаю, и по газам, пока он не передумал! Но, кажется, начальник не только меня в виду имел. Мужик он хоть и строгий, но с понятием. Знал, что я не зажму. Так что, земляк, откубривай, как свою, — предложил Эдик Соболевскому. — Давайте по капельке, проводим старый год.

Главный сюрприз «рассеянный» Эдик Джантаев выложил хуторянам лишь в новом году.

— Да, совсем забыл, понимаешь-нет, — сказал он, долго нашаривая что-то в карманах, — тут вам еще письма просили передать. Куда они запропастились?.. Может, забыл в спешке?..

Наконец отыскал и кинул на середину стола добрый десяток основательно помятых конвертов:

— Ладно уж, плясать заставлять не буду.

— Ну, Эдик! — вырвалось у Егора. — Я не знаю, качать тебя или волтузить! А как забыл бы отдать и уехал?

Вконец осчастливленные хуторяне нетерпеливо расхватали письма.

Антон с Егором поторопились из-за стола, уединившись читать по разным углам.

Женя Соболевский остался на месте. Привалившись к стене, закинув ноги на лавку, он недолго поразмышлял, какой же из двух конвертов вскрыть первым: один был из дома, от матери, второй — из Москвы. Адрес отправителя не был ему знаком; вместо фамилии стояла невнятная подпись. Слегка заинтригованный, Женя распечатал послание от неизвестного. Оно было коротким. Женя пробежал глазами по машинописному тексту на белой плотной бумаге, заулыбался чему-то во весь рот, отложил это письмо в сторонку, принялся изучать другое.

Обласканные приветами от родных и близких, хуторяне не скоро вернулись к заскучавшему Эдику, тупо разглядывающему турчанку. А когда снова собрались за столом, долго и вразнобой делились свежими новостями да говорили о доме.

Женя пообождал, когда схлынет волна, взял московское письмо и сказал как бы между прочим:

— Я еще от столичного приятеля получил вот, от того самого поэта. Да. Не хочешь, Егор, почитать?

— Зачем я буду чужое читать? — отказался Кураков. Он все не расставался со своими письмами.

— Да ты же мне не верил. А из этого письма поймешь, что я ни на копейку вам не врал. Письмо-то коротенькое — как живу да как живет, а вот стишок, о котором я говорил, тут полностью напечатан. Нормальный, складный стишок! Он так и называется: «В Монте-Карло». Хотите, я сам прочту?

Антон с Егором тут же согласились.

Эдик Джантаев недоуменно покрутил головой, не понимая хозяев, но тоже сказал:

— Давай.

Женя откашлялся, поправил воротничок, приосанился и начал:

Я в Монте-Карло наблюдал,
как скромный, даже кроткий,
начав с пяти монет, играл
знакомый мой с Чукотки.

— Постой, постой! — не выдержал, перебил чтеца Эдик. — Это, как я понял, о тебе, что ли, — «скромный, даже кроткий»?

— Ага, — кивнул ему Женя, — я такой. Ты слушай дальше:

Играл,
выигрывал, да как!
Вокруг бледнели лица,
а наш застенчивый чудак
не мог остановиться.

Мы все, стоявшие кругом,
его молили слезно:
— Остановись!
Давай уйдем, пока еще не поздно. —
Не мог!
Ну, хоть убей, не мог!
Все выслушав советы,
он говорил: — Еще разок!.. —
И в щель бросал монеты.

Сперва везло, а после — нет,
увы, не отыгрался
и совершенно без монет
в конце концов остался.

Он после этих нервных дел
в автобус отрешенно сел —
Чукотки гордость и краса,
миллионер
на полчаса.

Последний куплет стишка особенно позабавил слушателей. А Эдик просто хохотал:

— Это кто ж тебя так изобразил, а?! Краса Чукотки?! Ну никак не думал, что тебя в скромности могут заподозрить! Это, Женя, явный и злой на тебя поклеп. Судиться можешь. Еще и Монте-Карло какое-то.

Хуторяне коротко ввели своего благодетеля в курс дела. А Женя пересказал самые острые моменты его поединка с «одноруким бандитом».

Эдик выслушал с веселым вниманием и попросил перечитать стишок. Потом заметил Соболевскому:

— Мы с тобой, земляк, на одних нарах, понимаешь-нет, больше года спали. Я от тебя всякого наслышался. Но такого!.. Не припомню, чтобы ты о загранице какой-то толковище разводил. Видать и взаправду скромный.

— Нужды такой не было, — погрустнел Женя. — А в этом снежном карцере и чего не было вспомнишь.

Столь трезвый взгляд на суровую действительность поубавил настроение хуторянам. Сомлевшие было от негаданной радости, помолчали в задумчивости.

Егор разгладил на столе конверты, изучал адреса, будто дорогие ему фотоснимки.

— Ничего, мужики, не кисни! — бодро сказал Джантаев. — Маленько осталось. Должно быть, скоро заменят вас.

На его «должно быть» хуторяне лишь рукой махнули: «Знаем мы это «скоро».

Но Эдик поспешил их обнадежить:

— Забыл я, понимаешь-нет, рассказать вам одну новость.

«Опять что-то «забыл»! Ну, Джантаев!!»

— Вы тут, я смотрю, стихами увлекаетесь, так я вам тоже — стихами. Проверка на сообразительность. Значит, так:

В нашем домике был взрыв —
с чердака летела пыль.
Это с брагой у Сереги
разорвалася бутыль.

Хуторян позабавил частушечный куплетик, но в намеке Эдика на их лучшее будущее ничего ровным счетом не прояснил.

— Что, не врубаетесь?! — удивился Эдик. И нерифмованно растолковал: — Серега Федоров на пару с Левченко Николаем к Новому году поставили бражку. И, видать, понимаешь, нет, с дрожжами перестарались. Она у них и... Понятно теперь? Штраф на них уже наложили. Теперь на ваше место они первые метят. Потому что такие увлечения выходят из моды. «Не в духе времени», — как участковый сказал.

— Твоим бы медом да нас по губам, — ввернул пословицу Егор. — Может, оно так и будет, как ты говоришь, только чужим неприятностям радоваться нет охоты. Как-нибудь уж...

— А что вы апельсины не лопаете? — спросил Эдик, выбираясь из-за стола.

— Лежалые они, — кисло поморщился Антон, — не с куста.

— Чего-о?! — ошарашенно уставился на него Эдик.

— Это шутка у нас такая, — пояснил Соболевский. — Ты не слушай. Просто натюрморт жалко. А ты чего соскочил?

— Как «чего»? Поеду. Дома еще Новый год встречу. По московскому времени. Авось теперь не заблужусь. Скоро светать начнет.

Хуторяне пытались отговорить Эдика, но он их не послушал.

Все вышли проводить гостя.

Весело болтая, Эдик сел в кабину. Добавил обороты, высунулся по пояс, помахал шапкой:

— Скромный, значит, и кроткий? — Он заливисто расхохотался. — Миллионер с Чукотки?! До встречи, снежные дьяволята!! — и машина рванула с места.

Свет фар, разрезая предутреннюю мглу тундры, мягко покачивался вдали...

Продрогшие на ветру хуторяне вернулись в домик. Посидели еще немного, но говорить ни о чем не хотелось. Влезли в спальники, погасив лампы. Погруженный во тьму, хутор вскоре затих. Только слабый отсвет из поддувала да ведьма в трубе не спит...

...Прошли день, второй, минула неделя, а предположение Эдика на скорую реабилитацию хуторян не оправдывалось: никто не торопился их заменить. Моральное состояние парней безнадежно падало и, по определению Соболевского, колебалось где-то «на уровне городской канализации». Что и говорить, Эдик Джантаев, исходя, понятно, из лучших побуждений, оказал хуторянам нехорошую услугу — подкосил терпение. Приуныли ребята, совсем потухли. Ничего не хотелось делать, все валилось из рук. Раздражали любые мелочи: не там стоят валенки, слетела с нар подушка, пустой без воды рукомойник и неплотно прикрытая дверь... Не до разговоров стало, не до бесед — мрак на душе.

Нет, совсем иное настроение было у хуторян сразу после того, как проводили они вездеходчика.

На следующий же день, окрыленные приятной новостью, они с жаром впряглись в работу и загрузили сани так, что уголек через борта сыпался. Под завязочку.

— Врасплох теперь нас не застанешь! — ликовал взбудораженный Соболевский, помогая Егору завалить наверх большущую каменюку. — Хоть днем, хоть ночью! Цепляй сани — и мы с вами! Это е-есть наш после-едний... Антон! Волоки бумагу, карандаш и консервную банку. Заложим в угольные недра приветственную телеграмму. Бичам новых поколений! — От избытка чувств и энергии Женя вскарабкался поверх саней, сорвал шапку и на фоне зловеще-багрового заката сбацал нечто среднее между «танцем живота» и «фламенко». Потом соскочил вниз, кувыркнулся через голову, хлопнул шапкой по черному снегу. Поднялся. — Все! Вперед, шахтеры! —

и, вскинув на плечо ломик с лопатой, затопал к балку строевым шагом. А дома, стягивая задубевшую робу, с довольной ухмылкой на чумазом лице посетовал: — Вот — пароход! Только втянулся в эту работу, в несуетную жизнь — а тут уезжать приходится... Да и то сказать: истосковался я по главному энергетику.

Время теперь для них и вовсе застопорилось — каждая секунда в километр длиной. Засыпали они с единственной мыслью: «Может, завтра...» А утром, кто первым продирал глаза, выскакивал ни свет ни заря на улицу, всматривался в бледную даль: не едут ли?

Нет, не ехали.

Наконец Антон, выйдя как-то по малой необходимости из балка, принес, кажется, желанную весть. Вбежал с квадратными глазами и возопил вне себя:

— Едут! Там... едут!

Выскочили наружу кто в чем был — точно! К хутору приближался трактор с санями. Так и стояли полуодетые, пока тот вплотную не подкатил.

Из кабины неторопливо вылез тракторист Федя Морковкин, невозмутимый бородач и увалень. Кроме него, ни в кабине, ни в санях народу не наблюдалось...

— Не знаю, никто мне ничего не говорил, — войдя в дом и швыркая горячий чай, ответствовал Федя на вопрос о подмене. — Мне сказали: езжай — я поехал. Что Джантай вам намолол... Провинились те, да... Федоров с Левченко. Но пока тишина. А вообще-то уже есть полный комплект. Можно сказать, сколочена бригада. Тут на Ивана Крапивцева еще бумага пришла. Из анадырской милиции.

И Федя рассказал отчаявшимся хуторянам такую историю:

— Захворал у Крапивцева зуб — места себе не находит. Полетел в Анадырь в больницу. Пришел к «лепиле» — зубному врачу. Тот спрашивает: «Какой болит?» А Ивану кажется, что они все у него болят — такая боль. Осмотрел его врач, укол в десну сделал — выхватил зуб. И велел два часа ничего не есть, чтоб, значит, без заражения... Время проходит, а зуб у Крапивцева как болел, так и болит. Оказалось, что «лепило» ему здоровый зуб-то ликвидировал. Во, знахарь! Иван-то когда расчухал это дело, пошел к дружкам и надюзгался с горя. До усталости. А когда назад в общагу добирался, решил передышку сделать: присел к пустой железной бочке, потом прилег на нее. И сморился, уснул. Во сне

опрудился. А мороз такой — плюнешь, ледышка выскакивает. Вот Иван мокрыми штанами и примерз к бочке-то. Намертво припаялся. Мороз ему маленько мозги прочистил, он очухался, а встать не может. Ладно, патрульный милиционер на него наткнулся — окочурился бы так. «Подымайся, — милиционер ему говорит, — пройдем в отделение». Какой там «подымайся»! Иван шевельнуться не может. «Да я бы, — стонет Иван, — за милую душу, так ведь не могу!» Ну еле-еле милиционер его отодрал... Теперь вот бумага пришла... Подлечил зубки Ваня!

Закончив свой рассказ, Федя заботливо огладил бороду, посмотрел на затуманившихся хуторян, сказал недовольно:

— Вы что, похоронили кого? Так вас, кажись, трое и было, — и, обидевшись за негостеприимство, он наскоро допил чай, оставил порожние сани, подцепил груженые и уехал.

— Во-от! — истерически хохотнул Соболевский. — Дали ему год. Отсидел он двадцать четыре месяца и вышел досрочно. Раскатали губу, жди!

В этот же день они поссорились. И поводом явилась все та же заграница.

После ужина меломанистый Антон, терзая «Спидолу» в поисках «деловой, рок-поп-хипповой музыки», наскочил на радиостанцию «из-за бугра», которая между музыкальными паузами поведала о том, что два советских моряка сошли с корабля на берег в чужом порту Средиземноморья и назад не вернулись. Решили остаться. Мотивы, побудившие моряков пойти на такое, «вражеский голос» не прояснил — врубил «металл» — легкую музыку.

Известие это подействовало на хуторян самым ошеломляющим образом еще и потому, что по случайному совпадению они сами только что «вернулись» из того именно города, в порту которого и высадились беглые моряки: Соболевский «прогуливал» перед сном Антона с Егором по золотому и дикому пляжу, где так солнечно-жарко, что купальники и плавки становятся обременительными, потому люди купаются и загорают на том пляже в чем родила их мама.

Женя и Антон лежали на нарах.

Хлопотливый Егор, прежде чем залечь в постель, замачивал горох для завтрашнего обеда. Обмозговывая радионовость, он растерянно замер с погруженной в кастрюлю рукой.

Антон, убавив в приемнике звук, напряженно молчал. И тот, и другой почему-то ждали, как отреагирует на событие специалист по закордону Соболевский. Но Женя высказать свое авторитетное мнение не торопился. Лежал, привычно заломив руки за голову, нацелив скучающий взгляд в щелястый потолок, будто ничего и не слышал.

— Что молчишь-то? — не выдержал Егор. — Оглох, что ли?

— А что сказать-то? — в тон ему и не сразу отозвался Женя, лениво перевалившись со спины на бок. — Захотели ребята красиво жить — пусть живут. Я тут при чем?

— Ну а что с ними теперь станет-то? Что они делать-то будут? — закручинился сердобольный Егор.

— Сопли на кулак мотать! — не раздумывая, трудоустроил тех Женя. — Какое мне дело? Но, думаю, — помедлив еще, рассудил он, — что если не законченные подонки, то быстро просекут, отчего и сытая собака на чужой привязи по своему двору скулит. Тоже обвоются. А ежели форменные скоты, то сшибут на сэндвичи, с родного порога наскребут грязи. На первое время. Не убивайся, Егор. Да и те же сортиры надо кому-то драить. Лоск наводить. Сам знаешь, любой труд почетен. Он, говорят, облагораживает людей, — Женя деланно затяжно зевнул. — Вот и этих, может, обтешет. Пусть сами расхлебывают. Тебе-то они зачем?

— Заче-ем!.. — с неожиданно прорвавшейся злостью сказал Егор. Дурашливый настрой Соболевского выбил его из равновесия. — Затем, что наши это придурки все-таки. А тебе все трын-трава.

— Жалко тебе их, Егор, ты поплачь, — посоветовал ему Женя, — глядишь, полегчает. Только не ахти какие, видать, они и наши, коль сквозонули. И будь моя воля, я бы всем желающим зеленую улицу — катись на все четыре!.. Но с одним условием: чтоб назад не скреблись. А то одна мораль: халява плиз — где корыто полней, там и родина. А на хитрую попу, я слышал, есть болт с винтом. Одного такого христопродавца я в греческом порту встречал — он земляков выискивал, порасспрашивать чтоб. Закурить у меня взял, хотя у самого было. Ну я понял, зачем он стрельнул. Угостил его пачкой сувенирных сигарет с русской тройкой, так он аж прослезился, бедный. А кто его, спрашивается, гнал? Так что... какие еще, Егор, будут ко мне претензии?

— Прэтэнзии, прэтэнзии!.. — Егор неприязненно взглянул на Соболевского, обтер кухонной тряпкой руки, кинул ее на горку посуды. — Слова от тебя путного не дождешься — все с кондебобером! Наслушались поди вот таких певчих, как ты: пальмы, пляжи, красавицы... Казино. Кабаки ночные с факелами, коки-колы из дудочки... — И тут Егор обронил неосторожное: — Пижоны вонючие!

— Ты мне это, что ли?! — резко подскочил Женя, опершись на локоть. Он и сам уже находился на грани срыва.

— Нет, я ведру помойному, — указал в угол Кураков, — оно понятливей.

— Слушай, ты, орясина! — Соболевского будто ветром с нар сдуло. — Колун зазубренный! Да за такое!.. — Он ловкой пантерой метнулся к Егору, но был тут же отброшен коротким движением его тяжкой руки.

Больно ударившись поясницей о край стола, Соболевский, не спуская с обидчика мстительного взгляда, зашарил за спиной по столешнице, надеясь вооружиться чугунной сковородкой.

— Сейчас я тебе чердак развалю, точно! — пообещал он Егору и прицыкнул на Антона, возникшего между ними с робкой попыткой затушить ссору. — Не просят — не суйся, а то и ты схватишь! Крути дальше свою шарманку — просвещайся!

Повядший Антон отошел к вешалке, преградив собой, на всякий случай, подступ к ружью.

Егор, прислонившись к стойке нар, угрюмо смотрел на Соболевского из-под насупленных бровей, готовый отразить новое нападение.

Под руку Жене ничего, кроме алюминиевой кружки, не подвернулось — аргумент против бугая Куракова, конечно, неубедительный. Легковесный. Женя отлепился от стола и с силой шваркнул о печку забракованную посудину; та жалобно дзенькнула о дверцу и откатилась под нары.

— Ну что ж, спасибо, ребята! И на этом спасибо! — извергая матерки и «благодарности», Женя торопливо засобирался; покинуть хутор, казалось ему, был не худший способ проучить этих «охламонов». — Молодцы! Раскусили меня, да, раскололи... трепача-свистуна-балабола! А я-то им про Римы, Стамбулы... — Женя сунул ноги в унты, — конферансами забавлял, — влез в полушубок. — Чурки с глазами! — Нахлобучил шапку на

голову, зыркнул на Егора, — Москва — Прага... — жестко отстранил Антона, сорвал с крючка ружье и ринулся к выходу.

— Женя! — попытался удержать его Антон. — Успокойся, ну с чего завелись-то?

— А-ат винта! — отрубил Соболевский.

— Штаны хоть надень, — успел посоветовать ему мрачный Егор, присаживаясь на постель. — Отморозишь хозяйство.

Действительно, впопыхах Женя забыл натянуть теплые брюки и снарядился в путь, как был, в тонких тренировочных. Вернувшись, переоделся в аварийном темпе, прихватил курево и, уже стоя на пороге, сказал с дрожью в голосе:

— Э-эх, други мои! Задохнетесь, как черви в баночке, — вспомянете... — шагнул в сенцы и выстрелил дверью.

Оставшись одни, Антон с Егором долго молчали. У обоих на душе будто кошки нагадили. Наконец Антон нарушил постылую тишину:

— Напрасно ты, Егор, на него, — тихо произнес он, перейдя к столу и усевшись на лавку. — Не стоило так.

Отходчивый Кураков и сам это давно уже понял.

— Без тебя знаю, — смиренно вздохнул он. — Я и не думал его обидеть, невольно вышло, что поделаешь... Тех жалко стало. А пойди теперь разберись, — обронил философски, — отчего они это сделали...

— И я хорош тоже, — в свою очередь, повинился Антон, — надо было мне ее крутить, «Спидолу» эту...

— Аа, — отмахнулся Егор, — разве в ней причина...

— Может, догоним, вернем?

— Где ты его теперь? Он же реактивный, — Егор поднялся с нар. — Спи, ложись. Лампу не туши только, пусть горит. А я пойду от окна откидаю. Слышишь? Задувать начинает.

Взбешенный Женя выскочил в непроглядную тьму и наугад зашагал по санному пути. Кровь толкалась в виски. Душили зло и обида. Мела поземка. Лицо обдавал шершавый ветер. В черном небе — ни луны, ни звездочки. Впереди — семьдесят километров.

«Ничего! — бодрил себя Женя. — Семьдесят — не семьсот. К вечеру дотепаю. — Ружье, когда он оступался, больно ударяло по ушибленной пояснице, а та — еще больнее — по ущемленному самолюбию. — В пижоны произвели, — кипел оскорбленный, — в певчие! В по-

пугая говорящего! Теперь сами покукарекайте. Назад-то я не вернусь, не-ет. Пусть хоть с работы вышибут, а пошел-ка я к такой матери с такими товарищами! А вышибут, — тут же мелькнула отрадная мысль, — так еще и лучше. Сразу на Курилы и рвану. Сам-то когда бы еще надумал...»

...Дорога пошла под уклон и вскоре, зализанная поземкой, пропала. Соболевский настырно брел напролом, спотыкаясь и падая. Он знал, что логовина эта невелика и должна скоро кончиться. Надо только удержать правильный ориентир. И отыскать оборванный след. «Вот здесь, видно, и Эдик Джантаев обмишурился, — предположил он, — упорол в сторону. Хоть бы светало скорей, что ли», — подумал с тоской.

По расчетам Соболевского, низинка давным-давно должна была уже кончиться, а он все не мог нащупать ногой накатанную твердь. Усталый и взмокший, он чуть не плавал в рыхлом снегу. Уже и небо начало сереть, сомнение закралось: не заплутал ли? Похоже.

Присмиревший Женя остановился, отер шапкой потное лицо, околотил от снега шубу. Закурил, огляделся по сторонам — никаких примет: впереди — снег, сзади — снег, с боков — он же. Да еще сверху повалил, и в воздухе потеплело — верный признак, что пурга будет. «Во, курва, влетел! — злясь уже на себя самого, подумал Женя. — А с чего сорвался? Ну не так сказал Егор, перегнул трошки — велика беда! Зашутить бы это дело и забыть. Нет, взбрыкнул! Сам больше того нахамил. Парни сейчас храпят в тепле в четыре ноздри, а тут хоть волком вой. Однако идти надо, двигаться, пока не околел. Но вот туда ли я?..»

Ноги уже не шли, подкашивались, когда он при сиротливом свете дня счастливо наткнулся на торный наст припорошенной дороги. И скоро понял, что находится примерно в том же ее месте, где и потерял. «Тью-юу! — присвиснул Женя, ошарашенный таким открытием. — Прибыли! Выходит, всю-то ноченьку я, как пьяный заяц, петли накручивал. Да-а, — тревожно подумал, — дело керосином запахло...»

Ветер усиливался, резкими порывами срывал упавший неслежалый снег, пробно закручивал его в воздухе. Слабела видимость. Еще немного, и может подняться пурга. Самая обыкновенная, со снежной дьявольской каруселью. Женя стоял в растерянности, как быть ему дальше, он не знал. Продвигаться к прииску — гиблый номер, да и

сил уже никаких. Вернуться на хутор еще есть, пожалуй, возможность, отсюда не так и далеко, но с какими глазами он туда явится? Аборигены Севера, помнил Женя, в подобных случаях поступают просто: закапываются в снег и спокойно пережидают непогодь, бывает, по нескольку суток. Но те — в меховой одежде! А как он в сугроб полезет в этом задрипанном «кожушке-дропистончике»?

Какой-то легкий предмет мелькнул перед глазами и прилип к ноге, прижатый ветром. Женя взял его, повертел: обыкновенный листок бумаги, размером с почтовый конверт. С одной стороны листка — чисто, на другой — броским шрифтом было оттиснуто:

«ЗДЕСЬ РАЗЫГРЫВАЮТСЯ КАРТОЧКИ СПОРТЛОТО»

Изумленный Женя, озираясь, покрутил головой — на сколько хватал глаз — ничего похожего. И это лотерейное надувательство, прилетевшее сюда неизвестно откуда, подействовало на него самым удручающим образом. Он бросил скомканный листок, рванул с плеча ружье, взвел курки, чтобы жахнуть в два ствола от накатившей злости, тоски и безысходности. Прицелился в отлетевший бумажный комочек, нажал на спуск: курки согласно цокнули, однако громового дуплета не последовало — ружье оказалось незаряженным. «Это Антошина работа, — догадался Женя. — Он патроны вынул. Крутился в углу...» — швырнул в снег ружье, сам на спину опрокинулся. И заплакал без слез...

Лежал так, пока холод не пробрал до мозга костей. Приподнялся на корточки, достал измятые сигареты, долго чиркал отсыревшими спичками. «Пойду сдаваться, — спокойно подумал. — Что делать? Не замерзать же песцам на радость».

Измотанный и опустошенный Соболевский плелся к хутору. Ветер дул ему в спину, что существенно облегчало ходьбу. Поясницу уже не саднило, так как все тело казалось сплошной болячкой. О парнях Женя думал только положительное. И еще, что те наверняка переживают сейчас за него, идиота.

«А ведь я подвел их! — пришла вдруг удивительно простая и ясная мысль. — Да что «подвел» — предал! Элементарно! Нашел плохонький повод, бросил друзей одних и слинял! Так получается. Подленько дезертировал. Во-от как они сейчас обо мне думают...» — Он хлестанул себя по щеке и попытался прибавить шагу. Хотелось как

можно скорей добраться до дому, обнять Егора с Антоном и покаяться.

Жене повезло: пурга раскачивалась лениво, и вскоре он заметил, как прорезался сквозь снежную пелену огонек. Крохотный и размытый. Мелькнул и исчез. Снова показался. Женя бросился на этот бледный, слезящийся свет и тут же полетел — голова-ноги — в какую-то яму. И саданулся лицом о что-то твердое.

— Ба! Да это же карьер! — воскликнул он радостно, потирая ушибленное место и глядя на черно-оголенный выступ, о который ударился.

«Это ребята держали огонь, — с благодарной нежностью подумал он, выбираясь из ямы, — отгребали снег от окна».

Женя ввалился в жаркое нутро хутора, сронил ружье у порога, с виноватой улыбкой сам рухнул на лавку.

Парни повскакивали с мест, захлопотали возле него, помогли раздеться.

Женя смотрел на их взволнованные рожи — такие родные и милые! — и был уверен, что не найдется на всем белом свете уголка надежней и теплее, чем этот хутор!

Сейчас он влезет на нары, заберется в уютный олений спальник и мертвецки уснет. А проснется, когда Егор пригласит его к столу. «Вставай, Женя! — скажет он, как ни в чем не бывало. — Я суп сварил... С гренками».

Ждать замены хуторянам оставалось считанные дни.

Анатолий Шавкута

МОНТАЖНИК НИКУЛИН

Монтажник Никулин сидел на койке в одной из комнат общежития и перебирал струны гитары пальцами, каждый из которых был чуть тоньше гитарной деки. Тельняшка на цилиндрической груди монтажника Никулина была разорвана, и я без труда мог сосчитать количество грозных орудий на линкоре, бывшем когда-то домом Никулина. Блестящий никелированный чайник стоял на столе, и лежали московские мягкие бублики: монтажник Никулин водки не пил, а чай он жаловал с детства.

Эх, и давно это было! В первые дни седьмой пятилетки — так давно, что монтажник Никулин и не помнит об этих днях, а если и помнит, то памятью снисходительной и недоуменной: неужели это был он, Валерий Петрович Никулин?

Солнце сверкало за окнами на снежных просторах смоленских полей, солнце хлестало в прозрачные рамы нашего общежития, играло на стенах с плывущими вдаль сиреневыми лебедями, ослепительно вспыхивало на белом и выпуклом боку казенного чайника, баюкало нас волнами своего материнского мягкого тепла. Простирались поля за домами.

Снега России лежали вокруг, и комната была прони-

зана солнцем, на столе стоял чайник, лежали коричневые бублики, и монтажник Никулин пел молодым и беспечным голосом:

Я встретил Зиночку на шумной вечериночке,
Она красивее всех девочек была.
Глазенки карие, и брови подведенные,
И платье длинное сверкало от огня.

Струны гитары плакали от восторга.

— Валера, скажи, а почему оно сверкало?

— Парчовое потому что, платье-то...

Монтажник Никулин! Монтажник Никулин! Как же это так получилось, что ты стал выступать на собраниях?

Это было уже в другом городе. Осень подходила к концу. Месяц без перерыва лил дождь. Кабель, который нужно было тянуть с эстакады на установку, как будто разбух от дождя, был тяжелым и скользким; спецовка промокла, протекали пропоротые гвоздем сапоги. Грязь, грязь заливала потоками все вокруг. Влажный воздух, как воду, можно было черпать черпаками. Настроение было подавленным, грипп одолевал всех. Перед праздниками чуть отпустило, сделалось теплее, подсохло, но дня через три горизонт упал, задул пронзительный ветер, еще сильнее похолодало, и снова пошли дожди.

В канун праздников награждали медалями ветеранов труда. Был митинг.

Монтажник Никулин выступал в числе первых.

Он медленно поднял длинную, как шлагбаум, руку, медленно прошел к трибуне и, откашлявшись, сказал неожиданно:

— Уважаемые товарищи ветеринары.

Зал ответил ему хохотом. Зал так неистово хохотал, что люстра качалась от хохота.

Монтажник Никулин пережидал этот хохот. Он умел, оказывается, ждать. Он сказал, не меняя голоса:

— Уважаемые товарищи ветераны! Простите меня... Это я от волнения. Не умею я выступать...

Сколько их было потом, выступлений? Кто их считал? Это не деньги, чтобы считать их.

Монтажник Никулин брал обязательства и выполнял их вместе со всеми. Тут же он снова брал обязательства и снова их выполнял. Он выступал по радио и говорил, что свой труд он посвящает всему трудовому народу. Он давал интервью и замечал, что всю свою жизнь он отдает нашей славной Родине. Он экономил электроэнергию. Он

сокращал протяженность трассы. Он бил себя в грудь и учился высокой политике.

Шли дожди. Падали снега. Солнечная пыль висела над поселком. Монтажник Никулин купил себе кожаный портфель, похожий на саквояж, в нем он таскал на работу завтраки. Он сидел теперь в кабинете председателя месткома и перекладывал бумаги сначала слева направо, а потом справа налево. Он маялся от жары паровых батарей и от разговоров с начальством.

— Кушать надо молоко и овощи, чтобы желудок правильно функционировал, — говорил ему инспектор облсовпрофа.

— Да, — соглашался Никулин, тоскуя.

— Наши предки не ели мяса, — говорил интеллигентный инспектор. — Они ели коренья и ягоды.

— Человек произошел от обезьяны, — подтверждал Никулин.

— А чтобы зубы были здоровыми, нужно потреблять фосфор — кости и хрящи.

Монтажник Никулин весом был более центнера. Он лом мог согнуть через колено и разжевать гвозди, а больше всего на свете он любил жареную баранину. Нужны ему были коренья и ягоды!

Шли годы. Шли отчетные собрания, мелькали даты, происходили события, к которым местком не имел отношения.

Монтажник Никулин — выдвиженец, стал похож на гору, он не видит собственных коленок за животом и дышит со свистом и шумом, как старый угольный паровоз. Тело его просит работы, мышцы ноют в оцепенении.

От нечего делать, от потребности занять себя он пристрастился решать кроссворды.

— Корова, корова, — шепчет он, припоминая. — Стадо, скотина, скот... Скот! Французский писатель! Четыре буквы. Нет, не подходит...

Он сонно задумывается, сопит.

И так скучно в его кабинете, так сумрачно за окном... Хоть зубы рви — так тоскливо.

СЕГОДНЯ РЫБАЛКА

И вот завод почти смонтирован. Я стою в блоке конверсии, оглядываю его. Установки производят впечатление грозной силы, они насыщены оборудованием до предела и напоминают военный корабль.

— Любуешься? — спрашивает Мороз, наш новый мастер из Пензы.

— Вспоминаю, — отвечаю я.

Кольцевые площадки делал Ефремов.

Абсорбер ставил Исайкин.

В конденсационной башне упала балка с монтажниками, но повисла, зацепившись за уголок, и люди остались целы — у Павлюка дрожали руки, когда он вылез из люка.

Стыковали скуббер — загорелся кислородный шланг. Его мотало из стороны в сторону, и красное пламя уходило вниз, а наверху были люди, и кто-то спрыгнул с пятнадцати метров, чтобы закрыть баллон.

— Пойдем, пойдем, — говорит мне Мороз, — хватит... Уже пять часов. Сегодня нормальный рабочий день...

Сегодня рыбалка. Сегодня мы получили премию и собираемся все вместе. Давно мы уже не отдыхали.

Речка Осьма. Заливные луга. Темный лес вдалеке. Цветы. Лиловые, высокие стога.

Мы ловим рыбу. Разводим костер. Начинаем свои разговоры.

— Я ночью проснулся, — говорит Савчуку Крылов. — Проснулся ночью и придумал. Вот здесь мы поставим укосину, здесь мы поставим мачту...

— Нет-нет, — возражает кому-то Семенов. — Детандеры работают мягко. Они же центробежные...

Постепенно завод отдаляется, начинаются иные темпы. В этом шуме и гаме так легко разглядеть человека.

Как всегда, о войне вспоминает Горышев:

— ...Аська к нему на передовую ходила, а к утру всегда на месте была... Ну, значит, ведро спирту у нас было и кружки эмалированные. А спирт зеленый, как херес.

Горышев смотрит в лицо собеседнику: не рассказывал ли он об этом ему раньше?

Собеседник — воспитанный человек. Он слушает Горышева внимательно.

— Пить, не пить? Кто его знает? Позвать полкового врача! Зовут. «Попробуй», — говорит ему командир. Врач, значит, берет, берет, значит, стакан. Р-раз его! «Можно», — говорит. «Можно, — говорит командир. — Пейте!..» На Одере мы как раз стояли. Как я их потерял пьяными, так пьяными и нашел. А Аське он шубку со-

болью подарил. Соболью! Не какую-нибудь! В окопах чтобы носила.

Крылов встает, оглядывается вокруг и внезапно говорит, ударив себя в грудь:

— Я тридцать три года на монтаже!

Все шумят, волнуются вокруг.

— Выпьем, — говорит Крылов. — Выпьем за нас, монтажников.

Все пьют. Слышен спор Михайлова с Рудовым.

— А я говорю: не издевались над людьми, — горячится Михайлов. — Я сам все видел, под моим началом четырнадцать тысяч ходило. Не издевались, а многие так даже благодарны были. «На воле, — говорят, — хуже было». «Спасибо», — говорят. Не издевались, говорю. Врут все.

— Судить бы вас надо, — рассудительно возражает Рудов.

— А потеха была, когда Ежова убрали, — говорит мне Крылов, услышав их спор. — Никто ничего не знает, слухи идут. Звонят мне, советуют портрет убрать. Это приказ? Нет-нет, совет. Ну, думаю, задача. Сниму, а он у власти. Крышка. Не сниму, а он враг народа. Тоже крышка. Сижу, думаю. Говорю коменданту: «Вот что, — говорю, — сымай портреты, — говорю, — и лицом к стенке ставь. Ясно?» — «Ясно», — говорит...

«Вот оно», — думаю я.

Перевожу взгляд направо, туда, где сидит бывший начальник отдела кадров, майор в отставке, теперь председатель месткома Терешин.

— Они поднимают руки, — хвастает он соседу. — А я их из автомата, из автомата, вот так иду и всех в живот, в живот, ни одного, говорю, в плен не брать. Я тогда оперуполномоченным фронта был...

У него добрые улыбчивые глаза и перекошенный рот. У него серо-голубые, ясные, вспыхивающие улыбкой глаза и четкий овал лица, нос картошкой, перекошенный набок рот, губы крутые, властные.

Солнце садится. Далеко за лугами и лесом вспыхнул закатный луч. Воздух сгустился, потяжелел. Скоро совсем потемнеет.

Все громче и громче звучит разговор.

— Человек человеку брат!..

— Иисус Христос, знаешь, кто был? Он человек был! Вот кто! Как Ленин!..

— А ты масло в молоке видишь?..

Подходит слесарь Мишка Кравченко. Он наклоняется ко мне близко, так что дышит в лицо, хватает рукой:

— Я, знаешь, какой молодой был? Я, как орел, молодой был! Я семерых царей пережил. Еще с Николашки начиная. В Кирове у меня жена, в Куйбышеве другая, в Сызрани третья... Я от Наро-Фоминска до Берлина пешком прошел. Семнадцать ранений имею. Вот смотри.

На левой руке у него нет двух пальцев, на ноге шрам, в голове вмятина, в груди пролом.

— Да еще два инфаркта пережил. А инвалидности все равно не дают.

Он хочет заплакать, но передумывает, берет стакан с водкой, пьет, хлебом с солью закусывает.

Кто-то появляется из темноты. Это колхозный сторож. Он высокого роста. В плаще, сапогах. Шагает медленно, крупно.

— Товарищи, — спрашивает он. — Вы здесь ночевать будете?

— Здесь, — отвечают ему.

— Попрошу вас, не ночуйте у этого стога. Попрошу вас.

— А почему?

— Всякое бывает. Загореться может. В том году было. Курили, возможно.

— А у тех стогов можно, что ли?

— Те, извините, колхозные. Машина косила. А этот я сам. Понемногу. На зиму приготовил. Где можно, косил, сушил, складывал.

Мы даем ему слово ночевать у тех стогов, у колхозных.

— Сами понимаете, — говорит он смущенно. — Сторож я. Это конечно.

— Понимаем, понимаем, — отвечают ему. — Выпей вот.

Сторож пьет. Мы собираемся спать.

Лишь Горышев с Пономаревым никак не закончат говорить о войне.

— Я лично! Ли-ично триста человек убил, — плачет горько Пономарев, и качает головой, и держит ее руками. — Ли-ично участвовал. И-эх! У-у! С девятнадцати лет на фронте.

Да сидят у костра, почти догоревшего, Мальцев и Модебадзе.

— Знаешь ведь, какие они, хохлушки. Ты ей — стри-

женый, она тебе — бритый. Ты ей — бритый, она тебе — стриженый. Я тогда под Керчью работал на стенде! Пыль! Жара! Руки вспухли от работы. Черные. Грязь по телу течет. А как вечер, смотрю, она идет. «Жена, — говорю, — у меня есть». — «Пусть», — говорит. «Ребенок», — говорю. «Пусть», — отвечает. Думаю, не быть бы беде. На рассвете уехал. Чтобы не видела. Все бросил и уехал. До сих пор помню. Не могу забыть. Но ведь правильно все. Жена у меня и ребенок. Семья...

Не спится. Я иду к реке. Туман парной стелется над водой. Звезды крупные. Пахнут травы.

Стоит август — женский месяц природы, месяц, когда еще нет усталости от плодов, но много надежд и предчувствий.

Выспевают яблоки — белый налив, созревает картошка. Черника. Грибы. На исходе малина.

Сквозные бесконечные дали сизы по утрам. Желтеют кое-где березы.

Вечера теплые, темные, глубокие. И тысячи кузнечиков точат во тьме свои блестящие сабельки, звук их работы слышен далеко вокруг и все вокруг освещает едва заметным мерцанием. Но этого можно и не увидеть.

Владимир Пшеничников

ЛОПУХОВСКИЕ МУЖСКИЕ ИГРЫ

БРИГАДНАЯ ПОВЕСТЬ

Играй, хоть от игры и плакать ближний будет...

Денис Фонвизин

Тут предстает пред мои глаза толпа писателей, которые то бредят, что видят. Их сочинения иногда читают...

Н. И. Новиков. «Живописец»

Часть I

ПРОБА ГОЛОСА

Семь прорех — одна заплата

«Звоню в «Победу» Гудкову и знаю: не готово у него собрание, палец о палец не ударил. Нет, готово, говорит! Хорошо, на следующий день еду. Народ, правда, к клубу собрали, музыка играет; вечером, говорят, будет кино бесплатное. Но как раз кино-то раньше началось! Меня Гудков в зале рядом с каким-то дедком оставил, члены правления — кто где, а сам с галанкой обнялся. На сцене — трибуна и портрет Генерального на заднике, такой, знаете, сорок на пятьдесят... Да. Ну, расселись. Гудков: «Опоздавших ждать не будем, прошу высказываться, у кого что к правлению накопилось. Есть желающие?..»

Василий Матвеев не знал, кого слушать. За трибуной предколхоза Гончарук в докладе до полеводства дочитал, а тут, в президиуме, районный уполномоченный о собрании в соседней «Победе» парторгу рассказывает:

«Ну так ему там высказались! (Василий наклонился ближе к уполномоченному.) Наворотили такого, протокол до сих пор оформить не могут, — громче приличного проговорил рассказчик.— Гудков совсем за галанку спрятался!.. Кгм. Да. Я ему потом сказал, конечно, что это по меньшей мере непорядочно — выдавать собственную не-

организованность — и лень! — за перестроечное явление. Что это еще за «болезнь роста творческой инициативы»? Молчит. Понял. А вы молодцом. Новое вино, старые мехи — для красного словца чего не выдумаешь. А процедура собрания давно отработана...»

— Или вот Матвеев Василий Софронович, — услышал Василий свою фамилию с трибуны и выпрямился на заскрипевшем стуле. К нему сейчас же обернулся из первого ряда президиума предсельсовета Чилигин и зачем-то энергично кивнул кудрявой головой. — Уважаемый человек, — продолжал Гончарук, — опытный механизатор, медаль ВДНХ имеет. Доверили мы ему звено, поставили, можно сказать, государственную задачу. Но где это звено? (В зале в средних рядах зародился шумок.) Развалилось в первый день уборки. Виноват Матвеев? Мы его не виним. Так кто же виноват, товарищи?

— Ты причину скажи! — выкрикнули из зала.

— Или вот еще...

— Да почему звено-то развалилось?!

Председательствующий на собрании парторг Ревунков постучал карандашом по графину. Гончарук оторвался от доклада и посмотрел в зал.

— Я привожу примеры, как это самое новое не приживается в нашем хозяйстве. А почему — это вас надо спросить.

— Да ты что? Нашел виноватых!

— ...коню... конвой! — продемонстрировал богатство и силу родного языка кто-то из задних рядов.

— С больной на здоровую!

— Хо-хо-ол! — прогудел кто-то в пригоршню, и Василий понял, что бузят не одни только бывшие члены его звена.

— Не колхоз, а артель «Напрасный труд»!

— «Ржавая борона»! — Это, определил Василий, холостяк Микуля.

— Не имени Чапаева, а «Лопуховский»...

— Тихо, товарищи, тихо! — кричал Ревунков, обламывая карандаш о графин с водой. — Ти-хо!

Но Василий уже знал, что крикунов не унять, дыхание его сбилось от возникшего вдруг желания говорить.

— Будем собрание продолжать или будем глупые выкрики делать?!

Василий почувствовал, что у него краска приливает к лицу...

— Можно мне сказать? — уже привставая, спросил он Ревункова.

Шум в зале срезало наполовину.

— Слово для справки предоставляется товарищу Матвееву.

— Я два слова...

— Выйди вперед, Софроныч, — обернувшись, шепнул Чилигин.

— Я тут... Дело в чем? Такие звенья, как наше, и не будут держаться. В договоре написали «отвлекать на другие работы в случае острой производственной необходимости», а начиная с посевной дергали во все концы. И оплата. Договор на один год, а год все видали какой. Ясно, плановую урожайность не получить, а среднюю пятилетнюю Филипп Филиппыч, экономист наш, не то что в договор, вспоминать запретил. — Василий посмотрел в передние ряды и остановился на главном экономисте.— Звено в бригаде — как пятое колесо в телеге...

— Затычка для прорывов!

— Да, — Василий немного сбился, — надо твердо гарантировать самостоятельность, и не на один год... Надо разукрупнить три бригады. Пусть будет шесть...

— А почему не двенадцать? — внятно проговорил Гончарук за трибуной. — Давай будем персонал плодить.

— Никого не надо плодить, — нахмурился Василий. — Бригады без освобожденного помпотеха обойдутся. Зато народу меньше станет, за спину не спрячешься и вообще... И перевести все шесть на подряд... Вот — все у меня.

Василий сел на место. И зал и президиум некоторое время молчали.

— Правильно! — выкрикнули из зала. — Чем на звеньях эксперименты ставить, пусть бригады целиком работают от продукции!

— Правильно тебе? А животноводство куда? — Это моложавый голос пенсионера Делова. — Тогда уж давайте из одного колхоза два сделаем! Сопляки...

— Захочем — и сделаем! Разукрупнить...

И Гончаруку не позволили дочитать доклад до конца, хотя он жадно пробовал выловить написанный Филиппом Филипповичем абзац. Заканчивал он своими словами и не очень напирал на примеры, чтобы еще кого-нибудь не потревожить ненароком.

В перерыве набросились на курево, утыкали бычками чистейший сугроб перед крыльцом ДК, выросший пока

шумели в зале. Задувала поземка, могло и сверху сыпануть, но не о погоде речь, она-то уж точно мимо протокола.

— Разве это порядок? — слышалось. — Как все равно что бездетные живем...

Тут же покуривал паренек из газеты, и неподалеку от него кто-то посетовал:

— Только и читаешь: не по-хозяйски, бесхозяйственность... Ну вот, допустим, собрался я стать хозяином. Че мне делать?

— Языком поменьше молоть, — ответили свои же.

— Ладно! Стал я немым...

— Ну и работай.

— Тьфу! А я че делаю?

— Лучше работайте, — посоветовал корреспондент.— Как дома.

— Если он начнет, как дома, работать, ему штаны придется в складчину покупать!

И смех — значит, Витухин там, другие еще...

— Товарищи! — прямо взмолился Ревунков после перерыва. — Выступили шесть человек, и еще ползала руки тянут...

— Га-а-а! — ответили ему.

— Я предлагаю дать слово еще двоим...

— Га-а!

— ...и прекратить прения! У нас двенадцать вопросов повестки дня впереди!

— Га-а-а!

Собрание было похоже на озорство, на базар. Зал хотел слушать себя, и каждый по отдельности хотел того же. И то, что не затерялось его предложение, скорее удивило Василия, чем обрадовало. Легче ему не стало. Шумело в прошлом году и его звено, да все равно разбежалось, увидав, как сдельщики их в зарплате обскакивают...

А если сбросить сейчас лет десять?

Но, помолодев на десять лет, он, может быть, вообще ничего не сказал бы. До поры лишь одно заботило Василия Матвеева: ходил бы трактор. Или комбайн не простаивал бы. И техника у него не стояла. Да и сам он был легок на подъем: бывал и на сое в Приамурье, и на целине, поразившей не «тучными черноземами», а разором и запустением. Но всерьез задумываться и сравнивать начал он после недели, проведенной на ВДНХ.

...Красиво подсвечивались фотографии улиц и домов колхозов-миллионеров, сверкали эмалью комбайны. И рас-

сматривали их ухоженные, довольные, в общем-то, люди, и сам он одет был, как мордасовский ревизор. А доедет ли это нитроэмалевое чудо до входа на выставку, если его убогие родные братья в Лопуховку со станции на катафалке попадают?.. Долог путь до Лопуховки. Долог и плох...

— Если вы меня снять решили, так я за место не держусь! — выкрикнул в какой-то момент Гончарук.

— Не-ет, голубчик, ты у нас поработаешь! — нашелся, кажется, Савелий Крашенинников.

— Наработался, хватит! — прозвучало и такое.

— Встретили с чемоданом, а провожать на двух машинах будем?!

— Какой слабонервный!

Но поскольку немедленной замены Гончаруку никто не видел, с этого момента критика пошла на убыль, и заранее приготовленное решение приняли только с одной Васильевой поправкой о разукрупнении бригад. Уполномоченный назвал это дельным решением. А впереди еще одиннадцать вопросов.

Пока дочерпывали повестку, кое за кем жены, ребятишки приходили да так и оставались в зале, потому что уже ни один вопрос без шума не решался. Даже на выборах пенсионного совета забуксовали на добрых полчаса, после чего тот самый Делов Сидор Кузьмич с собрания ушел, потому что его кандидатуру сняли как бесполезную.

Расходились темной ночью и по большей части молчали. Только Вениамин Витухин все доказывал кому-то, что это только для простых колхозников в магазине томатный сок, а к Гончаруку уполномоченный не чаи гонять отправился — свет-то, мол, во всех окнах, как в ресторане... Но никого витухинские смелые догадки не задевали. Видно, устали от собственной смелости.

Лекарство от бессонницы, стрессов и страстей

Когда Сидор Кузьмич Делов собирался на колхозное собрание, к старухе его пришла широко известная даже и за пределами Лопуховки шаболда Ховроньиха. Переступив порог и наткнувшись на Сидора Кузьмича, застегивавшего полушубок, гостья ойкнула и замерла в дверях.

— Христос с тобой, Сидор Кузьмич, — произнесла она ошарашенно. — А ведь, я думала, ты уже там...

— Туда, — с нажимом произнес Сидор Кузьмич, — туда мне еще рановато, годами не вышел.

— Да ты проходи, сестриц, — подсуетилась хозяйка. — Некого бояться.

— Вас испугаешь! — усмехнулся Сидор Кузьмич, натягивая рукавицы. — Начнете языки чесать... Чтоб за три часа кончили! — установил он регламент и ушел.

Такой срок он и себе положил, но собрание неожиданно затянулось, и, когда добрались до утверждения акта ревкомиссии, пролетело уже четыре часа с хвостиком. Сидор Кузьмич тоже раза два высказался с места, даже словно бы помолодел за эти четыре часа, и тем страшнее показался ему удар, обрушившийся на него, когда приступили к выборам совета ветеранов колхоза.

— Матвеев Софрон Данилович. Отводы будут?

— Не-ет!

— Махортова Евдокия Павловна. Отводы будут? — не отрывая глаз от бумажки, читала кадровичка.

— Не-ет! — отвечал ей хор, который от фамилии к фамилии, казалось, становился все дружнее.

— Делов Сидор Кузьмич. Отводы будут?

— Да! — звонко выкрикнул кто-то из средних рядов, хотя и раздробленное «нет» тоже прозвучало.

— Да или нет? — привстав со своего места за столом президиума, поинтересовался парторг Борис Павлович Ревунков.

— Кузьмич нынче помитинговал, хватит с его!

— Заменить!

Ничего не видя перед собой, Сидор Кузьмич двинулся к выходу. Еле нашел этот выход. Не чаял выбраться поскорее... Сопляки! Он знал, что нынче что-нибудь да случится: невиданная толпа народа — человек двести — стеклась к Дому культуры, а вождей не оказалось на месте... Твердой руки.

К дому Сидор Кузьмич шагал, пропахивая свежие переметы. Конечно, над ним посмеялись! Одному взбрело, а остальные и рады. Небось председателя так же выбирать ни нахальства, ни совести не хватит... В правый валенок насыпался снег, захолодило пятку, и он почувствовал себя уже вовсе никчемным, продолжая кому-то грозить и вполголоса посылать проклятья и снегу, и наступившим сумеркам, и собственной старости. Нет его прежней власти, о которой еще помнят теперешние старухи... Нет...

Но ненадолго растерялся Сидор Кузьмич. Подходя к дому, он уже знал, что делать дальше.

Нарушительниц регламента, вскочивших из-за стола

при его появлении, Сидор Кузьмич словно бы не заметил. Едва устроив полушубок на вешалке, он прошел в горницу, пошарил рукой за божницей, потом открыл тумбочку под телевизором.

— Ты, отец, чегой-то припозднился, — проговорила от двери жена.

— А? — выкрикнул, обернувшись на миг, Сидор Кузьмич.

— Да я говорю: ушла Ховроньиха, — доложила хозяйка. — Яичек ей дала да сдобнушек вчерашних... Ты, говорю, че-то поздно...

Сидор Кузьмич не ответил, и его оставили в покое. Подсев к столу, он раскрыл тетрадку на середке и, шевеля губами, не больно раздумывая, начал писать:

«Дарагой Цыка!

Обрасчаюсь к вам патамучто Сил нету терпеть безобразия в то Время как Страна находица на крутым Переломи Истории. Требуеца Работа. Нужон Хлеп и Мяса. Нимала нам извесно палитело Голов и высоких за недопанимание и взятку. Каданадо отдавать все Силы наработи наши Началства и лично Пред калхоза Ганчаруков играеца вбирюльки. Названье калхосу Имени Василиваныча Чипаева не панравилась — готовы снять. Сбираюца раздилить Калхос. Терпенья нету смотреть набезобразия а Они вдобавок смеютца. И плакыли калхозные денюшки. Кто прошол Огни иводы теперь ненужный никому хлам иболе ничиго. Так Ганчаруков панимаит работу светеранами Пенсианерами. Если не дать пашапки ини найтить Башкавитова Мужика ни Хлеба нивидать ни Мясы ини Малака. В Маскве говоритца правильно — унас нипанимают Линию Цыка что нада боле Продуктов и Дисциплины. Усамих Дома ни Дома ана Калхос наплевать изабыть. Вот поглядитя что Ганчарукова опять председателем выбирут патамучто он удобный всем. А крышу цинковым жилезом покрыл ина калхозным бензинчике ездиют Зять на Жигулях и Сам на Волги авгараже Бобик стоит для охоты Колхозный. Охотничать надо кончать!

Суважением...»

И Сидор Кузьмич расписался.

Это был проект, черновик, и он стал внимательно прочитывать строчку за строчкой. Круто, конечно, забирал, но ничего, так нынче и надо. Сколько можно начальству в рот заглядывать? Вон ведь до чего попустительство до-

вело... Ниже подписи Сидор Кузьмич прибавил: «Пенсионерный совет работает абыкак аего не тронули».

Написанное читалось с немалым трудом, и Сидор Кузьмич решил сходить к учителю Плошкину, чтобы расставить запятые, а заодно и обговорить, как написать адрес. ЦК — он большой...

— Отец, ты куда опять? — встревоженно окликнула его хозяйка, но ответа от озаботившегося мужа не получила.

Зато вернулся Сидор Кузьмич повеселевшим и велел греть ужин. Сам, правда, опять в горнице скрылся. Теперь на стол перед ним легли тетрадные листы в клеточку. Сидор Кузьмич, без труда разбирая ясный почерк грамотея Плошкина, читал:

«Первому секретарю Мордасовского райкома КПСС
тов. Глотову Б. Б.
от ветерана труда Делова С. К., беспартийного.

Заявление

Настоящим довожу до Вашего сведения, что в нашем колхозе имени В. И. Чапаева грубо попираются права и заслуги ветеранов войны и труда, а также самые основы нашей демократической системы. На состоявшемся сегодня отчетно-выборном колхозном собрании руководство колхоза, партком пошли на поводу у кучки распоясавшихся крикунов-демагогов, которые, воспользовавшись в целом справедливо расширенным правом голоса, увели собрание от обсуждения коренных вопросов перестройки колхозной экономики. Утвержден в целом формальный совет ветеранов.

Прошу Вас лично вмешаться в происшедший инцидент».

И дальше надо было расписаться.

Сидор Кузьмич с уважением смотрел на изготовленный документ и, честно говоря, завидовал учителю, его свободному владению мудреной наукой обхождения с высшим начальством. Плошкин принял его радушно, прочитал проект письма в ЦК партии, тут же отговорил писать туда, сел и за пять минут написал это заявление. Сидор Кузьмич предлагал просто расписаться своей рукой, но Плошкин попросил заявление переписать, а черновик вернуть ему, как только будет закончена работа. Все понимая, Сидор Кузьмич пообещал так и сделать, но сегодня уже на свои силы не надеялся: чересчур строгие слова предстояло переписать от себя без ошибок. «Ладно, — решил, — завтра с утра...»

Он еще раз взялся за листок. «...а также самые основы нашей демократической системы», — прочитал вслух и нахмурился. Системы, да... Честно говоря, заявление плоховато передавало то, что переживала его оскорбленная натура, но, в конце концов, он же не за себя в основном хлопочет... Да что он, кляузник, что ли! Он — за «основу», за «систему» переживает. А попутно товарищ Глотов разберется, что к чему во вверенной ему Лопуховке... Тут сигнал дорог...

— Отец, ужин я разогрела, — оповестила его хозяйка.

— А, иду, иду, — отозвался Сидор Кузьмич и почувствовал, что да, нагулял он аппетит.

Подремонтированная лапша

Вона, значит, что за смех раздавался в доме Витухиных, когда хозяин вернулся с колхозного собрания. С одной стороны, конечно, смешно, как это Елена Яковлевна сыпанула в лапшу вместо соли сахар-песок, но ведь и Вениамин Григорьевич на собрании отчудил: Сидора Кузьмича Делова, вечного бригадира и завхоза, вечного активиста и, главное, почти его соседа, в пенсионерский совет не пустил! Дал деду отлуп — и все проголосовали. Нет — и все!

И ха-ха-ха!

И больше о собрании не вспоминали. Нашелся вопрос посущественней: варить новую лапшу или отремонтировать эту? Решили ремонтировать, сделать ее полумясной-полумолочной. Со смехом и похлебали уже в двенадцатом часу ночи. Мишка с Гришкой сразу отвалили спать, а дочери-семиклассницы досмотрели телевизор до пикающей надписи «Не забудьте выключить...». Косился на экран и Вениамин Григорьевич, хотя трудно ему было сосредоточиться на экране, когда одновременно следовало решить: пускать на тряпки крапивный мешок или спецовочные брюки. Решили — мешок. Неудобно в общественном месте трясти мужниными штанами (Елена Яковлевна мыла полы в лопуховских магазинах).

В постели, обняв супругу, Вениамин Григорьевич сказал, что чуть не поскандалил утром с завмастерскими, да не стал с дураком связываться.

— Ладно, думаю, ему разве докажешь...

— И правильно, Вен, не связывайся, — мягко проговорила Елена Яковлевна. — Завтра, Вен, гречку должны

привезти. Маня сказала — только блатным будут давать. Сколько нам взять?

Вениамин Григорьевич пробормотал что-то уже сквозь сон.

— Сколько ты говоришь, Вен? — ненастойчиво повторила супруга.

— А то я не знаю, что с предплужниками надо пахать! — внятно произнес Вениамин Григорьевич.

«Ну ладно, — вздохнула Елена Яковлевна, — поровну возьму: папе с мамой и нам. — Она потрогала вспотевший лоб мужа. — Папа гречку с молочком любит...»

Потом и она уснула.

Среди ночи еще не раз слышался саркастический смех Вениамина Григорьевича, но он никого не потревожил: к этому домочадцы давно привыкли.

А по двору у Витухиных гуляла метелица. Беспошлинно пролетая в распахнутые ворота, она сеяла снежок в раскрытые саманные коробки надворных построек (соломенные крыши с обрешетником обвалились давно и были укрыты еще самым первым нестаявшим снегом), шевелила дверь на уборной, позвякивая крючком, а закрутившись на голом месте двора, мягко укладывала сугроб под стеной наспех сколоченного мотоциклетного гаража. В гараже стоял Иж четвертой модели, приобретенный хозяином из вторых рук, чтобы ездить с семьей (ну хоть с половиной ее) за грибами и ягодами в Богодаровские леса, а ржавый руль отслужившего свое «Восхода» пока что торчал под стеной из сугроба. К утру даже мотоциклетный руль не должен был нарушать белоснежной пустоты широкого двора, в которой то ли Вениамин Григорьевич, то ли Елена Яковлевна проложит первую стежку следов за ворота на улицу. А может, и в другом направлении, смотря по тому, как усвоится беспечальным семейством подремонтированная лапша.

Привет из Лопуховки

«Дорогая Маша! Письмо твое получила еще неделю назад, но с ответом, как всегда, задержалась. Да и не хотела запиской отделаться. А сейчас Вася ушел на собрание. Павлик приедет из техникума только завтра, я убралась по дому и решила, что можно садиться за письмо.

Приветы твои я давно разнесла по адресатам. Известный тебе человек интересуется, как ты устроилась на

новой работе. Я ему рассказала, а потом думаю: зачем? Если хочешь знать — узнавай сам!

У нас тебя все помнят, говорят, и правильно, что уехала, а потом жалеют. Такой портнихи нам неоткуда больше взять. А мужики как были дураками, так ими и останутся. До седых волос им бы все в игры играть. Своего я не исключаю. Я тебе писала мимоходом, что звено у него разбежалось осенью, так вот до сих пор переживает, глупый. Он в маленькую коммуну хотел поиграть, да игроки неважные подобрались: они на деньги, а он — на интерес.

А на деньги у нас хорошо Фе Фе играет, теперь он экономист. Помнишь, озолотить тебя хотел? И озолотил бы. Хотя глупо, что я тебя на него нацеливала. Только сильное чувство может переменить человека. Ты смотрела на той неделе телевизор? Я все дела бросила! Разве такая любовь может быть в нашей жизни?..

Двор в нашем садике забило снегом, а родителей чистить дорожки не заставишь. «Не мы для садика, а садик для нас!» А то, что их чадам гулять надо, — наплевать. До вечера одежку просушить не успеваем.

Известный тебе человек... Да господи, да Чилигин твой — подслушивает нас кто, что ли! Как стал он председателем сельсовета, такой вообще стал! По понедельникам теперь обход делает. Начнет со школы, потом на почту зайдет, в обоих магазинах потрется, и тут уж я его жду, поваров и нянечек в верхний регистр перевожу, чтобы он от нас до глубины души потрясенным выползал! Может быть, по этой причине до вашего пункта он не всегда доходит. Но тебя там нет, чего уж... Марьдимитревна заявки на ремонт телевизоров принимает, полуфабрикаты иногда привозит, а обувь в починку так и собирает со своей родни, хорошо, что родни много. План — куда денешься. Ты вот тоже про план. Об этом ли нам говорить? Женщины мы или кто?

У Чилигина с женой нелады до сих пор — не прощает за тебя, и все. Уж и надоело на это глядеть. Ему в Мордасов то и дело надо, а она думает, что к тебе. Только я все думаю: а как бы я сама-то... (Зачеркнуто.) Ты скажи, целовал мой тебя на том дне рождения у Елены Викторовны... (Зачеркнуто очень тщательно.) А может, вы правда встречаетесь? Хотя извини, конечно. Я тогда спрашивала у Елены, может, и не было у вас ничего. Она говорит, давала, говорит, тебе таблетки... (Зачеркну-

то все и перенос на другую страницу, низ этой собирались, вероятно, отрезать.)

Минут десять сейчас сидела, все никак не могла припомнить что-нибудь для тебя интересное. Да и что может быть интересного в Лопуховке? Вася все газетками шуршит, по воскресеньям телевизор смотрит, и все: да когда же до нас-то дойдет?!

Маша, я думала, вечером что-нибудь на ум придет, и тогда уж докончу. Но пришел Вася (поздно пришел, я одна управлялась со скотиной) возбужденный такой. «Кажись, стронулось», — говорит. Начал про собрание это рассказывать. А сам, смотрю, остывает, остывает — и курить ушел на веранду.

Ладно, Маш, ты пиши. Я люблю твои письма читать. Весной, может, встретимся!

Твоя Вера.

Маш, Матвеев мой привет тебе передает! Оживел. Велел за генерала замуж выходить! Ляпнул и красный стал — старика он тебе не желает, а важного и дорогого... Все, я лишила его слова! Будет думать, что говорить».

Микуля обиделся

В ночном ДК лопуховских девчат неутомимо развлекал холостяк Микуля, запасшийся остротами еще в пору, когда за лопуховской свинофермой стояли лагерем бородатые геофизики. Когда-то внимали Микуле его незамужние ровесницы, а теперь их места заняли пигалицы (Микуля называл их электричками), о появлении коих на этом свете он слышал, протирая штаны в седьмом, последнем своем классе, программу которого не усвоил и со второго захода. Юношеская половина полуночников была вяловата для посиделок.

Дом культуры «Улыбка» — его строительство приблизила добрая дюжина жалоб во все инстанции за подписью «Молодежь села Лопуховки» — теперь сотрясался музыкальным приглашением на недельку в Комарово или сочинениями жертв западного шоу-бизнеса, под их звуки быстрее вырастал стрельчатый лук в близлежащих огородах, хотя и выходил горек, как все равно что хинин. Вокруг самого ДК, вероятно по той же причине, уже в июне цвела лебеда, пачкавшая желтой пыльцой не то что штанины, но даже и мини-юбки, а зимой высились са-

мые мощные во всей Лопуховке сугробы, издырявленные струйками словно бы лукового отвара.

Но сегодня в Доме культуры был самый настоящий праздник — шум, гам и дым коромыслом. И то обстоятельство, что колхоз не назвали «Ржавой бороной» или, на худой конец, «Лопуховским», как предлагал Микуля, не омрачило Микулиного приподнятого настроения. Он даже домой не пошел после собрания и едва дождался появления обычной компании полуночников.

— А разве кино не будет? — спросили они.

— Киньшик заболел, — откликнулся Микуля.

— Почему тогда афишу не сняли?

— Дурачки, собрание только что закончилось!

— Да зна-аем, — равнодушно ответила компания.

Микуля обиделся. Хоть бы кто-нибудь спросил, о чем базарили, хоть бы просто усмехнулся кто-нибудь... Нет, все, как и вчера, ждали, когда директор Баженов врубит систему и можно будет заняться привычным делом: погонять бильярдные шары размочаленным кием, смешать костяшки домино, просто покурить под табличкой «У нас не ку» (край ей отхватили, да сам Микуля и отхватил стеклорезом года три назад, чтобы с полным основанием сострить: «У нас не ку, не ка, не си, ни баб не пи»).

Бегавший домой перекусить Баженов вернулся с новой кассетой.

— Последний концерт группы «Таракан»! — объявил он через микрофон, и полуночники зашевелились.

— Сами вы тараканы, — процедил сквозь зубы Микуля и ушел из очага культуры в расстроенных чувствах.

На крыльце ему встретилась стайка потенциальных невест, которые довольно игриво окликнули его, и он зловеще пообещал перетаскать соплячек на продавленный диван в кубовую, если не отстанут.

— И че ж ты с нами делать будешь? — не стушевались девчата.

И Микуля вдруг почувствовал свой возраст как публичное оскорбление.

Ноги его сами выбрали тропинку, пробитую через сугробы в сторону Вшивой слободы. Из полутора десятков домов жилыми там оставались пять, и во всех варили зелье, победившее североамериканских индейцев. А в одном доме Микуля вообще числился полюбовником.

Ветер с морозцем ошпарил его горячие щеки, заставил задержать на секунду дыхание, и Микуля приоста-

новился за пустой афишей, застегнул полушубок. «Кино им не показали... малолетки сс...!» — нашлось все-таки слово.

Тридцать два насчитал себе Микуля, и это, оказывается, было немало. Это не щенячьи семнадцать или двадцать дембельских... И ноги сами понесли Микулю, не совершившего ни одного художества, трезвого как стекло, к дому. Правда, не улицей, а полузаметенной тропинкой, что-то еще не позволяло Валерию Николаевичу Меркулову уподобиться самым степенным своим одногодкам; и было обидно.

Полстраницы амбарной книги

И не осталось уже мест, куда не доступала бы нога человеческая, но мать дорогая! — сколько еще дремучих и девственно-звериных сердец существует на свете! Сколько непрореженных и непромеренных душ окружает нас и самих же нас наполняет! Какие там гималаи сверкают какие каспии плещутся, таятся этны и цветут майорки! Какие?

А может, сплошь тереки и дарьялы? Ну, через одного...

И кто сказал, что все это — заповедное, неоткрытое, нехоженое?

Мда-а. И все-таки. Остановим вон того мордасовского гражданина с сумочкой? Да, с портфельчиком... Это Васечка Митрофанович Мамочкин. Инспектор районо. За сорок. С животиком. В очечках. Холостяк по рождению. Маму похоронил. Мой сосед. Сколько раз встречаемся за день, столько раз «здрасьте» говорит. Вежливый, а настоящей памяти нет. Васечка Беспамятный. Он и есть — вреда нет, а не будь его? Остановим? Ушлепал уже Васечка Мамочкин...

Да, надоела ущербность, анемичность, рефлексия. Полнокровного характера жаждем, который... одни говорят, не умирал, другие — только еще нарождается.

А какой нужен-то?

Впрочем, кому место на первой полосе нашей газетки, а кому в этой книге, это я различаю.

Слободская пастораль

Конечно, если не знать подъездных путей и обходных троп, выводящих к «шинкам», если вообще не знать неписаных законов, по которым живет слободка (поредевшая,

но непоколебимая), то тогда и мысли не появится завернуть туда в поздний час: там глухо и темно. Микуля знал и законы и пути, и тропы у него свои были, но идти-то он и правда собирался домой. Не смотреть бы ему в ту сторону... Но он глянул — и остолбенел: лучше других знакомое окно светилось. «С кем это она?» — поперед всякой трезвой мысли сквозанула догадка. И Микуля повернул на слободу.

За тем вызывающе ярким среди тьмы и покоя окном проживала Антонина Богомолова со своей матерью теткой Марфутой, которую грипп шестьдесят девятого года навсегда лишил слуха и обоняния. Правда, Антонину звали Антониной (а то и Антониной Павловной) исключительно в часы работы лопуховского отделения связи, а в остальное время (и заглазно) называлась она Шестюжкой за свое любимое присловье, употребляемое даже и при исполнении служебных обязанностей: «Где уж нам уж!» Или: «Где уж нам уж выйти взамуж!» Но ведь известен и полный текст предложения, а в нем уступчивых «уж» ровно шесть. Кто первый подсчитал, неизвестно, а имечко привилось. Впрочем, Микуля называл Антонину и просто Шестерней, пока однажды сам не угодил к ней за занавеску. И с той ночи от него вообще ни слова не слышали о заведующей отделением связи.

«Я и так уж вам уж дам уж?! — яростно повторял Микуля теперь, сбившись с тропы, и потому вынужденный пропахивать метровые сугробы еще не слежавшегося, рыхлого и сыпучего снега. — Шестере-енища...»

Разлад их случился в ноябре. Разлад, как считал Микуля, не окончательный, но вот затянувшийся до безобразия, до пронзительной этой догадки. Микуля и не собирался первым идти на примирение, но и... эта не подавала условного знака. Ясно теперь почему! Подыскала себе другого суслика. Интересно было узнать, чей такой.

«Все-таки устроила притон, давалка дешевая», — взвинчивал себя Микуля, еще не зная, для чего именно. А он ведь почти поверил, что все врет лопуховская молва и было у нее мужиков на копейку, а наплели — на сто рублей. «Нет, ты, видать, обзолотеть хочешь, дорогуша моя...» От светящегося окна его отделял теперь только неширокий палисадник. Не задерживаясь, Микуля перемахнул через изгородь и, стараясь не наступать, а вот так вот — всовывать ноги в снег, чтобы не скрипел, —

подкрался к окну. Через узкую щель между занавесками он лишь предположительно определил, что теплушка пуста. На столе там стояла вроде бы опарница, увязанная козловой шалью... Беззвучно качался маятник часов... Видел он и входную дверь, кошелку с силосом, занесенным оттаивать на ночь... Неизвестно было, чьи валенки стоят у порога.

Микуля потер левое ухо, поморщился и вдруг увидел у двери Антонину, только что вошедшую в дом. В руках она держала зажженный керосиновый фонарь. Вот сняла телогрейку, подтянула сползший с правой ноги, пока разувалась, шерстяной носок... Микуля осторожно выбрался из палисадника.

Тут скорее всего караулили готовую отелиться корову. Он и кличку вспомнил — Ягодка. И зло сплюнул в сугроб. Чего ради, спрашивается, приперся сюда? Какой, скажите, ревнивец... частный собственник выискался! Но он уже знал, что просто так не уйдет. Знал, чего уж...

Как и предположил Микуля, ни одна дверь — ни сеничная, ни входная — изнутри заперта не была. Расправив на плечах полушубок, он вошел и привалился плечом к косяку. Кислый запах талого силоса шибанул в нос. Антонина, что-то искавшая в ящиках кухонного шкафа, невозмутимо (это она умела) уставилась на него.

— Если, — что-то заклекотало в горле, и Микуля подкашлянул, — если ты думаешь, что непрошеный гость хуже татарина, то имей в виду: по просьбе татар это безобразное выражение ликвидировали. Не ждала?

— Ждала, — вдруг просто и твердо сказала Антонина.

И улыбнулась.

Микуля обозвал себя идиотом и, наверное, покраснел. Не помнил он, когда в последний раз чувствовал себя виноватым, может быть, этого никогда не было. Антонина не спешила подойти к нему, и он не знал, что ему делать.

— Раздевайся, у нас натоплено, — сказала она наконец.

Вешая полушубок, Микуля посмотрел на керосиновый фонарь.

— Пополнение ждете? — спросил. — В смысле корову караулишь?

Не сразу сообразив, о чем он, Антонина пожала плечами.

— Да-а... Крючков Николай комбикорм привозил, выходила рассчитываться.

— Не разорили еще? — спросил, нахмурясь, Микуля и подумал: а не сама ли она под руководством матери производит тот фирменный слободской самогон...

— А куда денешься? — Антонина опустила руки. — Скотники обнаглели вконец: за мешок комбикорма — литр, за воз силоса — литр, за дробленку — бутылку! Хоть самой на ферму переходи.

Микуля опять почувствовал запах силоса, увидел валенки, перенесенные от порога на плиту, штук шесть кизяков и дрова возле печки, ворошок бересты на загнетке. И эта опарница, квашня на столе... «Да-а, притон», — подумалось. Непросто было матери с дочерью кормить себя и младшего братца, выходившего в люди на городских асфальтах. Микуля знал немного Вовика Богомолова, знал, что седьмой год обещает он «отплатить добром»...

— А, ладно, — махнула рукой Антонина. — Потуши фонарь, я переоденусь.

Она ушла в горницу, так и не дотронувшись до него, и Микуля, расправившись с фонарем, не знал, куда деть себя. Подошел и сдвинул поплотнее занавески на окне. В простенке, залепленном картинками из журналов, отметил прибавление и щелкнул самую мордастую артистку (или кто там она) по носу, отчего та заулыбалась менее жизнерадостно.

Антонина наконец появилась. Знакомый халат, на голых ногах — тапочки с пушистой опушкой. Она села напротив.

— Ну, со свиданьицем? — спросила без обычной игривости.

— Не хочу, — качнул головой Микуля. — Ты знаешь, что за собрание нынче было? Концерт! — И он стал рассказывать и не сразу заметил, что даже самые забористые подробности никакого впечатления на Антонину не произвели.

— Лучше бы договорились корм населению продавать, — вставила она. — Или хоть бы поросят по договорам выписывали: одного в колхоз, а другого себе откармливай — и вот тебе на обоих кормочек. А то в прошлом году баламутили, баламутили...

Микуля сбился, достал сигарету и отошел к плите, присел там на низкую скамеечку. Закурив, усмехнулся и вдруг очень похоже изобразил вислоносого фуражира,

выступавшего на собрании. Антонина легко рассмеялась, он улыбнулся ей и вдруг обнаружил себя на своем месте, на табуреточке, обсиженной еще в прошлую осень. «Чего я несу? — поразился. — При чем тут собрание это?» И он опять был смущен, а Антонина оказалась рядом и положила руку ему на плечо.

— И свитер тот же, — сказала.

Микуля раздавил окурок о дверцу плиты и неловко обнял ее колени...

Про тетку Марфуту он обычно вспоминал на пороге горницы, замолкал и шел, держась за Антонину, на цыпочках. «Да не крадись ты», — говорила она, не понижая голоса.

Сегодня Микуля был трезв абсолютно и от ее голоса в кромешной тьме, в двух шагах от материнской кровати вздрогнул.

— Зачем ты так? — пробормотал, и она послушалась.

— Стол теперь у нас посередине, — шепнула и чуть дотронулась до крышки (а могла бы и ладонью похлопать, обозначая острый угол).

За занавеской Микулю ждало еще одно испытание: Антонина обычно включала на все время жужжащий ночник в виде оранжевой лилии. Хмельному ему было даже очень желательно это скудное освещение, а теперь... «Хоть бы раздеться успеть», — думал Микуля, потому что к свиданию специально не готовился, однако Антонина словно забыла про ночник, и за сатиновые общевойсковые до колен можно было не волноваться. А может быть, она легко читала его мысли? В ноябре, когда случился разлад, он, кажись, и правда был невменяемый от литра слободской сивухи...

Ожидание чего-то невероятного завладело Микулей. Он замер на постели, хотя это было не в их правилах — обоих в эти минуты взвинчивал азарт борьбы, очень даже нешуточной, из которой оба выходили побежденными, и на спине у него едко пощипывали свежие царапины... Теперь Микуля хотел бы уклониться от горячих, цепких объятий Антонины и не знал, как это сделать поаккуратней, чтобы не обидеть ее, двадцать раз уже повторившую «соскучилась, соскучилась, соскучилась»... Но она и это поняла без слов. Размягченная ее ладонь легла Микуле на грудь, согрелась и поплыла, медленно, тихо поплыла вниз, оставляя след ласки, вызывая непривыч-

ный озноб. Микуля не шевелился, он словно видел этот теплый след и уплывающую ладонь.

— Тонь, — Микуля проглотил комок, — не надо так...

— Нет, нет, — зашептала она, прижимаясь, — хороший...

В эту ночь учились они и разговаривать...

Микуля уже засыпал, лежа на спине, когда Антонина тронула его за плечо.

— Валер, наверно, пора тебе. — И тихо прильнула, чтобы запастись теплом, сохранить его, неизвестно, на сколько часов или дней сохранить.

Микуля блаженно улыбнулся в потемках.

— М-м, пора, — пробормотал, соглашаясь. — Я уже сплю.

— Домой, — уточнила Антонина, — поздно... Вале-ер, скоро мама встанет тесто месить. Слышишь? Пироги у нас.

— Угу. Скажи ей: Мику... я пышки с кислым молоком люблю.

Антонина притихла.

— Валер, ты остаешься, да?

— Уже. Сплю.

— Совсем? — неуверенно спросила Антонина.

— Да, — выдохнул Микуля свое последнее слово, — не до пятницы же...

Тихо, хорошо было ему.

Он неостановимо засыпал, скатывался в застывшие теплые волны. Рядом была женщина, что-то беспокоило ее, но она не мешала ему, не останавливала, не спасала, а он и не боялся утонуть. И не надо ничего говорить.

Повернув голову, Микуля уперся лбом в мягкий плюшевый коврик, на котором, наверное, и в потемках рыбачил вечный старичок в белой панаме и с удочкой, похожей на ружье.

Свидетельство прессы

Теперь секретарша Верка Мухина божится, что, мол, честное комсомольское, все до словечка в протокол занесла. Стенографию, говорит, применяла и крючочки в тетрадке показывает. Но верят ей в основном потому, что председателю Гончаруку она служит недавно и избаловаться просто еще не успела. А в протокол все не втиснешь, это понятно.

Да и по-разному собрание то вспоминают. Кто говорит — зря время провели, кто до сих пор надутый оттого, что наконец себя зауважал, ходит. Венка Витухин песни поет в реммастерских под трактором, а Василий Матвеев — первый, кто дело сказал, — как все равно что ежика проглотил: то его передернет всего, а то замрет и к самому себе прислу-ушивается. Кто говорит, что бригады разделить — пустая игра, не так давно, мол, на целых колхозах опыты ставили, а чем кончилось — известно. Но думают в бригаде — нет, не пустая игра. И собрание, может быть, шумом своим только и дорого да вот этим решением — когда-то надо было голос попробовать. Ведь не может быть, чтобы зря...

А в районной газете про собрание пятнадцать строк в «Официальном отделе» было — и все. Ну и нормально — значит, везде одинаково шумели. Но везде-то как раз потише было, если не считать «Победу», и про чапаевцев, наверное, потому так-то, чтобы другим неповадно стало.

Часть II

ЛОПУХОВСКИЙ СИНДРОМ

Мифократ Чилигин

— А вообще, Елена Викторовна, дай вам волю, вы непременно больного нормальным человеком провозгласите, — заметил не без назидательности Чилигин. — Человек изо всех сил пашет, хлеб убирает, общественной работой занимается, он герой дня, можно сказать, но если при этом не чихнет, не кашлянет, чирьев не нахватает, то для вас его вроде как и нету совсем. Здоровяк, по-вашему, как все равно что алиментщик, лишенец, выражаясь по-старинному, — нету его для медицинской общественности... Но он есть, Елена Викторовна!

— Да есть-то есть... — неуверенно произнесла фельдшерица, но под строгим взглядом председателя сельсовета смолкла.

— И тебе должно быть ясно, исходя из чего придумали твои начальники всеобщую диспансеризацию. — Чилигин даже из-за стола вышел, чтобы на ногах продемонстрировать движение мысли, саморазвитие этой мысли до абсурда, до тупика, которым и заканчивается вся-

кая неординарная мысль. — Можем мы идти на поводу у медицинского ведомства? Нет? Конечно, нет! Иначе следом милиция двинется, и у каждого из нас будут отпечатки пальцев снимать — тоже ведь логично, и забота о благе государства видна. А если дать волю Министерству связи, Госстраху? Улавливаешь? Нет, голубушка, не можем мы вам потрафлять. И путать обыкновенный медосмотр с поголовной, как ты говоришь, диспансеризацией... Чего так приспичило?

— Второй раз сам главврач звонил, — вздохнула фельдшерица. — Ругается. Все колхозы, говорит, прошли, только наш да еще там... не сказал кто.

— Во-от, — Чилигин усмехнулся. — Видишь, как тебя легко в заблуждение завести. Не «да еще там», а по меньшей мере двенадцать хозяйств из восемнадцати! Так что, если конкретных вопросов нет, иди работай. Есть вопросы по делу?

— Да вроде нету, — неуверенно проговорила фельдшерица. — Большие аптечки в бригады отправила, санбюллетени с Верой написали...

— Бригад теперь шесть — знаешь об этом?

Фельдшерица кивнула и поднялась со стула.

— Зонтик не забудь, он мне не нужен. — Чилигин нахмурился и взял с телефонного аппарата трубку.

Когда фельдшерица плотно притворила за собою дверь, Чилигин положил трубку на место; звонить, точно, надо было, но он сейчас не помнил куда. Сцепил ладони и на минуту задумался, прислушиваясь.

Тишину Чилигин любил, мечтал о ней, но чересчур она чревата всякими неожиданностями, чтобы радоваться ей в натуре. Почему это не слышно ни секретаря, ни бухгалтерши? Ведь тут они, за стенкой. Значит, шепчутся непременно о нем, о его этой... прошлой... Нашли занятие!

Надо было переключиться, найти дело, и Чилигин записал на календаре: «Гончаруку — о медосмотре». Положил ручку, подумал и приписал ниже: «Деспанцеризация».

За окном накрапывал дождик, ветер наносил его на жестяной отлив, и звук был усыпляющий. А вообще-то тревожный, надоевший звук; под стрекотание дождя простаивала посевная.

Все развеяла холодная, долгая, изматывающая всякое терпение весна. С людьми невозможно разговаривать, а

разговаривать надо, и немало: меньше чем через два месяца — выборы. Чилигин вздохнул. Вот они, его дела.

Когда-то, соглашаясь стать председателем исполкома Лопуховского сельсовета, он не очень-то прислушивался к тому, что втолковывали ему секретарь райисполкома Быков и заведующий оргинструкторским отделом Уточкин. Поработав до того директором ДК «Улыбка», Чилигин научился составлять планы и отчеты, получил представление о финансовой деятельности, знал кое-кого из нужных людей в Мордасове; он даже был депутатом местного Совета, возглавлял лопуховскую комиссию по культуре, народному образованию и здравоохранению. Он был давно своим человеком в этой системе.

«Да что ты, Яков Захарович, — утешил его секретарь Быков. — Теперь ты не только художественную самодеятельность поднимешь, ты... кто главней Советской власти в Лопуховке?»

Уточкин нажимал на необходимость поднять запущенное делопроизводство, на невыполнение планов по закупке молока и шерсти у населения и на потерю авторитета прежнего председателя. Он давил на сознательность, и Чилигин сказал со вздохом: «Молоком надо заниматься... Какие уж тут клубы по интересам!»

Секретарь цыкнул на Уточкина и снова обратил к Чилигину лицо, тронутое улыбкой уважения, доверия и надежды. Может быть, он знал, что Чилигин давно согласен в душе, предложение их принял как должное и долгожданное или по крайней мере естественное, и теперь искусно подыгрывал ему? Ну что ж, это подтверждало бессмертие мифа о ритуале.

— Можно, председатель? — испугал Чилигина трубный глас из приоткрытой двери.

— Да, — он машинально снял телефонную трубку. — Да, да...

Вошедший с недоумением смотрел на председателя, отвечавшего непозвонившему телефону, но Чилигин положил трубку, и теперь можно было считать, что «да» и «да-да» — это приглашение.

— Проходи, дядя Софрон, присаживайся.

— Дело такое. — Старик Матвеев проходить не стал, посмотрев на свои грязные сапоги. — Май месяц, а мы ведь пастухов так и не наняли. Сомнение есть: не по очереди ли пасти придется?

Чилигин долго не отнимал руки от лица. Как же он выпустил такое дело?..

— Ты садись, дядя Софрон, — проговорил наконец. — Вопрос серьезный.

Он встал из-за стола, подошел к окну. Дождь... Дождь, а трава не растет. Словно осень вернулась...

— Дело вот какое, — Чилигин повернулся к посетителю. — Тут ведь, понимаешь, сход граждан нужен...

— Точно так, сход, — кивнул старик Матвеев. — Оно, конечно, и без схода Цыганок свое дело знает, но тут ведь и овечий нужен... Обязательно сход.

— Да еще не один — кандидатов в депутаты выдвигать-поддерживать надо. — Чилигин с удовольствием слушал, как крепчает его голос. — По всем десятидворкам! И пастухов, ты сам говоришь, два... Понимаешь, дядя Софрон, ситуацию?

— Ну-у...

— Именно так, — Чилигин подошел к старику. — Зачем же народ десять раз дергать? Так ведь у нас одни заседания получатся, правильно?

— Да-а...

— И пасти ведь, дядя Софрон, завтра не начнешь. — Чилигин указал на окно, на голые ветки клена за окном.

— Не начнешь, — старик Матвеев вздохнул.

— Так что не забыли мы про пастухов! Будем совмещать, так и передай тем, кто думает, что у Советской власти склероз начался, ха-ха!

Старик уважительно улыбнулся.

— Мы ведь и забыли, Яков, про выборы. Везде грамотки висят, а мы забыли... А телятишек как будем?

Чилигин развел руками.

— Телят придется по очереди. Тут уж ничего не поделаешь. Кто под них наймется?

— Да, эт-то да, — опустил голову старик, — сроду в черед гоняли. Да пацанва, слышь, не больно идет, а нам уж не угнаться...

Чилигин выдержал паузу.

— Вот так мы воспитываем молодежь, — проговорил наконец печально и вернулся к столу. — Кого тут винить?

— Винить некого, — согласился посетитель. — Не мериканцы их испортили, да...

Кабинет он покинул в легкой задумчивости и виноватости.

Чилигин умел поделить вину. Уходивший из его кабинета иной раз и заподозрить не мог, что вину взвалили на

него одного. Однако были в жизни Чилигина и такие минуты, когда он понимал, что обращаться к нему за помощью все равно что просить актера, играющего хирурга Кречета, удалить аппендикс. Справку — пожалуйста, печать — приложим, закон — разъясним, мужа в ЛТП — сделаем... Гончарук лес не выписывает? Топиться нечем, кормиться? Поговорим, но...

И опять тишина в кабинете.

Старик Матвеев упомянул «грамотки», и Чилигин живо представил себе, как полоскает дождь плакаты, писанные тушью; он вывесил их, не дожидаясь типографских. Плачут буквы, стекая красными и синими ручейками, пачкая стены ДК, правления и продовольственного магазина. В целости и сохранности к вечеру, пожалуй, останутся лишь два, упрятанные под крышей в людных местах — на почте и в мастерских...

Чилигин хорошо помнил, как нанимали пастухов в прежние времена, но какое отношение имел к этому делу тогдашний сельсовет?.. Да разве это было важно? Все происходило на бригадном дворе, устланном сплошным ковром из соломы, которую за зиму натрусили по былке, а к концу марта она вытаивала вся. Сейчас и на ферме круглый год пахнет какой-то кислятиной, а тогда пряный навозный дух был первым весенним запахом. На бригадном дворе он мешался с запахом дегтя из завозни, сыромятных ремней от новой сбруи и махорочки. Тогда и водка, которую выставляли нанятые пастухи, не пахла так керосинно-отвратно, и галдеж не был таким бестолковым, и пастуха, почувствовавшего свою незаменимость и заломившего по лишнему яичку со двора, не крыли яростным матом, а только говорили со смехом, какой, мол, Микишка находчивый, в момент воспользовался... Чудный, цельнодневный был праздник, никто в нем не путал ролей, и переигрывали, кажется, не часто. Теперь и это надо было организовывать.

Чилигин нашел незанятую пятницу и написал: «Пастуший сход». У секретаря за стеной задребезжал телефон, и он посмотрел на свой, молчащий с утра. Знак был не из приятных, может быть, еще и поэтому он никак не мог найти себе дело.

Телефон за стеной звонил долго, значит, женский персонал отсутствовал, а не перемывал шепотком косточки руководству. «Ладно хоть это», — бессвязно подумал Чилигин.

Кума — куме

(по секрету)

...Ладно, думаю, дай-кась и нынче разок схожу. И пошла. До-ожжик... Прихожу: баб пятнадцать уже стоят, и все за сахаром. Из наших, слободских, одна я. После женьшины с дробилки пришли. Двигаемся, беседываем. Тут вот они, сельсоветские. И Курдяиха, и булгахтерша, и рассыльная с ними. Эта в очередь стала, а Курдяиха с булгахтершей к прилавку прилепились. Ктой-то говорит: нехорошо, от обчества откололися. А мы, говорят, так на беседу пришли, поговорить. Я тада говорю: тута магазин, а не разговорня... Ну, смехом, кума, смехом... А сахар возьми и закончись! Маня говорит: нету, вот пустой мешок, вон еще пять пустых — шесть мешочков и было в этот привоз...

Да господи, кума! Да конешно, восемь! Один прям сразу Гончаруков шофер увез...

Тут уж как хочешь, а не смолчишь. Какие с дробилки, эти, правда, сразу ушли, видать, что набрались за три дня-то. Че ж там, два шага шагнуть. На день можно пять раз в очередь стать... Эти, значит, ушли, кому некогда было, тоже поворчали да подались, я молчу пока. Ладно, думаю, хоть пашанца возьму, раз пришла. А сельсоветские теперь все трое возле энтого прилавка стали. Мнутся... Ну, бабы, какие осталися, про новые порядки пошли языками молотить, про безобразия, в общем. Двигаемся помаленьку, двое нас всего с Шурой Корчагиной остались. Тут Маня шасть в подсобку, глянула оттель и говорит: ах, говорит, я и позабыла, Настасья Михаловна, что вчерась кулечек для вас откладывала. Курдяиха: ах, Мань, вчерась некогда было! Спасибочки, Мань, да нас здеся трое. Маня: а в кулечке аккурат килограмма три будет, вам и хватит... Я тут возьми и не смолчи: а я, говорю, Мань, в шестьдесят втором депутаткой была, нету там и мне кулечка? Смехом, кума, смехом. А они ровно не слыхали, на весы пошли.

Шура Корчагина спереди стояла и говорит: как, говорит, вовремя кулечек нашелся! Отсыпай, говорит, Маня, положенный мне килограмм, а этих, говорит, я вперед себе не пропускаю. Ну, сцепилися! Маня уж не рада, что кулек нашла. А Курдяиха прет на весы и булгахтершу за собой тянет. Шура ей: нахалка ты, хоть и секретарь при Советской власти! И пошло. Срамота! Я говорю: до какой степени распустились, говорю... А Курдяиха: ты

бы помолчала, самогонщица несчастная! При всех, кума! Да... А вы там, говорю, сблядовались вконец в своем сельсовете. Че, не правда, что ль? Ох и пополоскались, кума! Курдяиха кричит: мы за Яшку не ответчики! Шура: нахалка ты! Рассыльная гыкать начала как скинутая... А эта молчала... Ну, молодая-то не молодая... Да.

Ну, Курдяиха хлоп сумкой: подавитесь, говорит, вы этим сахаром! А до тебя, говорит, самогонщица, доберемся... Маня: все, говорит, сыплю очередникам! Шуре — шварк кило, мне — шварк... Бессоветная, говорит, третий день ходишь, все не нахапаешь! Во-от, кума... Я хотела сказать... Да побоялась я их! Да. Взяла, коне-ешно! За мной и рассыльной досталось... Конешно, кума, что ты! Там у ней этих кулечков на пол-Лопуховки! Мы с Шурой ушли, а они-то остались!

Ну, вот я к тебе и пришла. Бидончик принесла и змейку — больно уж приметная... А чего ты думаешь, и придут. Две-то банки у меня в погребу, в картошке, а бидончик я уж к тебе в курятник поставила... Да. На прошлом месте, гляжу, у тебе уж занято... Нет, змейку я под крышу подоткнула. А уж флягу мыла-мыла... Флягу не принесла. Бражку, какая была, в целлофанный мешок слила да в шифонер спрятала. Егорыч говорит: по шифонерам шарить — обыск называется. За это их самих по шапке... Да.

Нет, ты вспомни, как Аксютка поймалась. Пришли вроде как против пожара проверять. В галанку шасть, а там «козел» греется, зять ей как-то мимо счетчика подсоединил. Топись, теща, без дров! Да. А за галанкой — фляга с бардой, не знай, кому уж она ее берегла. И села баба. За барду сто рублей присудили да за свет шестьдесят насчитали. Провода отчикнули — топись как хошь. Ни дровец, ни уголька на дворе! Так зятек побеспокоился... Да. К себе, конешно, взяли. Плачь, а бери... А то не позор?! Какой позор-то! Иной раз подумаешь... А кормиться надо, кума. И дровец надо. И поколоть их надо. Да. А тебе кого бояться, ты монашка, к тебе с обыском не придут. Тем более в курятник... Нет. Нет, кума, не воняет, что ты. Обвязанный...

А-а, принесла, принесла. Вот. И комочками и песочку килограмм. Перед майскими комочками давали, а этот вот ноне самый принесла... Что ты, какой мне чаек! Того и гляди нагрянут. Пойду... Ну, не паразитство, кума? Вот до чего дожили!

Вечером этого дня сначала Вшивую слободку, а потом и все село облетела новость: Морковиха на бражке подорвалась! Мешок из-под азотных удобрений, спрятанный в шифоньере, лупанул почище фугаса! Недели две потом, как выпадал ясный денек, на веревках у Морковихи сушились: габардиновое пальто, два отреза, ситцевый и штапельный, простыни и пара-другая платьев странноватого для теперешних времен покроя.

Участковый об этом занятном факте узнал дня через три, посмеялся, помнится, но, говорят, взял квартирку на карандаш.

Петр Симон Паллас в окрестностях Лопуховки

Все думали, он про палас сказал, и засмеялись.

— Ученый такой был, — с укоризной заметил Володя Смирнов. — Академик и путешественник. Петр Симон Паллас. Неподалеку тут за сайгаками гонялся.

— Во сне, — согласился Микуля. — Или под балдой.

— Не понял, — повернулся к нему Володя.

— Откуда тут неподалеку сайгаки, голова? Я их только на целине видал, когда солому там на колхоз тюковали.

— Я про двести лет назад говорю, — вздохнул Володя.

— Откуда известно? — строго спросил его отец Иван Михайлович.

— Читал, — Володя пожал плечами. — Между прочим, еще раньше тут морское побережье проходило. Пальмы росли, папоротники...

— Да пошел ты! — Микуля засмеялся.

И правда, не до брехни было.

Погода вроде устанавливалась, к вечеру можно было попробовать и сеялки пустить, а тут Чилигина надрали с каким-то срочным сходом граждан. Софронычу он пояснил: народного судью надо поддержать, мероприятие важное, — и, попрятав инструмент, прицепили тележку к гусеничному «Алтайцу» и отправились за шесть километров в Лопуховку. Думали, за час доберемся, а только на шихан поднялись, Коля Дядин перебросил скорость, и, чихнув, трактор замолчал. Приехали. Коля кинулся к мотору, бригадир ему помогал, а остальные повыпрыгивали из тележки, побрызгали на колеса и закурили.

— Палласа бы сюда, — сказал Володя Смирнов.

— Ага, а на палас литровочку, и пропади тогда и

Чилигин и посевная, — подхватил Микуля, но, оказывается, опять невпопад: Володя академика имел в виду — вроде бы только ему под силу описать кругообзор этот.

А ничего себе кругообзор. Мамаев угол видать, который не иначе как Витухин пахал по осени, напахал он там... И глядели все в основном в сторону богодаровских развалюх, среди которых новостройкой возвышался клуб с крыльцом о двух колоннах. Строение крепкое: стены как в коровнике, слиты из бетона — дело рук одной из первый грачиных бригад в нашей местности, крыша — под железом, и полы хорошо сохранились. Там бригада будет теперь жить, считай, до осени. Там полевой стан, самый дальний в колхозе после раздела бригад. Софронычу, видать, как инициатору и всучили. Хотел бригадирствовать? Пожалуйста... Но никто не против — обживемся; только вот чумная весна эта...

А может быть, Володя имел в виду ковыльный пологий склон, обрезанный оврагом? Если академик этот Паласов и правда бывал тут раньше, то, пожалуй, вспомнил бы ковыли. Во всей десятиверстной округе, а может быть, и дальше только эти и остались не тронутыми плугом. Или Богодаровский лесок, затуманенный и не оперившийся пока... За леском, между прочим, еще один поселочек был. Удельным его называли. Переехал Удельный в Волостновку, Богодаровка — в Лопуховку, а жители их разбежались по белому свету, по свежему снегу...

— Иван Михалыч, — сказал Петя Гавриков, — а скажи, хорошо было в Богодаровке жить!

— Это не по адресу, — усмехнулся Иван Михайлович. — Это ты у Карпе́ича спрашивай, он там до последнего существовал.

— А ты?

— А я лопуховский, — засмеялся Иван Михайлович. — Вы че ж, думаете, раз пожилой, значит, богодаровский? Чудаки...

— Молодых богодаровских нету, — пробормотал Петя.

И это верно. Даже тем, кто в Лопуховке осел молодым, давно за сорок.

— А места тут... хорошие были места, — серьезно сказал Иван Михайлович. — Сколько лесу... Думаете, богодаровский один тут маячил? Куда-а! Мы пацанами были, когда всю урему, километров на двадцать вдоль по Говорухе, на пенек посадили. Жутко было глядеть. А под-

нялись только чернотал кое-где да ветляк на старице...
— Че ж, тут Советской власти, что ли, не было?
— Война была, — помолчав, ответил Иван Михайлович.
— У вас как чуть что, так сразу: война, — начал было Микуля, но Иван Михайлович осадил его взглядом.
— Не одна война, конечно, виновата, — сказал Иван Михайлович. — Целину лопуховскую потом уж пахали. На моей только памяти раз десять землеустройство переделывали. А припашки? Ты разве не пахал клинья? — Иван Михайлович поглядел на Микулю.
— Где говорили, там и пахал...
— Вот мы и делали всю жизнь, что́ нам говорили.
— А как пасут у нас, — вставил учетчик. — Скотобой, сплошной ток, а когда-то трава была конному по грудь... Суданку, люцерну собираемся на поливных сеять, а раньше тут, может быть, чий рос трехметровый!
— И академик за сайгаками гонялся, — напомнил Микуля, стараясь не глядеть на Ивана Михайловича.
— Да он тут тарпанов видел, — обиделся Володя Смирнов.
— Тарпаны, тарбаганы, — проворчал Павлик Гавриков. — Пошли глянем, чего там с движком.
К нему присоединились братан Петя с Микулей, а остальные еще постояли на урезе шихана. Далеко было бы видно, если бы не дымка, мешавшая и солнышку сушить пашню мостить дороги... Откуда тогда этот разговор налетел? Софроныч говорит, здоровому коллективу до всего дело есть, но ему положено как бригадиру время от времени и туману напускать.
Все обступили трактор.
— Щас, щас, щас, — частил Коля Дядин, перехватывая из руки в руку ключики. — Патрубок на топливном...
Софроныч молча смотрел за ним, и все тоже молчали. Коля нервничал, ронял ключики за гусеницу.
— А куда мы торопимся? — спросил Петя Гавриков.
— Действительно...
— Нельзя, мужики, обещали быть, — сказал бригадир. — У Чилигина расчет на нас.
— Да пошел он со своим расчетом! — загалдела в основном молодежь.
— Ему для галочки, а ты тут...
— Пастухов и без нас выберут.
— Че их выбирать? Давно известные: Цыганков и Лукошкин Петя.

— А кто-нибудь знает судью-то этого?

— А ты не знаешь? Черномырдин — он всегда судьей был. Мордасовский...

— Пусть его мордасовские и выбирают. Мы-то при чем? Был он у нас?

— Да был зимой на свиноферме, — сказал Софроныч. — Лекцию читал.

— Вот пускай его свинари и поддерживают!

— Морковиху пусть позовут да эту... Аксютку!

— О! Аксютке он сотняжку припаял, эта его до смерти не забудет!

— А как Федю с бабой разводил!..

Короче, знакомцев у Черномырдина набиралось и в Лопуховке порядочно, и пока оживляли трактор, склонились возвращаться на стан — готовиться к севу.

— Непорядок, мужики, — осаживал бригадир, но, глянув на часы, махнул рукой.

А поломку нашел Микуля. Живо оттер Колю в сторонку, повозился минут десять, и трактор завелся.

— Я же говорил: патрубок! — обрадовался Коля.

— Говорил ты! Это тебе не охотников на привале перерисовывать, — Микуля стукнул Колю, колхозного художника, по козырьку и утопил в видавшей виды фуражке. — Рули теперь в Богодаровку.

И вернулись.

Чилигин будто бы выговаривал потом бригадиру за неявку, но, в конце концов, ехать или не ехать на этот сход, коллектив решал сам.

С шихана спускались на первой передаче. Кругообзор сужался, не стало видно ни Мамаев угол, ни Богодаровку, а в конце спуска, над оврагом, миновали железную пирамидку с крестом. Петя Гавриков закурил, а Павлик глядел себе под ноги, болтался, как непривязанный мешок, возле борта тележки. Тут, над оврагом, отец их, дядя Костя Гавриков, перевернулся на «Беларуси». Говорят, пил мужик, да какая теперь разница.

Когда отъехали, Микуля прочистил горло:

— Хотел бы я вообще на живого академика поглядеть! Как же так, сказал бы, академик, ученый мужик, а придумал не трактор, а барахло.

— Про трактор он бы тебе ничего не сказал, — заметил учетчик. — Академики — они не конструкторы. А вот мандат бы тебе выписал как пустобреху.

— Мандат ему теперь Чилигин скоро выпишет!

— И правда. Когда свадьба-то, Микульча?

— Как отсеемся, — отозвался жених.

И все засмеялись.

— Ничего, он выдержанный, — улыбнулся Иван Михайлович. — Тридцать лет холостяжничал, а уж месячишко какой потерпит!

Отсеялись через пять дней, до последних майских дождичков, но у Валерки с Антониной гуляли на свадьбе только в июне, на троицу. В Мордасове тогда проходил фестиваль со скачками, и, говорят, пива бутылочного было — хоть залейся.

Анонимка
(в натуре)

«Дорогая редакция районной газеты «Победим»! Расскажу, как у нас проходило собрание, где поддерживали выборы народного судьи. Собрание проводили наш председсовета Чилигин и человек из района Уточкин, вроде как инструктором его представили. С ними пришла женщина Володина — доверенное лицо в кандидаты в судьи Черномырдина Ф. М. Народ был уже собран, так как объявляли выборы пастухов. Перед ихним приездом было человек так с полсотни, но потом сразу кое-кто ушел и не приехали из бригад. Набралось человек тридцать голосовать. Володина прочитала биографию судьи. С места стали спрашивать, почему нет второго кандидата, тогда мы бы могли выбирать. Доверенное лицо ничего на вопрос не ответила, но добавила, что она лично тоже против данной кандидатуры Черномырдина Ф. М. А мы не против, мы просто спросили, а нам сказали, что мы тут не выбираем, а поддерживаем. И предложили выступать конкретно. Я тогда выступила, не объясняя причины почему, но против, потому что надоело уже судиться за падеж телят, и это всем известно, а председателя не привлекают. Больше желающих говорить не было. Тогда выступил Чилигин и призвал поддержать. После начали голосовать: за — 10 человек, против — 13, 7 воздержалися. Чилигин сказал, что не может быть тридцать человек, и секретарь нас пересчитала — получилось тридцать, потому что в разных местах сидели. После этого Чилигин и инструктор начали требовать с каждого, кто голосовал против, объяснить, почему против, чтобы записать в протокол с его фамилией, чтобы протокол дать прочитать Черномырдину Ф. М. Мы объяснение дать отказались, а двое встали, объяснили, что «за» голосовать

не могут, потому что не знают кандидата, и сказали, что знают адвоката Маечкина. После таких разговоров предложили голосовать вторично, так как вроде был пересчет. Вторично проголосовали точно как в первый раз: 10 человек за, 13 против, воздержались 7. Собрание кончилось. Володиной во время собрания одна женщина задавала вопрос, как же она относится к Черномырдину, она при всех ответила, что против. Я уточнила: вы только здесь против или еще где подтвердите? Она ответила, что скажет хоть где. После собрания Уточкин предложил написать факты, почему кто против. Володина еще сказала, он меня неправильно с мужем развел. Еще там другие были разговоры, теперь все не вспомнишь. Но писать никто ничего не стал письменно. Хотелось бы знать, как будет доверенное лицо участвовать в следующем собрании, если она против своего доверителя. В заключение два вопроса: надо ли давать судье протокол с выступлениями, которые выступают против? правильно ли сказал инструктор, что наши «против» не имеют значения и Черномырдина все равно выберут?»

Страницы амбарной книги

Любопытное письмо из Лопуховки.

Сегодня узнал, что существует протокол лопуховского собрания. Второй экземпляр у Кадилина в орготделе.

Читал протокол. В целом все сходится с письмом. Прокатили лопуховцы Черномырдина, хотя и неясно за что. «Значит, можно готовить к печати?» — спрашиваю. Кадилин: «Будем уточнять. Сегодня должны другое доверенное лицо избрать. Володину заочно выдвинули — «лишь бы не я»... Поддержание в Дорстрое пройдет. Дадите оттуда информацию — и хватит».— «Но ведь автор ждет ответа нашей редакции...» — «А кто автор?» — «Да вот же, из протокола ясно...» Сошлись на том, что в среду у него будут Уточкин, Ревунков и Чилигин. Могу присутствовать.

Выясняли часа два.

Кадилин *(Уточкину)*. Ты понимаешь, что ушами вы там прохлопали? Надо же, милый мой, владеть обстановкой.

Уточкин. Как еще владеть? Проголосовали не поддерживать, значит, не поддерживают...

Кадилин. Не поддерживаете — значит, свою кандидатуру предлагайте! Ты мог так сказать?

Уточкин. Не было таких указаний.

Кадилин. Как это не было? Вот еще новость! Ты что, закона о выборах не знаешь?

Уточкин. Вы моего шефа спрашивайте, он ясно сказал...

Кадилин. Ничего Быков не говорил! А это не протокол, это филькина грамота!

Я сказал, что предлагали Маечкина.

Кадилин *(Уточкину)*. Было?

Уточкин. Ничего там не было. С места кричали.

Кадилин. Так надо было заострить внимание — и все! А зачем после голосования людей дергали?

Уточкин. Никто их не дергал.

Кадилин. Как же не дергал, если даже по протоколу видно, что вытягивали вы объяснения. Вы с этими шутками кончайте! Подзалетишь с вами...

Чилигин все сокрушался, что не смог настоящую аудиторию сколотить из-за этого сева: «Прошло бы на высшем уровне, Валентин Константинович! А так конечно... Только из пятой бригады народ был, а эти — надстройка, пенсионеры, обиженные». Ревунков, парторг, сразу сказал, что в день собрания отсутствовал, о самом собрании ничего заранее не слышал, вернее, слышал, но передоверился Чилигину как человеку опытному в этих делах.

К концу разговора Уточкин никого и ничего не слышал. Кричал, что он один выборами занимается, тыщу страниц протоколов глупых прочитал, уши у него болят от телефона... В общем, сплошной стриптиз.

Я опять спросил Кадилина: даем в газету? Скажем, под заголовком «Забуксовало собрание»? «Нет! С этой демократией пока одни только недоразумения!»

Салтыков-Щедрин: «Ибо у жизни, снабженной двойным дном, и литература не может быть иная, как тоже с двойным дном. Газеты, например, положительно могут измучить».

Сегодня написал информашку о том, что рабочие и итээровцы Дорстроя поддержали кандидатуру Черномырдина в народные судьи. На собрании присутствовал товарищ Кадилин Валентин Константинович.

На восьмом году своего хозяйничанья в Лопуховке Николай Степанович Гончарук понял, что не уважает начальство. Даже так вот: никогда не уважал. Откуда, с чего взбрело это в лысую его голову — определенно сказать трудно. Может быть, просто время такое настигло председателя: пятый десяток его к концу... Но как бы там ни было, прежнюю свою клиентуру, старинных мордасовских собутыльников, а может быть, их-то и в первую очередь видеть он не желает и уже редко когда улыбнется им, а то все ухмылка, усмешка — черт-те что на лице у него ежится.

«Как мне все это остоелозило!» — невоздержанно кричали воспаленные, провалившиеся глаза председателя.

Напрямую с Гончаруком теперь говорил разве что один Филипп Филиппович, лопуховский премудрый Фе Фе. «Упускаешь, Степанович, вожжи», — сигнализировал экономист. «Даже? — ехидно переспрашивал Гончарук. — Ну, тогда подбирай их ты, деловой...»

«Лучше бы меня на отчетно-выборном прокатили, — вздыхал в другой раз Гончарук. — Давно бы ходил по Мордасову этим... деклассированным элементом. Директором киносети, например...» — «Пенсионерские мечты, Степаныч, — урезонивал хозяина Фе Фе. — Ты что, думаешь, кино для развлечения массы придумано? Ты думаешь, с киносети план не требуют?»

Чаще всего вспоминал теперь Гончарук полусерьезный разговор со вторым секретарем райкома партии Рыженковым. Пожаловался он начальству на усталость, и Рыженков вошел в положение... поразмышлял вслух, хотя и кончил тем, что пообещал прочистить свои каналы в облсельстрое и вагон... брусьев, что ли, пробить, чем подтвердил, что покамест желает видеть Гончарука хозяйственником.

А между тем после майских холодов природа расцветала, принялись березки на отремонтированном за восемнадцать тысяч колхозном мемориале «Памяти павших». И в большинстве абы как засеянные поля уже зеленели. Но не возвращалось в председательскую душу утраченное равновесие.

«Ведь все нервы попортили вы мне с этим расформированием бригад, — говорил Гончарук экономисту. — Все до ниточки! Терпенья вам не хватало подождать». — «Чего ждать-то?» — спрашивал Фе Фе, уставший гово-

рить бесполезное «а я тут при чем?». «А уже дождались! — вспыхивал Гончарук. — Да и наколбасить успели... Или не видишь, как приутихли мордасовские революционеры? Не работалось им тремя бригадами. Зря, думаешь, Рыженков намекнул, что команда ожидается поостудить горячие головы? Как... как пацаны, раз-зэтак твою... — Гончарук не находил слов. — А ты говоришь, зачем лысому гребешок!» — «Нет уж, Степаныч, — вздыхал Фе Фе, — гребешком не расчешешь, если они набекрень...»

Совсем подкосил Гончарука визит в «Лопуховский» первого секретаря райкома партии. Приехал Борис Борисович Глотов не рано и не поздно, а так, что Гончарук, предупрежденный инструктором, курирующим их зону, соскучиться не успел. Вовремя увидал на улице небесно-голубую «Волгу», вовремя спустился в вестибюль и как бы случайно вышел на правленское крыльцо.

— Молодцы лопуховцы! — произнес Борис Борисович, пожимая председательскую ладонь, но обращаясь к неприметному своему спутнику. — И отсеялись, и дороги поправили, и на гумне порядок — хоть сейчас сено ложи.

«Так ли уж?» — настороженно подумал Гончарук, отчетливо помнивший, что никаких распоряжений насчет «дороги поправить» в обозримом прошедшем не давал. Но разубеждать начальство не посмел.

— Ко мне пройдем? — осведомился на всякий случай.

— Да нет, пожалуй, в кабинетах мы насиделись. Поедем-ка, председатель, в лучшую твою бригаду. Кто первый отсеялся?

— К Матвееву, что ли?

— Ну, тебе лучше знать, — засмеялся Борис Борисович, глядя опять же на спутника.

Поехали к Матвееву в Богодаровку. Гончарука начальство посадило рядом с шофером, а само расположилось на заднем сиденье. Пришлось то и дело оборачиваться, встречаясь взглядом с чужаком, названным Константином Сергеевичем.

— Я вот говорю Константину Сергеевичу, что Лопуховка у нас первой встала на путь обновления, — с подъемом заговорил в машине Борис Борисович. — Смело взялись за ломку устоявшейся структуры, выдвинули новых людей в руководство средним звеном, дали, так сказать, простор инициативе. И вот результаты: сев провели

слаженно, использовали каждый погожий час. Что тут скажешь?.. Ты чего молчишь, Николай Степанович?

— Да какой это сев... в двадцатых числах мая... Под суд за такие дела, а мы вроде как молодцы...

Борис Борисович усмехнулся.

— Не страхуйся. Действительно, Константин Сергеевич, райком в этом году ни на кого не давил. Хотя можешь ты, Николай Степанович, сказать, что на произвол судьбы брошен?

— Да нет... — Гончарук не очень улавливал свою роль в этой игре.

Борис Борисович засмеялся чему-то.

— Удивительное дело, Константин Сергеевич, они тут судью прокатили на поддержании! Не хотим Черномырдина — и все тут! Я уж ни одного голоса «за» не жду отсюда на выборах.

— Вы это серьезно? — спросил моложавый спутник.

Борис Борисович подкашлянул.

— Почти, — выговорил и опять чему-то засмеялся.

До самой Богодаровки «Волга» катила по выровненной бульдозером дороге, не пришлось и на шихан подниматься, и это было непонятно Гончаруку: кто команду давал? Не Витухин ли, которого силком заставили навесить на трактор мехлопату, расстарался?.. Короче, добрались до бригады быстрее, чем можно было предположить. Ну, для начала там «здравствуй-здорово», «как настроение», а потом...

«Как, — говорит, — вы посмотрите, товарищи, если на базе вашей бригады мы создадим коллектив интенсивного труда на аренде?»

Передавая разговор Филиппу Филипповичу, Гончарук не смог удержаться от того, чтобы хоть за глаза, хоть, может быть, и неуместным передразниванием, да уесть неуважаемое больше начальство...

Матвеев, конечно, оказался в курсе. Он, видите ли, и сам обдумывал КИТ, да не время еще Лопуховке за него приниматься: неорганизованность, неважнецкое обслуживание и слабовата (!) нагрузка на одного работающего в бригаде, вот если бы еще Мамаев угол прирезать...

— Мамаев угол, Василий Софроныч, отведен второй бригаде, — сдержанно напомнил Гончарук. — Севообороты сугубо сбалансированы.

Однако замечание его никак не повлияло на разговор. Их обступили механизаторы, и, ты скажи, каждый считал своим долгом словечко ввернуть, покрасоваться

перед начальством. Со стороны посмотреть: орлы... то бишь киты, язва их забери!

— А будущее все равно, я думаю, за интенсивными формами, — говорил Борис Борисович. — При наших площадях, при нашей нехватке кадров...

Гончарук, вовремя не уловив, что Глотов уже и сам отвернул разговор в сторону обтекаемых рассуждений, взял и пошутил из последних сил:

— Это что же получится: КИТы землю, скот разберут, а председателю алкоголики да инвалиды достанутся?

А они не уловили шутейный тон.

— Какие, интересно, могут быть алкоголики? — несколько даже неприязненно заметил Борис Борисович.

— Я имею в виду... народ разный на селе, Борис Борисович... Спросите: в прошлом году брал Матвеев в безнарядное звено лодырей?

— В основу новых форм организации труда, Николай Степанович, — жестко проговорил Глотов, — наипервейшим положен принцип добровольности.

«Ликбез мне устроил! — жаловался потом Гончарук Филиппу Филипповичу. — А что Матвеев ни скажет — все в кон! Сказал бы прямо: отстал ты, Гончарук, не устраиваешь. А то на обратном пути: «Чего это у тебя Ревунков тянет с созданием партгрупп в бригадах?» «У тебя»! А остановились возле пастухов воды попить — опять: встречайте, товарищи, председателя вам привезли, а то, наверное, бывает раз в год по обещанию... Те смеются: спасибо, мол, товарищ секретарь! Скважину опять вспомнили. Планировали мы ее бурить? Вот и я не помню...»

И все же на обратном пути Гончарук малость передохнул. Неприметный этот Константин Сергеевич захотел вдруг высказаться:

— Семейным подрядом у вас в районе не пахнет, поточно-цикловой в совхозе для проформы организовали... Как же так?

Глотов вздыхал.

— Не можем вот их, — он чувствительно ткнул Гончарука в загривок, — убедить, что все это всерьез и надолго.

— И долго собираетесь убеждать?

— Ты чего молчишь, Гончарук? — требовательно спросил Борис Борисович.

— Я с вами разговариваю, — сдержанно заметил спутник.

А Гончарук перестал уважать и это начальство.

«Доиграются они в демократию, — говорил потом ясновидящий Фе Фе. — С нашим народом ведь как надо? Хочешь чего-нибудь получить — спусти инструкцию. А вот это «давайте, ребята, посоветуемся» — это разве что для газетки надо оставить». Гончарук смотрел на экономиста с подозрением: ты откуда такой, Филипп, взялся?

«Он ведь мне на прощанье: не упускай Чилигина, выборы в этом году серьезные», — вспоминал Гончарук, на что он, Гончарук, посоветовал первому секретарю различать все-таки, где Совет с парткомом, а где правление и кто над кем поставлен. Получилось вполне достойно, хотя непривычно. «Не хватало мне только лопуховского демагога», — раздраженно сказал Глотов Борис Борисович, а спутник при этом разговоре не присутствовал, шофер водил его за правление, в карагачи.

В этот вечер Гончарук даже в шашки играл с непобедимым Фе Фе и хотя ни одной партии не выиграл, зато употребил добрую трехлитровую банку шипучего хлебного кваса с кореньями. «Это кто же тебе поставляет? — поинтересовался у холостого и на пятом десятке экономиста. «Это как раз и неважно», — ответил Фе Фе и шагнул в дамки.

Но вечерняя психотерапия действовала на Гончарука самое большее до утра. Вставало солнце, и он опять чувствовал себя на облучке, но без вожжей в руках.

«Развалится все к чертовой матери», — думал председатель, но все как раз и не валилось. Все, в общем-то, как всегда было, только инженер с агрономом исхитрились вовремя подобраться к естественным сенокосам и свистун (мятлик майский) убрали еще зеленым. «А в Волостновке еще только раскачиваются!» — радовался парторг Ревунков, у которого уже нос облупился от июньского солнышка.

Но Гончарук не реагировал. Даже бывая на гумне, он думал, как бы теперь, не дожидаясь команды, улучить момент и напомнить Рыженкову, что относительно кино он в принципе не против.

Напомнить о себе Гончаруку удалось поздно осенью. Результат был положительный. Лопуховский киномеханик доволен: ночевать новый директор приезжает домой

и кинобанки привозит лично. Жилье в Мордасове Гончарук получит так же скоро, как вверенная ему киносеть начнет выполнять план.

Слободская свадьба
(аспект)

С нетерпением и надеждой на появление сподручного и почти бесплатного помощника поджидали обитатели Вшивой слободки Микулину свадьбу. Готовились к большим хлопотам, после которых неминуемо должен был наступить рай. Жених молод, здоров и к тому же — с трактором. Не надо бегать, не надо заманивать, а можно зайти вечерком и договориться и насчет дров привезти, и сенца подбросить. Но вдруг узнали, что на состоявшемся в День защиты детей сговоре жених выступил с заявлением: «Если хоть капля самогона на стол попадет... И свадьба ваша не нужна!»

— Как зимой у меня полбанки слопал за здорово живешь, так ниче, это можно, — заметила Морковиха.

— А у меня за час распиловки бутылку ухайдакал и потом еще приходил, — вспомнил Егорыч.

— Вымогатель, — еще кто-то.

— Заране открещивается, чтоб в должниках у нас не ходить...

Однако, зная лопуховские (шанхайские, в сущности) аппетиты, сговорились литров двадцать все же изготовить. Расчет был прост: в первый день казенную выпьют, а потом сами запросят.

Казенную на сговоре обещался достать будущий Микулин шурин Вовик Богомолов, и глухая Марфута без колебаний вручила сыну одну тысячу рублей — так теперь стоили пять ящиков белой.

Домик, в котором проживал Микуля с матерью, был мал, дворик — тесен, а потому решили гулять оба дня на слободе. Женихов бригадир и одновременно невестина родня Василий Матвеев взял на себя и своих ребят сооружение навеса и доставку волостновской родни. В мелочи и очевидные обязанности сторон, как водится, не вникали заранее, словно нарочно обрекая себя и гостей на сюрпризы, которыми и помнятся в основном всякие такие мероприятия.

А жениху Микуле не понравилось на сговоре поведение будущего шурина. Ни разговор его вольный, ни то, как засунул он деньги в задний карман американских

штанов. Микуля ходил даже в сельсовет за справкой, чтобы лишнюю пару ящиков в райпо выдали. «Че тебе, Клоун, трудно печать приложить?» — попробовал он поднажать.

Однако не стоило напоминать Чилигину полузабытое, как ему казалось, прозвище — в школе друзьями они с Микулей не были.

— Тебе бы все мимо закона, — сдержанно заметил предсовета. — Когда жениться надумал? Комсомольскую свадьбу с вами не сыграешь, на безалкогольную сам жених не тянет... Сошлись бы да жили.

Микуля обиду стерпел, вспомнив, что раньше бывал в сельсовете только на административной комиссии, штрафовавшей его нещадно, а Чилигин скорее всего именно от обиды назначил регистрацию не в Доме культуры, а в Совете, в тесноте; в «Улыбке», сказал, предвыборный ремонт.

Ну, зарегистрировались перед троицей и в Совете. Василий Матвеев тут же попер молодых в белом «Москвиче», но не сразу на слободку, а дали все же кружок по Лопуховке; следом пылили дру́жки на «Запорожце», а шурин свою машину не заводил, поберег от гвоздей и пыли.

В первый день уничтожали женихов трофей из райповских складов (по официальной записке) и ближнего казахстанского городка с открытой виноторговлей. Особо никто не отличился — ровно все шло, хорошо. У каждого из полсотни гостей нашелся собеседник, а иные муж с женой только и сошлись за столом поговорить по-человечески. Микулин племянник пластинки гонял в палисаднике, оглушил всех, но танцевали немного. Прохладно все же было под навесом и сквозняк, веселости хватало в обрез до очередного тоста.

Самым пьяным в первый день оказался поэт-самородок Николай Крючков, приходивший от стада, лупанувший, конечно, за здоровье молодых и рассказавший глухой Марфуте собственный антиалкогольный стих. Счастливая мать плакала, сказала, что «на тарелку» почти две тыщи наклали, и дала сочинителю поллитру на вынос.

К вечеру разошлись по домам. Волостновские у Богомоловых ночевать остались. Их четверо, Вовик со своей, Марфута... Наверное, из-за этого Микуля отправил мать к сестре, а сам увел Антонину в свой домик. Они там прибрались, изжарили яичницу и заночевали.

А утром второго дня Богомоловых навестила Морковиха: надо ли?..

— Куда-а! — ответила глухая Марфута. — Вовик-сынок пять яшшичков белой привез.

— Ну, имей в виду, — сказала соседка. — В скатерках пойдете, у нас два чайника налитая стоит. Бесплатная...

Это всем ясно. Когда по Лопуховке ряженые в скатерках идут, народ хоть меньше, чем в прежние годы, но за ворота выходит. Тут самая и работа дружкам: один с чайником да со стаканчиком, а у другого соленые огурцы в чашке... Но до скатерок в этот раз дело не дошло.

Обещанную белую Вовик сам разносил по столам.

— О, — сказал волостновский родня, — «Посольская»!

Все оживились. И пошли разговоры, за которые скоро на пятнадцать суток будут сажать, а из партии, говорят, уже сейчас выгоняют.

На этот раз своей очереди выступить дождался Венка Витухин.

— Граждане гости, — сказал он, — я вот теперь дороги колхозные ровняю, но это неважно. Главное, все вы знаете, что значит ровная дорога. Она скоро такая во всей стране сделается, и я желаю нашим молодым идти по ровной дороге всю жизнь и рожать здоровых детей!

Он еще прибавил себе под нос: «Пью до дна» — и выпил. И все выпили.

И тихо стало под навесом.

— Миш, — сказала старшая волостновская родня, — а ты че по стаканам-то разливал?

— Че, — ответил Миша, — «Посольскую»...

Молодым, а также непьющим гостям разговор и тишина были непонятны сначала, но Микуля взял у Василия Матвеева, посаженого отца, нетронутую стопку, понюхал и, вскинув голову, глянул вдоль столов.

— Закусывайте, гостечки дорогие, закусывайте, — проявила радушие Марфута, но и до нее что-то дошло, осеклась на полуслове.

— Хм, самогонка гольная, — сказал Коля Дядин и взял в руки бутылку.

— Какая еще... — Вовик Богомолов выбрался из-за стола и рысью кинулся в сенцы, захватил три бутылки из ящика и тут же вернулся. — Какая еще! — крикнул и пустил бутылки по рукам. — Вы что?

Говорят, поллитровки были аккуратно запечатаны, на

пробках — заводской знак ЛВЗ, но внутри и у этих оказался вонючий сивушный дух.

— Я предупреждал? — спросил Микуля застолье. — Предупреждал...

Антонина ни на кого не глядела, а на ее братца люди посмотрели с любознательным интересом, особенно те, кто был в курсе дела и видал, как он тыщу в американские штаны засовывал.

Только один волостновский Миша сказал с сочувствием:

— Как мужика накололи спекулянты гадские!

Но большинство гостей не удовлетворили любопытства до самого того момента, когда оскорбленный шурин погрузил нераспочатые ящики в «Москвич» и отбыл восвояси; супруга его, довольно разговорчивая в первый день дамочка, во второй ни слова не обронила и так молчком и уехала.

А свадьбу спасла слободка. Когда попробовали из чайника, волостновский родня Миша аж застонал от удовольствия. Порядок восстановили, потому что к тому времени и Микулю уговорил не валять дурака его бригадир Василий Матвеев.

Но за этой канителью забыли в скатерках пройти, и многие уважающие добрую традицию только зря утруждали себя, то и дело выглядывая за ворота. Они были не против, чтобы ихних курей попугали перемазанные румянами (в прежние времена — красной свеклой) «цыганки» с голыми мужскими ногами, пусть бы и поймали какую для потехи, но пусто было на улице, лишь ветерок приносил со слободы звук электрического барабана — это племянник гонял пластинки в богомоловском палисаднике.

Да, пустовато было, хоть и троица. Разучились свадьбы играть, разучились и праздновать. Вроде как некому стало. И в Мордасове, говорят, скучная была в этот день «Березка», хоть и продавали вволю бутылочное пиво; на скачках переругались судьи и первого места никому не присудили...

За два дня слободская свадьба была сыграна полностью, и в понедельник все ее участники вышли на работу — кто работал, или вернулись к будничным своим делам — кто не работал или уже получал пенсию... Лечиться на слободу приходил Николай Крючков, и там же, в лопухах на задворках, он проспал до вечера, креп-

ко сжимая в левой руке ополовиненную бутылку «Посольской».

Да. Но какова же мораль?

А мораль в понедельник вечером прочитал слободским лопуховский участковый Мамаев, приходивший на беседу в форме и с казенной планшеткой. И слободские слушали его очень внимательно и даже клятвенно пообещали Указ больше не нарушать, и Мамаев почти поверил старикам. Действительно, в слободские зятья угодил, в общем-то, работящий, перебесившийся наконец молодой мужик Валерка Меркулов — помощник в стариковских одиноких заботах, проверенный, да и к тому же теперь и должник.

И кончим об этом.

Сквозная кабина
(авторское свидетельство не выдано)

Предвыборная лихорадка не отпускала Чилигина с первых чисел июня. Составленный еще весной план был скомкан и забыт. Из Мордасова задергали меняющимися каждую неделю установками, спускаемыми то по телефону, а то и с высокой трибуны в тесном и узком кругу. Избирком бездействовал, да и опасно было подключать комиссию на этом зыбком этапе. Выдвижения кандидатов в депутаты сельского Совета проходили в бригадах, на завалинках (это было в соответствии с установками — по месту жительства и без заорганизованности), а протоколы, все двадцать пять пар, Чилигин писал собственноручно, повздорив с секретарем. Надо было выдерживать проценты молодежи, женщин и рядовых тружеников в составе Совета и одновременно организовывать выдвижение и обсуждение не менее двух кандидатур, и чтобы при этом не было видно игры в демократию, за чем строго следил секретарь парткома Ревунков. Очень непросто прошло выдвижение Гончарука, а встречу его с избирателями пришлось оформить протокольно, посчитав за таковую выезд его с экономистом в пятую бригаду, поставившую вопрос об оплате труда. Организованно прошло выдвижение в богодаровской бригаде, хотя там пришлось пойти на некоторые нарушения: кандидат Владимир Смирнов устраивал Чилигина и по возрасту, и по принадлежности к партии, но избиратели жили в разных концах Лопуховки.

И вот протокольное оформление предстоящего риту-

ала закончилось, подошло время оформлять его в натуре. На это тоже существовали установки. «Празднично оформленный избирательный участок» — вот первейшая наружная цель. И Чилигин собрал избирком.

Как всегда, вовремя подошли учитель Иннокентий Леонидович Плошкин и женщины — библиотекарша и медичка (сельсоветская бухгалтерша и правленская секретарша Верка Мухина были на месте), а мужиков, в том числе и председателя избиркома кладовщика Макавеева, пришлось дожидаться не меньше часа. Это был непорядок, но Чилигин не стал заострять вопрос, а сразу, как собрались, перешел к делу, создав демократическую обстановку тем, что усадил комиссию вокруг своего очищенного от бумаг и телефона стола. На стол он выложил схематический план Дома культуры, принесенный директором Баженовым.

— Что же от нас требуется? — спросил он собравшихся.

— А урну отремонтировали? — перебил его вопросом Макавеев, водрузивший на нос расхлябанные очки и сразу ставший похожим не на важного начальника, как, наверное, хотел, а на пропойцу-счетовода, каким он и был до заведования складом.

— Она перед тобой, Семен Михалыч, — сдержанно сказал Чилигин и показал рукой в дальний угол кабинета.

Макавеев встал и пошел смотреть урну.

— Семен Михалыч, — окликнул его Чилигин, — не будем отвлекаться.

Но Макавеев вернулся на место только после того, как трижды хлопнул крышкой и проверил дно отремонтированной посудины, покалеченной в прошлые выборы при перевозке из ДК в сельсовет.

— Обтянуть красной материей и опечатать, — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь, и поправил очки.

— Да, — согласился Чилигин. — Так что же от нас требуется...

— А передвижные урны где? — спросил Макавеев.

— Какие еще передвижные? — Теперь Чилигину не удалось скрыть раздражение, и Верка Мухина прыснула, загородившись газеткой.

Но смеяться было не над чем — передвижные урны действительно отсутствовали. Одну из них, навесив замочек, газовик Савелий Крашенинников приспособил для

сбора заявок на газ, а другую... Баженов потупился. Другую нечего было и вспоминать. Крышку ей прибили намертво гвоздями, когда пытались организовать новогоднюю викторину, а потом, когда в прорезь насыпали подсолнечной шелухи, набросали конфетных бумажек и неловко сказать чего еще, Баженов вскрыл ее топором, а после праздника сжег вместе с елкой.

— Почему, интересно, обо всем сельсовет должен думать? — высказался Баженов. — А мы на что?

— Вот и займись передвижными урнами, — распорядился Макавеев и записал поручение в древнюю свою книжицу. — Слушаем тебя, Яков Захарович.

У Чилигина первоначальный запал потух, и он ткнул авторучкой в план ДК.

— Давайте решим, как вы будете располагаться на выборах, — сказал.

— А чего решать, — пожала плечами медичка. — Как всегда... Вот тут стол, напротив урна. Тут агитаторы будут сидеть, свои десятидворки отмечать. — Она очень приблизительно показала все на плане и посмотрела на Чилигина. — Только пусть музыка будет на улице, а то всю голову за день разобьет.

— А кабины? — спросил Чилигин.

— Да тоже, — теперь план повернул к себе Баженов. — Арматура цела. Перегородим фойе в глухом торце, выгородки старыми кулисами сделаем. Шахматные столики поставим... Какие проблемы?

Он все-таки чувствовал что-то в вопросе Чилигина, эта безынициативная посредственность, заменившая его на месте директора ДК...

— А проблема вот какая, — сказал Чилигин. — Через кабины должны пройти буквально все избиратели. Каждый! Этим мы должны обеспечить полную свободу волеизлияния... изъявления. Я понятно сказал?

Члены комиссии молчали и молча разглядывали план, уразумев теперь, для чего он перед ними появился. Ветераны избиркома вспомнили, что кабинами пользовались человек пять, не больше, а постоянно только Савелий Крашенинников. Регулярно портил бюллетени Николай Крючков, приносивший всегда свой химический карандаш и выходивший из кабины с крашеным языком. Вычеркивал всех подряд, иногда даже не заходя в кабину, незарегистрированный шизик Абакумов... А теперь?

Комиссия думала. Поглаживал чисто выбритую щеку Иннокентий Леонидович Плошкин, поглядывая на него,

постукивала газетой Верка Мухина. Прямо и отстраненно сидели бухгалтерша, медичка и член избиркома Свиридов. Чилигин видел их всех насквозь, знал, что решать придется ему одному, но все-таки ждал, думал пока о том, кто приедет в Лопуховку уполномоченным...

— Кга-хм, — подкашлянул Макавеев. — А для чего у нас будут весь день агитаторы болтаться?

— Как это болтаться? — живо отреагировала медичка, в прошлом активнейший агитатор. — Ничего себе...

— Нет, я имею в виду, пусть они свои десятидворки и провожают по кабинам, — развернул свою мысль Макавеев.

— Насильственный прием, — подал голос Иннокентий Леонидович Плошкин. — Я понимаю так, что все должно быть ненавязчивым, свободным, — он посмотрел на Чилигина. — Тут именно план нужен, техника... Умный проект, одним словом. Изобретение.

— Двери, что ли, перегородить этими кабинами? — пробормотал Баженов.

Чилигин посмотрел в окно, на телефон, перенесенный вместе с графином на сейф...

— Да, — сказал он. — Кабины должны быть сквозными.

— А-а, да, — согласился Макавеев, — чтобы через них можно было пройти насквозь.

— К урне, — уточнил Чилигин.

— А материал? — спросил Баженов, который вдруг понял, что сейчас лишится шелковых портьер, приобретенных под шумок в ходе предвыборного ремонта ДК.

И он их лишился, так и не поняв, что сам сделал Чилигину подсказку, от которой мелькнувшая у него мысль приобрела законченную форму. Оставалось только решить, как все это расставить в фойе, имевшем одну дверь, — это и решили к концу первого делового совещания избиркома.

— Никуда они, голубчики, не денутся, — сказал Макавеев, убирая очки в нагрудный карман пиджачка.

Чилигин думал о том, как долго еще и трудно будет прививаться в Лопуховке политическая культура. Культура вообще, при которой разве потребовалось бы тратить время на изобретение этой сквозной кабины... Он любил в себе такие мысли, такие вопросы, приятно утомлявшие его, заставлявшие взгрустнуть как бы ненароком, что вообще на ответственной работе неизбежно. Он думал, что

именно это отличает его от многих коллег из других сельсоветов, больше походивших на агентов соцстраха, завхозов, не очень грамотных хозяйственных функционеров, примитивно составляющих даже свои отчеты в райисполком, заполняя эти отчеты цифрами из колхозных сводок, а не мыслями, не анализом, не почти что философскими обобщениями, указывающими на социальные сдвиги в советской деревне конца столетия. Сдвигов не видел и сам Чилигин, но он чувствовал внутреннюю логику системы, которой служил, а значит, должны были быть сдвиги, и он даже знал какие, писал и говорил о них, приводил примеры. И был уверен, что рано или поздно они все равно произойдут, и ему было грустно оттого, что провозвестником и то назовут не его. Он вообще был печален в эти дни, так как частые его отлучки в райцентр активизировали действия жены, и с середины мая он ночевал на кухне.

Перед самыми выборами Сидору Кузьмичу Делову пришло письмо из Мордасова — ответ на его четвертую жалобу. Поздним вечером он положил на стол в ряд четыре белых листа бумаги с черными грифами и синими визами под бордовыми печатями, посмотрел на них, отстранясь, и очевидная одинаковость бумаг, о которой он прежде только догадывался, оскорбила его. Это были отписки: мордасовские начальники защищали своих лопуховских холуев.

«Чертов грамотей, — подумал Сидор Кузьмич о соседе-учителе. — Угодник сопливый, — сказал он почти вслух. — Надо было сразу в Цыка посылать!»

— Отец, ты чего? — заглянула в горницу хозяйка. — Говоришь-то.

— Агитаторша была нынче?

— Приходила. Номерочки вон на телевизере.

— Пойдешь одна.

— Как ты говоришь?

— Говорю, одна пойдешь голосовать!

Утром он подтвердил распоряжение.

— А че сказать-то им?

Сидор Кузьмич не придумал это и за всю ночь.

— Не знаю, скажи: сама пришла, а сам — не знаю...

«Пускай пошевелятся», — подумал про себя Сидор Кузьмич и занялся мелкими хозяйственными делами.

И тетя Настя Делова пошла голосовать одна. В карман «холодного» мужского пиджачка с подшитыми рукавами она положила чистый мешочек для покупок и денег взяла — две пятерки и трешницу. Было еще рано, а после спавшего ден пять назад зноя, перебитого дождичками, и свежо. Народ больно не торопился по улице, хотя радио на клубе играло с полседьмого утра. «А может, и не будет тама никакой торговли, — думала тетя Настя дорогой. — А Сидор чудить стал... Фроське надо бы отписать, чтоб сам не узнал. Глядишь, приструнят, полечут где...» Так она и дошла до Дома культуры. Людей тут не стало больше, а радио в двух ящиках с тарелками громыхало так, что или внутрь скорей ныряй, под вывеску «Добро пожаловать!», или домой беги. Торговли же никакой видно не было.

— О-о, тетя Настя пришла! Здрасте — тете Насте! — встретил ее в дверях Семка Макавеихин, подозрительно веселый с утра, но, может, ему так и надо, потому что он уже не первым выборам начальник. — Попрошу вас! — пригласил Семка, топнув по окурку и отогнав дым ладонью. — Попрошу...

Там, куда вел ее Семка, голосовали всегда, а вот тут, за дверями, куда бильярд теперь задвинули, раньше всегда Маня торговала. Тетя Настя вздохнула, достала из кармана номерки и оправила на ходу платок.

— Девчата, тетя Настя пришла Делова, — сказал выборный начальник и несильно подтолкнул одинокую в этот час избирательницу к сдвинутым столам, за которыми позевывали девчата.

Тетя Настя подошла, поздоровалась и отдала один номерок Елене-врачихе. Та взяла длинную тетрадь, листнула и подняла голову.

— Под этим номером Сидор Кузьмич записан.

— Ох, — смутилась тетя Настя и отдала другой номерок.

— Сходится, — кивнула врачиха и отсчитала тете Насте три листика: голубой, белый и желтоватый; еще один белый ей протянула женщина помоложе. — Пожалуйста... А может, вы и за Сидора Кузьмича хотите? — спросила ненастойчиво врачиха.

— Не знаю сама, — тихо сказала тетя Настя.

— Ну, голосуйте.

Тетя Настя обернулась, но нигде урны не увидала.

— Там, там, — сонно взмахнула рукой молодая.

— Тетя Настя, ко мне! — позвал издали Семка.

Он стоял возле шелковой загородки с номерами 1, 2 и 3 поверху. Тетя Настя пошла к нему, а подойдя, увидала за шелковым строением и красную урну, и соседа-учителя за столиком и прямо было направилась туда, но Семка остановил ее за локоток, подвел к загородке под номером 2, отворотил край занавески, и тетя Настя увидала каморочку внутри: столик, карандаш в стаканчике и мягкий стул.

— Располагайся, тетк!

Тетя Настя улыбнулась начальнику.

— Вот уж спасибо, Сем, а то, пока шла, ошалела.

— Ничего, ничего, — Семка деликатно проводил ее и опустил занавеску. — Вот это, я понимаю, организация! — услыхала тетя Настя его голос за спиной. — Всей бригаде — с праздничком!

Ему ответили мужики вразнобой, а тетя Настя села на стул и огляделась. Внутренние зеленые занавески были тяжелыми, плюшевыми и пахли мышами; за ними, как теперь поняла тетя Настя, еще каморки были, а наружные желтые занавески колыхались, прибитые только сверху. Она глянула наверх и увидала лампочку под потолком, от которой и было светло. «Как додумались», — прошептала тетя Настя и слегка распустила узел платка, сунув выданные ей бумажки в карман.

В каморке ей стало покойно и хорошо, тут и радио было поменьше, и мужики гомонили откуда-то издали; она вытянула из рукава платочек и вытерла глаза, проморгалась. «Жить куда как хорошо стали, — подумала. — Богато». И почему-то вспомнила ежевечернюю мужнину руготню перед включенным телевизором.

Она погладила рукой клетчатый стол, потерла его платочком на уголке. «Отдохну», — подумала. Кашу она Сидору сварила, курам посыпала, а тут, может, и торговля потом будет, она бы взяла печеников в пачках, а то все сдобнушки да сдобнушки... печеники прямо тают в чаю, и их можно ложечкой выхлебывать; последнюю пачку они с Ховроньихой решили аккурат на троицу.

За желтой занавеской совсем близко засмеялись мужики, и тетя Настя подобралась на стуле. Кто-то со смехом прошел у нее за спиной, кто-то задел стул в клетушке напротив и пошуршал бумажками, а шаги удалялись в другую сторону.

— Чилигинский лабиринт! — сказал кто-то рядом.

Занавеска в тети Настину каморку поднялась, и к ней зашел Софрона Матвеева старший — Васька.

— Здравствуй, теть Насть, — сказал он. — Отдыхаешь?

Тетя Настя, не поднимаясь, кивнула, улыбнулась гостю, и Васька, мотнув головой, прошел мимо и пропал.

— Есть! — раздался его голос. — Живой!

Возле передней занавески засмеялись, и мимо тети Насти, здороваясь на все лады, посмеиваясь, прошли шестеро сразу, она одного только Володика Смирнова па лицо признала, а еще двое вроде как Гавриковы-братовья были. Поджидая новых гостей, тетя Настя спрятала платочек в рукав и сложила руки на коленях. Но к ней никто больше не зашел, хотя снаружи народ, видать, прибывал, подошвы ширкали не переставая. «Хватит, наверно, — подумала тетя Настя. — Отдохнула, надо и честь знать».

Она перепокрывала платок, когда кто-то поднял было занавеску и сказал «извините».

— Заходитя, заходитя, — подала голос тетя Настя и поднялась со стула.

Вышла она туда же, откуда запускал ее Семка, глянула вверх на номер 2, на народ, обступивший женщин за столом, слегка поклонилась обществу и, пропустив в свой «второй номер» давнишнего ухажера младшей дочери Савелку Крашенинникова, пошла к выходу, думая о том, что и хорошо, что не породнились с Крашенинниковыми, чего бы видала тогда мала́я, а так уж где только не бывала с мужем на отдыхе, чего только не видывала...

«Домой теперя, — подумала тетя Настя, — чего уж...» — и поспешила отойти подальше от дребезжащих ящиков, в которых наяривало радио.

— Ну, как там, Наськ (или теть Насть)? — спрашивали ее встречные.

— Хорошо, кума (или сынок, или дочк)! — отвечала тетя Настя. — Торговать только еще не начинали.

— Да чем теперь торговать, — говорили ей и шли дальше.

— Ну, и как там? — спросил Сидор Кузьмич воротившуюся жену, стараясь не выказывать своего нетерпеливого интереса.

— Да как... Печеников хотела купить, печеников нету...

Хозяйка достала из кармана свернутый холщовый ме-

шочек, и на пол слетели бумажки: белая, желтая, голубая и еще белая.

— Эт что такое? — строго спросил Сидор Кузьмич.

Настасья его глянула под ноги и обомлела.

— Ох-ии, — ухватилась за концы платка.

Уразумев ситуацию, Сидор Кузьмич мстительно засмеялся и не велел своей хозяйке возвращаться на избирательный участок. «Ну, теперь жди — прикатят», — подумал он.

Однако ждать пришлось до самого позднего вечера, а потом и вовсе оставить это дело. Отужинав, Сидор Кузьмич закрылся в горнице один и подсел к столу с тетрадкой, которая теперь была у него всегда под руками. Почистив острие ручки о подстеленную газетку, он раскрыл тетрадь на середине и старательно вывел:

«Дарагой Цыка!..»

Так как писать следовало без ошибок самому, не надеясь на грамотея-соседа, над этим письмом Сидор Кузьмич просидел до полуночи. Описывать пришлось не только свой, как он выразился, «казус», но и факты, накопившиеся за день.

Проходя мимо, Венка Витухин, например, рассказал, как пошел голосовать в новом костюме, а ему говорят: ваша жена за вас уже голос отдала. «Ничего, говорю, не знаю, — рассказывал Венка Сидору Кузьмичу. — Давайте булетени, сам хочу исполнить свой долг!» Бюллетени Венке дали, и он посмеивался: «На синем я в кабинке написал, что, мол, повторно, от всей души!»

Описал Сидор Кузьмич и Ховроньихин случай. Эта притащилась чуть не в слезах и к нему: «Неужто, Сидор Кузьмич, я теперь лишенка, как мамака тогда?..» — «Нет, — сказал Сидор Кузьмич, — ты теперь есть жертва бюрократического произвола».

К Ховроньихе не приезжали с урной часов до шести вечера, а потом к ней зашла Жиганова сноха, агитаторша, и сказала, что проголосовала за нее и еще там за кого-то, потому что дежурная машина к пастухам уезжала, сломалась, сейчас только воротилась, а к десяти на ней в райцентр ехать, потому что председатель на «бобике» куда-то уехал, а инженеров «газик» — в ремонте.

«Охотничать надо кончать», — вспомнил Сидор Кузьмич, описывая этот факт.

Уполномоченного наблюдателя из района, сказали, в

этот раз не было, и происшедшее было обозначено в письме как «разгул демократии». Вроде бы так о Южной Корее высказывался по телевизору диктор: разгул...

По инструкции урны вскрывать надо было в двадцать два ноль-ноль, но голосование закончилось в восемнадцать, когда вернулась наконец дежурная машина; агитаторов распустили по домам, музыку выключили и собрались в кабинете директора Дома культуры. Урны были тут же.

— Ну, чего мы ждем? — спросил член избиркома Свиридов.

— Чилигин сказал, ждите, уполномоченный может приехать вечером, — устало проговорил Семен Михайлович Макавеев.

— Уполномоченный упал намоченный... А сам Яшка подойдет?

— Не обязан, — буркнул Макавеев.

Но Чилигин пришел. Помитинговав, решили оставить с урнами Баженова, а самим сбегать пока перекусить и уж потом, не дожидаясь, конечно, срока, вскрыть урны.

— В десять откроем — до полуночи с протоколами провозимся. В восемь откроем — до...

Это было ясно всем, но Макавеев высказался до конца.

Чилигин позвонил на квартиру секретарю парткома Ревункову и сказал, что к восьми можно будет подойти. Ревунков обещал.

Временно все разбежались, а когда через час стали возвращаться, вздремнувший Баженов не узнавал членов избиркома: переоделись, повеселели, от Макавеева на два шага разило двенадцатирублевым одеколоном «Консул».

— Ну-с, приступим! — сказал председатель комиссии и сломал печать на большой урне. — Вверх дном ее, мужики!

Чилигин наблюдал за действиями комиссии, не вмешиваясь. В конце концов, дело они знали. Только когда разобрали бюллетени по кучкам, попросил уведомлять о каждом обнаруженном нюансе и не торопиться запускать в ход стирательные резинки, о которых поспешил напомнить деятельный Макавеев.

— Никому не нужны дутые проценты, — сказал Чилигин. — Но могут безответственные слова встретиться.

Члены избиркома зашелестели листочками, простав-

ляя время от времени цифры на бумажках, а кто и просто палочки. Иннокентий Леонидович Плошкин все поглядывал на Верку Мухину, сбивался со счета, и Чилигин был вынужден сделать ему ненавязчивое замечание. А Елена Викторовна все на него взглядывала, и он каждый раз слегка покачивал головой осуждающе. Вернувшись из дома, медичка сказала ему, что есть письмецо от М. с персональным приветом...

— Есть, — вздохнул Макавеев с таким пристрастием, словно жирного карася поймал.

— Что там, Семен Михайлович?

— Надпись. Вот.

Чилигин не спеша подошел и взял в руки бюллетень по выборам народного судьи.

— Химическим карандашом? — спросила Елена Викторовна.

— Может, Савелий...

Но почерк был незнакомый. Надпись читалась без усилий:

«Повторна ото всей душе».

Посмеялись.

— Давайте «повторно» сотрем, а остальное оставим, — предложила Елена Викторовна. — Давайте, я попробую.

Чилигин отдал ей бюллетень с улыбкой, потому что знал: получится. Лично сам заготавливал он мягкие карандаши «Архитектор» 3М для всех трех кабин...

Когда подошел Ревунков, протоколы у комиссии были были уже оформлены, пакеты с бюллетенями запечатаны, лишнее — сожжено в оркестровой тарелке. Поздравив избирком с практическим завершением ответственной процедуры, Ревунков пожелал выписать некоторые итоговые цифры к себе в книжицу. Страничку он разграфил, и Чилигин продиктовал ему все «за» и «против».

Против народного судьи были пятнадцать человек (они так и ожидали, что не меньше тринадцати будет), против Гончарука — фактически двадцать семь, но в протоколе показали восемнадцать, и почему-то многие ополчились на свинарку Попову, хотя в итоге в сельский Совет она все же проходила.

— Вполне удовлетворительно, — резюмировал Ревунков. — А может быть, и хорошо, в современных условиях.

В двадцать два ноль-ноль позвонили из районной избирательной комиссии.

— Ну, вы что, лопуховцы, опять собираетесь во втором часу ночи выезжать? — спросили.

— Нет, нет, — отчеканил Макавеев, — выезжаем.

— Да не чинитесь, тут уже очередь. Ждем, короче.

— В десять только урну вскрывать, а там уже очередь. — Макавеев подмигнул левым глазом. — А ты, Верк, боялась!

— Ничего я не боялась, — смутилась секретарша. — Можно теперь идти?

— Теперь идите, — разрешил Макавеев; в Мордасов с ним должен был поехать Ревунков.

Дежурную машину поджидали на крыльце Дома культуры. Чилигин и Баженов провожали. До заката было еще часа полтора.

— Какой день длинный, — сказал просто так Макавеев.

— Да, — отозвался Чилигин скорее всего каким-то своим мыслям. — А депутатов в сельский Совет я бы предложил открытым голосованием избирать.

Ревунков неопределенно хмыкнул.

— Скажи там, Семен Михалыч, приемной комиссии, что такое вот предложение от избирателей поступило, — серьезно попросил Чилигин.

— Да чего там говорить, дело сделали...

— Скажем, скажем, — заверил Ревунков, лучше других понявший мысль председателя сельсовета, его цель и настроение. — И про сквозную кабину скажем. А кто, ты говоришь, должен был к нам приехать?..

Свежий анекдот *

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Официальный ответ

«В редакцию районной газеты «Победим».
Копия: Делову С. К.

На вашу копию письма жителя с. Лопуховки гр. Делова С. К. в редакцию могу пояснить следующее. Семья воина-интернационалиста В. М. Метелкина получала письма от сына регулярно до самой осени с небольшим перерывом в июне — июле. Никакого контроля за коррес-

---

* Снят как устаревший. *(Авт.)*

понденцией вообще Совет не осуществляет, и никаких указаний на этот счет сроду никогда не было. Цинковый гроб пришел на станцию в сентябре. Крытая машина для доставки выделялась ввиду дождей и перевозки отца героя и прибывших однополчан. Укрывательства никто никакого не организовывал, не было этого даже и в намерениях. Соболезнования от имени администрации, парткома, профкома, комитета комсомола, совета ветеранов и сельского Совета были сделаны непосредственно семье, родным и близким, а районная газета, насколько известно, и раньше подобные вещи, связанные с ДРА, на свои страницы не выносила.

В похоронах участвовали практически все жители с. Лопуховки, приезжали товарищи из райвоенкомата и районного совета ветеранов. Был произведен троекратный траурный салют. Стреляли над могилой. Отсутствие председателя колхоза Гончарука Н. С., секретаря парткома Ревункова Б. П. и мое объясняется экстренным безотлагательным селекторным совещанием в тот день, которое проводил первый секретарь обкома партии тов. Карманов. Ввиду еще и непогоды вернулись мы уже в седьмом часу вечера. Я лично вновь посетил семью героя, выразил поддержку нашему депутату В. С. Метелкиной и всем родственникам. На сооружение обелиска выделена одна тысяча рублей согласно положению.

Председатель исполкома
Лопуховского с/ С Чилигин Я. З.».

Карандашная («Архитектор» ЗМ) приписка на первом экземпляре:

«Владимир Иванович! Принимайте Вы меры с Деловым! Мы нажмем — он еще больше пишет. А с помощью гласности можно приструнить, отбить, я имею в виду нездоровую охоту к сочинительству. Он же все передергивает, хоть и приводит факты. Если этот случай неподходящий, давайте июльское его письмо прокомментируем.

С уважением. Я. Чилигин.

А на Вашу просьбу подтверждаю: газет действительно не хватает, до десятка за одно поступление. К Вам не обращались, звонили в РУС. Ответ: недокладывает в сотни типография. Ни я лично, никто из наших в райком не жаловались. Может, Делов опять? Так тем более учтите мое предложение. Это же демагогия чистой воды!

Ч. Я. З».

Часть III

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Сезон дождей (апология серости)

Десятилетие своего секретарства Борис Павлович Ревунков отмечал один. Приехали с очередного селекторного совещания, перебросились парой фраз и разошлись: Чилигин с Гончаруком по домам, а он — в партком, в свой кабинет, занести полученные в райкоме наглядности, «тревожные сигналы» и постановления.

Андреевна уже домывала вестибюль.

— Палыч, ты надолго? — спросила, не переставая возить шваброй.

— На секундочку, теть Вер.

— Ну, тогда захлопнешь вход, я кончаю.

— Надоела грязь? — Борис Павлович остановился у лестницы на второй этаж, полез в карман за ключами.

— Да в правлении еще помилуй бог. А на почте прямо обезручела, хоть и две половицы.

— Вениамин пишет?

— Дождесси! В Гамбург летает...

— В Ямбург!

— А? Он сказал, я, може, не поняла. Звопел в энтом месяце... Про получку ниче не слыхать?

— Денег в колхозе нет, теть Вер.

— Во-от. Я гляжу, грязи-то немного... А картошке, видать, амба в этом году.

— Приказ нынче получили: копать при любой погоде.

— На приказы они мастера... Ну, кончаю, Палыч. Ты прихлопни, не забудь.

— Не забуду, теть Вер!

Борис Павлович поднялся к себе.

Из трех лампочек загорелась одна, над столом. Теперь редко какой день обходились в этот час без света: хмарь на небе беспросветная; если не дождь, то туман или изморось, серая пелена. А по времени солнце должно еще заглядывать в третье окно... Борис Павлович положил наглядности на боковой стол, подошел к сейфу. Замок начал барахлить недавно, и он еще не приноровился к нему — долго вертел ключ туда-сюда, пока что-то там не поймал на язычок. Как впервые споткнувшийся оглядывается на неожиданную помеху, так и Борис Павлович,

сунув постановления на полку, осмотрел пожелтевшую наклейку на замке. «Не забыл про три конверта?» — гласила размашистая надпись. Усмехнувшись, Борис Павлович колупнул бумажку ногтем, и та неожиданно легко отскочила от металлической дверцы, спланировала под стол; Борис Павлович запер сейф и поднял бумажку. Посмотрел еще раз, смял и бросил в корзину. Он вспомнил: десять лет. Ровно. Час в час...

— Машка? — он позвонил домой. — Ах ты моя хорошая! А бабушка дома?

Внучка лопотала что-то свое, и Борис Павлович терпеливо, то улыбаясь, то смеясь в голос, слушал ее.

— Хорошо, хорошо! Умница! Бабушка или мама... Кто-нибудь есть дома?

— Слухаю, — раздалось в трубке.

Он узнал все, что хотел: ничего за день не случилось, зять еще с дойки не приехал, но они по хозяйству управились, думали, еще один хлестанет под вечер...

— Я в парткоме, — сказал Борис Павлович. — До ужина с докладом посижу... Один. Звоните, если что.

Он переставил телефон на тумбочку позади себя, сгреб ненужные бумаги и сунул туда же. На столе осталось только то, что он собрал для доклада. Он то вспоминал про доклад, то забывал, но писать его надо было не откладывая. Общее собрание не скоро, но цеховые пора проводить, и, значит, должна быть готова «рыба», в которой вожакам ячеек останется только подставить свои цифры.

«В деле коренного обновления всех сторон производственной и общественно-политической жизни, ускорения социально-экономического развития первичным парторганизациям принадлежит особая, чрезвычайно ответственная роль, — переписывал Борис Павлович из областной «ориентировки». — Если мы на полную мощность включим имеющийся потенциал партийного воздействия на перестройку, то коллективное хозяйство значительно прибавит в работе. Именно это необходимо сейчас, когда пошел на завершение юбилейный год, это необходимо будет в с е г д а, потому что перестройка — это п о с т о я н н о е движение вперед с непременным ускорением, это наша неуклонная г е н е р а л ь н а я л и н и я».

Переписывая, Борис Павлович уже адаптировал текст, и его можно было просто приклеить в нужном месте, машинистка к этому привыкла. Он вырвал страничку и приобщил к другим материалам. Сдвинув брови, заглянул

в текущую сводку; сколько их поменяется, прежде чем наступит время заполнить пробелы в докладе... Подтвердят ли вписанные цифры уже сформулированные выводы? Борис Павлович на этот счет не сомневался. Он мог бы написать отчетный доклад на год вперед, и эта «рыба» за целый год не потеряла бы свежести...

Десять лет назад не было этого кабинета. Он думал, его кабинета вообще не будет в новом правлении, тогда еще только заложенном строителями из дикой бригады. Он хотел бы остаться в отремонтированном старом правлении, поделив его, на худой конец, с сельсоветом. Но когда начались отделочные работы, тогдашний председатель Борисов привел его на второй этаж и сказал: «Вот тут буду сидеть я, за той дверью — главный инженер, а вот здесь ты, Борис. Нравится?» И он принял это как должное, потому что уже расстался с детскими представлениями о том, что у парткома могут быть какие-то особые дела помимо хозяйственных. Хотя дела, конечно, были, но и они решались без отрыва от производства. Даже заседания парткома проводились в кабинете председателя, а стол заседаний, поставленный в парткоме, использовался для хранения газет в развернутом виде.

Зазвонил телефон.

— Слушаю, — сказал Борис Павлович и услышал голос Гончарука, успевшего уже расслабиться.

— Моя говорит, глянь, в правлении свет светится. Солнце взошло! Ты чего там?

— Доклад.

— Во, самое время... Я чего звоню: съезди ты в третью бригаду завтра. Может, Матвеев кукурузой займется. У него убирать полсотни гектаров осталось...

— Машина твоя?

— Ладно, давай... А когда?.. Слушай, моя говорит, Матвеева в больницу положили. Вот еще... Метелкин какой теперь работник... Черт! А тут запевала нужен.

— Все равно съезжу. Какие расценки обещать?

— Этих не купишь, на подряде заклинились... Ладно, придумаем чего-ничего. Слушай...

«Скажет или не скажет?» — загадал Борис Павлович.

— ...ты тогда и в школу зайди, пусть девятый-десятый пока на картошку собирается.

Не сказал. Решил, наверное, что успеется завтра. Не сказал и Борис Павлович о своем юбилее.

О принципиальном согласии райкома отпустить Гон-

чарука из колхоза он услышал сегодня, но как-то без удивления, без сожаления и зависти. К тому шло. Может, и с ним такое случится, но про себя он знал, что Лопуховку не оставит. Хм, а дочь с удовольствием завладела бы отцовским домом... Зять хоть изредка заговаривает об отдельной квартире, а Светка молчит. Не потому молчит, что с папой-мамой ей хорошо (хотя, конечно, неплохо), а ждет, пожалуй, освобождения обжитой жилплощади от «устаревшего элемента». «Ты, — говорит, — папух, хоть и не молодой, но еще не старый — самый возраст для выдвижения. Ты же у нас за перестройку?» — «Я за уход на пенсию по собственному желанию», — отшучивался Борис Павлович, но, пожалуй, стоило ему высказать свои соображения более определенно.

А доклад все равно придется писать здесь. Домой он уже давно не брал ни одной бумажки, отключал телефон, если не ждал звонка, дома он должен был отдыхать от ежедневного — вот теперь он имеет право сказать без обиняков, — от каждодневного купания во лжи. Так.

Решения последних партийных пленумов, даже съезда он приветствовал привычно, без особых эмоций. Библиотека, ДК, богомаз-оформитель со знанием дела разносили новости по красным уголкам в виде плакатов, стендов, накопительных папок, передвижного политинформатора. Занимаясь пропагандой даже и сверхгениальных идей, трудно еще и как следует осмысливать их, вникать и проникаться. Осмысление начинается с конкретных примеров. И Борис Павлович невольно посмотрел на ящик стола, в котором он хранил все, что можно было достать о Чернобыле... Интересно, нашлась бы в прежние времена, случись такое, шапка, чтобы прикрыть все это от миллионов пар глаз?

И, грешно сказать, он был даже рад нынешнему сезону дождей, сковавшему не только их район, но и всю область. На сегодняшнем селекторном первый секретарь обкома впервые назвал обстоятельства чрезвычайными. Но то, что было предложено, что потребовал секретарь от чуткой аудитории, мало походило на чрезвычайные меры. И в этом тоже была правда, свидетельство суеты, а не силы.

Нынешний год сравнивают с пятьдесят восьмым годом. Борис Павлович помнил этот год. Тогда все же дождались сносной погоды, хотя и не ждали так откровенно, как сегодня. Зерном были забиты клуб и овощехранилище, гаражи и свинарник, в школе оставался

свободным только один класс для малышни... Переувлажненное просо засыпали тогда в правление колхоза, в тесноте оно загорелось, и вонючую жижу выплескивали через окна и двери и долго еще не могли избавиться от запаха тления, вони распада и разложения, пропитавших некрашеные полы, выползавших и среди зимы из-под пола... Да, но тогда дождались погоды, прицепные комбайны еще что-то успели взять с подсохших полей и нив, а сегодня ждать нечего. Мысль показалась Борису Павловичу абсолютно бесспорной. Ведь и Чернобыль не попугал, а вдарил; и по головам тонущих с «Адмирала Нахимова» неотвратимо и не случайно шел сухогруз без огней; и поезда не тормозят в последний момент, а сшибаются насмерть...

Телефон, черт бы его побрал...

— Па-ап! Ты на ужин собираешься?

— Рано еще.

— Тебе рано, а мы с Юркой в кино нынче пойдем!

— Приехал?

— Да ну тебя! Короче, мы садимся. Идешь?

Борис Павлович положил трубку. Увидел в углу кабинета сноп, пузатый сноп пшеницы урожая трудно вспомнить какого года. Эталон. «Пусть стоит», — подумал бессвязно. Может быть, он тоже сегодня юбиляр.

Телефон зазвонил снова.

— Папух, может, ты там, правда, перестраиваешься, но имей в виду, перестройка касается всех сторон человеческой жизни. И семейной в первую очередь! Дети у тебя должны духовно расти, а внучка спать не будет, пока дедушку не дождется.

— У тебя все?

— Ну а че ты там, правда? Агроном и тот дождику рад, баню достраивает...

Борис Павлович не дослушал. Он терпеть не мог новомодную газетную лексику в домашнем обиходе.

Все-таки тускло светила лампочка над столом... А с улицы свет ярким кажется. Генсек заседает, скажут. И никто не зайдет. Останься он на эти десять лет механиком, простым трактористом, наверное, были бы у него друзья, задушевные собеседники... Вообще что изменилось бы, останься он в стороне от должности? Так же выросла бы Светка, только, может быть, поменьше гонорку нагуляла; так же родила бы ему Машку — потому что за кого еще ей выйти, как не за Юрку... А он постарел бы на десять лет и... купил бы, например, не «Жигули»

из райкомовской очереди, а «Москвич», только за руль, пожалуй, садился бы почаще, имел практику и не дрожал бы так, отвозя своих женщин на базар в пристанционный городок и по магазинам.

Ладно, прошли десять лет и прошли.

Борис Павлович закурил, закашлялся... Прошелся по кабинету. Почему так обрадовал его этот сезон дождей? Отпала необходимость врать. Но разве вот это ожидание вёдра — не ложь?

Ждут его в бригадах. Ждут в райкоме. Филипп Филиппович ждет. Одним проса добрать надо. Другим... А зачем оно этим-то, если неизвестно точно, отменили хлебозаготовки или все же спустят процент? Зачем, наконец, ему, Ревункову, вёдро, если дрова и сенцо июньское под крышей, если... Впрочем, он-то как раз и не ждет его...

«Постоянное движение вперед с непременным ускорением», — прочитал он на листочке. Какое-никакое, а ускорение они обеспечат...

Так. Если завтра с утра в третью к Матвееву, то в школу только к концу примерно четвертого урока можно попасть. Это поздно. На картошку надо будет завтра же; транспорт — на Гончаруке, вольнонаемные — на Чилигине, а ему вот школьников мобилизовать... Нет, в школу надо с утра, если не появится какой-нибудь нюансик... Борис Павлович вспомнил, что Матвеев в больнице. Вот, подумал с облегчением, и не надо тащиться в Богодаровку и не нужен председательский «бобик». Он снял телефонную трубку.

— Машенька? Хм, ты чего, бабак, в детство впадаешь?.. Короче, я тут закончил. Сейчас зайду в больницу к Матвееву — и домой. — Он подумал и решил сказать: — По календарю сегодня, между прочим, ровно десять лет... Что? Откуда вы знаете?.. Так они в кино собрались... Ну и не такой уж это юбилей, между прочим... Ну, тогда иду, двигаюсь, короче, к дому.

Входную дверь правления он защелкнуть не забыл, для надежности подергал за ручку и пошел домой, где, оказывается, уже изжарилась юбилейная утка.

Черная дыра
(страницы амбарной книги)

Мы с Моденовым давно не виделись, и сегодня он назвал себя «черной дырой». Столько, говорит, заглатываешь ежедневно газет, столько журналов ежемесячно; че-

рез глаза, уши и открытый рот проникает в бренное тело страхового агента дьявольское излучение телевизора, а где же выход? Во что все это переплавляется, перепекается внутри?

Куда мы торопимся?

Амиель: «Критицизм, ставший привычкой, типом и системой, становится уничтожением нравственной энергии, веры и всякой силы...

Чтобы делать людям добро, нужно жалеть их, а не презирать и не говорить о них: дураки! Но говорить — несчастные!

Доставлять счастье и делать добро — вот наш закон, наш якорь спасения, наш маяк, смысл нашей жизни. Пусть погибнут все религии, только бы оставалась эта, у нас будет идеал, и стоит жить».

Прежде чем начинать перестройку, надо было решить: а что станут люди читать?

Понимаю ли я чеховское, с котомочкой по белому свету? Действительно ли понимаю?

Сенека: «Чистая совесть может созвать целую толпу, нечистая и в одиночестве не избавлена от тревоги и беспокойства. Если твои поступки честны, пусть все о них знают, если они постыдны, что толку таить их от всех, когда ты сам о них знаешь? И несчастный ты человек, если не считаешься с этим свидетелем. Будь здоров».

Девять кубометров больничного покоя

Через неделю в соседнюю палату положили Сидора Кузьмича Делова. Сказали: в тяжелом состоянии, почернел весь. Василий пошел посмотреть. Сидор Кузьмич лежал возле окна и лицом был действительно страшен. Но может быть, это скупой свет непогоды, может, просто годы, его-то... Переступить порожек полупустой палаты Василий не решился. Да его уже и Маринка на укол звала. Он стал думать о Делове со стороны. Какие такие потрясения довели пенсионера до предынфарктного состояния? Стихийное бедствие, в которое превратилась нынешняя осень?.. Во время раннего больничного ужина он

додумался только до того, что самые разрушительные потрясения человеческого организма необязательно соответствуют таким же внешним переворотам. Это кто как настроен, кто как содержит себя, кто какую роль отрепетировал, какую цель перед собой поставил и каким путем к ней направился. Можно ведь первый шаг шагнуть — и с копыт. Можно доползти и дух испустить... Значит, надо было Сироду Кузьмичу полеживать на печке и молодость вспоминать. Но сердечная болезнь пенсионера вызывала уважение. Воспаление легких (а может, и просто бронхит), которое схватил Василий, — ерунда, детская болезнь, которая не от душевного состояния, а от погоды зависит... В этот момент Маринка сказала, что к нему посетитель. Не «ребята ваши», не «Вера Петровна» — посетитель! Василий отодвинул кисель и вышел в коридорчик.

— В приемном покое, — подсказала сестра.

Даже так! Василий открыл дверь самой тесной в больничке комнатушки и увидел парторга Ревункова, отряхивающего над ванной мокрую шапку. Повесив головной убор на манометр титана, он улыбнулся и протянул руку.

— Привет, Василий Софроныч, привет! В палату не стал проходить — как барбос мокрый!

Они сели на кушетку.

— Как ты? — спросил Ревунков. — Хотел еще неделю назад заглянуть, да закружился, понимаешь...

— А я... вот, — выдавил Василий, не зная, что говорить партийному начальству; может, взносы платить пора.

— Воспаление — дело нешуточное, — энергично тряхнул головой парторг. — Лечиться надо всерьез.

— Да уж искололи, сидеть не на чем! — выручила обкатанная за неделю фраза.

— Знакомая ситуация, — засмеялся Ревунков, но тут же сделался серьезным, таким, каким, наверное, и хотел выглядеть во время свидания. — У меня такой вопрос, Василий Софроныч... Даже не знаю, как сказать... Короче, твои орлы клуб... твердую пшеницу в клуб засыпали. Ты в курсе?

К этому вопросу Василий не был готов.

— Ну не всю... Были мы у них сейчас с председателем. — Ревунков говорил пока медленно, подбирая слова. — Картина такая... Гримировка теперь у них — и склад и мастерская. Сами живут в кинобудке. Иван Ми-

хайлович сказал: к крыше ближе, трубу от «буржуйки» легче вывести... Да. А весь зал, вся сцена — все засыпано зерном!

— Загорелось? — нетерпеливо спросил Василий.

— А? Нет... Лично вороха щупал — нет... Так ты, значит, в курсе?

Василий смутился.

— Ну, в общем, конечно... Я же во второй класс ходил, когда школа ячменем была засыпана...

— Так то школа! — Ревунков поднялся с кушетки. — Центр села, можно сказать. А как из Богодаровки, из клуба вашего, зерно брать? Ведрами грузить? А сколько машин туда надо? Вы об этом подумали? Там же тысяча центнеров, не меньше! Сто тонн! Ты соображаешь?

— Ну а что, сгноить надо было?

— Я не знаю! — Ревунков развел руками. — Из-под комбайна мы у тебя любым транспортом возьмем — ширк, и нету! Самое большее — час на один рейс. А теперь? Двадцать «газонов» прикажешь гнать? КамАЗы никто не согласится загружать с пола! А вы — руки в брюки... дело сделали!

— Какие руки в брюки? — Василий тоже хотел подняться, но тесно было двоим в приемном покое размахивать руками.

— Там Гавриков ваш, — не слушая, продолжал Ревунков. — «Не нужен вам хлеб — считайте, что это наша натуроплата». Вы что?!

— Ну а что это «что»? — Василий вынужден был смотреть снизу вверх. — Много ли тридцать центнеров? Пусть. Отвезем пенсионерам, кому скажете.

— Нет, ты соображаешь, что ты говоришь? — изумился Ревунков. — Ты посмотри за окно! Ты посмотри вот в сводку! — Он вытащил какую-то бумажку. — Ладно, не соображает Гавриков...

— Петро?

— Что «Петро»? А, Гавриков... Я их не различаю... Значит, он не сам это придумал? Значит, решили разделить по-братски? Да эту пшеничку в одну руку через мехтех пропусти — знаешь, какие семена будут? Первоклассные семена!

— Пусть семена...

— Вот видишь!

— Да что я скажу? — Василий все-таки встал на ноги. — С Гавриковым разберемся... Что я должен видеть?

— Ты... ты, Василий Софроныч, сядь, — вдруг при-

мирительно сказал Ревунков. — Нервов уже не хватает. Садись, — он тоже сел. — Пришел ведь спокойно поговорить, — усмехнулся. — Больница, понимаешь, а мы как в правлении...

Василий молчал.

— Ладно, придумаем что-нибудь, — Ревунков поднял было руку к его плечу и опустил. — Давай посоветуемся... Твои ребята говорят: вывозите! Не можем мы сейчас вывезти, понимаешь? На «бобике» с председателем полтора часа в один конец ехали. Под шиханом — пропасть... Да и теплей им в кинобудке, в самом деле, сами ведь не захотели передвижной вагончик брать...

Василий не знал, что говорить. Для него это все-таки тоже была новость. Ну, разговаривали недели две назад, но тогда еще не придумали, чтобы зерно в клуб выгружать... Одна машина тогда возила от них, в час по чайной ложке...

— Растревожил я тебя, — Ревунков вздохнул. — Ведь хотел завтра зайти... Разве ж я твоих ребят не понимаю? Уборку практически закончили, потерь минимум... Это по нынешнему году! В первой, в четвертой еще мужики стараются, а так... Хм. Хотел сказать — молодцы, а наворотил...

Василий мог только гадать, что хотел сказать Ревунков на самом деле.

— Да нормально, — пробормотал.

— Не могу я, Василий Софроныч, ничего тебе сказать о натуроплате, — опять вздохнул, и вроде бы искренне, Ревунков. — И договор есть, и положено вам, но ты посмотри, год-то какой... Не думай, райком нас за глотку не берет, — он усмехнулся. — Жариков в районе орудует, из обкома. Наши при нем и рта не раскрывают. И не поймешь, что конкретно надо. То район без семян останется, давайте переувлажненное через сушку на обмен. То... А-а! На ходу перестраиваться — только мозоли набивать. Ты как считаешь?

Что-то надо было сказать, и Василий сказал, что на будущий год обязательно надо полный севооборот за бригадой закрепить, и про интенсивную технологию сказал: в Богодаровке отличный перегной без употребления в прах рассыпается. И про технику сказал, про это он мог говорить долго: и сеялки нужны, и колесник, можно даже «Кировец» у них забрать, а лишний МТЗ-50 выделить...

Ревунков засмеялся.

— Не обижайся, Софроныч, — положил руку ему на колено. — Правильно ты говоришь. Но повременим. С Гончаруком у нас скоро прощание предстоит.

— Как прощание? — не понял Василий.

— Ну... переводят его, — Ревунков смутился. — Ничего, — он снова ожил, — скоро тебе последний укол всадят, тогда будем решать!

На прощание парторг сказал, что Матвеева бригада нравится ему от души, и не совсем было ясно, зачем все же он приходил в больницу.

Не успел Василий, зайдя в свою палату, ответить хоть что-нибудь соседу Савелию Крашенинникову, интересовавшемуся визитом парторга, как из коридора послышался Маринкин голос: «К Матвееву».

— Знаешь, дядя Вась, в другой раз болей дома или в правлении, — сказала ему она в коридоре.

В теплом, освещенном тамбуре, наполовину занятом широким жестким диваном, его ждал Микуля (иначе называть Валерку он так и не научился). Без шапки, в расстегнутой куцей курточке — ни дождь, ни ветер его не берут! Когда Василий схватил свою холеру, с ним был Микуля. Конструировали ворошилку для прибитых дождем валков. Идея была Микулина — прицепить впереди старой жатки без мотовила полотняный подборщик, а Василий сомневался: скорости у полотен не согласованы и вообще не потащат ли иглы подборщика солому вниз, в щель между ним и жаткой; и с какой скоростью двигаться комбайну по валку... На деле вопросов оказалось еще больше, но теперь он уже и сам загорелся.

Короче, продуло основательно. Когда Микуля нагибался (а прямо он не стоял), поясница его оголялась, и Василий, одетый куда как теплее, содрогался от зябкого озноба при виде его пупырчатой кожи. «Надень плащ немедленно!» — сердился. И вот Микуля перед ним. Здоровый, раскрасневшийся от одного лишь смущения, перекладывает сумку-пакет из руки в руку.

— Сча-ас, — говорит. — Сапоги там намывает...

Вошла Антонина. Не плащ, а балахон какой-то на ней широченный. «Э-э, ребята», — догадался Василий и подмигнул Микуле. И на племянницу поглядел весело.

— Тут, дядя Вась, и от нас и тетя Вера передала, мы заходили. Она завтра будет.

— Да и сегодня не скучно без посетителей, — улыбнулся Василий.

Через пять минут пустопорожнего разговора Антонина спросила:

— Не знаешь, дядя Вась, Маринка тут?

— Где ж ей быть.

Антонина живо разулась и скрылась за коридорной дверью.

— Взвеситься хочет, — смущенно пояснил Микуля.

Василий посерьезнел.

— Ты сядь-ка, милый друг, — сказал. — Кто вам сейчас встретился?.. Вот. Понял? Почему же я последний все узнаю?

— А че тебе узнавать-то? — удивился Микуля. — Ты болей...

— Я знаю, что мне делать! — вырвалось у Василия, и он несколько умерил свой пыл. — И как же вы разгружались в клуб? Ведь не вручную?

Микуля взглянул подозрительно.

— Я серьезно спрашиваю.

— Да пришлось две рамы выставить, — Микуля расцвел в улыбке. — Знаешь, Софроныч, законно получилось! Сбили деревянные лотки, ну с бункерами. На комбайне подъедешь, брезентовый хобот заправишь — и шуруй! Поле, правда, не ближнее. Но чем этих... ждать...

— Ты потише.

— Петрухе и Коле Дядину по лопате в зубы — и пошел! От лотков они по всему клубу разбрасывали. Окна напротив открыли — вентиляция! С пола — на сцену. Все погрелись. А эти, с правления, нынче приезжают... Давай орать! Иван Михалыч после подъехал, Карпеич за ним — они им отпели будь-будь!

— Да тише ты, говорю.

— А че такого-то? — Микуля зашептал, не остановишь...

И долго не мог уснуть в эту ночь бригадир. Поднялась, правда, и температура, но кашель не мучил так, как еще сутки назад. Он думал и думал. Начитавшись газет, похрапывал Савелий Крашенинников, язвенник. Постанывал третий сосед, пенсионер-инвалид из Покровки. Василий, ворочаясь, старался потише скрипеть пружинами. Думал о том, что рапс надо косить, а в бригаде всего один комбайн. И на зяби прибавки нет, а там, по всему, дело дойдет до морозов — и тогда что? Плуги рвать?..

Но он все же был не на бригадном стане, а в больнице, где ему причитались, как он прикинул от безделья, девять кубометров покоя. Савелий давал ему прочитан-

ные газеты, а когда сам читал, уступал приемник с маленьким наушником, который в обед и вечером ловил интересные постановки. Эти девять кубометров заставляли думать пошире.

Наверное, и правда в государстве творилось что-то интересное. Передавая газету, Савелий указывал, где что читать, сам брался за другую, и Василий слышал то его одобрительное «и досюда добрались», то возмущенно-обиженное «опровержение это, а не продолжение»... Сам он, что ни говори, ориентировался слабовато даже в том, на что указывал Савелий. Тому, наверное, помогали два техникума, законченные без отрыва от работы, а Василий, дочитав статью до подписи, часто спрашивал: «Ну и что? Перестройка поможет в том, перестройка поможет в этом... Это намеки, что ли, на вышестоящее руководство? Обращайся тогда прямо, при чем тут перестройка?» Получалось, что этим словом заменялись по крайней мере сотни полторы или две других слов — овеществленных, родовых, понятных Василию. Но даже и высокое начальство не гнушалось этим звучным, но туманным словом. В районной газете вообще ни одной статейки без него не печатали, видно, не казалось оно им конфузным.

И Василий спросил тогда грамотея-язвенника, как сам-то он это понимает. Ответил Савелий весьма основательно и подумав. Примерно так: перестройка — это значит гласность, демократия и максимум социализма.

— А насчет работать лучше? — спросил Василий.

— И работать лучше.

— А не пить?

— Ты что, издеваешься, что ли? — обиделся Савелий, но, поверив в искренность вопрошавшего, ответил уверенно и до конца: — Да, и не пить, и не воровать, не хапать, не развратничать, не наушничать и вообще... — Слов у него все-таки не хватило.

— И все главное? — спросил Василий.

— И все главное, — сказал Савелий и посмотрел на него подозрительно.

— Так не бывает, — вздохнул Василий, — вернее, так надо, но не так... Так всегда надо было.

Покровский пенсионер постанывал во сне. Савелий заковыристо и нерегулярно всхрапывал, замирая после каждого особенно громкого звука. Василий, сдвинув брови, глядел в потолок.

Они лежали в одной палате, но каждый со своей бо-

лячкой. За столом садились плечом к плечу, но каждый со своим аппетитом и интересом к меню, за которое каждый раз благодарила господа бога бабка Фекла, приходившая из изолятора.

Вспомнилась армия... Захотелось курить, и он протянул руку за леденчиком, приготовленным на углу тумбочки. Конфетка упала на пол, и от стука Савелий всхрапнул так, что покровский охнул. Василий замер с протянутой рукой.

В коридоре послышался сперва человеческий вскрик, потом торопливые шаги, стук двери во вторую палату. Потом кто-то быстро прошел по коридору, хлопнула дверца шкафчика на Маринкином посту, опять шаги... Соседи его проснулись. Савелий заскрипел сеткой, покровский спросил:

— Нынешний старичок, поди, помирает?

— Дождешься, — пробормотал Савелий.

Василию было бы жалко, если бы вдруг правда Сидор Кузьмич того... Он сел на койке, вставил ноги в тапочки, а когда в коридоре вновь послышались шаги, быстро подошел к двери.

— Мариш, — позвал сестру, — чего там?

— Укол всадила, — ответила сестра, укладывая что-то в шкафчике. — Хоть бы забрали его поскорей.

— Как забрали?

— Зять ихний вечером Елена Викторовне звонил, сказал, заберут. Вот и пусть забирают... А чего ты не спишь? Дать сонных таблеток?

Василий помолчал и вышел в коридорчик, затворив за собой дверь палаты. Маринка открыла свой шкафчик снова, а он присел на табуретку возле стола. Свет от лампы с железным дырчатым абажуром делал коридор просторным.

Это было старое правление. В наружной пристройке помещался кабинет Елены Викторовны, кухня, еще комнатушки — ход оттуда через столовую... «И правильно, что забирают Кузьмича», — подумал Василий.

— Если б не этот Делов, ночевала бы дома, — сказала Маринка, протягивая ему зеленую пилюлю. — Так проглотишь?

Василий взял таблетку, пососал и проглотил со слюной.

— Возьмет?

— Если спать захочешь, возьмет, — сказала Марин-

ка и сладко потянулась, даже правую ножку назад отставила.

— Не конфузь, — усмехнулся Василий, — я выздоравливающий.

Маринка глянула на него непонимающе и села за стол.

Перед засыпом Василию подумалось опять о бригаде, и когда через два часа Маринка разбудила его на укол, ему снился Коля Дядин, кидавший на сцену богодаровского клуба зерно совковой лопатой; стол президиума был уже завален, но три головы еще торчали из вороха, Василий не успел разглядеть, о чьи это лбы рассыпалась пшеничка... После укола он спал без сновидений, как обычно.

Примечание

Чувствуется, что «бригадная» — это все-таки не о бригаде. Подразумевается, очевидно, «бригада» авторов, чьи измышления свел воедино, хоть и без должного чувства меры, мордасовский сочинитель. На это, впрочем, указывали и многочисленные пометки читателей на полях рукописи. Они удалены, но, помнится, было написано:

«Я так не говорила!»,

«В том месте Калинкина лощина проходит»,

«Это было, но не в этот раз»,

«Не плагиатничай у народа!»,

«Фамилие вымышлена, но Сидор имеется»,

«Нам не надо иносказаний, недомолвок и прочей изоповщины. Говори прямо, когда есть что сказать!»,

«Пошлятина какая, фу!»,

«Александр Николаевич говорил: «Когда устроится прочное хозяйство общин на артельном начале, то будет такой прогресс в хозяйстве, о котором мы и помышлять не можем». Я имею в виду Энгельгардта»,

«Юрий (Егорий) — 6 мая»,

«Не плагиатничай, говорю, у народа! Народ не виноват, что умеет писать только заявления и жалобы»,

«Дай срок!..» — и так далее.

А как, вы бы видели, была перенасыщена рукопись эпиграфами! Сплошной винегрет. Тут и выдержки из докладов и постановлений районного значения, и строки А. Пушкина, П. Старцева, И. Малова, сомнительные пословицы и поговорки («не боится дед, что захиреет, кол-

хоз прокормит и согреет», «спать — не жать, спина не заболит», «х...» — короче, такая, что и не перескажешь печатно), а также гомеровское «Много умеем...», гесиодовское, точнее: «Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду. Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем...» Но и этого мало гипотетическим авторам! На самом почетном месте у них «куда идешь?» на латыни. Quo vadis? — видите ли!

Чувствуется — читатели все написанное принимают на свой счет, тогда как это не о них. Это «вообще».

Но остались еще две главки этого бригадного повествования. Милости просим, нам не жалко...

Привет из Лопуховки

«Дорогая Маша! Письмо твое получила еще перед Днем Конституции, а отвечаю, как видишь, после Седьмого ноября. Ну, ты сама видишь, что творится.

На твой вопрос сразу же отвечаю: нету! Если зимой будет, то дорого, а косынками у нас никто не вяжет, только метр на метр — теплые шали. И двести рубликов. И хорошо, если не подкрасят в чаю, нитку не подпустят. Но в общем, я буду как бы себе брать. Или шаль тебе не нужна?

Вася у меня болел, лежал в больнице. Простыл. Я сказала Елена Викторовне: воспаление у него или бронхит — все равно ложи. Это же мука мученическая смотреть, чем они занимаются возле своих комбайнов при такой погоде! Положила, а оказалось — воспаление у него в самом деле. На рентген в Мордасов съездили — у него там еще спайки! Говорят, ты, дядя, еще раньше воспаление на ногах перенес. Что же, говорю, на медосмотрах у вас осматривают? Ну, ты представляешь, что на это мужик может ответить? Но сейчас ничего, выписали, работает.

Павлушка рассказывал, как гостил у тебя. Спасибо, конечно, но ты не поваживай. Начнет еще деньги занимать. Кассету с этим «примусом» он, наверное, на твои деньги купил? Не надо, Маш. Хорошо, что вроде как тетка у него теперь есть в городе, но и поваживать, Вася говорит, не надо.

Ну, какие еще новости? Праздновали праздники както так... Ты знаешь, я, наверное, второго буду рожать, последние годочки. Брошу все и буду нянчиться, пока

натуральной бабкой не сделалась. Что я, из-за денег, что ли, работаю? Да провались они, все у нас есть.

Чилигин твой скушный, даже ругаться с ним неохота. Уголь, дрова — не дотолкаешься... Но это, Маш, неинтересно. Вообще как до стенки дошли. И все можно, и ничего не хочется. Да и захочешь, Маш, когда еще добьешься?.. Ты чувствуешь? Ну, ты-то, может, и не чувствуешь.

Пиши, я люблю твои письма читать. Вспоминаю, как сама приехала в Лопуховку девчонкой райцентровской, как Матвеев за мной начинал ухаживать, а отец его учителкой меня называл. Чилигин играл на баяне, молоденький, в училище не ездил еще... Хорошо было. Потом ты приехала... Ты, Маш, пиши!

Твоя Вера».

Осенний вечер
(прощальный растерянный взгляд)

С наступлением морозов решили, что зябь уже не поднять. Раскисшие за полтора месяца поля быстро промерзали. Сначала на три пальца за ночь, потом на четыре, через неделю — на четверть, и уже не оттаивали за день. И оставалось немного, и жалко было бросать, но куда денешься... Давно уже ковыряли землю без предплужников, черед отводили.

Настал день, когда первым, хотя и перед самым обедом, на загонку выехал Микуля; пристроился к нарезанной за два дня трехметровой ленточке, врубился — и два лемеха четырехкорпусного плуга с кряком, услышанным даже в кабине трактора, отскочили, остались среди чуть оттаявших на солнышке комьев развороченной земли. После этого решили с зябью завязывать.

— Отпустит мороз, я все равно добью, — заявил Микуля.

— Отпустит ли, — ухмыльнулся учетчик, — седьмого снег нападал? Теперь декабрь на носу. А много растаяло? Короче, я отчитываюсь за сто процентов, и все.

— Как это все? — строго спросил Иван Михайлович. — А на кого нам потом весновспашку вешать?

— Мать дорогая! — Учетчик торопился в Лопуховку, и долгий разговор был ему ни к чему. — Сколько можно говорить: на подряде мы, на подряде! В принци-

не никого не должно интересовать, когда, что и сколько мы делаем. Под урожай рядились — ждите урожай!..

— Кончайте бузу, — вмешался бригадир. — А ты отчитывайся как есть. Семьдесят два гектара, скажешь, оставляем... Все.

Учетчик уехал на «луноходе» домой.

— На двух комбайнах моторы надо полиэтиленовой пленкой увязать, — вспомнил бригадир, а дальше ему не пришлось придумывать дела для бригады, дела сами напрашивались. — Сеялки развернем — весной не докопаешься. Все бороны — к клубу, будем потом перевозить потихоньку к кузнице. Так... Бобылев, можешь домой отправляться, завтра с утра ставишь свой трактор на ремонт, место мы не бронировали, потом не всунешься. Бабакин с Бобылевым... Ну и ты, что ли, Виктор, поезжай, мать просила... А вы, друзья, чтобы сегодня же плуг на просяном поле выдернули. И тележку от подрытого куста притащите заодно... Все. Тут по ходу сообразим. Машина после шести нынче придет. Теперь все.

Но еще покурили. Отыскали молодым Иванам ломы — плуг на просяном выковыривать.

— Не надо было бросать, — сказал Микуля.

Бабакин и Виктор Алабин оставили на общество топленое молоко в термосах и направились к Сергею Бобылеву, уже сидевшему в кабине заведенного трактора.

Трактора разъехались. Павлушка Гавриков провожал взглядом Иванов.

— Жди их теперь, — сказал. — Надо было мне ехать.

— Приказы не обсуждаются, — наставительно изрек Микуля и пошел отматывать полиэтиленовую пленку, Володя Смирнов за ним.

— Вы там не больно шикуйте, — сказал им вслед Иван Михайлович. — На окна оставьте. Пушкин вам их будет затыкать?..

Коля Дядин отправился в гримировку к топливному насосу, над которым колдовал уже третий день; своим ходом решил человек в мастерские ехать.

— Ладно, Михалыч, ты пока печкой займись, — сказал бригадир и подозвал Гавриковых: — Боронами займемся. Вот сюда их, к стене...

— Сеялки катать — зовите! — крикнул Иван Михайлович, поднимаясь в кинобудку с ведерком уголька.

На площадке перед дверью он остановился и посмотрел по сторонам. Далеко было видно с трехметровой высоты. Раньше Богодаровку, может быть, и с десяти мет-

ров нельзя было разом охватить, а теперь — пожалуйста.

Остовы саманных стен тут были по пояс: и тот конец виден, где въезд, и где калинник у колодца. На месте деревянной школы уцелели заросший фундамент из плиточника, подстриженные козами ветлы и среди них памятник погибшим землякам. Два сварных куба, пирамидка сверху, а звезды уже не было. Безымянный памятник, как триангуляционная вешка. А когда-то народ собирался, красили перед маем... К двадцать пятой годовщине Победы, насколько помнил Иван Михайлович, варили эти памятники. А теперь в Лопуховке есть дорогой мемориал, на шести табличках попадаются и богодаровские фамилии, а погибших еще из двух разъехавшихся сел Лопуховского Совета заносить не стали — родных поблизости не оказалось и даже односельчан...

Саманные остовы скоро сровняются с землей, но клуб, свиноферма — они из бетона, и железная вешка еще постоит... Все пего вокруг от нерастаявшего в бурьянах, колеях и развалинах снега, все заброшено... И тянуло каждый раз оглянуться на все это запустение. О чем напоминало оно? От чего предостерегало?

Бригадир с Петром Гавриковым притащили борону и прислонили ее к стене клуба; Павлушка волочил свою сам. Микуля с Володей уже укутали пленкой двигатель на одном комбайне, но зачем-то влезли в кабину и застряли там. В дверях гримировки-мастерской Коля Дядин, сдвинув шапку на затылок, разглядывал на свету плунжер, не решаясь тронуть его блестящий бочок чернильным заскорузлым пальцем.

Иван Михайлович подхватил ведерко и зашел в кинобудку. Вскоре из косо торчащей трубы повалил черный дым.

— Зимовка живет и действует! — крикнул Микуля, появившись на мостике комбайна.

— Ты бороны таскай! — услышал его Павлушка.

— Для этой операции у меня разряда не хватает. По штанге...

Через час уже возились с агрегатами сеялок и культиваторов, расставляя их поодаль друг от друга, чтобы перед весенним ремонтом можно было сдвинуть снег бульдозером. Колю Дядина позвали, а Иван Михайлович сам пришел. В общем, погрелись.

— Нет, этих гавриков не дождешься, — уже с поло-

вины пятого стал ворчать Павлушка. — Мне надо было ехать...

Бригадир его будто не слышал.

Остатками пленки, которой увязывали комбайновые двигатели, обтянули две оконные рамы. Микуля лазил забивать чердачное окно. Наступали сумерки, их приход ускорила густая наволочь, затянувшая небо. Пролетали уже редкие снежинки, мелкие, но неторопливые в полете.

— Сыпанет, — предположил бригадир.

— Да куда они там заехали?! — не унимался Павлушка, но его продолжали не замечать.

— О, Михалыч электричество включил! — увидел Микуля свет в кинобудке. — На банкет приглашает. Пошли?

Пошли. Коля Дядин с великим сожалением замкнул дверь гримировки на болт.

— Если б не сеялки катать, собрал бы уже этот чертов насос, — пробормотал он себе под нос и, оправдавшись, больше о насосе не вспоминал.

В кинобудке горели два керосиновых фонаря, потрескивала печка, малиново светились ее бока и плита, на которой шипел и злился полуведерный алюминиевый чайник. Можно было раздеться и быстрее почувствовать всем телом напитавшее воздух тепло, пахнущее дымком и окалиной. Иван Михайлович поставил ведро с картошкой к печке, помыл руки и в большой кружке поднес воды, чтобы долить порядком выкипевший чайник. Капли, срываясь с посудины, падали на плиту, взрывались и убегали, не оставляя следов.

Бригадир достал расческу и причесался. Молодежь мыла руки в очередь.

— А этих друзей не слыхать? — спросил Иван Михайлович, раскладывая по раскаленной плите немытые, чтобы не очень подгорали, картофелины.

— Я говорил, мне надо было ехать! — бренча умывальником, подал голос Павлушка.

— Когда это ты говорил? — спросил бригадир, и больше вслух молодых Иванов не вспоминали.

Петя Гавриков взял с уступа электрический фонарь и подошел к окошечкам, три из которых были забиты доской, а на четвертом еще сохранялась заводская заслонка. Петя включил фонарь и посветил в зал, в темноту. Каким просторным казался он ему всякий раз. Петя представлял гулкие звуки музыки, а на скамейке у стены — девчат в зимних приталенных пальто с белыми

пушистыми воротниками и в пуховых платках. Лопуховские щеголяют сегодня в вязаных шапках, похожих на завитушки кремовых пирожных, шуршат синтетикой стеганых балахонов, стучат подошвами и балдеют под «Таракан». Петя хотел бы выбирать из тех, кто обут в валенки и покрыт платочками... Глаза, привыкши, различали уже драный задник на сцене. Петя опустил луч фонаря, и он уперся в ворох пшеницы; слабо заискрились не то залетавшие снежинки, не то морозный иней, отбросили тени спинки засыпанных зерном коек.

— Не студи, Петро, помещение, — сказал Иван Михайлович. — Нечего там смотреть...

О пшенице теперь тоже заговаривали редко, было известно, что часть все-таки выдадут им, и все.

Положив последние картофелины на плиту, Иван Михайлович тут же начал переворачивать на другой бок первые. Он раза два взглянул на сына, и Володя поднялся, чтобы ополоснуть кружки. Микуля поставил на край стола термосы с молоком, соль в консервной банке, подвигал коробку домино. Никто намека не понял, и он вздохнул: конечно, не время...

— Ты бы, товарищ Репин, своих охотников на привале сюда перевез, — сказал Микуля. — Или бы арбуз нарисовал. Ни грамма культуры, понимаешь, на культурном стане...

Коля Дядин глянул на свои руки, на бригадира, и продолжать Микуля не стал.

Что-то притихли они все в этот вечер. И работа не работа нынче была, так, субботник какой-то... Но, может быть, потому и молчали, наговорившись за день. Работа — это ведь поврозь большей частью. Один на один с трактором, комбайном ли, один на один с полем или пашней, с неближней дорогой...

Оживились, когда Иван Михайлович разлил молоко по кружкам, нарезал хлеба и ссыпал в ведро пропеченные, частью и подгоревшие картофелины. Ведро он поставил рядом с собой, накрыл старым ватником и на стол подавал потом по семь картошин зараз, помня, что и «друзьям» надо оставить.

— Кто теперь поверит, что бывали картофельные бунты, — сказал Володя Смирнов, прихлебывая молоко из кружки.

— А ты их видал? — строго спросил Иван Михайлович сына.

— Покорми тебя с месячишко одной картошкой, пожалуй, забунтуешь, — отозвался Микуля.

— Да сажать не хотели!

— В толк не взяли, — подал голос бригадир, — зеленые эти яблочки поели — гадость! Скосили всю ботву, в яму закопали — нам не надо! Потом разобрались что к чему...

— А что, правда, что ли, на одной каше раньше жили? — спросил Петя.

— Когда раньше-то? — усмехнулся Иван Михайлович.

— А я картошку в любом виде уважаю, — сказал Коля Дядин, уголки губ и нос у него были черными, пальцы не чище, и кружку с молоком он брал за ручку щепотью, оттопыривая мизинец; ни соли, ни хлеба Коля не признавал, когда перед ним была вареная, в мундире, или печеная картошка, — об этом он и хотел сказать.

Сразу же выяснилось, что Микуля любил арбузы. Петя Гавриков — домашнюю лапшу с курятиной, Володя Смирнов — вареные кукурузные початки; Иван Михайлович покосился на сына и промолчал. Он первым поднялся, смахнул в мусорное ведро кожурки и пошел мыть руки перед чаем. Все будто теперь только почувствовали, как славно пахнет из позвякивающего крышкой чайника дикой мятой и зверобоем.

И сели пить чай.

— Карпеича нет, он ведь еще шалфей где-то припрятал.

— А комочек сахару он не припрятал? — спросил Микуля.

Коля Дядин перестал прихлебывать, покопался в кармане и протянул ему карамельку в грязной обертке.

— Последняя, — сказал, чтобы быть правильно понятым; Микуля конфетку взял.

После чая отдыхали. Микуля послюнил палец и шоркнул Коле Дядину по носу.

— Уё-ой, — отпрянул тот. — Ты чего?

— Трубочистов нам тут не хватало...

Коля потерся носом о рукав телогрейки, и он сделался вороненым и заблестел от мазута.

— Раньше большие семьи были, — проговорил Иван Михайлович. — Верней, по многу семей в доме. Теперь и две — редкость...

— Я своих стариков сколько зову — не идут, — ска-

зал бригадир. — Там, говорят, привыкли. Если уж ног таскать не будем...

И не стал Иван Михайлович дальше говорить про большую семью.

— Государство как поставило? — нашелся Коля Дядин. — Каждой семье — отдельную квартиру! Живешь на селе — дом...

— К двухтысячному году, — уточнил Микуля. — А мне пока и с тещей не тесно.

— Вот провалились-то! — не выдержал все-таки Павлушка. — Пойду послушаю, может, тарахтят где...

Когда он открывал дверь, все затихли и ясно услышали еще хотя и далековатый рокот трактора.

— Волокут, — определил Володя. — Пустые теперь скоренько газовали бы.

В открытую дверь из густой синевы залетели стайкой крупные мохнатые снежинки.

— Все, теперь точно отпахались, — сказал Иван Михайлович.

Павлушка ушел вниз, затворив дверь. Помолчали. Почему-то не склеивался разговор. Ведь можно... самое время поговорить. Или уже не давит, не жмет ничего? Хорошо живем, что ли?

— Вот часика через полтора домой приедем, — словно с самим собой заговорил Микуля. — Со скотиной бабы уже управились, на дворе темень... Чем заняться? Ну, за водой пару раз на колонку сходишь... Дальше телек, чаёк, на горшок — и спать. Кончили день. Завтра...

— И завтра! — вдруг прорвало Петю, он вскочил, встал возле окошечек в зрительный зал и трахнул кулаком по заводской звонкой заслонке. — Лучше бы не доживать ни до чего!

— Что за ерунда? — строго спросил бригадир. — До чего ты дожил? Только-только руки, можно сказать, развязали, еще и оглядеться некогда было... Ты что?

Петя ни на кого не смотрел.

— В самом деле, — подал голос Иван Михайлович. — Руки развязали, высвободили, можно сказать... Кого же нам винить? Если и теперь не наведем порядок — грош нам цена в базарный день.

— И винить некого, — кивнул бригадир.

— Да навели, навели порядок! — усмехнулся Петя. — Поля подчистили, бороны под стену стаскали... А лахудры лахудрами остались!

Микуля засмеялся, и Петя, зверовато взглянув на не-

го, выскочил из кинобудки. Иван Михайлович поднялся, прикрыл дверь и посмотрел в первую очередь на Микулю.

— Да жениться ему охота, — пожал тот плечами, — а не на ком. Командировку бы ему устроить.

Помолчали. И вскоре услышали, что подъехал трактор, долетели голоса, силившиеся перекричать гул дизеля. И почти тут же в кинобудку ворвался Павлушка с двустволкой в руке.

— Я говорил, мне надо было ехать! — выкрикнул. — Мазилы! А я знал, что она возле тележки будет...

— Да кто?

— Лиса, кто! «Мы караулили», — передразнил он Иванов. — Караульщики...

Иван Михайлович засмеялся, потом бригадир с Володей, подхихикнул им Коля Дядин.

— Ну комики, — тряхнул шапкой Микуля и вышел из кинобудки.

— Зови этих друзей! — крикнул ему вслед Иван Михайлович. — Картошка застывает.

— Хрен им, а не картошку! — не унимался Павлушка, бросивший двустволку в угол.

— Ну, кончай уже, — перестав смеяться, сказал бригадир. — Откуда ружье?

— Откуда... Две недели в кабине возил. Салажата!

— Так они что там, охотничали?

— Не знаю, чего они там делали! Плуг и тележку притащили...

— Зови их сюда.

— Сами придут.

Павлушка сел на лавку и стал смотреть в угол. Иван Михайлович поднялся и пошел к двери, открыл ее, позвал «охотников» за стол.

— Захвати, Михалыч, картошек в карман, машина уже показалась, — ответили ему снизу.

Стали собираться домой.

Пока Иван Михайлович с Колей Дядиным искали замок, бригадир поджидал их на площадке. Молодежь гомонила за углом, возле заглушенного трактора голоса звучали неотчетливо, и было понятно, как сейчас тихо и глухо вокруг, как низко опустилась снеговая облачная пелена. Дед говорил, что как раз в такие ночи Боженька ближе всего спускается к земле, все видит и все слышит, но и всякая живая тварь чувствует его, и потому так бывает тихо и покойно. А в чистом небе что высматривать

Господа? Его там нет, он прилетает на густых снежных облаках, сеющих на поля перину и в души покой... Деда вспоминал Василий Матвеев, и, может быть, это он теперь опускался на снеговых облаках.

Высветив снежную, словно застывшую пелену, за углом развернулась машина.

— Грузитесь, живо! — крикнул шофер.

— Подождешь!

— Тебя дольше ждали!

— Э-э, мужики, домой! — В окно кинобудки мягко ударил снежок и раздался свист.

— А ты в гостях, что ли? — пробормотал Коля Дядин и вдруг увидел замок возле ножки стола.

— Как же он залетел туда? — удивился Иван Михайлович.

Фонари задули и вышли из кинобудки.

— Нашли? — спросил бригадир.

— Все, поехали...

Иван Михайлович на ощупь примкнул дверь, а замок пристроил в петлях дужкой вниз; последний ключ от него был потерян еще в сентябре.

Олег Хандусь

ОН БЫЛ МОЙ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ

— Зачем ты испортил картину?
— Я не испортил.
— Это работа знаменитого художника.
— Мне все равно, — сказал Грэй. — Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу.

А. С. Грин. Алые паруса.

1

Потом уже нравилось врываться в чужие дома, сбивая прикладом замки, выламывая ударами сапога ветхие двери. Да что там! Просто стоять посреди улочки, возле пестрых лавок, уверенно расставив ноги, задержав пальцы на холодном металле автомата. Чувствовать на себе боязливые взгляды дехкан. В этом было нечто упоительное, пьянящее...

Где он, Термез? Лагерь недалеко от границы. Десятидневная подготовка перед отправкой. Там я с тревогой смотрел на юг, на белесые горбы перевалов, иногда они виделись четко, иногда прикрывались осенней дымкой. Что меня ждет? Они отвечали снежным молчаливым взглядом. Перехватывало дыхание.

Все это не вспоминалось.

И слезы на глазах командира взвода. В последний день, вечером, он собрал нас к себе в палатку. Слезы, может, оттого, что дымила печка — ветер заносило в трубу, он трепал мокрый брезент. Голос взводного, хриплый и тихий, сливался с урчанием двигателя, генератор то и дело заливало дождем, он сбивался, и лампочка, качавшаяся на перекрестии растяжек под куполом, слабела. «Подъем завтра в пять. Сворачиваем лагерь. Готовность к маршу в двенадцать часов. Теперь скрывать нечего —

идем воевать. Ребята... у меня в Куйбышеве жена и две девочки... нам выпала честь».

Все пошли в парк к боевым машинам, подготовились и остались там спать. Мы с Лешкой вернулись в палатку. Печка остыла, на земляных нарах меж досками — черный отблеск воды, одну полу сдернуло с кольев и трепало в грязи. Она вырвалась, мы скользили, падали — окончательно вымокли, пока закрепили. Возле печки дрова, штык-ножом насекли щепок, но без бумаги никак... Я достал из нагрудного кармана последнее письмо от Юльки: сухое, адресовано еще в Германию... Лешка сказал: «Ерунда, сейчас согреем консервы, попьем чайку».

Он немного картавил и всегда что-то пел, тихо, и никто не слышал о чем, но на душе становилось теплей и уютней. И теперь отвернулся, поднял глаза и шевельнул губами.

Вспоминаю его лицо, а вижу правильный профиль на подмоченном брезенте — тень от беспокойного пламени свечи.

Поужинали, сняли бушлаты и подвесили сушить. У ящика с противогазами, стоявшего в углу, внутренняя сторона крышки оказалась сухой. Мы ее оторвали, бросили на нары, легли на нее, обнялись и заснули.

Меня разбудил животный страх. Охваченный детским ужасом, я соскочил и чуть не закричал: «Мама!» Страх толкал: надо бежать. Почему именно ты, что ты сделал плохого? Бежать. Закрыть лицо руками — и быстрей отсюда! Роняя что-то, гремя в темноте, я нащупал липкую массу бушлата. Вывернул рукава и бросил. Страх остановил: бежать некуда. Мама не спасет, если и добежишь.

Из печки мигнул и затих уголек. Я тронул рукой еще теплый чугун. Лешка проснулся...

Сегодня я его встретил. Готов поклясться, это был он — мой самый лучший друг. Один за свободным столиком в полуденном кафе. В пришторенных окнах серый день, нудная муть, утонувшее солнце. Мелькают прохожие. Внутри электрический свет, желчь в блеске синих столов. Запах кислого теста, селедки и хлорки. Лицо его бледно-тяжелое, и колет щетиною взгляд, а глаза потертые, как пластик со следами от тряпки.

«Это такой самый трудный момент, — сказал ты в ночь перед отправкой. — Не смогу тебя удержать — должен сам. Тогда будет легче. Зато когда мы вернемся...»

И ты был прав, и я вернулся героем: еще бы! Все с восхищением спрашивали: так ты там служил?! Расска-

жи. Хоть одного душмана-то убил? И я рассказывал и упивался своим героизмом. Наверстывал упущенное, хотя заклинал себя не делать этого, но остановиться не мог. Упорхнула Юлька — она первая заметила. Кажется, я ее ударил.

Потом выдали удостоверение о праве на льготы. Коричневые корочки. С их помощью можно отлично устроиться: закормить душу ветеранским мясом, переодеть ее в импортное барахло и закопать на льготном садовом участке, под яблонькой, чтобы ничего не видеть и молчать. Согласись, достойная нас награда. Жаль, тебе ни к чему.

В этом кафе, в компании с самим собой, ты выпускаешь из стеклянного ствола горькую и единственно близкую душу, щелкаешь ногтем по звонкому тельцу бутылки, прислушиваешься и, как всегда, что-то тихо поешь, обращаясь глазами к извести потолка. Вот две женщины вышли из кухни, из-за крашеной ширмы. Одна буфетчица, озабоченная, с белой крахмальной салфеткой на голове. Вторая, наверно, знакомая, с улицы. Мохеровый шарф, бесцеремонный прищуренный взгляд, и фигура пухлая, коробящаяся, как набитые авоськи в руках. На свертках просочились багряные пятна, с них капает жижа. Женщина быстро двинулась к выходу, ты обернулся и попытался что-то спросить. Та, что в шарфе, обратилась к подруге:

— Чтой-то у тебя там сидит?

— Да, надоел уже... — отмахнулась буфетчица.

— Вызови милицию.

— Толку-то?.. От него никуда не денешься, заберут, а завтра снова припрется — живет где-то рядом. — И многозначительным шепотом: — Он вроде как служил в Афганистане... Иногда я его боюсь — такой убить может. Погоди, я принесу ему винегрет.

2

Ранней весной (восьмидесятого — олимпийского) просветлились и заблестели дни, воздух ожил и наполнился ароматом остывшего сладкого чая, долины вспыхнули зеленью свежей травы, а реки помчались, разливаясь и удивляясь множеству младших братьев, падающих с гор.

В составе подвижной группы мы преследовали банду в районе Даши. Так говорили: преследуем. На самом деле, протискиваясь в глубь ущелья, задерживаясь у мно-

гочисленных бродов, завалов, мы толпились, словно стремились побыстрее выбраться из плена мрачных лощеных скал.

Банда?.. Мы гнались за призраком.

По ночам нас обстреливали, случалось, выкрадывали солдат, офицеров. Утром их находили без глаз, без ушей, без носа — неузнаваемыми. Или кровавое месиво вперемешку с камнями... Если вообще что-то находили.

Банда растворялась с рассветом.

Звезды слепли, в ущелье затекало утро. Солнце испуганно выпрыгивало из-за поседелых вершин, словно разбуженное буханьем наших гаубиц. Они отчаянно лупили по горам. Тем временем мы, мотострелковые роты, оцепляли ближние кишлаки, шныряли из дома в дом в поисках оружия.

Это называлось чисткой. В мазанных глиной лачугах, без деревянного пола, без мебели, нас встречали окаменевшие лица. Дети расползались по углам и зарывались в грязное пестрое тряпье. Некоторые дома были покинуты. Мы ничего не замечали. Сделав свое дело — перевернув все вверх дном, — уходили.

Что с теми, у кого было оружие?! Если есть оружие, значит, душман.

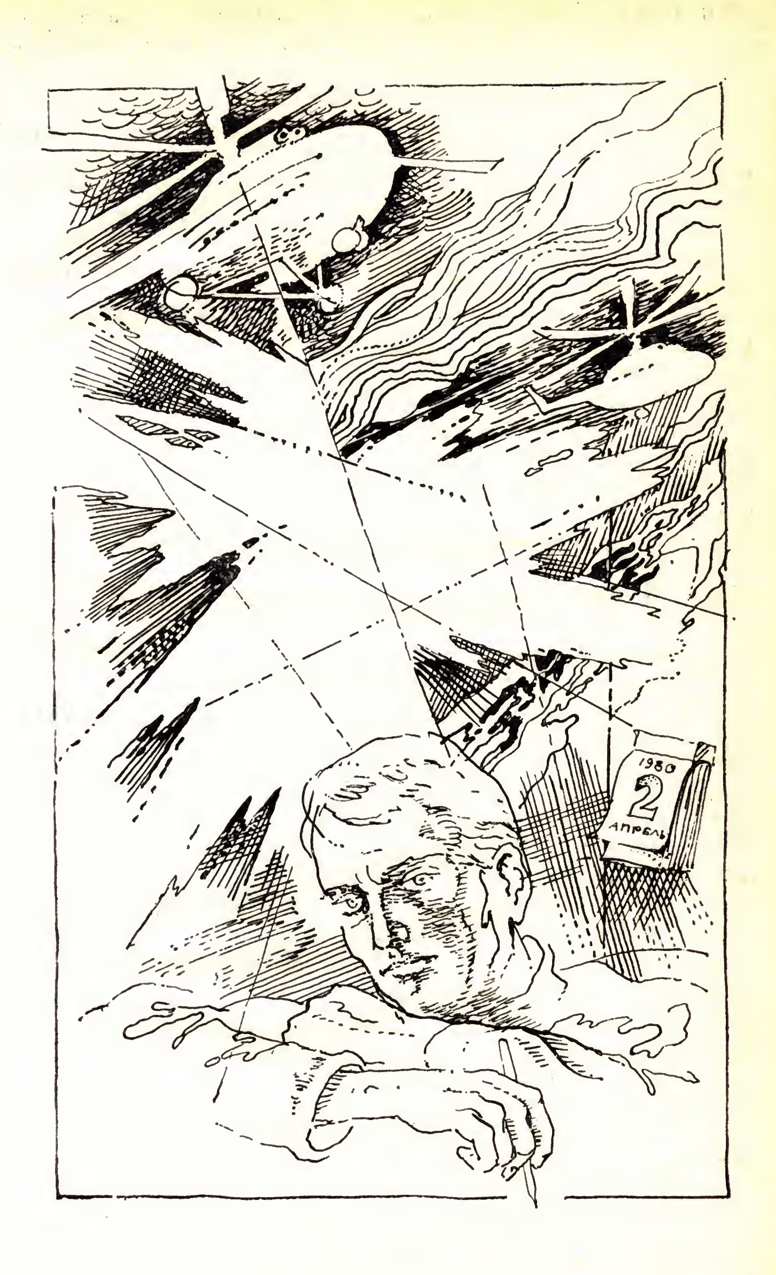
Стрельба, я замер: метрах в двухстах — справа. Не наши — неумело — длинными очередями. В ответ заклокотали «калашниковы». За мной! Перемахнув забор, через зелень небольшого садика я пробрался на выстрелы. Открылся дом, он выше остальных, убогих. Выглядит больше, добротнее. Перед ним залегло Алешкино отделение. Удачно установленный на крыше пулемет прижал ребят к земле. Кто-то шустро ползает из стороны в сторону — ищет укрытия, кто-то поспешно окапывается. Лешка за плотной стеной виноградной лозы, поднял ствол, стреляет с колена. Между сериями очередей ныряет в кусты. Неожиданно появляясь в другом месте, командует боем: пронзительно свистит, выкрикивает, дает отмашки рукой. Снова ныряет, выныривает и открывает огонь. Я пробрался к нему:

— Надо отходить, Леха! Голыми руками не взять. Передадим на НП — ствольникам — пусть бомбят!

— Из-за одного подонка — весь кишлак?! Ты же знаешь пушкарей. У тебя есть граната?

— Не добросишь.

— Давай. Попробую зайти сзади. Воп, видишь крышу сарая? Будь здесь. Где граната?


1980
2
АПРЕЛЬ

Он принял увесистую гранату, сунул ее за пазуху и махнул в сад. Я ничего не успел сообразить. Подскочил командир взвода: «Какого он туда полез?! Я связался с танкистами...»

В промежутке между стрельбой прорвался рев дизеля и скрежет траков. Из-за деревьев выдвинулась перевернутая бронированная чаша. Она расперла проулок, неуклюже развернулась, подняла тучу дыма и пыли... Вдруг — вспышка, я бросился на землю — ухнул взрыв, дуплетом отозвался второй.

То, что я захватил взглядом, падая, прокручивается в памяти кадрами замедленного действия.

Вот мощный огненный столп подхватил крышу, находящийся там человек вспрянул, разбросав руки, потянулся грудью к небу и, растерзанный десятками осколков, боком направился вниз. Крыша повернулась в воздухе, покачалась и опустилась на то место, где прежде были стены.

Ломти земли и глины пробарабанили градом, стало тихо, только оттянутые перепонки продолжали звучать вскриками уносящейся «скорой помощи».

— Не успели танкисты, Лехина работа, — выдохнул я, встал и пошел к развалинам дома, на ходу сплевывая сгустки слюны и пыли и пытаясь отряхиваться.

Лешка стоял возле перекошенной, с торчащими ребрами крыши и нетвердой правой рукой прилаживал на левом плече оторванный рукав маскировочной куртки. Он опустил голову и нахмурился, его покачивало. Прямо из-под ног на него глазело лицо молодого афганца с застывшим выражением идиотского восхищения. Лешка оставил его так, убедившись, что мертв.

— Это ты, командир? Шваркнул. Ну и дела-а... — пропел подошедший ефрейтор Шарапов. Он с ненавистью взглянул на душмана: — Вот сволочь! — Отвернулся, поднял голову и, прищурившись, посмотрел на солнце, словно призывая его в свидетели. Потом засмеялся: — Здорово!

— Зубы закрой — кишки простудишь! — ответил Лешка.

Он что-то заметил, шагнул и нагнулся. Потянул за ремень, перекинул его через голову и взвалил на себя американский ручной пулемет, тот, из которого стрелял афганец. Нам уже попадался такой: с широким, напоминающим хвост рыбы прикладом и рогообразным магазином. Лешка надвинул на глаза обтянутую мешковиной

каску, сделал свирепое лицо и навел пулемет на воображаемого душмана. Качнулся на широко разбросанных согнутых ногах, изображая расстрел. На выдвинутом вперед плече из-под оторванного рукава показалась наколка: герб Виттенберга с башней Лютера и надпись под ним: ГСВГ. Такие наколки были у многих.

— Похож! Бросай, хорош дурачиться, у них там целый склад — иначе зачем ему было так упираться? Попробуем отодвинуть крышу, — предложил я.

— А что? Ну-ка давай все сюда! — скомандовал Леха. — Взяли! — Человек десять вцепились в край крыши, подняли и, скантовав, отбросили в сторону, будто открыли огромную шкатулку.

То, что было внутри, перемешалось с рыжей землей и не сразу впилось в сознание. Несколько минут мы стояли, не веря глазам. Сердце заколотилось вдруг так, что в моменты гулких тупых ударов темная диафрагма затемняла взор.

В центре комнаты, в мятом алюминиевом тазу, сжался смуглый младенец — только что тлевший и еще теплый уголек. Рядом, поджав под себя костлявые ноги и неестественно вывернув в нашу сторону желтую ладонь, замерла старуха. Может быть, в момент взрыва она собиралась купать новорожденного, а сейчас, казалось, молилась, уронив зачем-то голову в таз. Ее старая кровь, собирая в пучки редкие волосы, лениво стекала на дно и, смешиваясь там с младенческой юшкой, через рваное отверстие в тазу выходила наружу. В дальнем углу, под белой с пятнами простыней, вздрагивало тело молодой матери. Еще не растворившийся румянец блуждал по ее усталому лицу.

Отвернуться, отвернуться! Но невидимая сильная рука сдавила затылок и тыкала внутрь развалин, как слепого щенка в миску. И сердце выкрикивало в такт: смотри! смотри! смотри!

Никто не решился искать там оружия. Взводный приказал продолжить чистку.

От земли исходило парное молочное свечение, и хотя вверху уже проступили звезды — внизу было смутно, но еще светло.

Мы поужинали всем отделением, подогрев на костре гречневую кашу с тушенкой. Ели молча, молча пили чай. Потом, посапывая и перебрасываясь негромкими

фразами, стали укладываться: кто на панцирях БТР, кто на тентах машин. Заняло свои места боевое охранение. Как обычно, я разбросал на броне масксеть, снял тяжелый ремень с подсумком и лег. Ладони — под затылок, под правый бок — автомат.

Где-то совсем близко свиркал сверчок, а издали с болотным холодком доносилось бульканье жабы. Прямо на меня смотрела Большая Медведица. Малая. Мысленно соединяя прямыми другие звезды, я не заметил, как уласкал ночной бархат — все поплыло, и фигуры, которые я создал, рассыпались от черного блеска глаз. Так может смотреть только Юлька!

— Э, ты не спишь? — Я вздрогнул, повернулся: внизу стоял Лешка. — Поговорим?

— Ходишь тут... Залазь. — Я сел и достал сигарету. — Чего не ложишься?

— Дом из головы не выходит. Это я их...

— Ты ведь не знал. На твоем месте мог быть любой.

— Любой. Не знал. — Лешка словно пробовал на вкус эти слова. — А что мы знаем?! То, что если бы не мы, то американцы, что мы друзья. Нет, что-то не то мы делаем...

— Не развозись. Помнишь, как ты говорил мне? Это такой самый трудный момент. Завтра будет уже легче. До дембеля всего чуть больше ста дней.

— Нет. Легче не будет. Ни завтра, ни потом. Я пойду к этим людям.

— Это волчья стая. Они тебя растерзают.

— Люди не могут жить по волчьим законам.

— Иди. Я не смогу тебя удержать. Только знай: ты мне не друг, если уйдешь, и все будут считать тебя дезертиром.

— Спи. Ладно. — И я пошел спать. Утро мудренее ночи.

О том, что случилось дальше, мне особенно трудно вспоминать. Утром его среди нас не оказалось. Весь день мы искали вдоль излучины быстрой горной реки. На другую сторону он перебраться не мог. Нашли. Не стоит описывать то, что нашли.

Вечером я сделал запись в своем дневнике: «2 апреля. Сегодня отправили Лешку. Вернее, то, что от него осталось. Он был мой самый лучший друг».

Виктор Кузнецов

ПЕТЬ ХОЧУ!..

Обрубок — это фамилия такая. Алексей — батькович Обрубок. Тридцать восемь лет. По паспорту — русский. Милиционер.

...Фамилия, так сказать, весьма «говорящая», потому что внешне милиционер Леша действительно необыкновенно похож на ровно отхваченный от большого дерева кусок: росточка в нем всего метра полтора, сложен он весь как-то особенно закругленно, гладкое брюшко, огромная шарообразная голова, маленькие бегающие глазки, вялый подбородок, короткие «кавалерийские» ноги. Говорит Леша очень мало, голосом глухим и бесцветным. Выражение лица в основном строгое, неприступное и недовольное. Леше думается, что в глазах простых смертных, окружающих его в повседневной жизни, работник РОВД должен выглядеть именно так.

На работе своей Обрубок не из лучших, но и не из худших. Старается ладить с начальством, немножко подхалимничает, в основном же делает все для того, чтобы как можно поменьше быть на виду у командиров. Осторожен. Никого из своих коллег не ругает, но и не защищает, когда это делают другие. Дослужился до младшего сержанта и четко знает, что выше старшины, увы, ему ни в жизнь не подняться.

Перед службой, вырядившись в милицейскую форму, которую он очень бережет, Леша любит подолгу стоять у зеркала, любуется сам собой, то выше поднимает фуражку, то на бочок ее завалит — хорошо! Душа радуется!

Живет Леша в коммунальной квартире. Соседи у него — молодой преподаватель музыкальной школы баянист Рудик Коровкин и семья Лаптевых: она — врач, он — художник из Дома культуры.

Три года назад Леша женился. Нашел, увлек, отхватил где-то в пределах своей работы двадцатилетнюю Галку, бабенку вечно растрепанную, вздорную, горластую, внешне под стать своему мужу, только потяжелее, пожалуй, раза в полтора. Галка, несмотря на свою молодость, быстро сообразила, разобралась, что к чему, и туго взяла Лешу в свои не тонкие и не худые руки. Поначалу Леша пробовал «возникать», но Галкин голос звучал гораздо крепче, ударить ее он боялся, так как это запросто могло стать известным по начальству, и еще, если Галка обижалась на Лешу, если ей что-то не нравилось в его поведении, то она с ходу объявляла мужу мертвый бойкот в постели, и Леша страдал до тех пор, пока не становился на колени и серьезно не просил у своей благоверной прощения.

Однажды Леша, распаленный любовными похождениями холостяка Рудика Коровкина, пользуясь кратковременным отсутствием Галки (она вторично уже находилась на операции, название которой до поры до времени взрослые стараются не расшифровывать не в меру любопытным детям), решил Леша попробовать тихонько изменить своей жене. Для этой цели он закупил бутылку шампанского и бутылку водки, после чего вовлек каким-то образом в свои двенадцать квадратных метров вдовую, веселого нрава и большой отзывчивости Тому Бусову из соседнего подъезда, но потерпел такое стыдное поражение, что, кажется, навеки отбил всяческую охотку по этой части. В самом начале все было нормально. А потом... Кто бы мог подумать — Тома отчаянно сопротивлялась! Леша закрыл дверь и спрятал ключ. Пьяная Тома кричала пронзительно громко и ударами длинных ног нестерпимо, катастрофически сотрясала тонкую дверь. Леша испуганным шепотом призывал женщину сохранять благоразумие, просил пожалеть его, обещал ей златые горы. Тома принялась бить окна и мощно звезданула Лешу будильником под левый глаз. Мужчина сдался. В течение нескольких последующих дней Тамара с на-

слаждением, явно по-крупному гордясь собой, посвящала жителей дома во все некрасивые подробности этой истории-попытки. Тем самым она как бы начисто опровергала о ней слухи и прочее. Так, таким манером, Галка Обрубок получила огромный, на всю семейную жизнь вперед козырь. Теперь Леша безропотно мыл полы, стирал белье, случалось и женское, жарил и парил на кухне.

Художник Лаптев откровенно издевался над ним, подсмеивался, зараза, но Леша терпел. Он вообще страстно ненавидел и презирал этого Лаптева. За морду его веселую вечно, за жену, всегда чистую и тихо-светлую, за жизнь его такую свободную и легкую. Хочет — работает, змей, хочет — нет, с книжкой валяется, в любое время выпить может, и жена — хоть бы словечко ему против. Малюет всякую дребедень и еще деньги за это получает, причем не малые деньги-то. Вот он, Леша, когда в армии служил, одного художника знал, так то натуральный художник был! Фотокарточку твою возьмет и такой портрет с нее простым карандашом нарисует — глядишь и не наглядишься! Коней мог рисовать, баб голых, разное... И быстро-быстро всегда рисует. К тому же учесть требуется, что делу такому он совершенно никогда и нигде не учился. А этот — по полгода обыкновенные сопки да речку под ними мажет. Еще потом дураки находятся, в области и даже в Москве, ха-х, гадство какое, хвалят его, понимаешь. А за что, спрашивается? Да за то и потому, что у него все знакомые, пьет с каждым, даже с начальником милиции, в которой служит он, Леша, вот и результат отсюда, тот же самый блат и ничегошеньки более.

К тому же в скандале Лаптев и Обрубок постоянном друг с другом. Владения не поделили. Лаптев, как въехал в эту квартиру — он недавно въехал, — так сразу и догадался холодильник свой на кухне поставить, было место. Леша, сколько жил здесь, и в голову такое не приходило, в комнате агрегат свой держал. Теперь он тоже рад бы освободить полезную площадь, тоже на кухне холодильник свой ему поставить глянется, да все, поздно уже, ушел поезд, занято место. Галка — та просто из себя выходит. Психует и Леша.

— Убери, — говорит он Лаптеву, — холодильник. Не положено здесь ставить.

— Это почему же так — «не положено»? Кто тебе сказал? Брось, майор... Он ведь никому и никоим образом здесь не мешает. Стоит и стоит, как вкопанный.

А в нем, видишь, водочка экспортная. Угостил бы я тебя, да больно уж ты мужик дешевый, выше бормотухи, мне думается, вряд ли чего заслуживаешь.

— Мы и без твоей водки обойдемся! — кричит Галка.

А Леша, обидевшись на «майора», идет писать жалобу в домовый комитет. Конечно, комитет не может запретить Лаптеву держать холодильник на кухне. Тогда Леша приводит пожарника. Тот деловито осматривает розетки, проводку, зачем-то измеряет дверной проем и тоже разводит руками: «Все нормально. Придраться не к чему».

Во всю длину коридора, поверху, от стены к стене, натянуты веревки. На них и зимой и летом Галка сушит белье. Висят простыни, рубахи, обтрепанные лифчики, майки, чулки и прочее... Чтобы пройти подо всем этим и не задеть головой, Лаптеву — а он человек высокий и, главное, крайне брезгливый — приходится старательно сгибаться каждый раз. А когда он приводит к себе гостей, то сразу останавливает их на пороге коммуналки и начинает изгаляться в адрес семьи Обрубок.

— Осторожно! Прошу, дорогие гости, обратить внимание на эту уникальную коллекцию... Просьба руками не трогать и глубоко не дышать.

Леша тем временем моет на кухне посуду, слышит всё, и его буквально колотит от злости. Смерти и только смерти желает он Лаптеву!

Накурив в своей комнате, а Леша не курит, художник начинает проветривать ее, открывает дверь в коридор, распахивает форточку.

— Ты специально создаешь сквозняк! — требует закрыть дверь Леша.

— Да пойми ты, голова, раз в сутки я должен непременно проветривать свою норку, — спокойно останавливает его Лаптев.

— Тогда не кури! Грамотный человек...

— Нет, братец майор, не могу. Долгое никотиновое воздержание крайне отрицательно сказывается на моем здоровье.

«Чтоб ты подох!» — зеленея, думает Леша.

Вот так они и живут...

Не всегда в мире Обрубок и с Рудиком Коровкиным. Но того он еще терпит как-то, даже в гости иногда к нему заходит, смотреть зарубежные журналы с фотографиями обнаженных женщин.

Книг Галка и Леша не читают. Из газет выписывают местную — «сплетницу», областную — «брехаловку» и центральную «Труд». В местной лет семь назад, на День милиции, кажется, упомянули Лешину фамилию с хорошей, разумеется, стороны, вдруг еще такое будет? В «брехаловке» печатают телевизионную программу. «Труд» раз в месяц дает официальную таблицу розыгрыша денежно-вещевой лотереи, один-единственный билет которой Обрубок приобретают в обязательном порядке и свято верят, что когда-нибудь они все-таки — должен же быть бог на свете! — выиграют. И выиграют не какие-нибудь там часы «Полет» в простом корпусе, а машину, на худой конец — хотя бы пианино, подороже которое. Его же не обязательно брать надо, деревяшку эту полированную, можно и деньгами стребовать... В кино, на концерты Обрубок тоже не ходят. За каким лешим деньги зря переводить? Есть же телевизор, вот и смотри его хоть целыми днями. Правда, считает Леша, по нему в основном дребедень всякую кажут. Редко-редко когда хороший концерт дадут или фильм старый демонстрируют. А новые — их вообще неизвестно зачем только снимают, сколько голову ни ломай, так и не поймешь толком — кто, как, куда в конце концов бриллианты делись?..

До денег Леша и Галка оба жадны не в меру, каждый рубль у них на самом строгом учете. Экономят на всем, включая питание. Есть у них цель заветная — поскорее собрать десять тысяч и смотаться с Колымы напрочь. В Горловку, что в Донецкой области, на родину, там уж и пожить всласть, а здесь весь век свой волков морозить — они не дураки. Поэтому оба, особенно Галка, не гнушаются такую одежонку на себя надевать, которую Лаптевы, например, давным бы давно уж в мусорную машину выбросили. Эти — носят. Но когда представляется случай купить хорошую тряпку, да если по сходной, терпимой цене — не отказываются, не упускают такой возможности. Покупают и прячут в чемоданы. Т а м будем носить. Пусть т а м и родственники видят, и знакомые, не беден Обрубок, не в отца своего одноштанного пошел.

...И вот как-то раз в долгий зимний вечер Галка в хорошем настроении ни с того ни с чего сказала вдруг. Сидела-сидела и сказала:

— Лешка, а вот ты, — она улыбнулась, — говорил

мне, что петь любил, а? Молодым еще, хвастался, хорошо пел будто. Помнишь, говорил?

— Ну говорил. И что?

— Да то, что хоть бы взял и спел, что ли. Скучно...

— Я?

— Ты, конечно. Спой, попробуй. Чего тебе стоит? А я послушаю. Спой... Ну я же прошу тебя.

— Какую?

— Просто как маленький! Я откуда знаю, какие ты там знаешь? Выбери любую и спой.

Леша зарделся, откашлялся и, уставившись в морозное окно, в длинную темень за ним, вздохнул глубоко, отвернулся и запел:

Ах, зачем ты, ямщик, перестал песню петь,
Приумолк и такой ты угрюмый?
Колокольчик вдали продолжает звенеть,
А тебя не слыхать, друг мой милый.

Алексей пел очень серьезно, всего себя вкладывал, всю душу, старался, постепенно привыкая к своему голосу, и сильнее обычного хмурился, сжимал к переносице брови и, взглядывая краешком глаза на Галку, чуть злился ее несуразной улыбке.

Это было давно, год примерно назад,
Вез я девушку трактом почтовым.
Круглолица была, точно тополь стройна,
И покрыта платочком лиловым.

Леша рванул из стороны в сторону головой. Галка сидела притихшая, вся — внимание и сосредоточенность. Ее молчун пел. И как пел!

Попросила меня, чтобы песню я спел.
Я запел, а она подпевала,
Кони мчались стрелой, словно ветер их нес,
Словно сила нечистая гнала.

Вдруг жандармский разъезд перерезал ей путь,
Тройка быстро, как вкопанна, стала,
Кто-то выстрелил вдруг прямо девушке в грудь,
И она, как цветочек, завяла.

Он полностью вошел во вкус песни, в чувство ее. Он даже как-то, казалось, почти совсем забыл, что его кто-то слушает сейчас. И, подхваченный этой высокой и тугой волной, грустью ее и светом, Леша как бы снова был молодым, был там, в своем семнадцатилетии, когда,

хлебнув украдкой самогонки из отцовских тайных припасов, шел он вечерним полем под звездным небом из Горловки на близлежащий хутор, к дивчине своей желанной Оксане Доброденько, думал о горячих ее губах и мягком, пахнущем яблоками, потом и молоком теле, пел, счастливый предстоящей встречей...

Но не долго пришлось ей на воле пожить,
Под кустом ее смерть ожидала.

Видит парень, вдали холм зеленый стоит,
Холм зеленый, поросший травою,
За далеким холмом эта девушка спит,
Унесла она песню с собою.

И все. Леша замолчал.

Но что сделалось с Галкой, господи? Она так живо и зримо представила себе эту девушку в лиловом платочке, почему-то с ее, Галкиным лицом, увидела тот зеленый, поросший мелкой травою холм... И она плакала. Улыбалась и плакала. И, обнимая, целуя смущенного и растроганного Алексея, она все повторяла и повторяла ему непривычно нежно и тихо:

— Леха! Лешенька... Как хорошо... У тебя талант. Талант, Лешенька!

— Мне, мне бы подучиться. Я бы... — вздохнул Леша.

Уснули они в эту ночь уставшие и такие супружески счастливые, словно впервые, только что встретились.

Теперь Галка все чаще и чаще просила его спеть. И, щедро поощряемый ею, муж Леша почти никогда не отказывался, пел. Пел песни новые и старые, а знал он таких, оказалось, не мало. Он нередко совершенно неправильно передавал мелодию, но не чувствовал этого, не понимала, не замечала его ошибок и восторженная Галка. Леша брал неверные интонации, не там расставлял акценты, слабо и плохо управлял своим красивым, но не таким уж, как казалось, редким голосом. А Галка твердила:

— Замечательный голос! Прямо как настоящий певец. Я глаза закрою и Муслима Магомаева вижу. Вот ведь какой у тебя талант, а люди-то и не знают. Жалость какая — никто ничего не знает. Ты хоть в эти, в концерты иди, запишись в художественную самодеятельность, слышишь, Леша? Обязательно запишись.

— Да ну. Стыдно...

— Стыдно? Ты что, украл чего? Ишь какой, «стыдно»

ему! Другие, может, и похуже тебя есть, а поют и ничего. Не стесняются. Нашел стыд, тоже мне. У тебя же талант, т а л а н т, понимаешь? Это же не у каждого встречного-поперечного талант-то! Будешь выступать, может, услышит кто-нибудь, а? Такой, который с понятием... Пригласят петь в город. Потом дальше, в Москву... поедем. Представляешь, по телевизору тебя показывают, это — «Алло, мы ищем таланты», или «Шире круг», афиши кругом!.. Сразу квартиру получим. А денег, сколько у них денег!

— Сколько? — спрашивал Леша.

— Да уж побольше нашего, и всякого добра полнымполно. Чего им, поехал за границу, выступил там с концертом, попел, и везет назад что хочет. Нет, думаешь?

— Наверное, так, — соглашался Леша, и виделась ему эта новая его жизнь, вся в ярких огнях, улыбках, цветах, и аплодисменты, аплодисменты... Он как-то удивительно легко поверил в свою высокую незакатную звезду. И эта наивная, но сильная вера сладко и мягко отравляла теперь все его нынешнее существование. Появилась определенная жалость к себе, медленно, постепенно зрело тихое презрение ко всем прочим окружающим. «Что они могут? — думал Леша. — Пустые люди. Без всяких надежд на будущее». Ему даже и сны стали сниться особенные, и каждый, по словам жены, был к счастью, к удаче непременной. Он и здороваться-то по этой причине со многими перестал.

— Представляешь, — говорила Галка, — как мы им всем нос утрем? Особенно этому Лаптю! Художник, прости господи... Ты пой больше, тренируйся пока. Больше надо тренироваться. Чтоб сразу, раз — и в дамках.

— Боюсь я, вдруг не получится? — признавался Леша.

— Получится! Пой! Пой, главное, — разбивала его сомнения Галка. — Я что, оглохла, не слышу, какой у у тебя голос? Э-э-э...

И Леша пел. Пел все подряд. Но особенно часто свою коронную «Эх, зачем ты, ямщик...».

Однажды Лаптев спросил его при встрече:

— Ты чего, чекист, майор разведки, заболел, что ли?

— Нет, — нервно встревожился Леша.

— А чего ж ты все воешь и воешь по вечерам? Как зверь раненый, порой даже оторопь берет, страх... Мы уж со своей думаем, не того ли ты самого... на коллекционировании дензнаков, находящихся в нынешнем обраще-

нии? Сходил бы, по-хорошему, к психиатру, что ли? Может, вовсе и не поздно еще. Или возьми напейся, тоже иногда неплохо помогает. Рекомендую...

— Завидует, гад! — ругалась Галка. — Слышит все, понимает и завидует. Не обращай внимания на паразита. В упор не видь. Твое-о де-ело петь! Его — завидовать! Пусть... Пусть.

Как-то они зазвали к себе Рудика Коровкина. Послушать. Оценить. Как-никак, а человек все ближе их к музыке стоит.

Выпивший, раздобревший Рудик сразу смекнул, в чем дело, и стал отчаянно, кстати и некстати используя термины из сольфеджио, гармонии и полифонии, нахваливать Лешкин голос. Рудику наливали, Леша пел: «Эх, над нами вьется знамя — красный шелк, по степи широкой шел стрелковый полк, а вокруг цвели колхозные поля...» и «Вот ты мчишься туда, где огни, я зову, но тебя уже нет! «Догони, догони!» — ты лукаво кричишь мне в ответ», следом — «Долго будет Карелия сниться...», пел, старался, Коровкин хвалил. Он никогда не предполагал, что это так серьезно для них.

— Значит, талант есть? — спрашивала Галка.

— Определенно! — категорично заверял Рудик.

— И можно выйти в настоящие певцы?

— Вполне возможно, если, конечно, приложить максимум усилий, старания и терпения. Но...

— Что «но»? — пугалась Галка.

— Так... Все нормально. Дерзай, Леша, дерзай. Искусство требует жертв. А голос у тебя — будь здоров. Немножко Шаляпин, немножко Собинов, чуть-чуть Трошин. Нормально!

— И Магомаев, да? — торопливо подсказывала Галка.

— Ну, где-то и Магомаев, — степенно соглашался Рудик.

Ему наливали по новой. Не жалели ради такого случая. То есть не очень жалели.

— А вот скажи, Рудик, кому бы показать Лешу-то, композитору какому или кому? — спрашивала Галка. — Чтоб... это...

— А-а, понимаю, все понимаю. Можно! Организуем. В городе, в музыкальном училище, есть один — Семен Борисович Храмцов. Прекрасный, замечательный педагог! В свое время в Большом театре человек пел. Пред-

ставляете — в Большом! Он в этом деле, — Рудик поднял вверх палец, — настоящий профессор.

— Ну?! — вскинула брови Галка.

— Определенно!

— Ну и как же нам с ним встретиться-то бы, а, Рудик?

— Как встретиться? Нормально. Вот приедет он к нам, он часто приезжает, нет, не ко мне лично, а в школу... И я приведу его. А чего? Познакомитесь.

— Ой, спасибочко тебе большое, Рудик, спасибочко наше! Ты закусывай, закусывай, не стесняйся. И уж не позабудь свое слово, постарайся, мы отблагодарим, в долгу не останемся.

...Кончилась зима, весна засияла, а «профессор» из областного центра все не приезжал и не приезжал. Совсем извелись и изнервничались в этом томительном ожидании Галина и Алексей Обрубок. Скорей бы уж, ведь — с ума сойти! — сколько времени впустую уходит, и с каждым днем, с каждым часом все меньше и меньше на долю той, другой, славной и расчудесной жизни остается! Сами посудите — разве не жалко?

— Ну когда? Когда?.. — все чаще подступали Обрубок к Коровкину.

Рудик уже сто раз покаялся, что связался с ними, но отказаться от своего слова он как-то стеснялся, думал, надеялся — они первыми забудут, одумаются, выбросят из головы, но не тут-то было. «Крепка броня и танки наши...»

— Скоро приедет. Ждите, — снова и снова обнадеживал он их. — Готовьтесь, пока еще есть время в запасе. Готовьтесь, главное. Чтоб не ударить лицом в грязь перед человеком.

— Уж как-нибудь не ударим. — Галка стала даже на жену Лаптева смотреть с откровенной и нескрываемой гордостью.

С наступлением лета по вечерам, в свободное от дежурства время, Леша стал уходить за поселок, подальше от насмешек художника, облюбовал там себе укромное местечко и пел, пел, пел... Пока однажды не сорвал свой голос.

Как они переживали! На Галке платья стали обвисать. Какие только рецепты и советы не использовали они для лечения Лешиного горла — и облепиховое масло достали, и прополис... Как-то у Леши и вовсе не хорошая мыслишка мелькнула: «Застрелиться, что ли?» К счастью,

все обошлось. Леша выздоровел, голос восстановился в прежних достоинствах.

Близилась осень. И тогда они порешили — ехать к «профессору» самим. А что еще, если гора не идет к Магомету... Рудик, явно нехотя, дал им адрес, объяснил, где искать училище, вручил рекомендующее письмо на имя Храмцова.

На другой же день — не могли ждать больше! — Галка и Леша, вырядившись во все новенькое — вот и пригодилось! — благоухая одеколоном «Полет», сели в автобус.

Храмцов оказался маленьким жиденьким старичком с седой короткой и смешной бородкой.

— Добрый день. Чем могу быть полезен?

— Мы... Я... — замялся Леша.

— Вот, вот письмо вам, — вышла вперед Галка.

Храмцов тут же, в коридоре училища, вскрыл конверт. «Уважаемый Семен Борисович! Если найдете время, послушайте, пожалуйста, этого человека и объясните ему все. Они надоели мне здесь. Извините. С поклоном, Р. Коровкин».

— Н-да... Так кто из вас, молодые люди, конкретно ко мне? — спросил Храмцов, поглядывая на часы.

— Я, — потупился Леша.

— Что ж, милости прошу.

Галка вошла следом.

— Аккомпаниатор? — спросил Семен Борисович.

— А? — не понял Леша.

— Я спрашиваю, аккомпаниатор вам нужен?

— Не-не-не, — замахала рукой Галка. — Он так, без... Он с музыкой не привыкший.

Семен Борисович согласно кивнул, сел, приготовился слушать.

— Прошу вас, можете начинать.

Леша почувствовал, как предательски задрожали ноги в коленях, потер рукой подбородок, ему захотелось плюнуть на все, отказаться, уйти. Но уже вспомнила Галка свою роль, вышла плывущей походкой, остановилась, руки за спину, перед старичком и бойко отчеканила заученное дома:

— Поет — Леонид — Обрубок! Песня — «Ах! Зачем ты! Ямщик!». Музыка — народная, слова — тоже.

— Ну-ну, пожалуйста, начинайте, — Семен Борисович кашлянул.

«Господи, помоги!» — прошептал в уме Леша и запел.

Когда он кончил, Храмцов долго молчал, уставившись в одну точку, задумчиво теребил бородку. Галка и Леша ждали, смотрели на него во все глаза, боясь пошевелиться и вздохнуть лишний раз.

— Скажите, сколько вам лет? — спросил наконец «профессор».

— Тридцать восемь, — ответил Леонид.

— И вы что, желаете поступить в наше училище?

— Нет.

— Тогда... тогда я не совсем понимаю, чего же вы хотите от меня?

— Ну, талант, талант, — уже со слезами на глазах почти кричала Галка, — есть у него? Певец он или не певец?

— Талант? Вы имеете в виду исполнительский талант вашего мужа?

— Ну да!

Храмцов снова помолчал и сказал:

— Ваши вокальные данные, Алексей... весьма и весьма посредственные. И даже учиться вам сейчас уже несколько поздновато, пожалуй.

— А голос? — всхлипнула Галка.

— Голос? Разве вы не поняли? Обыкновенный голос. Таких много. Но если желаете, если хотите петь, то пойте на здоровье. Запишитесь...

— Врете вы все. Врете! Врете! — громко, зло зашептала Галка.

— Ну, знаете ли... Впрочем, извините. Мне пора. Всего доброго. И мой вам совет, Алексей, простите, не знаю как вас по отчеству, выбросьте из головы все, что вы там придумали, не мучайте напрасно себя и других. А Коровкину передайте, что он поступает очень нехорошо. Всего доброго. Прощайте.

И было непонятно и больно видеть этих двоих, идущих, взявшись за руки, средь белого дня по солнечному городу, в слезах и таких нарядных...

Прошли годы. Леша по-прежнему работает в милиции. Постарел. Помаленьку они с женой свыклись и покорно примирились с тем, что никогда-никогда не будет у них той жизни, о которой так жадно и волнующе мечталось им одно время. Галка убедила Лешу, что эта, то

есть та, в мечтах всего лишь откупоренная ими жизнь, не состоялась для них только потому, что у них нет связей, нет нужных знакомств и блата, что Леша всего лишь простой милиционер, что всякие там интеллигенты — скоты и сволочи.

И Леша здорово ненавидит этих интеллигентов, терпеть их теперь не может и не желает. Его сосед, художник Лаптев, давно переехал в областной центр, где получил трехкомнатную квартиру. Рудик Коровкин женился и живет ныне в городе Плавске Тульской области. Они, наверное, совсем забыли поющего Обрубка. А вот Леша, тот нет, «извини-подвинься», тот помнит их. Прекрасно помнит. И ох, как плохо приходится какому-нибудь музработнику, учителю или журналисту, любому «интилиго», если таковой редко, но все же случается, попадает в милицию, и именно в тот день попадает, когда там дежурит Леша.

А дома время от времени Леша и Галка сидят, тесно обнявшись на диване, и поют теперь уже в два голоса.

Просто так поют. И от скуки.

Алесь Кожедуб

ВЫГОВОР

В утренних сумерках, раным-ранёнько, лохматился над деревней туман, наплывал из яблоневого сада, который уже не первый год стоял неприкаянным, никто за ним не смотрел, не лазили туда дети, деревья усыхали, дичали, листва выпускалась скрученная, шершавая, твердая на вид, яблоки же никто и в руки не брал. Туман колыхался в саду даже в середине дня, а на рассвете заволакивал всю округу, едва угадывались хлевы и хаты. Солнце тоже выходило из тумана, поднималось огненным пятном, какое-то время стояло в нерешительности, а потом быстро шло к зениту, и пекло, пекло, пекло.

Иной раз наползали на него облачка-похмарки, сбивались в иссиня-сизую тучу, которая вот-вот обрушится долгожданным дождем и разгонит духоту, — тут же прилетали самолеты, по два и по три, за Черным лесом начинало грохотать. Люди знали, что это никакой не гром. Расстреливали тучи, которые вдруг стали страшнее, чем перуны с бурями. Где-то бабахали невидимые пушки, гудели самолеты, сухая пыль забивала нос и горло, казалось, что и эта пыль какая-то горькая.

Алексей в эти дни каждое утро заглядывался на солнце. Говорили, что и солнце теперь вредное, как ветер, как дождь, как вода в реке, как земля. Никто ничего не по-

нимал, оттого и носили по деревне всякое. В бога верь, богу не верь. Алексей верил только себе, однако заглядывался на солнце, подолгу отплевывался от пыли, старался поменьше пить воды, хотя разве удержишься, на полях парило, как в горшке. И каждый вечер краснело небо на заходе, солнце подгорало, показывая на перемену погоды, на ветер или на дождь, однако назавтра ничего не менялось.

А слухи катились на деревню день ото дня все более тревожные, и не хотел бы им верить, да только дурень знает, что он умнее всех. На Украине взорвалась атомная станция, отравила радиацией округу, проводится эвакуация населения. Но ведь это на Украине, Украина вон какая большая...

— Недалеко от нас, — уверяла Алексея жена, — всего сто километров, может, трошки больше.

Алексей поглядел по карте — действительно, городок Припять не так уж и далеко. Но все равно не сдавался, не привык вот так легко поддаваться женке:

— В газетах пишуть только про Украину, про нас ничего.

— А что тебе написать надо? Хватить того, что из Брагина и Хойников людей выселять будуть.

— Кто тебе сказал, что будуть? Ты видела тех выселенцев?

— Не видела, а люди рассказывають, — упрямилась Нина.

— Вот официально скажуть — тогда будем думать.

— Валя второй день жалится, что горло болить... — голос у Нины прервался, но она справилась. — Кажуть, что это как раз за горло хватает...

— Мало ли у нее горло болело!.. — махнул рукой Алексей и почувствовал, как под сердцем шевельнулся паучок.

Он вспомнил, что недели две назад, когда взорвалась та станция, Валька три дня подряд гоняла с ним по полям, с утра до вечера не вылезала из машины.

— Батька, я с тобой!.. — бежала она к «Ниве», ловко заскакивала через переднее сиденье на заднее, на свое.

Надо сказать, колхозную «Ниву» младшая обжила не хуже, чем агроном-батька. Машину колхоз выписал на чужого человека, сами купить не имели права, и агроном ездил по доверенности. А самое большое мучение было с бензином. Заправляешься за свои деньги, а бухгалтерия выписывает помощь — опять же на чужого человека.

Получается, что ты ходишь с протянутой рукой, как побирушка. Алексею это не нравилось, но куда же денешься? Поля вона какие большие, в посевную и уборочную гоняешь до ночи. Но «Нива» оправдывала себя, Алексей не нарадовался на нее. В любую погоду идет, тянет, ползет, мчится, по любому бездорожью прорывается, часто через луга, поля, канавы, мотор, бедный, воет, захлебывается, — а выручает. Ни разу не подвела! Золото, а не машина, Алексей и усердствовал возле нее больше, чем у своего «Москвича». Никакого сравнения, тут и говорить нечего. Без «Нивы» он, как без рук. И младшая дочка тоже полюбила ярко-красную машину, залезала на заднее сиденье, тряслась на нем, подскакивала, валялась, закидывая ноги на спинку отцовского кресла. Места ей там хватало, что хотела, то и выделывала. Однажды, правда, она стояла между сиденьями, глядела на дорогу, Алексей тормознул — и дочка чуть не выбила лбом стекло. С того времени стоять в машине запретил, только сидеть или лежать сзади. Валька слушалась, боялась, что другой раз не возьмет с собой.

И в те дни, как раз в конце апреля, дочка ездила с ним. А это же полевые дороги, пыль, яркое солнышко, еще и дождик брызгал, он ему порадовался. Да, они с дочкой прихватили самые опасные дни, Алексей это знал. У самого вдруг начало царапать горло, и кашель был какой-то сухой, колючий.

— Ничего страшного... — успокаивал он жену, а сам лихорадочно искал выход. — Что-нибудь придумаем...

Нина плакала, и он выскочил во двор.

— А, Тузик, что скажешь? — остановился возле собачьей будки.

Но и Тузику было сейчас не до разговоров. Позапрошлой ночью он таки выдрался из двух ошейников и сбегал погулять в деревню. Еще недавно пес сидел на обычном ошейнике из ремня, однако со временем он наловчился не то что вылезать из него, а и надевать, прибегая с гулянок. Да и что такое простой ошейник неглупому псу? Забава. Тогда Алексей надел на него еще и так называемый жесткий ошейник, железный. Мало того, что он был из толстой проволоки, — он обхватывал шею зубцами, которые зажимались, как только собака начинала рваться с цепи. Чудо инженерной мысли, а не ошейник. Но позапрошлой ночью Тузик расправился и с ним. Как это он скинул?.. Ну ладно, обычный ошейник можно содрать лапами. Но ведь на жестком зубцы! Ты его сди-

раешь — зубцы лезут под челюсть. Будешь очень стараться — снимешь сам с себя скальп. Утром Алексей долго крутил ошейник в руках, прикидывал. Получалось, что сначала Тузик наступал на цепь лапой или зажимал ее под камнем, чтобы не натягивалась. Потом он осторожно брал ошейник руками и разводил его до упора... Тьфу, холера! Какие руки?! Лапами. Вот это железо он развел лапами. И еще более осторожно, по миллиметру-сантиметру, вынимал голову из разинутой пасти ошейника. Вот и говори, что собака дурнее человека.

Ну а гули-гулянки — это особый разговор. Утром Тузик прискакал на трех лапах, на черной с рыжим отливом шерсти засохшая кровь, правый глаз заплыл, левое ухо висело, как разлохмаченная тряпочка, хвост зажат между ног, а в здоровом глазу мутная тоска и гной. Какое-то время Тузик хромал по двору, не находя себе места, даже не поглядел на миску с супом и костью, потом с трудом, скуля и подвывая, лег возле будки. С правой передней лапой, видно, было совсем плохо, Тузик ею не двигал, только обнюхивал и облизывал.

— Нагулялся? — присел перед Тузиком Алексей. — И жрать не хочется?

Тузик тоскливо повел на хозяина здоровым глазом: «И ты туда же?.. Хозяин называется...» Часто ходят бока, сухой нос, хвост, как веревка. Конечно, сейчас ему никакой ошейник не нужен. Вон, валяются, один мягкий, второй жесткий.

— Сучка порвала или друзья-ухажеры?

«Какая разница...» — закрыл глаз Тузик.

— Ну-ну, лежи.

Алексей поднялся — ожил и Тузик. Вздохнул, со стоном встал на дрожащие лапы, ткнулся мордой хозяину под колено.

— Иди поешь, легче будет.

Тузик послушно похромал к миске. Раны ранами, а жить надо...

«Так что же делать?.. — поглядел на две молодые яблони Алексей. — Сажал-сажал — а зачем? И хата новая...»

Последние лет пять Алексей все отпуска, все свободные вечера и часы отдавал новой хате, которую ставил в родных Липичах, в десяти километрах отсюда. Долго думал, долго прикидывал, советовался с теми и этими — и решил поставить рядом с пустой отцовской хату-horоmину, три окна на улицу, четыре сбоку, застекленная ве-

ранда, два входа со ступеньками, недалеко гараж. Так он надумал. Хата, чтобы не стыдно было людей принимать. Достал кирпич и шифер, лес, шлак, бетон, шелевку — все достал, что надо и не надо. Недавно подсчитал — деньгами уже давно за пятнадцать тысяч перевалило. Но осталось совсем немного: выкопать подпол, закончить отделку, подкрасить-подмазать. Собственно, уже и сейчас жить можно. Поставил на веранде кровать, привез одеяло, теперь есть где полежать в тишине, почитать газету или книжку. Женка так начала ревновать: «Утекаешь?» — «Отдыхаю, — усмехался Алексей, — в конце лета переезжать будем».

Вот тебе и конец лета. Кому теперь эта хоромина надобна? Чернобыль — у них говорят: Чернобыл — перевернул все с ног на голову. Земля отравлена, кидай, человече, свою хату, свое хозяйство — кто его купит? — и уезжай. Да, уезжай, об этом уже не только шепчут, а и говорят вслух. Куда уезжать? А куда глаза глядят, хоть в Сибирь, хоть за близкий свет. Конечно, никому ты нигде не нужен, но это уже твое горе.

Алексей в эти дни поразмышлял и увидел, что некуда ему ехать. Кого родня где-то ждет, кого лежачий хлеб, а у него никаких проблем. Никто не ждет. «Ну и добре, — вздохнул он с облегчением. — Тут сражаться будем. Переможемся». Но к новой хате так ни разу и не завернул. Не поворачивались туда колеса «Нивы», и ноги туда не спешили. «Потом, конкретно обо всем узнаю — тогда съезжу». Но это «конкретно» никак не вырисовывалось. Младшая дочка бегала и напевала где-то услышанную песню: «Мир без чудес, чернобыл, чернобыл...» Старшей, Гале, хватало работы по дому, то постирать белье, то вымыть пол, обед сварить тоже надо, а она ко всему сдавала экзамены за десятый класс и хотела поступать в мединститут.

— Только бы поступила... — шептала ему вечером Нина. — Одна бы съехала, все спокойнее.

Алексей тоже думал об этом, но молчал.

А вот с младшей надо решать сейчас — и без промедления.

Подался назад в хату. Нина на кухне вытирала рушником посуду, Галя притихла с книжкой в руках в своей комнатке.

— Младшая спить? — кивнул Алексей на дверь спальни.

— Где там спить... Лежить. Вот взвару из сушеных черниц наварила.

— Сейчас заскочу в контору — и повезу ее в район. Нехай в больнице поглядять.

Нина часто закивала головой — конечно, в район...

«Будет в конторе Станкевич — отпрошусь, — подумал Алексей, — а не будет — так поеду. Хоть с этим не цепляются».

С председателем колхоза у агронома была не сказать чтобы война, но и не мир-дружба. Так, занимались каждый своим, а встретившись на дороге — белая «Нива» председателя, красная агронома, — сегодня здоровались, а завтра нет. Странные отношения. В прошлом году перед уборочной председатель вызвал главных специалистов и приказал: «Каждый занимается своей работой, не лезет в дела соседа. За уборочную отвечает только агроном». Вроде бы и хорошо, сам себе голова, что хочу, то ворочу. А на самом деле? В пять часов дня никого уже не найдешь, Станкевич у тещи за столом, заведующий мастерскими и парторг тоже по хатам, выполняют приказ. Агроному, значит, организовывай технику, если между дождями выглянуло солнце, крутись на току, показывай, какое зерно сушить, какое засыпать в хранилище. Тут и пообедать времени не найдешь. Алексей зимой чуть ли не каждый день заходил к Станкевичу: «Почему не ставим навес над током? Опять зерно будет мокнуть». — «Поставим мы навес — так тебе легко работаться будет! — смеется тот. — Станешь лучшим не только в районе, а и в области. Подожди трошки».

Никак не может стерпеть, когда кого-нибудь ставят выше него. Вот же молодой, на пять лет младше Алексея, а такой ревнивый. Представили Алексея к ордену Трудового Красного Знамени — Станкевич поехал в район, убедил, что Яременке орден давать рано. Выдвинули делегатом на сессию Верховного Совета республики — тоже несколько дней шептался с парторгом, звонил туда и сюда, добился, чтобы Алексей не ехал. Алексею, конечно, невелика беда, не очень он любит заседать, пускай себе и в столице, а этому свербит чужой успех, не дает спать ночами. Сам же не пропустит, чтоб лишний раз не заскочить в райком, с днем рождения его первыми поздравляют секретари и председатель райисполкома. А вот карьера все равно не задалась. Так ровненько шел, уже и кресло начальника райсельхозуправления примеривал, однако перешустрил. Сначала залетел

с друзьями-начальниками на охоте, застрелили без лицензии лося, уже и поделили его, распихали мясо по багажникам, — тут егеря с лесниками. Начальство тихонько по машинам и из леса, а он остался. Конечно, кому доверено прикрывать отход основных сил? Надежным, молодым, здоровым, тем, у кого все еще впереди. «Где взяли лосятину?» — спрашивают у него. «Иду я по лесу, — отвечает, — вижу, лежит лось. Ну, я отрезал кусок, положил в багажник. А тут вы...» — «Ружье тоже не ваше? И вы из него не стреляли?» — «Мое, и стрелял, но по пустым банкам». Поговорили, составили протокол, младший в нем расписался, даже ружье отдал. Потом, правда, жаловался: «С нами ж милицейские начальники были, могли бы и помочь своему человеку. Так сами мясо съели, а мне ружье до сих пор не отдают. Не поеду больше с ними на охоту. Вот с Яременкой стрелять будем».

Это он так шутил. С Яременкой Станкевич ни на охоту, ни по чарке за праздничным столом. Не его уровень. Однако Алексей и сам бы не захотел с ним бежать в одной упряжке. Он и одеваться в кожаный пиджак да джинсы не умеет. Костюм, свитер, редко рубашка с галстуком — вот его одежда. А рыбак рыбака всегда найдет. У Станкевича в друзьях сейчас ходят директор соседнего совхоза «Телеши» Пучков и бывший председатель здешнего колхоза Волович, он теперь руководит райстрахом. На меже колхоза с совхозом — березняк, веселенький, гонкий, весной цветут в нем пролески и сон-трава, летом много подобабков. А через дорогу напротив березняка деревня Овсяники, где живет Волович. В конце дня начинают звонить телефоны, заводятся «Волги» и «Нивы», едут, сворачивают с шоссе на полевые дороги — и вдруг сталкиваются в березняке. «А кто это приехал?» — «Го, здорово, Ваня!» — «Гляди ты, и Петровича принесло!..» — «Ну дак что, хлопцы?» — «А ничего, сядем, посидим. Разве не имеют права хорошие люди посидеть?»

Алексей нарвался на них случайно. Ехал мимо этого самого березняка, вдруг видит — знакомые машины. Все три знакомые. Вон и хозяева их, на пригорке. Привстали, глядят, кого несет по едва приметной дороге нечистая. Алексей по газам и ходу, сделал вид, что не заметил. И те не приставали с расспросами, знали, что отсюда им ничего не угрожает. Алексей, конечно, никому ничего, однако оценил их стратегическую позицию. Из березняка полевыми дорогами можно проехать и в Телеши, и в их

Рудню, а Волович перескочил на «Волге» шоссе — и тоже в хате. Все продумано. Кто докажет, что пили? Никто. Да пускай себе собираются. Хуже, когда тот же Станкевич работать не дает. «Поставим навес на току — тебе легко жить будет...» Ну, гад! И вот же не прячется, в глаза смеется. Знает, что в районе его всегда поддержат. Однако ж на начальницкое кресло не вскочил. Тот случай на охоте, думается, ему все же простили. Тут все охотятся, и первый секретарь, и второй. Понимают друг друга — однокорытники, из одного корыта хлебают. Станкевич уже был тогда инструктором, шел обычной дорогой умных людей — комсомол, райком партии, там и область недалеко. Но приехал в район один из руководителей республики, говорил с людьми, знакомился с хозяйствами. И надо же было Станкевичу высунуться. Алексей не знает, о чем тогда был разговор, чем Станкевич так поразил начальство, но ему было сказано прямо в глаза, при всех: «Вы, молодой человек, можете не состояться, как руководитель». Вот так, сказал, как гвоздь вбил. Пришлось ехать председателем в колхоз.

Но надежды Станкевич не теряет, хорохорится: «Я своего добьюсь, и ты, Яременко, выше меня не залетишь, не думай». Алексей смеется: «Никуда я лететь не собираюсь. Но и тебе покоя не дам. Нашелся пан». Вообще-то Станкевич людей знает, умеет подойти. Подарки и награды раздает сам, наказывает чужими руками, вот и Алексея подставляет. «Товарищи, я отдавал приказ по докладной агронома. Он сказал, что вас не было на работе». Людей поделил на своих и чужих. Свой — тебе и премия, и путевка. Чужой — дулю с маком. Если удастся — крючок под ребрину. Алексей переживает за работу, крутится сам и заставляет других — на него ворчат, косятся, жалуются. А председатель хороший. Хвалит, дает премии. Да, свои и чужие.

Первые год-два Алексей терпел, все сносил молча — и вот сорвался. На последнем партсобрании выступил и сказал все, как есть. Колхозники отмолчались, а Станкевич махнул рукой: «Все равно по-моему будет, а не по-твоему. Не нравится — подавай заявление. Обойдемся и без лучшего агронома». Недавно на одном из совещаний сказали, что Яременко лучший в районе — и Станкевич не пропускал, чтобы с усмешечкой не напомнить об этом: «Ну-ну, посмотрим, что ты за лучший...»

Может, не лучший, однако и не худший. Свое дело Алексей знает. Вот и в этом году всходы добрые, если не

случится града или засухи, опять урожай будет не меньше пятидесяти центнеров. На этих землях редко у кого такие.

Они с председателем и раньше мало говорили, так, по необходимости, а после собрания почти и не здороваются. Да еще этот приказ не вмешиваться в дела агронома. Мол, делай, что хочешь, а мы посмотрим. Ну что ж, хоть не надо говорить, куда поехал и зачем. Да Алексей в основном по полям ездит, редко в соседние колхоз или район заскочит. А Станкевич? Еще на прошлой уборочной Алексей заметил, что председатель после обеда куда-то пропадает. Каждый день пропадает. И тут бригадир Никаноренко, у которого женка из Осовиков, говорит, что председатель после обеда ездит отдыхать к теще, в те самые Осовики. «Ты что?! — удивился Алексей. — Просто так едет и отдыхает?» — «Не просто так, — кивал длинным носом Никаноренко, — а кушать молоко с медом. У тещи там добрая хата, ульи, садочек такой аккуратненький. Курорт!»

А что ж, до Осовиков всего двенадцать километров, на «Ниве» пятнадцать минут — и там. Поест, поспит, газетку почитает — а в девять часов вечера на работу. Прилетит на ток, наведет порядок, кое-кого погоняет. «Почему агронома не вижу? Где агроном, дома сидит?» — «Не, он на машинном дворе». — «Никогда его не поймаешь... Ладно, скажете, что я его искал».

Как тут не вспомнить Алексеева деда Степана, который не дожил двух годов до сотни: «На этом свете ни в ком правды нема ни грошки, только у одного меня да у моей женки трошки». У Станкевича, правда, вместо женки теща. Уважают они друг дружку, вместе молоко с медом пьют.

Так, шутки шутками, да надо что-то с дочкой думать... Станкевича в правлении не было, девчата сказали — уехал с зоотехником на фермы.

Алексей примчался домой — и в гараж. Повезет дочку на своей машине. Спокойнее. Кто-то ж следит, куда он едет и на какой машине. Станкевич нет-нет, да спросит: «А что это ты вчера в город ездил?» — «Возил семена на анализы». — «Колбасы купил?» Будто не знает, что колбасы в магазине днем со свечкой не найдешь. Мясо выкинут — так очередь на сто человек. А у самого в холодильнике ни колбаса, ни ветчина с осетринкой не переводятся, банку с икрой иной раз невзначай достанет

из кармана — а эта как сюда попала?! Знает, из какого корыта взять.

Валька сидела в машине непривычно тихая, грустная, на бледном лице одни большие темные глаза. Его глаза.

— Конфету хочешь?

Покачала головой, отказываясь.

— Горло болить?

Пожала плечами.

— Ничего, сейчас доктору покажемся. Дадуть какихнибудь таблеток — и пройдеть.

Валька отвернулась к окошку, смотрела на лес в молодой зелени.

«Интересно, набрались ли этой радиации деревья?.. И вообще — что это такое, радиация? Ну, попала она в организм... А дальше?.. Остается в крови навсегда или как-нибудь выходить?..» Он покрутил головой.

На перекрестке дорог Алексей издали увидел длинный хвост грузовых машин. Ага, обмеряют машины, которые идут из Брагина или Хойников... Про этот пост ему уже три дня назад говорили. Увидел знакомого инспектора ГАИ, сбавил скорость. Тот махнул жезлом — проезжай! Алексей все же остановился, высунулся из машины:

— Работы много?

Старлей провел рукой по горлу, зажал под мышкой жезл и краги, с третьей спички закурил сигарету.

— А это есть?

Тот устало показал за спину:

— Войска проверяют. Мы так, на подхвате. Надо в этих намордниках, да жарко... — и он отвернулся.

— Ясно...

Алексей тихо тронулся с места. Солдаты в черных комбинезонах и противогазах поливали из брандспойтов МАЗ с прицепом. Второй МАЗ, уже обмытый, моргал левым сигналом, выезжал на мокрое полотно шоссе.

— Батька, а почему нас не моют? — подала голос Валька.

— Слава богу, что не моють, — усмехнулся Алексей. — Что-то далеко они заехали, немытые...

И подумал, что неплохо было бы, если бы и их померили длинной трубкой со шнуром. «Москвич», правда, все это время стоял в гараже. А вот «Нива»... Надо приехать и самому помыть, мыльным раствором. Не повредит. Никто ничего не говорит, но у тебя, человече, на плечах голова или кочан капусты? «Смотря что надо, —

говорил ему дед Степан, подмигивая хитрым маленьким глазом, правый глаз у него уже почти не видел, был пустой, а левый всегда прижмуривался да подмигивал. — Бывает, с кочаном лучше всего. Он тебе — конь, ты ему — корова. Он — работать, а ты — обедать. Только так и выживешь». Однако сейчас кочаном не спасешься. Головы нужны, и своя, и чужие. Вот что умный человек сделает после этой проклятой аварии? Допустим, самый умный рванет за тысячу километров, в лес или на остров в океане. В океане хоть и полно разного мазута, да все ж радиации нету. Ладно, самый разумный смоется. Просто умный человек закроется в своей хате и отсидится, как хорек в норе. Интересно, кто в их Рудне может вот так отсидеться? Потапчик — первый. Да, Иван Пилипович догадается, недаром сорок годов других учит. Учитель-пенсионер, а грошей у него побольше, чем у любого. Умеет собирать. В гараже рядом с «Жигулями» мотоцикл «Урал», на сберкнижке тысяч пятьдесят, не меньше. На машине с мотоциклом не ездит, грошами не раскидывается, и из хаты лишний раз не выйдет, покажет пример. Ну а всем остальным остается работа. Кое-кто, правда, на водку налег: «Все равно помирать, дак лучше от горелки. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». А что сделает Станкевич? Неизвестно. Загадка, а не человек.

В городе Алексей сразу поехал в райполиклинику. В регистратуре на него поглядели, как на сумасшедшего:

— Что проверить?!

— Радиацию.

— Лидия Семеновна! — крикнула девушка в очках. — Вот тут человек с радиацией...

Под взглядами больных и медсестер Алексей съежился, вспотел, захотелось выскочить на улицу.

— Так что у вас? — спросила полная женщина, старшая в регистратуре.

— Да вот дочка... Можно у вас провериться на радиацию?.. У дочки заболело горло, ездила со мной по полям, вот я и... Говорят, можно как-то провериться, чтоб знать... — он говорил путано и злился.

— Сколько лет, десять? А откуда приехали? Ага, из Рудни... Вам надо в детскую поликлинику. Сделаете анализы, покажетесь врачу-специалисту... А кто вам сказал, что у нее радиация?

— Никто не сказал. Горло болить...

— Ну, знаете! Горло у всех детей болит. Как ваша фамилия?

— А зачем вам? В детскую так в детскую...

Алексей чувствовал спиной настороженные взгляды людей, и не просто настороженные — злые. Даже больные смотрели враждебно, говорили вдогонку что-то оскорбительное.

— Ну их с их больницами!.. — стукнул он дверью машины.

Но увидел в зеркало осунувшееся лицо дочки — и поехал в детскую поликлинику.

«Может, и правда нету радиации. Но провериться надо. Не может быть, чтоб у них никаких аппаратов не было. В газетах же написали, что авария. Машины проверяют, а людей?.. Конечно, за человека никто ничего не платит, но все же... Живы еще».

В поликлинике после долгих расспросов, переглядываний и смешочков Вальку направили сначала в лабораторию на анализы, потом записали на двенадцать часов к терапевту. От всей этой суеты у Алексея разболелась голова. Они с дочкой приткнулись в уголке за фикусом, и Валька задремала.

Женщина-терапевт внимательно выслушала его, посмотрела дочку, что-то долго записывала в карту.

— Что вам сказать... — наконец подняла на него глаза. — Мы сами еще мало знаем. Забрали несколько врачей и медсестер в зону, а инструкций и рекомендаций еще нету. Я тут выписала таблетки йода, не знаю, правда, есть ли они в аптеке. Пускай полежит дома. Щитовидная железа у нее вроде нормальная, а если так — ничего страшного. Приедут специалисты — тогда будет проводиться полное обследование. Не волнуйтесь.

— И на этом спасибо. А вместо таблеток обычный йод пить можно?

— Нет-нет! — испугалась врач. — Только в таблетках! Можно сжечь слизистую...

— Ну что, Валька? — взял он дочку на руки, когда вышли из поликлиники. — Ты же у меня здоровая девка, не какая-нибудь хворостинка. Поедем лучше в магазин, купим лимонад, конфеты, торт — и до хаты. Нехай они со своими больницами тут остаются.

— Поехали! — засмеялась дочка, обняла его за шею. — Я здоровая.

Конечно, беспокойство после этого «лечения» не прошло, а Нина все свернула на его характер:

— А, ты никогда не можешь добиться своего, последний в очереди путаешься. Другой бы и таблетки достал, и нужного врача нашел. Так его не только в Верховный — в местный Совет не выбрали! И так во всем.

Алексей не стал и оправдываться. Действительно, что есть — то есть. Молчи — плохо, не молчи — еще хуже. Вон как с этим выступлением на партсобрании. Теперь и друзья отводят глаза, стараются побыстрее проскочить мимо. А самое обидное — никакого выхода нету. Ну, поедет он к первому секретарю райкома. Так и так, Станкевич ему не то что не помогает — не дает спокойно работать. «Опять не сработались? — спросит первый. — Характерами не сошлись?» И будешь стоять, как дурень. Один же раз уже не сработался. Из родных Липичей почему уехал? Да, не захотел вляпаться в грязь вместе с Куликом. «Будешь со мной, — говорил ему Кулик, — уедем отсюда на «Волгах». Людьми станем!» Кулика из председателей через пару лет выгнали, едва из-под суда выскочил, однако «Волга» у него есть, и большая квартира в городе, и толстая сберкнижка в кармане. Но начальство не суд вспомнит, а то, что Яременко не сработался с председателем. Конечно, Кулик хорошо хапанул на шабашниках. Они в Липичах и колхозные домики строили, и коровники со свинарниками. «Давай вместе! — подмигивал Кулик. — Не пожалеешь!» Кстати, Станкевич, как только пришел председателем, перво-наперво распрощался со старыми шабашниками — и набрал новых. Правильно, шабашник у председателя должен быть свой, проверенный. Кроме них, никто не докажет, что они с ним грошами делятся.

Так что ты теперь будешь говорить, дорогой агроном? Председатель плохой, а я хороший? Второй раз такие номера не проходят. Ну а на чьей стороне райком — это ясно. Алексей на охоту ходит один, да и ходит раз в три года. Станкевича можно было бы свалить его методами, сволочными. Писать каждый день жалобы, ездить в райком, интриговать, обзавестись своими людьми, сильненькими... Но начнешь выть по-волчьи — сам волком станешь. Да и противно.

Так они и жили — хату продали, ворота купили... Эх, хата-хатухня, кто в тебя теперь заселится? Будто оборвалось что-то внутри, опускаются руки, глаза на белый свет не хотят глядеть. Да и не только у него так. Будто все лентяи на людей свалились, ни работать, ни петь песни. Тишина над деревней...

А назавтра Алексея вызвал к себе парторг Ковалев. Алексею сказали об этом еще утром, однако во второй бригаде ждал знакомый шофер из города, иногда он выручал с бензином. Оттуда проехался по полям, завернул на ток, проверил, справились ли с сушилкой. Конечно, никто и пальцем не шевельнул, такая беда — сушилка, до уборочной еще вон как далеко. Одним словом, к Ковалеву Алексей зашел только после обеда.

— Искали?

— Садись, — кивнул тот на стул. — Садись-садись, разговор серьезный. Ты куда вчера ездил?

— Вчера? Я каждый день куда-нибудь еду, бывает, больше сотни километров накручиваю.

— Не финти, говори прямо. В больнице был?

— Ну был. С дочкой.

— Радиацию мерил?

— Померяешь там... Никто ничего не знает, даже таблеток йода нема. Да я в обед вернулся. А что, понадобился кому-нибудь?

— Что ж это получается, товарищ Яременко, все дурни, а ты умный? Паникуешь? Кто тебе сказал, что у нас радиация?

— Никто не сказал... Дочка со мной три дня ездила, как раз в конце месяца, а сейчас горло болить. Что, нельзя проверить?

— Паника это, а не проверка. Понимаешь, Яременко? Паника! Если каждый повезет проверять своих детей и жену да тещу прихватит — работать будет некому. Мне сегодня из района звонят — а я ничего не знаю. Соображаешь, Яременко? Из района позвонили.

— Ну так что? Надо будет — еще повезу.

— Правильно, что не спешили тебе орден давать... Слухи распускаешь? Это, брат, не шутки... Нарушение партийной дисциплины! Будем разбираться, Яременко.

— Да ладно вам, Петрович!.. Ничего я не нарушал. И слухов не разносил. Может, и этой аварии не было?

— А давай вот позвоним в штаб гражданской обороны. Мне сказали, что вся информация по этому вопросу только в штабе.

Ковалев долго накручивал диск телефона, добиваясь в военкомате номер этого самого штаба — и все же дозвонился.

— Алло! Алло! — кричал он в трубку. — Штаб гражданской обороны? Какой уровень радиации в нашем

районе?.. Кто говорит?.. Ковалев, из колхоза... Тьфу, черт!

И он какое-то время в недоумении глядел на трубку.

— Сиди и не рыпайся... Чуешь, Яременко? Там сказали, чтоб мы сидели и не рыпались, — он осторожно положил трубку на место. — Ясно? А ты в больницу, радиация, ты ж понимаешь, замучила. Нету радиации и не было!

— Ладно, нехай нету... В Польше и этой... Швеции была, а у нас нету. Кто же все-таки дурень, Петрович, они или мы?

— Сегодня в шесть часов бюро! — стукнул рукой по столу Ковалев. — Видать, простого выговора тебе мало. Строгого захотелось.

Строгий выговор бюро все же не вынесло. Осуждали, говорили, что паниковать нет никаких оснований, контроль проводится только на дорогах, а в деревнях все спокойно. Однако учли, что Яременко возил ребенка на собственной машине, да и работает он хорошо, старается. Против выговора была одна зоотехник, мать двоих детей. «Так, значить, нашим детям и хворать нельзя?!» — возмущалась она. Но ее успокоили, объяснили, что если бы была опасность, их выселили бы, как чернобыльцев. Станкевич, диво дивное, молча проголосовал за выговор, не выступал.

Алексей на бюро тоже молчал, отвечал только «да» или «нет», злился на себя за то, что горит лицо и дрожат руки, однако не спорил. По привычке думал про свою новую хату. Когда у него были неприятности, когда не брал ночью сон — тогда он думал про большую хату, которая ждет в Липичах, глядит на улицу тремя окнами, а вокруг нее молодые яблоньки.

После бюро Алексей и поехал в Липичи. Да, большая кирпичная хата ждала. Перескочил через высокий забор, отомкнул замок на веранде. Прошелся по всем четырем комнатам, вдыхая запах сыроватого кирпича, свежего дерева, земли из подпола. Кое-где уже отстала штукатурка, стучало в окне стекло, на полу валялась кирпичная крошка. На кровати поверх скомканного одеяла лежали старые номера «Литературки». В хате жить надо, а не заходить через две недели на третью...

Что скажешь, хата? Молчание. Низкое солнце заглядывало в окна, чертило на грязном полу косые полосы. Вот и солнце в хате, а несет плесенью.

Ни к чему не притронулся, ничего не прибрал, нигде не подправил — повернулся и вышел вон.

Домой вернулся к вечеру. Сумерки лежали тихие, настороженные. Один Тузик, стоя на трех лапах, брякал миской, доедал вчерашний суп.

Через неделю Вальку вместе с другими детьми отправили в санаторий на Черное море. А они остались сеять и жать жито, растить детей, прощаться с ними — и ждать удачу, которая где-то ж да ходит по земле. Может, и совсем рядом.

Над деревней продолжали летать самолеты, за Черным лесом стреляли пушки. В магазине на один день появились тушенка и сгущенка. А солнце с утра до вечера слепило, отбирало глаза, на него невозможно было смотреть. Кое-кто видел и гало́, нимб над солнечным диском, который загорался только на купалу да на великдень. А оно просто горело — багровое, огромное, зловещее солнце.

Перевод с белорусского автора

Сергей Залыгин

КТО ТУТ?

Уже после обеда, после часа дня, собираясь на работу, мама говорила:

— Катюха! Ты, пожалуйста, кому попало двери не открывай, а придет Дед Мороз, посмотри хорошенько в глазок и открой. Он не злой и не страшный, он хороший и добрый, он тебе подарок принесет.

«Смешно бояться Деда Мороза! — подумала Катюша. — Разве Дед Мороз может быть злым?» У мамы она спросила:

— Когда он придет? В какое время?

— Как ему удобнее, как у него получится, так и придет. Он один, а вас сколько, девчонок и мальчишек, в нашем микро! За день всех и не обслужишь. Их много нынче будет ходить по домам, Дедов Морозов! Целая бригада!

Мама надела коричневую шляпу, которую она надевала очень редко, повертелась около зеркала, чмокнула Катюшу в лобик, надела сапожки, пальто и ушла. На прощанье и еще сказала:

— Будь здорова, умница! И не забудь: Деда Мороза зовут Николаем Федоровичем Португаловым. Дядя Коля Португалов. Порешала бы ты задачки и вообще — уроки.

«А? — подумала Катюша. — А вот возьму, да и порешаю! И решу все до одной. И слова напишу — все до одного! И все рисование нарисую! А придет Дед Мороз — все рисование ему покажу. И подарю ему какую-нибудь картинку. Ту, которая ему больше всех понравится!»

«Правда, — и еще подумала Катюша несколько позже, уже сидя за столом и решая сложение-вычитание, — правда, нет такого права — задавать малышам уроки на каникулы. Нет и нет — уж это точно!»

А нужно сказать, что Катюша понимала толк в своих правах.

Сложение-вычитание решалось так себе — ни хорошо ни плохо. Когда решалось плохо, Катюша отзывалась об этом так: «Вот нахальство!» — говорила она тихо, про себя, но иногда и вслух.

Катюша внимательно следила за стрелкой будильника, который она поставила перед собой на стол: она решила, что в три ноль-ноль включит радио.

Она включила радио даже позже — в три плюс две минуты и услышала такую песню:

Здравствуй, здравствуй, здравствуй, здравствуй,
мой небесный друг.
Мы встречались там с тобою, где сияет солнца круг.

Катюше было непонятно: где же все-таки произошла встреча?

А кто такой — небесный друг?

А еще — почему так много повторяется слово «здравствуй»?

«Ага, — сообразила Катюша, — чтобы получилось стихотворение или песня, нужно много раз повторять одно и то же слово... Ясно!»

А вообще-то песня, конечно, о космонавтах. Которые день и ночь летают вокруг Земли, а заодно и вокруг Солнца. И все так далеко от Земли, что даже и не очень-то интересно. Катюшу больше интересует все то, что происходит и должно произойти в скором времени здесь, на Земле, и еще ближе — в микрорайоне «Б».

Например: вот-вот должен наступить Новый год, а что это такое? Вернее всего, это день рождения для всех. У каждого есть свой собственный день рождения, а когда все сложат свои дни рождения в один день — этот день и станет Новым годом.

Не совсем ясно, зато понятно.

Ну и еще: всегда хорошо знаешь, как нужно сделать, чтобы сделать хорошо, но все равно делаешь не так, а по-другому, и получается плохо. Почему бы это? Ведь ни для кого в этом пользы нет. Удовольствия тоже нет.

Между прочим, Новый год еще, наверное, и для взрослых тоже хорош, потому что в новом году они собираются делать все на свете хорошо, без плохих отметок.

Деда Мороза для взрослых, правда, не бывает, но наверняка бывает что-нибудь другое дедморозовское.

Бывает... бывает... Чего-нибудь приятного взрослые ждут ничуть не меньше, чем дети. Тем более что взрослые всегда пугают себя чем-нибудь страшным. Для того и пугают, чтобы больше радоваться приятному.

Вот мама уже сколько дней говорит, что в новом году она окончательно замотается, но разве можно этому поверить? Сколько помнит себя Катюша, ни с ней самой, ни с мамой никогда и ничего не происходило «окончательно», значит, это слово следует понимать как «необязательно», как «может быть», «дай бог, ничего не случится», еще как-нибудь.

А Лида, старшая Катюшина сестра, очень сильно старшая — на десять лет, — говорит, что ждет от нового года отличных отметок. А чего, спрашивается, их ждать, если они у нее и всегда отличные?

Другие дело, что в новом году Лида хочет сделать маникюр, но вряд ли ей это удастся — мама не велит. «Вот еще, — говорит мама, — сперва поступи на исторический факультет, а то маникюр сделаешь, а по конкурсу не пройдешь!»

«Вот еще, — говорит Лида, когда она сердитая, а сердитая она то и дело, потому что не отрывается от учебников, — вот еще, уж если я со своими отметками не пройду — тогда кто же пройдет?»

«Вот еще, — отвечает мама Лиде. — Ты, наверное, одна будешь учиться: кроме тебя, никто на исторический не пройдет!»

Что касается папы, дело обстоит посложнее, и не сразу поймешь, что к чему. Во всяком случае, Катюша не понимает папу, когда он говорит, что в новом году его начальник обязательно отдаст богу душу... И это — загадка, вроде того сияющего круга солнца, в котором хотят встретиться небесные друзья, но не встречаются, а только приветствуют друг друга: «здравствуй, здравствуй,

здравствуй, здравствуй!» Или: «нам любовь, любовь нужна, и ничего другого».

Тут дело еще в чем?

Тут дело еще в том, что у папы очень нервная работа и он работает за двоих — за себя и за того человека, который собирается отдать...

Он собирается отдать что-то еще и папе, но до сих пор пока не отдает...

«Сложная штука — жизнь!» — говорит папа, и как с ним не согласиться? С ним не согласиться нельзя, тем более что с ним, когда он что-нибудь объясняет, обязательно соглашается мама. И Лида тоже.

Такие дела...

Катюша не завидует взрослым, нет, не завидует и не только торопится расти. Как ей растется, так пусть и растется, быстрее не надо, а если помедленнее — она согласна.

В том, что она маленькая, она чувствует что-то большое — даже огромное, какую-то радость она чувствует, какое-то особое положение в мире. Ну вот, например: все маленькие — это почти что друзья, стоит спросить малыша: «Как тебя зовут?» — он ответит, назовется, и все — и встреча друзей состоялась. А котенка или щенка даже и спрашивать ни о чем не надо — сама дашь ему такое имя, которое тебе нравится, которое, на твой взгляд, ему подходит — и все, и готовенькие друзья!

И ведь если поразмыслить, без этого жизнь была бы невероятно скучной и неправильной.

В общем-то, Катюша почти ничего не могла сказать о детстве, хотя и очень хорошо знала, что это такое. Знала детство, любила его, ощущала его в каждой своей клеточке и всю себя — в его объятиях. И не чувствовала никакой обиды ни на себя, ни на него за то, что не находила слов, чтобы как-то и кому-то сказать о своих ощущениях, о своей любви к детству — взаимной и потому счастливой. Она ведь другой любви, невзаимной, и представить себе не могла, она была убеждена в том, что если любит она, значит, любят и ее. Уж это непременно. И наоборот — если любят ее, значит, любит и она. И это тоже — непременно.

Если бы кто-то сказал Катюше, что бывает и не так, она бы очень удивилась. «Если не так — тогда как же на свете жить?» — спросила бы она.

Вот уж вырастет, тогда и научится словам, взрослые

ведь умеют говорить обо всем на свете, хотя и не знают, хорошо это или плохо.

Кроме того, Катюша заметила, что все то, что загадывают маленькие, сбывается гораздо чаще, чем загадывания взрослых.

Что Катюша загадала на сегодня?

Что, как только стемнеет, раздастся звонок, она откроет дверь, и в прихожую войдет... Дед Мороз с красным носом, с большой бородой, с мешком за плечами. В белой шапке и в красной шубе и с мешком за плечами. «А вдруг он что-нибудь забудет — бороду, нос или мешок? — забоялась Катюша. — Но нет, этого не может быть!»

И сомнений не может быть никаких — как загадано, так обязательно и будет. Единственное, что для этого надо, — надо подождать.

Но с наступлением темноты уже не было никаких сил ждать. Катюша и на лестничную площадку выскакивала — нет, не помогало, не приходил Дед Мороз.

И все-таки он пришел — сбылось! Как должен был позвонить, так и позвонил, как должен был широко распахнуть дверь, так и распахнул.

Был он в красной шубе, в белой шапке, с бородой и с мешком за плечами — совсем настоящий Дед Мороз!

Катюша имела странную привычку, о которой мама говорила, что это очень дурная привычка, папа говорил — «дурной недостаток», а сестра Лида говорила, что это «просто дурость»; дело же заключалось в том, что, едва заслышав чей-то звонок, Катюша громко кричала: «Здравствуйте!», бежала и распахивала дверь.

Мама, папа и Лида говорили, что, прежде чем открыть дверь, обязательно нужно спросить: «Кто тут?» — а потом, если звонит знакомый человек, открывать ему, если же незнакомый — не открывать.

И мама, и папа, и Лида объясняли Катюше, подробно объясняли, почему так нельзя делать, они приводили множество убедительных примеров, из которых следовало, что делать так нельзя, но привычка никуда не девалась.

Мама еще и так придумала — двумя булавками она приколола к дверной обшивке листочек, на котором крупными печатными буквами было написано: КТО ТУТ?

И все равно и после этого у Катюши не получалось так, как, по маминой мысли, обязательно должно было получиться... Она бежала на звонок, потому что ее несли

туда собственные ноги, открывала дверь, говорила: «Здравст...» — а когда человек входил в прихожую, спрашивала у него: «Кто тут?» Даже если это был знакомый человек... Несколько раз она и сестру Лиду тоже спрашивала: «Кто тут?» — и Лида заливалась хохотом и говорила: «Вот подрастешь еще немного, и я куплю тебе, Катюха, попугая, чтобы он учил тебя русскому языку!» А Катюша не обижалась, она совершенно ничего не имела против попугая, скорее наоборот — гораздо скорее! Лида так и называла иногда Катюшу: «Кто тут».

Дед Мороз звонил громко, изо всей силы, конечно, никто другой звонить так же не мог. Катюша распахнула дверь, а он еще долго звонил, глядя на нее, выставив вперед уж очень большой, уж очень красный нос.

— Кто ту... — спросила Катюша и громко засмеялась сама над собой.

Дед Мороз сбросил мешок в прихожей и спросил:

— А Капитолина где?

Катюша растерялась. Она ждала совсем другого вопроса: вопроса о том, как ее зовут, или о том, давно ли она ждет Деда Мороза.

— Кто? — не поняла Катюша. Она не поняла, что Дед Мороз спрашивает маму.

— Как это — кто? Капитолина Яковлевна! — тоже удивился Дед Мороз. — Ты что, с ней незнакома, что ли?

— Она на работе. Она сегодня поздно ушла, значит, поздно придет. А зачем она вам? Она же — взрослая?

— Вот так раз! — удивился Дед Мороз. — Вот так раз — да она же кто, твоя мама?! Кто мне товарищ Бодрова Капитолина Яковлевна? Она мне начальник, вот кто! Руководитель! Старший, уважаемый, можно сказать, начальник. Вот ты мне ответь: сколько у твоей мамы детей? Ты — раз, а два — кто?

— Два — Лида.

— А три?

— Три — никто...

— Итого — двое... Раз, два, и все тут. А Дедов Морозов у нее, у твоей мамы, сегодня находится семнадцать человек, вот и сравни — два и семнадцать. Грамотная? Считать умеешь?

— Это не сосчитывается...

— Для сравнения можно.

— Это не сравнивается. Нет.

— Ну, нет так нет. Значит, Капитолина задерживает-

ся? Значит, плохо: придется, значит, ждать. Куда, дочка, пройти?

Из прихожей можно было пройти в кухню и в большую комнату, обеими руками Катюша показала в обе стороны:

— Сюда... И сюда...

Сбросив мешок в прихожей, Дед Мороз прошел в кухню. Там он сел за стол, положил на стол свою белую шапку и постучал пальцем по фарфоровому чайнику.

— С заваркой? — Потом заглянул в чайник: — Придется подождать товарища маму Бодрову. Когда дело есть, неизбежно приходится ждать — это закон. А кипяточек тоже есть? Впустую, дочка, ждать — время очень долгим кажется. Кипяточек разогреть умеешь?

Катюша умела.

Дед Мороз внимательно смотрел, как она умеет, как доливает большой металлический чайник, как разжигает плиту, ставит чайник на конфорку, как из кулечка в вазочку перекладывает сухарики.

— Большая уже... — сказал Дед Мороз, глядя на Катюшу. — Можно сказать, совсем взрослая. В котором классе?

— В подготовительном для шестилеток. А в новом году буду в первом.

— Будешь-то будешь, — вздохнул Дед Мороз, — но только дело народного образования у нас слишком худо поставлено. Слишком!

Катюша промолчала, ей над этими словами надо было подумать, но Дед Мороз подумать не дал:

— Глаза бы не смотрели, ей-богу, на нынешнее образование! На девчонок, на пацанов-школьников да и на ихних учителей глаза бы не глядели. Дисциплины никакой, а в результате знаниев тоже никаких. Какие без дисциплины могут быть знания? Одно баловство, и только. И знаешь, что я тебе скажу?

— Нет, не знаю...

— Конечно, не знаешь, где тебе знать. А я скажу: доведись до меня, я бы как решил? Опять не знаешь? А вот: я бы бил на сознательность! Демократическим путем — на нее. Другого выхода у нас никогда не было и тоже нет по сю пору. — Дед Мороз привстал со стула и пощупал чайник на плите: — Холодный еще покуда...

Посидели, помолчали.

Катюше захотелось плакать, но она подумала: «При гостях? Очень, очень неприлично!» И стала думать, по-

чему ей так хочется плакать, прямо хоть плачь. «Уж не потому ли, что Дед Мороз оставил свой большой мешок в прихожей? Оставил и ничего из мешка не вынимает? Ну а если так, если именно из-за этого хочется плакать, то и совсем стыдно, глупо и позорно, и не дай бог, если кто-нибудь об этом догадается, хотя бы и Дед Мороз! Подумаешь, подарок Деда Мороза! Какой-нибудь кулечек с конфетками и с пряниками, какой-нибудь карточный календарчик, какая-нибудь бумажная игрушка — и все!»

Дед Мороз снова пощупал чайник и снова остался недоволен:

— Да это что же — зажигалка в конце концов или это все ж таки газплита? Вот у меня в квартире — домна находится, металл способна плавить! Сунул чайник на конфорку — и тут же гляди, чтобы не разорвало его паром на куски... Ну, опять же беда: ни чайников, ни электроутюгов нынче в природе нету. В Ригу заказывал утюг и чайник — нету, в Киев заказывал — и там нету. В Новосибирск? Так там и сроду-то ничего не бывало. У тебя, дочка, подружки имеются? На площадке либо в подъезде?

Этому вопросу Катюша даже обрадовалась: настоящий вопрос.

— У меня имеется. Ася Мухамедова, девочка с третьего этажа.

Катюша и еще хотела что-нибудь рассказать Деду Морозу об Асе, но тот ее перебил:

— Мухамедова? Значит, нацвопрос! Ох, запутанный вопрос, ох, на весь Союз запутанный! Но я опять и опять говорю: надо бить на сознательность! Демократическим путем. Больше не на что бить, уж это точно. Хотя где ее взять-то — настоящую сознательность?! При Хозяине было — она от Хозяина шла... Вполне понятно... — Дед Мороз быстро обернулся к плите, снова пощупал чайник и сказал: — Теперь готовенький. Сейчас, гляди, пар пустит.

Чайник тут же всхлипнул и пустил пар, а Дед Мороз снял его с плиты, поставил на стол и сказал:

— А что же это я с носом-то до сих пор? А? С красным-то? Смешно — до сих пор с ним!

И он сдернул с затылка веревочку, на которой туда-сюда стал раскачиваться большой красный нос картошкой. Он его еще туда-сюда покачал и положил на стол рядом с белой шапкой.

— Ну вот, давно бы так! — сказал он все еще фыркающему чайнику.

Без шапки, тем более без большого красного носа Дед Мороз потерял всякое сходство с самим собою. Теперь это был не тот совсем рыжий, а только слегка рыжеватый и встрепанный человек, почти без бровей и с носиком кнопочкой.

Без носа у него и голос стал потоньше, почти что женский, и неожиданность этого портрета удивила Катюшу, она долго и молча разглядывала его.

Бывший Дед Мороз тоже не без удивления взглянул на Катюшу, как будто спрашивая: а она-то зачем здесь? Примирившись же с ее присутствием, он продолжил разговор:

— Взять продовольственную проблему. Ведь это куда годится, а? Сколько годов, сколько периодов ее решаем, а воз, я тебе скажу, дочка, и ныне там. Абсолютно там же! И двух мнениев тут даже и не может быть! Ну, теперь пошел в ход семейный подряд, арендаторство и хозрасчет, но если снова не ударить на сознательность, хотя бы и демократическим путем, — обратно ничего не выйдет, обратно — ноль...

— Дядя Коля, — спросила Катюша, — Николай Федорович, — вспомнила она, что мама именно так называла его, этого человека, — а вы ведь вовсе не настоящий Дед Мороз, а?

— Господи, помилуй! — хлопнул себя по коленке дядя Коля. — Помилуй, господи, о чем ты спрашиваешь, дочка? Да разве они бывают, настоящие-то? Сроду нет. Ведь уже большенькая, а какие ставишь детские вопросы, ровно какой-нибудь младенец! Тебя мать с отцом не в кроватке ли качалке по сю пору баюкают: «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный...»? Ну а Капитолина Яковлевна? Она, сознательная женщина, куда смотрит? У нее как поставлено семейное воспитание — «...в колыбель твою!».

И Катюша уже не могла не заплакать и заплакала бы обязательно, но тут пришла мама.

Мама сразу же обратила внимание на дедморозовский мешок в прихожей:

— Это что такое? Почему здесь? Откуда? — И заглянула на кухню: — А-а-а-а, ты здесь, Португалов! Почему ты здесь? Почему разоблачился-то весь? Как так?

Португалов вскочил со стула и торопливо стал натягивать на себя дедморозовский нос, нахлобучивать шапку:

— А ничего особенного, Капитолина Яковлевна, совершенно ничего. И понятно: не обождавши, дела не сделаешь, вот мы и беседуем с вашей доченькой — умная девочка и, скажу вам, понятливая. И уже большенькая! И — развитая.

Мама, не слушая Португалова, скинула пальто и принялась было снимать перед зеркалом меховую шапку, но решила по-другому: опершись о дверной косяк, стала трясти сперва одной, потом другой ногой — стряхивать сапожки. Оставшись в чулках, она снова шагнула к зеркалу и посмотрела на себя в шляпе, потом со шляпой в руке, потом вообще без шляпы. Очень осторожно она поправила свою каштановую, уже новогоднюю прическу, сунула ноги в шлепанцы и вошла в кухню:

— В чем, я спрашиваю, дело, Португалов? Мешок у тебя полный, подарки ты не разнес, график ты не выполнил, а сидишь в чужой квартире и рассиживаешься!

— Капитолина Яковлевна! — торжественно и уже совсем женским голосом заговорил Португалов. — Вы сначала выслушайте человека, а потом уже и говорите.

— А я что делаю? Я не слушаю тебя, что ли? Говори, пожалуйста, не стесняйся, не рыдай! Рыдать вы все мастера!

— Я же серьезно, Капитолина Яковлевна. Я серьезно, а вы, не выслушав человека, уже и уже...

Мама была рассержена, но сдерживала себя, Дед Мороз Португалов был испуган, растерян, нос у него был на правой щеке, а шапка нахлобучена на левое ухо, обеими руками он почему-то ощупывал себя — настоящий он или ненастоящий? Убедившись, что он — это он, Португалов заговорил снова:

— Капитолина Яковлевна! Ко мне свояк приехал. На первое, на второе и как бы даже не на третье число.

— Дальше?

— Дальше — свояк приехал. С дочкой с моей, с зятем моим, а главное — сам по себе.

— Дальше?

— Куда же дальше-то? Свояк — майор в отставке,

внутренние войска. Нынче — пенсионер. Подарки привез, а я где? Меня и дома нету!

— Дальше? Свояк-то приехал к кому, я спрашиваю, — к тебе или ко мне? Майор — к тебе или ко мне?

— Капитолина Яковлевна! Я же вам по-человечески объясняю: он ко мне приехал!

— А я при чем? Если он к тебе, а не ко мне — я при чем?

— Господи, боже мой! Свояк у меня на квартире меня ждет, пьет чай, а я? Я что же, в это самое время буду таскаться по всем этажам? Вот они, башни-то какие — шешнадцать этажей, и все обойди, и у меня их, мыслимо ли, три этаких башни... Да неужели это практически возможно? При таких обстоятельствах? Я вам еще скажу, Капитолина Яковлевна, скажу как на духу: это все самые разные интриги, а если бы не они, так мой-то свояк, он бы полковником был обязательно, ну, ежели на самый на крайний случай — подполковником. Он — голова!

— Не имеет значения! — как отрезала мама. — Нашел тоже, чем воздействовать — чинами и званиями. Не тот период! И я тебя спрашиваю: а кто будет разносить подарки? График выполнять — кто?

Дед Мороз Португалов подскочил и радостно взмахнул руками:

— Ну вот, ну вот, Капитолина Яковлевна, дорогая вы наша! Да если бы у меня не было сменщика — да разве я бы насмелился сказать и намекнуть? Никогда! Но я вам скажу, Капитолина Яковлевна, я младшего своего парня пошлю, он мигом весь детский контингент во всех трех башнях обслужит! Мигом!

— Справится?

— У него первый разряд по классической борьбе!

— Голос?

— Что — голос?

— Голос все-таки должен быть взрослый. Если уж не совсем стариковский, то хотя бы взрослый!

— Это обеспечено. Голос у моего, у младшего, погуще моего. Он и службу сержантом отслужил, умеет команду подать.

Мама присела на кухонную скамеечку, подумала и сказала:

— И что мне со всеми вами делать? Что? Сегодня уже третий отказ. Два уже было на работе, ну, думала, все: прихожу домой — та же самая картина!

— Капитолина Яковлевна! Да если бы я алкаш какой-нибудь был, если бы пошел на несознательность, захотел бы обмануть, я что, не нашел бы выхода из положения? Я в поликлинику в ту же минуту подался бы, и кто, спрошу я вас, какой бы здравомыслящий доктор отказал бы мне в больничном на праздничные дни? А если честно — у меня же полполиклиники знакомые! Когда не больше, чем пол!

— Ну, смотри! — вздохнула мама. — Смотри, если этот твой классический борец не выполнит графика, если от клиентуры поступит хоть одна жалоба...

Дед Мороз Португалов подхватил в прихожей мешок, закинул его за спину, еще поприветствовал маму и хлопнул дверью, ушел. А мама как сидела на кухонной табуретке, так и осталась сидеть... И только устав от своей неподвижности, она глубоко вздохнула, положила руки сначала на стол, потом на колени и сказала:

— А ведь я не была, Катюша, такой. Я другой была и так не разговаривала, другие у меня были слова, честное слово! Это потом уже, это с разными Дедами Морозами я образовалась. Ну да ладно, уж какая стала, какая есть, такая и есть. Что тебе Дед Мороз Португалов подарил-то? Я точно знаю, что он должен подарить, а в действительности?

И тут выяснилось, что Дед Мороз Португалов не подарил Катюше ничего — забыл. Забыл за разговорами.

— Вот прохиндей! — возмутилась мама от всей души. — Я ему навстречу, а он? Не постеснялся ребенка обидеть, прохиндей! Ну, он у меня достукается. Достукался уже!

А Катюша не могла больше сдерживать слезы. Их было так много, и она заплакала в голос, словно с нею случилось что-нибудь самое страшное, словно умирает, словно умер уже кто-то в доме.

Мама стала ее уговаривать — ничего не помогало.

Мама посадила ее к себе на колени, стала гладить, стала целовать — не помогало ничего.

Катюша почему-то показалась себе самой-самой маленькой, которой она когда-то была, крохотный и жалобный комочек чуть-чуть живой жизни, даже меньше она была тех кулечков, в которых настоящие Деды Морозы разносят детям подарки.

Будто в таком вот целлофановом кулечке ее бросили

в темный мешок, из которого обязательно забудут вынуть, забудут подарить кому-нибудь.

И вот она плакала громко-громко, чтобы ее услышали, чтобы не забыли, но надежды на спасение было мало, совсем не было.

Катюша и сама ужас как боялась своего плача: ей показалось, будто она плачет за всех на свете людей, которые не могут в эту минуту не плакать... До сих пор она ведь никогда не думала, ничего не чувствовала и ничего не знала за кого-нибудь — только за себя, за маленькую девочку, которая не догадывалась, что она — человек, которая думала, что она — маленькая девочка, а больше — никто.

Но в эту минуту узнала...

— Ну что ты, разве так можно? — спрашивала Катюшу мама. И сама тоже всхлипывала. — Не надо так, не надо! Послезавтра я тебе принесу и два, и три дедморозовских подарка... Не надо! Не надо!

Алла Тютюнник

ГАННУСЯ

Хозяйкина свекровь выставила макитру на лавку и стала развязывать красный сатиновый мешочек. Мешочек был единственным ярким пятном в сумерках кухни, и Ганнусе подумалось, что хорошо бы все это написать — и иссохшую старуху с суровыми глазами, всю в серо-сине-черном, и потемневшую от времени некрашеную лавку, и наитеплейшего цвета макитру, и красный мешочек в темных руках, как вянущее сердце лета, и мак, серебристо бегущий в макитру... И свечение осени в окне.

— Чудесно, что мы сюда вырвались, — смелея, произнесла Ганнуся. — Юре давно уже следовало отдохнуть, а то и синяки под глазами, и нервы сдают... Работа у него — не приведи господи...

— Угу, — невнятно отозвалась хозяйка. — Здесь хорошо.

Она с такой сосредоточенной напряженностью разливала самогон из оплетенной сулеи в пустые заморские бутылки, что, казалось, и слова произносит, не разжимая рта.

«Шерри-бренди», — прочла Ганнуся чужие буквы на одной из темных бутылок и попробовала представить, какой напиток был в бутылке до того, как она неведомыми путями попала в эту хату. Ганнуся за всю свою жизнь и

выпила-то всего несколько бокалов шампанского, но она не сомневалась, что напиток в подобной бутылке должен иметь восхитительный вкус. В темной, золотисто мерцающей бутылке напиток должен быть как любовный шепот, решила она. Да еще с таким названием! Ганнуся пребывала в том возрасте, когда все сравнения так или иначе связаны с любовью, а само слово имеет неодолимую власть. Ей захотелось сказать кому-нибудь, что «Шерри-бренди» звучит как любовный шепот, но в комнате были только она и эти две.

Впрочем, старуха Ганнусе даже нравилась. Почти бесплотная необратимая завершенность поздней осени. А вот на старухину невестку смотрела через силу. Расползающаяся плоть. Красота еще проглядывалась в чертах лица и линиях плеч, но это было как последние вспышки огня в рыхлой груде хвороста.

Ганнуся вдруг обнаружила, что у нее и у этой женщины волосы уложены одинаково — в крепкий узел на затылке — и обрадовалась: с узлом она казалась хоть чуть-чуть старше.

— Последнее время он приходил в таком виде, прямо смотреть жалко, — продолжала Ганнуся. — Засыпал без ужина. А утром опять нужно быть в форме! Мне тоже достается: каждый день стирай, убирай... И готовлю все диетическое, гастрит у него...

На самом деле Ганнуся жила в просторном грязноватом общежитии педучилища, от роду ей было семнадцать лет, и Юра был ее первой любовью.

Они встретились на открытии выставки известного пейзажиста Рядченко в городском Доме учителя.

— Это как музыка Дебюсси, — сказал Юра, становясь рядом с нею перед картиной, изображающей алые маки на обочине шоссе, и поправляя очки.

В тот день Ганнусю впервые угостили шампанским, и в приливе внезапной смелости она рассказала, что сама рисует и мечтает стать художницей. Взрослый человек в сером вельветом костюме, черном галстуке и роговых очках слушал ее очень внимательно, и Ганнуся впервые испытала чувство собственной значимости. А как он говорил, какими завораживающе-плавными жестами сопровождалась его речь!

— ...И читать ему нужно больше, чем другим, и к выступлениям готовиться... потому недосыпает...

Сначала Ганнусе нравилось говорить все это. Но со временем извлекать из себя слова стало трудно, будто

каждое слово кто обременил. Вдобавок это молчание чужих женщин, их бесконечные передвижения в зеленовато-коричневом сумраке кухни. «Как в аквариуме», — подумала Ганнуся.

— Василь говорил, вы учительница, — вдруг то ли спросила, то ли просто отметила младшая.

— Да, я математику преподаю, — скороговоркой ответила Ганнуся.

В тот вечер, когда они впервые поцеловались, Ганнуся узнала, что у Юры есть жена и сын Славик, что жена — учительница математики — равнодушна к искусству, отчего Юра в семейной жизни одинок и несчастен. Она стала мечтать о том времени, когда Юра разведется с черствой ограниченной математичкой и ему не нужно будет по вечерам торопиться домой. В том, что теперь Юра не сможет жить, как прежде, Ганнуся не сомневалась.

Они продолжали встречаться, говорить об искусстве и целоваться, и оттого, что Юра ни разу не сжал ее в объятиях до боли, как это делали с грубой жадностью мальчишки из училища, ни разу не попытался расстегнуть ее кофточку, Ганнуся проникалась к нему еще большим уважением, благодарностью и любовью. Вскоре она сама уже мечтала о том, что раньше презирала в мальчишках, — о почти грубой страстности, о смелости и настойчивости. Юрина осторожная нежность томила. И когда расставания в темных улочках на окраинах города стали мучительными, Юра пригласил ее погостить у приятеля в заповеднике. «Только придется сказать: жена», — предупредил беспечно.

— Мне тоже еще как достается! — говорила теперь Ганнуся. — Деточки сейчас знаете какие? Сельские еще ничего, а в городе... Бьешься целый день, бьешься, а потом еще за Славиком в садик беги, а потом дома вертись, потому что у Юры работа, он домой никогда не приходит вовремя, все на мне...

Тут Ганнусю озарила догадка, что женщина, чью жизнь она сейчас присваивала, в самом деле бьется и вертится одна и что живется ей, наверное, несладко, и стало стыдно за ненависть и за ложь, а губы двигались будто сами по себе и продолжали говорить... У Ганнуси возникло ощущение, будто слова ее выдувает неодолимым сквозняком. Но едва она умолкала, на кухне воцарялась тишина, такая, что становилось слышно биение собственного сердца — до головокружения. Если бы они ее хоть

к работе какой приставили... Но для этих женщин она — жена большого начальника, и теперь уж, конечно, все они будут стараться... «Как муравьи», — подумала вдруг о снующих перед ней женщинах.

— ...Вы даже себе и не представляете, нет людей более тяжелых, чем актеры, музыканты и писатели, — не могла остановиться Ганнуся. — У каждого свой характер, каждый — личность. Или воображает, что он личность. А самомнения, претензий сколько! Каждый считает, что ему все можно. А отвечать кому? Начальнику Управления культуры!

Ганнуся заметила, что повторяет все Юрины интонации, но ничего не могла с собой поделать, говорила дальше:

— Художники пьянствуют — начальник Управления культуры отвечай, актеры в театре перецапались — а они постоянно, — тоже все на Юрину голову! Кто-то любовницу завел, — сердце Ганнуси ухнуло в холодную пустоту, — опять Юрию отвечать, — помертвевшими губами выговорила она.

Хозяйка усердно толкла сало с луком, свекровь, будто заведенная, гоняла макогон в макитре — терла мак на шуленики.

— Годов-то вам сколько? — спросила вдруг старая, глянув остро на Ганнусю.

— Двадцать шесть, — торопливо ответила Ганнуся.

Впервые с тех пор, как они остались на кухне, одна из женщин не просто скользнула быстрым неуловимым взглядом, а посмотрела прямо и напряженно. «И что она вглядывается, — затосковала Ганнуся и взмолилась про себя: — Хотя бы он поскорее пришел». Стала хвататься за слова совсем уже беспомощные и пустые — о косметическом кабинете, о гимнастике и холодных обтираниях, о кремах и масках, но взгляды женщин опять сделались скользяще непроницаемыми, увернулись от нее, как рыбы в глубину.

Старуха неотрывно смотрела в макитру, веки ее были опущены, и лицо казалось неживым. Было странное несоответствие меж неподвижностью ее головы и размеренным движением руки, вонзающей макогон в кашу маковых зерен. Ганнусе показалось, что сейчас из макитры полезут полураздавленные алые маки, и в пальцах возникла томительная дрожь, — но альбом и карандаши лежали на дне сумки в соседней комнате, и она только вздохнула.

— В городе, ясное дело, легче, — с плохо скрываемой враждебностью произнесла хозяйка, наливаясь маковым цветом.

Старухина рука еще быстрее завертела макогон, шершавый шорох растираемых зерен стал на тон выше. От этого нового звука у Ганнуси пробежали мурашки по спине — будто это ее корежили на дне макитры, будто ее хрупкий зеленый стебель и нежные алые лепестки безвозвратно гибли под напором увесистой деревяшки... Возник образ маковой коробочки — захотелось сжаться, одеревенеть, упрятаться в твердую оболочку...

— Перестаньте, мама, — раздраженно попросила невестка.

— Вы слыхали о такой танцовщице, Дункан? — зачастила опять Ганнуся. — На ней потом Есенин женился. Ну, про Есенина вы слыхали! Так она и в сорок лет выглядела, как в девятнадцать. Представляете?

— А чего ж вы сыночка с собой не взяли? — перебила старуха. — И в лесу бы побегал, живого зайца углядел бы.

«О ком это она?» — напряглась Ганнуся.

— Славика, спрашиваю, почему с собой не взяли? — зыркнула, шустро облизнувшись.

— А-а-а... — вздохнула Ганнуся. — У него плаванье сегодня. Он у нас на плаванье ходит, в бассейн...

«Ну где же он, наконец?» — подумала почти без надежды. «Лес!... Осень!... Рисовать будешь сколько душа пожелает!.. Целый день вдвоем!.. А сам...»

Ганнуся пережила мучительную неделю, прежде чем показала рисунки Юре. Она извела гору бумаги, пять раз на день решала — нет, ни за что! — но потом все-таки пошла в управление и понесла несколько работ, которые выбрали ее подруги Наташа и Лида. Они же и одели Ганнусю в самые модные в общежитии туфли и пушистый мохеровый свитер.

Юра говорил о рисунках много, пылко и не очень понятно, но Ганнусино сердце ликовало, ибо главное в его речи было вот что: она, безусловно, талантлива и должна много работать и учиться, чтобы развить редкостное дарование. Поскольку учиться рисованию в их городе было вроде бы и негде, а Юра сам когда-то закончил художественное училище, подавал надежды, но, став начальником областного Управления культуры, вынужден был отказаться от мечты ради служения другим, более талантливым, само собой получалось, что он должен по-

могать и Ганнусе. Он рассказывал ей о художниках и учил писать маслом живописные уголки предместья.

«Я больше не выдержу», — подумала Ганнуся, обводя взглядом кухню.

— Красотища тут у вас, — сказала, чтобы не расплакаться, и кивнула в сторону небольшого окна.

Там желтый мокрый каштан вздымал ветви к небу с такой свободой, любовью и уверенностью в ответной любви, что Ганнуся, отрешившись от хлопочущих женщин, стала заодно с деревом ждать какого-то ответа, знака. Плоская завеса туч расступилась, и каштан внезапно облекся светом, как ответной свободой и любовью. Ганнусе показалось, что в этом сумеречном помещении с ней происходит что-то непоправимое, и тогда обе женщины прекратили свои бесконечные передвижения и замерли, прислушиваясь.

— Едут, — сказала старуха.

— Дальше нужно идти пешком, — сказал егерь.

Василь выскочил из машины первым, засуетился, помогая Ганнусе выйти. Он мешал ей, этот надоедливо предупредительный человек, и Ганнуся старалась не смотреть на его слишком яркие влажные губы, на его смертельно белые залысины, на близко посаженные, как у грызунов, глазки. Достаточно им встретиться взглядами, казалось Ганнусе, и он догадается, какое внушает ей отвращение. Было в его глазах нечто такое, отчего возникало желание умыться холодной водой с мылом.

К тому же он постоянно отвлекал Юрино внимание на какие-то мелочи, отчего Ганнуся проваливалась в безысходное одиночество, и в таком состоянии она не могла уже в полную силу ощутить красоту этого леса. А как невыносимо много он говорил!

— Сюда бы настоящего хозяина, — разглагольствовал Василь. — Поставить десятка два деревянных домиков, открыть бы пансионат... Куда тем Ирпеням и Ворзелям! Здесь хоть сердце лечи, хоть нервы... Красота! Тишина! Воздух! И прибыль...

Чтобы не слышать, Ганнуся выбежала на середину поляны. Травы еще не увяли, стояли высокие, нетронутые и за каждым шагом стряхивали водяную пыль на Ганнусины туфли. Над поляной стоял плотный травяной дух.

Захотелось выразить траву, только траву и больше



ничего, каждую былинку в отдельности, все осеннее разнотравье. С досадой она вспомнила, что альбом так и остался лежать в сумке.

Оттого, что Юры не было рядом, оттого, что она не могла сказать ему сейчас об этой траве, стало тоскливо. Чтобы все вокруг ожило, не хватало его взгляда, его одобрения, его восторга. Но позвать было как-то неловко. Постояла в нерешительности, но Юра оставался с Василем, к ней же поспешно двинулся егерь, и тогда она, глубоко погрузив руки в карманы куртки, решительно пошла дальше. При чем здесь егерь? Ловкий подвижный зверь с изменчивыми глазами, он почти и не смотрел на Ганнусю, и все равно она чувствовала его неослабевающее внимание, а когда встречались на мгновение взглядами, ей казалось, будто виновата она в чем-то перед ним. Нет, только не егерь.

— Здесь за орешником ручеек, — сказал он, догоняя Ганнусю.

Она вздохнула и спросила:

— А почему ваш лес такой странный? Ручей, орешник, дубы, клены... и вдруг эти дюны...

— Странный? Так это же старое русло Днепра. Днепр ушел, а дубы остались. И ручьи, и озера, дюны тоже...

Они остановились под красным кленом на краю поляны. В напряженно ровном стволе дерева, в свободно устремленных к небу ветках Ганнусе почудилось то же ожидание любви.

— Невероятно, — прошептала она, глядя вверх.

— Ну, здесь еще и не такое можно увидеть, — сказал егерь.

Юра с Василем все еще разговаривали у дороги, и Ганнуся не могла решить, идти ей дальше в лес или ждать. Но егерь уже стоял вполоборота на тропинке, и ей оставалось лишь двинуться следом.

У ручья Ганнуся на мгновение забыла о Юре. Вереница пестрых листьев двигалась по прозрачной воде, бережно сжатой берегами. Листья кружились, выстраивались в завораживающие узоры, и казалось: стоит еще чуть-чуть вглядеться — и откроется скрытое значение этих узоров. Ганнуся присела у ручья.

— Так вот где вы спрятались! — игриво воскликнул Юра за ее спиной, когда она вот-вот должна была понять, почти поняла, и нужно было еще лишь мгновение, чтобы окончательно осознать — что же, что значит этот узор?

Ганнуся вздрогнула, медленно встала, все еще улы-

баясь ручью, но отчасти уже и Юре. Егерь отвернулся. Василь хмыкнул. Но она видела только Юру.

Уже собирались возвращаться к машине, когда егерь предложил показать озера. Мужчины замялись. Василь напомнил, что в хате уха стынет, а водка тем временем нагревается, что, пожалуй, и брат уже приехал, привез баранинки на шашлыки.

Егерь скользнул по Ганнусиному лицу своим неуловимым взглядом, и она громко сказала, что хочет на озера. Юра удивленно приподнял брови, Василь пожал плечами, но поехали. По дороге стал накрапывать дождик. А когда добрались до озер, он уже заполнил все пространство над открывшейся за лесом бесконечной степью. Казалось, кто-то внезапно смешал ночь, день, утро, вечер, помрачил и остановил время. Только безупречно круглое озеро посреди степи, казалось Ганнусе, еще помнит о времени — в нем безостановочно растут рыбы и водоросли.

— Ну просто тебе как «Баркаролла» Чайковского! — громко произнес Юра.

Ганнуся вспомнила, что эти же слова он уже говорил ей однажды у фонтана. Но так уже случалось не раз: только покажется, что Юра сказал или сделал что-то не так, достаточно взглянуть на него, и неловкость сама собою забывается. Ганнуся посмотрела.

Юра требовательно повторил:

— Слышишь? Капли по воде, как «Баркаролла» Чайковского.

Она отвернулась, стараясь вобрать глазами все, что открылось ей в этом месте, и запомнить.

— Пошли? — заскучал вдруг Юра.

— А на мой дом не хотите взглянуть? — спросил егерь как бы между прочим. — У меня лошади, лисенок ручной...

— Ты что?! — вскинулся Василь. — Ты моих гостей не сманывай! Водка на столах греется, а мы тут мерзнем!

— Так медовуха найдется, — спокойно сказал егерь.

Он смотрел на Ганнусю, будто говорил с ней одной. Она почувствовала, что этот человек приглашает неспроста, что разговор таит еще какой-то смысл, напрягла внимание, силясь понять, но тут Юра взял ее за руку, сказал «Пошли», — и она мгновенно забыла о егере и его приглашении, наполнилась вся этим прикосновением.

— Ну что, киска, довольна? — уже у самой машины тихо спросил Юра. — Импрессионисты год жизни отдали бы за такое освещение, а я все для тебя! Цени!

Ганнуся лежала в темноте и ждала.

В этой хате все комнаты были как одна, нельзя было закрыться — дверные проемы занавешены лишь легкими кусками материи. Как они могут так жить? Ей было слышно каждое слово, сказанное в соседней комнате, и по этим словам она чувствовала, что все забыли о ней, даже Юра. Ганнуся вспомнила общежитие, Лиду и Наташу, которые мирно спят сейчас каждая в своей кровати, и свою пустую кровать возле окна. Что бы она ни сказала им потом, они никогда не забудут, что в эту ночь ее кровать пустовала. Ганнуся вспомнила о маме, и ей стало страшно, как никогда.

Несколько раз она порывалась позвать Юру, но мысль о том, что услышат остальные, делала ее немой. Она старалась не шевелиться, потому что старая кровать тут же начинала рычать. И когда Ганнуся замирала, в кровати все равно слышалось размеренное бесконечное ворчание.

Чернота в окне оставалась неизменной, и Ганнусе стало казаться, что везде утро уже наступило, только в этом заповеднике что-то случилось, что-то непоправимое. Сердце у Ганнуси на мгновение остановилось, а затем выплеснуло оглушающую волну в уши и виски.

— А если бы мне разрешили, например, открыть свою точку в городе или ресторанчик совхозный построить, у меня бы ни один овощ не пропал. Ни один! А ты говоришь! — доказывал в соседней комнате брат Василя.

Этот грузный директор совхоза с самого начала вел себя так, словно все они были полное ничто и собрались только ради его, директорского развлечения. С самого начала Ганнуся чувствовала, что он презирает и Юру, и Василя, а сноху и мать вовсе не замечает. Только с Ганнусей был он внимателен и как-то неуклюже угодлив.

«О, эти ручки! — и подносил Ганнусину руку к толстому бугристому носу. — И ноготки...» Он держал ее руку осторожно, словно бабочку, но всякий раз Ганнусе хотелось поскорее выдернуть ее. Она вскидывала глаза на Юру, тот улыбался и подмигивал ей, и Ганнуся решала, что все в порядке, что, наверное, у этих людей так заведено, и терпела дальше. А глаза тем временем жадно

запоминали, как большая, покрытая заскорузлой черепашьей кожей рука выпускает на волю ее прозрачные пальчики. А ему уже мало было Ганнусиной руки, восторгаясь, он уже хватал ее за плечи, и все смотрели. Юра улыбался. Ганнуся не выдержала, выскочила на кухню.

На кухне жена Василя снова разливала самогон из сулии в разноцветные заморские бутылки и даже не взглянула на нее. Ганнуся, не дожидаясь, пока она закончит и им придется о чем-нибудь заговорить, выхватила знакомый, золотисто мерцающий сосуд с надписью «Шерри-бренди» и понесла в комнату.

«А вот и она! — закричал Юра. — Ганнуся, а ну распусти волосы, пусть они увидят!» — «Не надо, Юра...» — «Ганя, распусти!» — «Юра, ну, пожалуйста... Юра...» — «Ну!»

И вот она стоит перед ними, опустив глаза, стоит с жутким сознанием того, что сделала что-то постыдное, чего нельзя было делать... А потом... потом...

Ганнуся спрятала голову под подушку. Если бы рядом был Юра, она бы обо всем уже давно забыла. «Юра, Юра, Юра, Юра...» — стала она повторять про себя в надежде, что он услышит и придет.

...«Вы еще не знаете, кто перед вами! — выкрикивал покрасневший Юра. — Это Анна Чугай! Это имя прославит нашу область!» Брат Василия захохотал.

Ганнуся вцепилась зубами в подушку. Она старалась не сердиться на Юру — он любит ее, гордится ею и потому не удержался, рассказал все. Нет-нет, на Юру она не могла сердиться: он самый умный, самый добрый... Ганнуся вдруг стала сравнивать с ним всех знакомых парней и сама себе удивилась: какое может быть сравнение?

— Вот ты, например. Зачем ты? — допытывался брат Василя в соседней комнате. — У-прав-ле-ние куль-ту-ры! Разве певец без тебя не споет? Или художник картину не нарисует, а? А попробуй-ка своим писакам задание дать, чтобы о моем совхозе всю правду написали, а? Слабо? То-то и оно! Я хоть пол-урожая, да выращу, а вот ты, ты!

— Молчать! — выкрикнул Юра. — Смирно!

— Девочек портить — это ты можешь...

Ганнуся вдруг ясно осознала, что здесь, в этой странной комнате, где нет даже двери, чтобы закрыться, отгородиться от чужих пьяных людей, на этой старой, рыча-

щей, пропитанной памятью о чужих жизнях кровати должно произойти то, чего она так ждала, так желала... и взмолилась: нет-нет, только не здесь, не сейчас! Накатила страшная усталость, будто все живое внутри одеревенело и не может больше страдать, любить, надеяться, ждать. И не хотелось больше ничего, только бы оказаться рядом с мамой, забыть все. Нахлынуло раздражение — привез ее сюда, из-за него все. И не было сил даже испугаться этого раздражения.

Вдруг запели:

Їхали козаки
із Дону до дому,
підманули Галю,
забрали з собою.

Громче всех, с каким-то злым ухарством орал брат Василя:

Їдьмо, Галю, з нами,
з нами, козаками,
краше тобі буде,
як в рідної мами...

Запинаясь, тонко и тихо лопотал вслед за ним Юра:

Прив'язали Галю
до сосни косами...

И только Василь пел красивым, легко струящимся голосом:

А сосонка тліэ,
а дівчина мліэ...

Наконец допели.

— Перекурим — и спать, — угасшим голосом пробубнил Василь. — Еще по одной!

Мужчины задвигали стульями, загрохотали чем-то, затем в хате стало тихо. Ганнусе показалось, что тьма в окне смягчилась. Она смотрела и смотрела в черный квадрат, и вдруг с улицы ее позвал Юра. Во дворе светило солнце, и было оно нежного зеленого цвета. По-зимнему одетые люди гуляли в лесах цветущих маков... «Да я же совсем голая...» — ужаснулась Ганнуся, но спрятаться было негде, тонкие пушистые стебли маков вкрадчиво касались ее. Вдруг из толпы вышла мама. От стыда и страха Ганнуся просто оцепенела, а отовсюду подходили незнакомые, по-зимнему одетые люди, окружали их. Ганнуся отступила за нежно-зеленый лист мака, потянула

его к себе, чтобы прикрыться, а лист вдруг потемнел, могучей лапой обвился вокруг тела, стал душить...

— Тс-с-с... это я.

— Юра?!

— Кисонька моя... киса...

Ганнуся упорно отводила его настойчивые руки — закрыла ему рот ладонью и едва слышно попросила:

— Не надо.

— Недотрога моя маленькая... А где наши грудки? Так вот же они!

В одно мгновение Ганнуся очутилась посреди комнаты. Под злобное рычание кровати Юра сел, отдуваясь.

— А ну иди сюда!

Она прижалась к стене. В соседней комнате двигали кресла-кровати, переговаривались.

— Слышишь? Иди сюда.

Потянулся к ней, позвал уже ласково:

— Ну, чего испугалась? Не захочешь — и не буду. Что я, зверь какой? Я же люблю тебя, ты ведь знаешь! Ну что, всю ночь так стоять будешь? Иди сюда, а то простудишься. Это просто смешно, вот так стоять всю ночь. Ты же любишь меня? И я тебя люблю, и ничего плохого между нами быть не должно, я понимаю. Ну, иди сюда, я тебе честное слово даю...

Автобус выехал на ту же песчаную дорогу, по которой их накануне провозил егерь. Ганнуся изо всех сил старалась смотреть в окно, а глаза помимо воли упирались в затылок сидящего впереди мужчины. Тот спал, и голова его раскачивалась.

Она не заметила, когда закончился лес, и только увидев убранное капустное поле с остатками растерзанных листьев и безобразных обрубленных кочерыжек, ощутила мгновенное беспокойство оттого, что не успела понять у ручья, а потом еще и у озера. И егерь... «Зачем все это, если все так?» — наткнулась взглядом на затылок спящего впереди мужчины и вдруг напряглась от приступа тошноты. Она заставила себя вспоминать все их предыдущие встречи, восторг и нежность, все слова любви, сказанные им среди зелени окраинных переулков, и пьянящие взгляды, и прикосновения, но картины расплывались, слова гасли, а тошнота накатывала и отступала. Попросить шофера остановить автобус она не решалась,

и так и сидела с липким комком в горле, стараясь дышать глубоко и осторожно.

Автобус зарычал, дернулся и выпрыгнул на шоссе. От внезапного толчка мужчина проснулся, похлопал глазами и обернулся к Ганнусе:

— Ну, как дела, киска? Славно развеялись, правда? Жаль, тебе порисовать не удалось...

Не ожидая ответа, прилепился щекой к стеклу и опять уснул.

«Я люблю его», — упрямо сказала себе Ганнуся и тут же подумала: пусть бы их автобус врезался сейчас в самый большой грузовик, пусть! И всякий раз, когда грузовик приближался, у нее от напряжения и надежды темнело в глазах. Но грузовики проскакивали мимо, а невредимый автобус легко и уверенно мчался дальше.

Перевод с украинского
Александра Лисняка

Надежда Перминова

ПЛЫВУЩИЕ МИМО

Кругом гуляло лето со спелым солнцем, нечастыми, водообильными грозами, теплыми звездными ночами. Все, что хранилось до срока в красноватой глинистой почве, стремительно вышло на свет, распрямилось, окрепло и вот зацвело пышнозелено и бело-лилово-желто.

В зарослях многоименных луговых трав трепетало, жужжало, пело. В приречных кустах начинали с рассветом побудку зорянки, а час спустя к ним подключался птичий разнозвучный оркестр. В полдневный зной, вспомнив, что она еще не отмечалась, подавала голос кукушка. Над рекой зависали целлулоидовые стрекозы, словно силились рассмотреть свое отражение в воде. Из притененного кустом омутка легко сверкала щучка-охотница за лупоглазыми. Круги расходились по воде лениво, играючи.

Не верилось, что еще два дня назад не было этого вольного, праздничного, естественного мира. Им по-настоящему бредил только Степаныч — организатор путешествия. Это был художник, известный живописец, человек уже не молодой, разменявший шестой десяток, физически еще очень крепкий, невысокий, но с широким разворотом плеч, с прекрасной седой шевелюрой над высоким

лбом. Здесь, у самого начала русского Севера — на водоразделе — он родился.

Года два назад, собирая хлам в мастерской для макулатуры, натолкнулся он на бумаги отца, там нашел коряво писанную родословную семьи. Отец, со слов дедки Василия, поминал о Никифоре, который пришел в вятские леса из Расеи и, поселившись у реки, основал деревню. Называлась деревня о трех дворах Сусеками. То ли по фамилии прадеда, а может, и наоборот. Рачительных крестьян, что свели лес, выжгли кустарник, выкорчевали столетние пни и, всколыхнув нетронутую землю, выласкали, удобрили ее, заставили рожать, стали звать Сусековыми, то есть живущими справно, не голодно, с полными закромами. У дедки Василия семья была большая и работящая, и вот в тридцатые сложные годы вырвало сусековский корень из этого лесного трудного глинозема, разметало по городам и весям. Сам дедко Василий с семьей младшего Степана оказался на Южном Урале. Зацепились за рудники, паспорта получили и на всякий случай, чтоб не бросалась в глаза их сытая фамилия, вписали в нее одну буковку — стали Сусенковыми. После смерти деда, помня его наказ, приезжал Степаныч сюда к старшей сестре отца Марфе. Жила она с сыном в леспромхозе Никифорово. Подивился красоте здешних мест, увалам, на которых как писаные стояли деревеньки, а за ними зеленели пашни, окаймленные темным берендеевским лесом. Походил, пописал этюды, но с Марфой, старой и больной, почти не говорил, да и с ее угрюмым сыном, работавшим на лесоповале, тоже. Они были с утра дотемна в работе и смотрели на него, на столичного студента, с недоверием и непониманием. Давно умерла Марфа, и уехал, затерялся где-то ее сын. Казалось, исчезла последняя жилка, мелкий сосудик, связывавший с этой землей. Но хранил, сам не сознавая для чего, художник старую подробную карту этих мест, словно ждал, что старательные строчки отца снова всколыхнут в нем что-то тайное, заповедное и погонят сюда, на далекую родину.

Едва сошли на маленькой станции, он, сложив рюкзаки у дежурки, повел своих спутников вправо, километра за два. Взойдя по березняку, чистому и молодому, на взгорок, увидели они неширокую, змеистую, синюю, переливающуюся на солнце речку.

— Один из самых северных капиллярчиков Волги, — сказал с гордостью Степаныч, — впадает в Молому, та —

в Вятку, Вятка, как известно, в Каму, а Кама — сами понимаете. Вот так, из наших клюквенных болот да в Каспий.

— Да, действительно занятно... — хохотнул стоящий рядом с ним второй художник — Борис. Был он высоконогий, тонкий, с сутулинкой. Бледное лицо окаймляла по скулам черная бородка, и глаза ей под стать были тоже черные, горошинами. Сутуловатость его не портила, он был даже по-своему красив и оттого важен и пошел на Север со своим учителем Степанычем, чтобы доказать, работая на этюдах рядом, как далеко он обставил метра.

Двое других ничего не сказали.

«Наплевать, где, что и как, — думала миловидная, стриженная под мальчика женщина лет тридцати Таня, — лишь бы рядом с ним». Она искоса поглядывала на четвертого спутника — Костю, моложавого, ей под стать, невысокого, собранного блондина. Она всю зиму упрашивала привередливого Степаныча сманить в этот поход его — опытного байдарочника, технолога из их лаборатории, чтобы наконец завершить роман, длящийся уже два года. Костя был женат, имел ребенка и никак не мог расстаться с семьей, хотя порой неделями жил у Тани. Таня была художницей по тканям, жила рядом со Степанычем, дружила с его тихой женой и опекала их позднюю своенравную дочь. Ей очень хотелось, чтобы Костя подружился со Степанычем, а тот повлиял на него.

Что думал ее возлюбленный, оглядываясь на узкоколейку, станционный крошечный давно не крашенный домик и крепкую жилую избу с хлевом и курами во дворе, неизвестно. Но он первый повернулся и зашагал обратно.

Речка, по которой предстояло плыть, протекала сразу за железнодорожным полотном и была очень похожа на ту, которую они только что видели. Так же перевила́сь на солнце синяя вода меж невысоких, поросших черемушником берегов. По этой кустарниковой полосе было видно, как петляет она, словно мечется, по лугу, прокладывая себе путь туда, на Север, к Ледовитому океану.

«Младшая дочка Двины», — сказал о ней Степаныч.

Две маленькие речки, словно близняшки, родившиеся между этих увалов, взявшие силу от одной земли, разъяла, развела вас природа в противоположные стороны.

Вот он, водораздел. Если б не знать, так и не заметил

бы. Один гуляет здесь ветер, одни растут травы, и вода изначально одна — из немеренного болота, что лежит на земле как губка из мха, зелено-бурых трав, кочкарника, гиблого ольховника. Лежит, дышит, вбирает в себя дожди, и туманы, и подземные воды, плодит комарье, лягух, и всякую птичью мелочь, и клюкву на мшаных подушках, и малые реки...

Байдарки поначалу шли медленно — мешали заторы из снесенного кустарника. Но уже через несколько часов берега заметно расширились. Возле нечастых деревень стояли мальчишки с удочками. К вечеру причалили к плесу. Поставили оранжевые, польские, с частой сеткой от комаров палатки. Почистили заспиннингованную еще днем, «на дорожку», рыбу, развели из сушняка костер. Кашеварить остались Таня с Костей.

Художники взяли этюдники, устроились поблизости пописать закат, речку, костер, деревню неподалеку. Оттуда пришли две женщины, в корзинах на коромысле они несли полоскать белье.

— Куда плывитё?! — спросили они с удивлением и, услышав в ответ, что плывут никуда и ни за чем, просто в охотку, в отпуск, недоверчиво переглянулись. С ними договорились о молоке и старой ямной картошке.

Утром снова тронулись в путь. Река уходила в сторону от железной дороги, и через два дня деревни совсем исчезли. Степаныч озадаченно вынимал из планшета карту и читал: Высоково, Волки, Хлебозары, Кулемки... Красиво звучит? А нету...

Впрочем, деревни были, или, вернее, то, что от них осталось: две-три последних обвалившихся избы под одичалыми черемухами. И порой еще окна стеклами блестели на людей. Уезжая, хозяева не забивали их досками, ведь возвращаться не собирались, а ставен здесь не принято делать. Путешественники входили в эти старые жилища и удивлялись: столы и лавки были в избах, и полати, и лари, и утварь всякая — ухваты и плетенки из лыка, бобины для льняной пряжи и самопрялки. Иногда они звали друг друга посмотреть то роспись на почерневшей, осыпающейся печи, то резьбу на наличнике. Они радовались трофеям, и все, что можно было унести, складывали в большой полиэтиленовый мешок, который закрепили на маленьком плотике за байдаркой. Лишь Степаныч ничего не брал. Он бережно осматривал каждую вещь, оглаживал ее, словно вспоминая через эти прикосновения свое детство. Иногда зарисовывал. Он ждал

встречи. Впереди должно было быть его Никифорово — некогда богатое торговое село, а после крупный здесь, на Севере, леспромхоз. У костра, за ужином, в неторопливом разговоре художник опять заговаривал о нем.

— Вот он-то, этот лесопромхоз, и стронул первоначально деревни — это еще Марфа говорила, высосал он людей, оторвал от земли. А потом целина... Сибирь... сманили. Заработки, хлеб почти даровой...

Запустела здесь, на русском Севере, выласканная вольными людьми земля. Стоило отойти чуть дальше от реки, как натыкались на вырубки, похожие скорее на лесные свалки. Лес здесь добирали, видимо, еще несколько лет назад, оставленный когда-то дозревать, и молодняк искорежили, искромсали, завалили сучьями. И бывшие боры затягивались теперь поверх пней малинником, таволгой да кипреем. Где же они, молодые сосновые посадки, которые так любят показывать в кино? Не до них тут было — план правил бал. И не одно столетие понадобится природе, чтобы снова поднялись здесь боры-беломошники.

Рядом с бывшими деревнями молодой нахальный березняк прокрался в глубь бесхозных полей. Вот в них, в этих березнячках, все чаще стали попадаться грибы.

— Обабки, — радовался Степаныч, — сушить будем, пласт пошел...

После очередного ночлега еще по росе мужчины ушли на грибную охоту. Таня осталась у палаток одна. С утра Костя принес ей букет земляники. Докрасна накаленные солнцем крупные, с ноготь величиной, глянцевитые ягоды с выпирающими косточками свисали меж нежных вырезных листьев. Прикоснулась губами — пахло зноем.

Она не стала есть ягоды, поставила букет в кружку и вот теперь решила поработать, распаковала наконец этюдник и акварель.

Эти дни, ласковые и безмятежные, без лабораторной нервотрепки, телефонных криков, перебежек по метро, холодного ужина, засыпания у телевизора в ожидании Костиного звонка или прихода — эти, такие контрастные дни средь друзей и рядом с ним, таким сейчас родным, вернули ей незаметно ту легкость и успокоение, о которых она и мечтать перестала.

Переполненная благодарностью к по-отцовски доброму Степанычу и даже надменному Борису за его снис-

ходительные взгляды, когда на ночь она уходила с Костей в палатку, к этой реке, тихо шепчущей ей о долгом спокойном пути, этим берегам и травам, принявшим ее как родную, она пела, и на белом листе брызгала соком земляника, которую собрал для нее любимый, когда она еще спала.

Мужчины вернулись вскоре и вчетвером. Четвертым был узколицый в клетчатой старенькой рубахе и резиновых сапогах. Голову в толстой замызганной кепке он держал вскинутой вверх, отчего щетинистый подбородок его как-то задиристо выпирал, и влажно блестели серые быстрые глаза.

— Вот, Таня, Варфоломей Петрович говорит, что дальше ехать некуда. Нет Никифорова! — Голос у Степаныча был растерянным.

— Как нет?

— Дак... от... ну... съехали. Лес-то взяли... — неожиданно путано заговорил гость.

— Куда уехали?

— Кто... ить... куда дак... Ничто не надо! — сказал он вдруг зло и плюнул в траву.

Посидели у костра, гость покурил столичных сигарет, попил чаю, обвык немного, разговорился.

Оказалось, местный лес вырубили лет десять назад. Но леспромхоз жил еще за счет бригад, которые ездили работать на деляны километров за двести на север, уже в другую область. Но ритм жизни был уже сбит, все стало понемногу разлаживаться, люди, чуя конец предприятию, стали разъезжаться. И вот три года назад заколотили они школу, потом клуб и магазин. Уехали все. Леспромхоз свернули. Остался в этих краях небольшой колхозик, куда пристали старики да тяжелые на подъем старожилы. Живут теперь две деревни у дороги, да ниже по течению, сразу за Никифоровом, теплится Гутина гора — деревушка из одного дома.

Он ушел, и Степаныч стал сразу сворачивать палатку. Ему никто не перечил. Собрались быстро, пошли ходко.

Часа через два замаячила впереди свечка колокольни, а потом стал наплывать белый собор на угоре и сбегающее по его пологому склону село.

Справа угадывались улицы старой деревни — уже выщербленные, с пустыми усадьбами, лишь тополя могучие, разросшиеся кучно в бывших палисадниках, держали порядок. Должно быть, часть изб все же перевезли или разобрали на дрова. Оставшиеся тонули в зелени.

Но центр села — из длинных одинаковых бараков, стоящих друг против друга, был гол, без единого деревца. И дальше за ним, тоже по-казарменному пусто и ровно, стояли стандартные двухквартирные дома. Ни дымка, ни звука движка, ни лая собаки...

«Господи! Как после нейтронной бомбы», — подумала, вглядываясь, Таня.

Вытащили байдарки на траву и сразу стали подниматься наверх за Степанычем. Миновали то ли баньки, то ли погреба, вросшие в землю на пологом склоне, прошли мимо больших дощатых сараев без дверей с обрушившимися крышами и оказались на угоре, на дороге, ведущей к церковным стенам.

Ее, заросшую муравой и подорожником, пересекали здесь железные полосы — ржавая узкоколейка, по которой отгружали лес, тоже словно вросла в землю, не было здесь привычной насыпи, шпалы уже затянуло травьем, и между рельсов, словно кто их посеял, несметно белели седые шарики одуванчиков.

— Занятно! — остановился Борис. — Я, пожалуй, за фотоаппаратом...

Он побежал вниз.

— Семнадцатый век, — отметила Таня, оглядывая высокие серые стены колокольни, поверху поросшие березками, проемы узких окон основного здания, скелет купола.

— Устюжская школа, одни по Северу мастера строили, — откликнулся взволнованный Степаныч.

Поднялись на высокую облупленную паперть. Зашли через дверной разлом. Стены черные, закоптелые, ободранные до кирпичей, были безжалостно исполосованы матерными хулиганскими надписями. Пола не было, на земле кучами лежал железный хлам, ржавый, изъеденный непогодой. Крыша местами светилась, а купол и вовсе зиял дырой. Пахло могильно и затхло даже сейчас, среди лета.

— Машинный двор или мастерская ремонтная... когда приезжал, еще верх иконостаса сохранялся... можно было снять... да... глуп был, глуп.

Голос Степаныча стал глухим и тоже словно неживым.

Таня оглянулась на Костю. И в нем, всегда уравновешенном, она уловила досаду.

— Варвары, дикое скопище пьяниц...

— Нет, уж извините! — вдруг закипел Степаныч. —

Вынуждено все это! От нужды, она никогда не красила. Не могли они запросто так, местные ведь знали, по копейкам, по грошам собирали с кружкой по миру на эти храмы. Конечно, купцы здесь были, но и каждый давал, как же не дашь, когда и дети, и скот, и сам — все под небесами!

— А безбожники? Наши? Воинствующие? — Костя явно злил Степаныча. У того вскинулись брови, собирая складки на лбу, лицо стало краснеть.

Таня вытолкнула Костю наружу, схватила за руку, уволокла с паперти.

— Ты что, не видишь, что с ним делается!

— На кой хрен тащил он нас сюда? Надо было знать, куда едешь!

Он закурил и сел на плоский точеный камень.

Таня огляделась. Они были на церковном кладбище. Сгнившие поваленные кресты с голубцом-шалашиком из двух досок поверху, осевшие в землю каменные плиты с окрошившимися, замытыми буквами надписей, несколько скособоченных памятников старинных с тусклыми мраморными плитами. На ближайшем она с трудом, но разобрала: «Купец первой гильдии Иван Пименович Смолин». Между могил было кладбище поновей — железное: колеса, рессоры, мотки проволоки, машинная станина, дверца от грузовика.

— Вот нарисуй, покажи, разве поверят! — громко рыкая, спрыгнул с паперти Борис. — А это — жизнь, реальность наша, сегодняшняя... Битва природы и цивилизации — великое побоище! И связь времен, — развел он руками, — Степаныч!

Борис был явно возбужден.

— Степаныч! Здесь надо поработать. Давай разбивать лагерь. Отсюда нельзя уходить с пустыми руками... Это же черт знает что: сначала человек на природу, теперь природа на то, что осталось от человека...

— Разве человек — не природа?! — Тане захотелось остановить опьяневшего непонятно отчего Бориса, который кружил по кладбищу, вскидывая руки с фотоаппаратом, то приседал, то снова вскакивал.

— Да вы что, не видите — это же аллегория, ее не выдумать в мастерской, что там «Сталкер», здесь жизненно, до нутра... ошпаривает!

— Прекрати! — на паперти стоял Степаныч, большой, нахмуренный. — В чем ты увидел красоту? Это же разор, уродство, разор...

— А я вижу! — с вызовом вскинулся Борис. — Вижу, Степаныч! Каждый видит свое! А ты пойди на берег, попиши пейзажи. Сам же говорил: вода успокаивает. Пейзажи здесь от-мен-ные, отменные! А Таня цветочки свои порисует. Каждому будет дело. Но давайте работать, ребята, чего теперь слезы лить!

— Разве кто-то льет?! — Лицо Степаныча стало грозным, глаза сузились. — Через час пойдем дальше!

— Ну-у... — Борис запнулся. — Псих, твою мать! — выругался он, когда учитель отошел. — На плакатах да лирике хотели выехать, на все глаза закрывали, а теперь кто-то виноват. Президиумщики! — ругал он в Степаныче целое поколение.

Таня понимала Бориса, но и Степаныча было жаль, как и безмерно жаль шумевшую тут недавно пусть и нескладную, но жизнь.

— Пошли пошарим, что ли? — предложил сникший Борис, кивая на пустые дома.

— Нет, — впервые отказалась Таня. — Я посижу тут.

С Борисом ушел Костя. Она видела, как они пошли было вслед за Степанычем в старую часть села — на тополиную улицу, но потом постояли, помялись и свернули туда, где были леспромхозовские бараки.

А Степаныч все удалялся, и Таня не упускала из виду пятно его розовой рубахи. Оно то исчезало среди зелени, то вновь выныривало, потом остановилось, замерло под одной из тополиных куртин.

Потрясение, которое исходило сегодня от него, почти родного человека, передалось и ей, вошло в душу, заполнило ее, расширило, да так, что, казалось, больно дышать. И даже сейчас, когда она осталась одна, ей казалось, она чувствует все, что творится со Степанычем — этим немолодым, славно пожившим, крепким и боевитым человеком, совсем не молчуном, а приехавшим вот взглянуть на свою колыбель, на свою родину, чтобы порадоваться ей с друзьями и собой порадовать, да вот — лишь вина и боль вместо радости. Быть может, под теми тополями и качалась его зыбка. И сейчас над ним, как думы в отяжеленной голове, как кровь, взбунтовавшаяся в сердце, шумят ветви вековых деревьев. О чем они там, в синем своем пространстве? С безлистой кроной, вросшие корнями в этот глинозем, преданные ему навечно, состарились они тут, над этой рекой, рядом и над жизнью людей, теряющих свои корни. Упрекают они или сочувствуют, на-

ставляют или смиряют? Течет сквозь них сок этой земли, поднимается к небу, выпрастывается в зелень листьев, и бушуют они, безъязыкие, немолчно и ночью, и днем, и в бурю, и даже в затишье. Что же тебе надобно, Степаныч, работал ты, не лежал на печи, и всего сам добился, и художником стал и звание, и почет, и деньги, и ученики, и покой желанный, если он нужен, — зачем же тебе виноватить себя?! Что же бушует твоя кровь? Что же рыдает твое сердце? Что бы ты сделал, если б и жил здесь? Плетью обуха не перешибешь. Но страдать тебе до конца дней своих за любовь невысказанную, за землю поруганную. Страдать, маяться, изводиться...

В оцепенении сидела женщина, глядя на огонек учителевой рубахи, и вся панорама, все пространство, что открывалось отсюда, от остова некогда белого храма, входило в нее: река, здесь уже полнокровная, неторопливая, обтекала угор небрежным пояском, за нею через травостойные луга и кустарники поднималась грива леса, а потом еще одна и еще — они перемежались полями или болотинами, отсюда не видно, но становились все темнее и темнее, уходя за горизонт. Синь и зелень наполняли сейчас эту землю и вечереющее солнце, расплавленное как металл, готовое наколоться на далекие еловые вершины, позолотило, окрасило своим светом все это. И даже на рядом стоящие травы легло розовое свечение, и бьющая днем в глаза зелень стала притухать, а розовая синь все густеть и густеть, и розовое пятно слилось с нею...

Чарующе, завораживающе приходила ночь, но уже не радовала эта красота, не было того ликования, той легкости, что наполняли Таню утром. Что тебе, горожанке, выросшей в заводских бараках, уже давно и радостно разрушенных, до этой боли?

...Степаныч ждал их на берегу. Таня увидела в заднем кармане его брюк фляжку со спиртом, что брали про запас.

— Ну что, мародеры, плоховато пожились? — сверкнул он глазами.

Взял у Бориса медный ковшик, помятый, в зеленой окиси, плоский, с полой ручкой, на конце которой был крючок, чтобы цеплять за край бадьи, повертел в руках и закинул в воду.

Тот смолчал.

Плыть в ночь было бессмысленно. Но перечить не

стали, спустили байдарки, отчалили. Через час снова ткнулись в берег.

Утром их разбудил голос — девчоночий, нерешительный:

— Эй, кто тут?!

Таня выглянула из палатки — солнце слепило глаза, пришлось зажмуриться. Через мгновение, притерпевшись, она их снова открыла: неподалеку стоял мужик с посохом в руках, еще через секунду она его разглядела. Это был подросток лет четырнадцати-пятнадцати, крупный, в старом, явно с чужого плеча пиджаке, в сапогах с загнутыми голенищами. Лицо его, простоватое, с толстыми губами и припухшими веками, было настороженно.

Рядом с Таней сунулся Костя.

— Здрасте! — увидев мужчину, произнес парень.

— Ну здравствуй, здравствуй! — Костя вышел наружу.

— Вас же Гутя... сонных вилами запорет! — парень кивнул через плечо.

На взгорке, где темнел треугольный силуэт крыши, стояла, словно каменный крест, женщина в длинном одеянии, опершаяся на вилы.

— Да, дела... — Костя захохотал.

Из соседней палатки вылезли один за другим Борис со Степанычем.

— Так это, значит, и есть та самая Гутина гора? — Степаныч разминал плечи.

— Ну. А вы... почем знаете?

— Варфоломей, как его, Петрович рассказал.

— Ну... он знает, он ее крестник.

— А ты кто?

— Да я вон с имя, — парень махнул палкой влево.

Все посмотрели туда. На луговине, в загоне из жердей, паслись телята.

— Пастух, значит?

— Да нет, — парень явно обижался, — оператор по выпасу!

Все засмеялись. Парень тоже, уже добродушно. Степаныч протянул ему руку.

— Игорь, — назвался парень и добавил: — А по-церковному Ипат. Бабка в Устюг возила крестить, но сейчас померла, так никто не знат... А у вас батарейки есть?

— В фонарик, что ли?

— Не... мне «Крону» надо, транзистор сел...

Нужной батарейки не оказалось, но Игорь не уходил. Он принялся помогать налаживать кострище, а сам все поглядывал туда, вверх, на неподвижно стоящую женщину.

— Я тут за главного, — с удовольствием рассказывал он, — а Гутя в помощниках, еду варит и телят доглядывает, когда я в Борки езжу. У меня ведь мопед свой, — похвалился он, — заработанный. Прошлогодь я хорошо заработал. Тоже тут с Гутей... она к своим добрая, а вот пришлых не любит, все мнится ей... Хорошо вот, Полкана нет, а то все науськивала.

— А где же он? — Таня любила собак.

— Так зимой волки съели. С Гутей в избе жил, выпустила погулять, один хвост на снегу остался.

— О, господи! А как же эта Гутя? Она что, одна здесь зимой?

— Ну а кто с ней будет? Раньше на зиму сестра приезжала, а потом померла. Прошлогодь вырешено было... забрали ее в Борки. Там телевизор насмотрелась про Рейгана-то, что американцы на нас, и ушла опять сюда, охранять. Ей уж кажется, если нападут, так сразу на ее Гору. Ну да что с нее возьмешь, а председателю хлопотно, посылает к ней людей, хлеба же надо, ну и доглядеть. Я как на каникулы, так он самолично ко мне, а я и так к ней наведаюсь.

— У вас что, и школа есть?

— В интернат возят, в район.

— А в каком же ты классе?

— Да в седьмом был...

— Почему был?

— Да... девок шшупал...

— Это зачем? — Костю явно забавляло Игорево простодушие.

— Так, вижжат...

Все снова засмеялись, а Игорь веселее всех.

Попили чаю, и он засобирался...

— Доложуся Гуте, я ведь в разведку пошел.

— Пойдем вместе. — Тане хотелось туда, наверх, к этой странной старухе.

— Не... В штанах нельзя, — окинул ее взглядом парень. — Юбку, если есть, наденьте. И не отсюда. Поднимитеся наверх вон там, по-за кустарнику и с той стороны подходите, будто из деревни. А то с нее недорого возьмешь — чокнутая...

— Брось, Татьяна! — остановил Костя.

— Нет, сходи, сходи, — Степаныч встал на ее сторону, — я бы пошел.

— Нет! Вам не надо, вас она сразу раскусит... — Игорь покачал головой.

Таня надела юбку, голову повязала косынкой, взяла с собой конфет, банку сгущенки, пошла мимо телячьего загона, прячась за кустами, поднялась наверх и повернула к деревне.

Красивые места выбирали наши предки, но чтобы вот так — с маленькой горушки да простор на все четыре стороны — она видела впервые. Дал бы кто крылья, так бы и полетела над этими лесами до горизонта, над болотинами нехожеными, полями запустелыми, лугами травостойными и над собором Никифоровским и туда, где за спиной виднеется деревня, должно быть, Борки те самые, центр колхоза...

Сама Гутина гора была невелика. Таня прикинула — быть может, стояло тут усадеб семь в один порядок, виднеются еще кое-где зеленые холмики, должно быть, на месте павших изб, и заросли кустов возле, темнеют на дальнем конце два полусгнивших сруба. И над этой вымершей деревней, словно черные кресты, накренились два давно обесточенных телеграфных столба. Но прямо у дороги, как сторожевая башня, стоит с вызовом темный от времени, но ладный пятистенок о трех окнах, со светелкой наверху. Недалеко колодец с вóротом, у крытого двора свежая поленница, и чурбаки валяются, топор бликует на солнце — это его крутит в руках Игорь. Он говорит что-то старухе в длинном темном одеянии, а она, повернувшись к Тане, смотрит на нее из-под ладони. Подходя ближе, Таня заметила за избой ухоженный огород с цветущей картошкой и длинными луковыми грядами.

— Здравствуй, баба Гутя! — поклонилась она старухе и глянула ей в лицо. Оно, правильных черт, но маленькое и хмуро стянутое к переносице, вдруг словно разжалось, как кулачок, морщины расслабли, и неожиданно среди них, темных от старости и солнца, блеснули синевой глаза.

— Ой, гостюшка! Что-то долгонько ты... Мне Петюшка сказывал, — она обернулась к Игорю.

— Петя-то сын у нее был, — как переводчик пояснил парень.

— Ну, сын, сын, Петя-то... А ты чья будешь? Кузьмова по обличию... Ой, дева, не уберегла у вас избу-то, снегом завалило, о тута эти немцы-мериканцы... урон будет, ох, урон, дева...

Гутя зачмокала губами, и лицо ее снова стало собираться морщинами к переносице, хмуриться.

— Вон они, немцы-мериканцы, — подмигивая, показал Игорь на палатки.

— Не пушшу! — Старуха бросилась было к вилам, воткнутым в землю возле колодца.

— Да не придут они, сказал же я тебе! Я самолично с ними договорился! — Было видно, что Игорь имел на старуху влияние.

— Но, но... — она успокоилась, — не придут буди...

Таня отдала Гуте гостинцы, пошла было следом за ней в избу, но та не оглянулась, не позвала, прикрыла за собой дверь. В больших сенях было подметено, стоял мопед, но дальний угол почти до двери был завален деревянным хламом, видимо, наношенным из соседских изб, то ли для сохранности, то ли на истопку. «Хорошо, что не видят Борис с Костей», — невольно подумалось женщине.

Таня вышла на волю, заглянула в высокое окно. Двойные рамы, должно быть, давно не открывались, меж ними висела паутина, внутреннее убранство избы проглядывалось плохо, лишь за тусклыми стеклами неожиданно живо и дерзко горел огонек герани.

— Да идите, не бойтеся, — Игорь колол дрова без азарта, полегонечку, — она вас приняла, так теперь и обращать внимания не будет. Ходите куда надо.

И старуха, верно, вышла из избы, прошла мимо Тани в огород и, что-то наговаривая, склонилась над луковой грядой. Идти в избу, смотреть на старухино жилье Тане показалось кощунственным, чем заняться, она не знала, пошла было по бывшей деревне, но вернулась к избе. Гутя все копошилась в огороде, Игорь докладывал поленницу. Таня стала помогать ему.

— Семен Семеныч, председатель-то, на нас не намолится, кому надо здесь с телятам жить. Я ему и говорю, вот погоди, схожу в армию, женюся и насовсем на Гутину гору перееду. А чо? Если мотоцикл казенный дадут, поеду!

— Сходишь в армию, поживешь в городе, и домой не захочется, — засомневалась Таня.

— Не, я был в Чепецке у дяди, чай пить не мог — вода — одна хлорка... Но-о-о! — вдруг закричал он, бросив взгляд на телячий загон, и сорвался с места.

Таня уложила оставшиеся полешки, постояла без дела и пошла вниз, к палаткам. Метров через пятнадцать остановилась, словно кто пригвоздил к месту. Оглянулась. Сзади, у колодца, Гутя вырывала вилы из земли. «Куда же это я?» — пронеслось в голове.

— Ле-ешак! — долетел Гутин голос. — Не ходи к имя-я-я!

Но вместо того, чтобы повернуть обратно, Таня кинулась вниз, сама не понимая в себе страха.

Мужчины ждали ее. Борис, расставив треножник этюдника, писал воду, Костя, стоя неподалеку, забрасывал спиннинг. Степаныч сидел на раскладном стульчике, глядя на бежавшую Таню.

— Ты чего? — вскочил он навстречу.

— Да нет... ничего, — запыхавшаяся, она ткнулась ему в грудь.

— Она что, кинулась на тебя?

— Нет, нет! — Таня оглянулась. Гутя, как и утром, стояла на самой кромке обрыва, держа наизготове вилы. По склону к ней поднимался Игорь.

— Это я сама, сдуру...

И вдруг разрыдалась. Сматывая леску, подошел Костя, остановил кисть Борис.

— Ну расскажи, успокойся... — Степаныч погладил ей плечи. — Что там случилось?

— Брошу все... приеду к Гуте...

— А волки? — с издевкой спросил Борис.

— Она что, звала тебя?! — Голос Кости казался чужим, жестким и даже злым. — Только сумасшедшая и может здесь одна.

Словно защищая Таню от них, Степаныч прижал ее к себе.

— Да как раз наоборот, она одна в здравом уме здесь, и не только здесь... а мы...

— Конечно, мы сумасшедшие, плывущие мимо. По-вашему. А по-моему, каждому свое. Не нами и не сейчас сказано.

— Но что-то должны и мы сказать, — съехидничал Борис.

— Уже, — Степаныч посмотрел на Костю с грустью, — тобой: мы — плывущие мимо.

— Ну и поплыли, поплыли подальше от этого проклятого водораздела. Может, увидим родные заводские трубы и успокоимся. А что здесь — не нашего ума дело. Будет нужда, поднимут и тут целину, и на Северном полюсе хлеб вырастят...

Таня отвернулась от спорящих и пошла вдоль реки. И когда отдалились голоса мужчин, опустилась на землю, легла в травяную ее постель. Что-то произошло за эти два дня. Окружающий ее мир, такой еще недавно радостный, шелестящий, щебечущий, волнующийся под ветром, виделся ей сейчас словно через пыльное стекло. Лишь розовая рубаха Степаныча трепетала в нем яркой точкой, как та вечная деревенская герань на Гутином подоконнике.

ОЧЕРКИ

Георгий Гореловский

ПРЕДСТОИТ ВОЗРОДИТЬСЯ...

Для меня вне вопроса о мужике и земле не существует никаких вопросов.

С. Н. Терпигорев

1

Нам, молодым, легко и просто. Нет надобности доказывать, что нельзя жить и ничего ты не будешь стоить, если не поймешь, не прочувствуешь цену своему прошлому, не искупаешься в боли бед и лихолетий, доставшихся твоим праотцам, — прямо на середине, может быть, пути как коровьим языком слизанных с пашен, жнивья, нечаянно, в дождь выпавшего междуделья, из-за выскобленного дожелта обеденного стола, прямо со сна, короткого и тяжелого, как удар, сна хлебопашца. Не надо открывать тему — изобретать велосипед, бояться шокировать публику, ты свободен, тебе легко и просто, потому что ты — вторичен, и этим все сказано. Трудно писать, предвидя снисходительное похлопывание по плечу: «Ишь, пострел, и он пристроился». Трудно, ответственно, но и молчать нет больше сил.

Слышал ты в Москве от грозного, глухого старика Катаева: «И упаси вас бог от всякой групповщины! Художник должен быть один!» Все согласны. Но, борясь с групповщиной, сбивают тебя в группу и возят по стране за чей-то несчитанный, бездонный счет: из Прибалтики в Казахстан, из Ленинграда на Урал, с Колымы в Коми, из Коми в Кишинев... И хоть бы кто объяснил — для чего? Потерянные корни ищем? Тему? Та-

лант? Друзей? Совесть? Вчерашний день?.. И почему в чужом краю, почему?

Ведут с тобой, молодым, работу, собирают в секции, на семинары, совещания, на которых видишь ты писателей известных, но далеких, ох далеких от тебя в своей выси, внимаешь им одними глазами, пытаешься понять, о чем же на самом деле они думают, как оценивают и что теперь хотят; или зришь вдруг писателя, который недавно восхвалял то, что теперь — нам! — надлежит перестраивать, ломать в корне, а он с наскоку уже призывает тебя к активности и гражданской ответственности и с таким жаром, что действительно рванешься... куда? с чем?.. Не ошибается ли он в очередной раз? Ведь у него это в крови — воплощать в образы каждое постановление, иллюстрировать жизненным материалом, поддерживать линию, которая всегда была верна и которая привела нас куда?.. И как у него в таком случае с совестью? Несогласная совесть, мучается он... Не жалко. Не мучаться следовало бы, а страдать на хлебе и воде, нести ответственность. А он по-прежнему в глашатаях неукоснительной линии, всего нового, прогрессивного, справедливого... Отцы и дети, отцы и дети...

Вполне сложившимся человеком, в двадцать восемь лет, сподобился я приобщиться к «литературным кругам». Сам я никогда так о себе и своей цели не думал, но мне сразу указали место на одном из вступительных экзаменов в Литинституте: «Как! Вы хотите войти в литературные круги и не читали Белова?..» А я действительно ни в деревне, ни в своих загранзаплывах не слышал имени В. Белова, познакомился с его творчеством позже и был счастлив этому знакомству, но в тот момент отсутствие этого всенепременного, оказывается, входного в «круги» билета смяло меня до такой беспомощности, что перед вторым вопросом я, с разрешения, вышел и спросил у абитуры, кто написал... «Мцыри», чем и вызвал бурю светлого ликования.

Джинсовый мальчик прочитал мне почти всю поэму наизусть, девочка, мне показалось — лет двенадцати, отчеканила историю русского романтизма от зарождения до краха, чем и ввергла меня в глубочайшее и окончательное отчаяние. Меня похлопали по спине, поинтересовались, откуда я — «Из Копотиловки», — весело потолкали в бока и единодушно сошлись во мнении, что такой поступит, тут таланту прорва, он не замутнен и сразу хватит с вершин, бывает же такое, ой, мамочки, надо

папе рассказать, и лишь один татарин, который из-за отдаленности своей деревни начал ходить в школу с десяти лет и однажды чуть-таки не замерз, ухнувшись в сумерках в занесенный рыхлым снегом карьер, и с которым мы бились в стены кругов третий год подряд, грустно посмотрел на все и сказал: «Дай-ка, старик, пятерку, я в «Елисей» схожу...»

То было еще «до указа», в пору малоупорядоченных цен, когда на пятерку еще можно было что-то купить. То было время расцвета так называемого либерализма, преклонения перед погоном и регалиями, за патриотическим золотым побряциванием которых орудовали разной узкой специальности дельцы, малые и большие казнокрады, среди которых всегда встречаются люди просто гениальные, но никогда их дар наше общество почему-то не может пустить себе на пользу, тихие, застенчивые приписчики, в духе общего либерализма, ничтоже сумняшеся, переставлявшие запятые и нолики туда-сюда. То был час полного удовлетворения вышиной нашей развитости, теплого кумовства, запанибратского неразделения благ на свои и народные. И везде присутствовал, восседал Бахус! Он заливал любую пропасть, любую совесть, все выравнивал, сглаживал, корректировал, дураков отправлял к праотцам, а умных вздымал к Славе и

веч-

нос-

ти.

Совершенно мертвым, мучаясь лишь вопросом: при чем здесь тот папа и чем он может мне помочь, вошел я в аудиторию, про «Мцыри» изрек полфразы, в которой отсутствовало сказуемое, но в институт таки поступил. Я «выплыл» на Конецком, когда экзаменатор — он что-то все мимо моего плеча в простенок смотрел, наверное, стеснялся и, подделываясь под меня, говорил тоже по полфразы, и со стороны могло показаться, что между нами полное понимание при глубочайших познаниях, — поразмыслив минут пять над моим «ответом», спросил, кто я по профессии, и вывел на Виктора Конецкого, которого я знал, как всякий уважающий себя моряк, но не думал, что им интересуются и в кругах.

Так вот, войдя в круги, я был удивлен до растерянности, которую не растерял по сей день, что потомственные столичные и другие интеллигенты, видевшие страну только из вагонов и на курортах, прекрасно осведомлены о заботах и чаяниях народа, его душе, какие ему нужны

книги, образы, герои — какое ему требуется искусство и что должно решать это искусство. Откуда что берется!.. Когда же я пытался высказать убеждение, что народу наше искусство вообще не нужно, а нужна правда без прикрас, нужна узнаваемость им самим пережитого или чистая развлекательность, то вызывал бурю негодования и слышал чуть ли не по Толстому, что народ сам не знает, что ему нужно, что народ...

— Темен?

— Нет! Не темен, но он какой-то такой вот...

— Патриот?

— Да, патриот. Патриот!.. И поэтому...

И поэтому, переводил я для себя с высоких материй, ему можно впарить что угодно, он все проглотит и даст тебе на чай с булкой.

К концу пятилетнего обучения на писателя я совершенно утратил под ногами почву и делал отчаянные усилия, чтобы не бросить все к чертовой бабушке. Мне с разных сторон тонко, исподволь, но настойчиво внушали: правду, художественную, но чтобы она несла воспитательный характер. А мне думалось, что правда и без «но» несет воспитательный, очищающий характер, особенно если она облечена в художественную форму.

Это «правда, но...» резало меня как ножницы. И некоторых, я видел, зарезало насмерть. Другие же весьма успешно переносили обрезание и начинали гнать уже, в сущности, прямо, от «но», то есть плести заведомую ложь в художественной форме, которая якобы способна воспитывать... Это страшно. «Рабочий кормится тем, что делает машины, бытовые приборы, которые покупают. Почему я должен разыгрывать мученика и писать в ящик? Я буду писать рассказы, которые печатают!» Вот почти дословное мнение моего современника о писательском ремесле. И он хорошо идет. Но я знаю, что он способен на большее, может писать лучше, острее, но... Тут вступает «но» совсем приземленное — семья на шее, безработица начинающего литератора, чем и как жить, если тебя не будут публиковать и в меру похваливать?.. Из такого положения он очень легко покупается, начинает строчить все, что ни закажут, в надежде потом, окрепнув, писать свое. Но начать сначала практически мало кому удается — настрой задается на всю жизнь, и жизнь получается не своя.

Я родился и вырос в деревне, жил по нескольку лет в разных городах союза — заштатных и столичных, в се-

верных, центральных и западных, европейских и азиатских, и до сих пор маюсь неразрешимостью своего положения: то ли возвращаться в деревню, пока она еще дышит, есть немытые яблоки, обтертую об штанину морковь, парную баранину, пить воду с фтором, работать в поле и толковать с мужиками о покосе, или продолжать глотать выхлопные газы в городе, приучаться к стерильной до неразличимости пище — горожане, может быть, мнят, что она такой и должна быть, но я-то чувствую, что запихиваю в себя выжимки, — пить воду с хлоркой, шустрить по магазинам, общаться с культурными людьми, отсиживать часы в учреждении и делать вид, что вся эта толкотня меня просто жуть как интересует?.. Я считаю себя типичным представителем нынешних двадцатипяти — тридцатипятилетних людей, покинувших в юности деревню, но так и не доехавших все же до города, о потерянности которых очень мало говорят серьезно, не выносят в отдельную группу — а таких миллионы! — но расписывают по имеющимся профессиональным, территориальным, социальным слоям, с которыми действительных связей у них как не было, так и нет. В то же время их жизненные проблемы особы, схожи... и неизвестны. Я не буду, назвавшись «представителем», подробно жаловаться, меня никто на это не уполномочивал, скажу только, что все очень больно, больно из-за своей беспомощности, неприкаянности и в городе, и дома, в деревне. Однако среди этих людей, скрипящих зубами в общежитиях, вагонах, балка́х, а также среди более старших, схожей судьбы, масса очень интересных, цельных, глубоких личностей. Поразительно! В своих надеждах на общественно активные силы я уповаю именно на эту, простите, прослойку. Мотаясь по миру, они сумели избежать той нравственной нивелировки, которой подверглись под крылом родителей в укоренившейся атмосфере меркантильности в последние, ну, два десятилетия потомственные горожане, и выковали собственный характер из личного, всегда неповторимого опыта. Интересен каждый, потому что они разны!

Городские же сверстники, с которыми сталкиваешься, похожи друг на друга ну как горшки: дорожка по родительской протекции, детективы, доставание всякой мишуры, псевдоностальгические песенки а-ля рюс («Я хотела бы жить с вами в маленьком городе...» Да ради бога! Приезжайте, поживите со мной в маленьком русском городе, где совершенно нечего есть), плохо притушенная по

случаю тебя, видимо, со свадьбы начавшаяся, бесконечная и вялая семейная ссора, желание заиметь (многие уже имеют) отдельную квартиру и «Жигули». А поверх всего — беспричинный, беспочвенный снобизм. Порою такая тягость накопится от общения, что хочется воспользоваться канвой известного рассказа Шукшина — поехать на центральный вокзал, зайти в уборную да покурить с каким-нибудь колхозником, сидящим на мешке. Уравновесить весь этот изыск, всезнайство кирзовыми сапогами и приятной человеческой робостью — удивлением перед миром.

Почему не возвращаюсь в деревню? Ну, во-первых, стыдно. Мотался-мотался и вот вернулся, значит, ни с чем. Да и — знаю — никому я там, кроме старушки матери, не нужен, и даже мать крепко запечалится, если я приеду не в отпуск, не дров нарубить, сад выкосить, а навсегда. Так в нашей деревне все перевернуто с ног на голову, что мало-мальски грамотному, здоровому молодому человеку жить там в глазах любого стало зазорным. «Это или последний оболтус, или пьянь, коли тут мыкается». Это только в сознании городской интеллигенции отношение к деревне, по причине нехватки продуктов и обнаружения в ней духовности, крепости устоев, мудрости (поздно, милые!), в значительной мере изменилось. Деревней теперь не тыкают в нос, а показывают ее по телевизору, обсуждают за круглыми, красного дерева полированными столами с боржомом в бокалах. Трогательная картина. Деревня только поеживается, гадая, что-то еще умного и передового спустят ей с этих столов.

А во-вторых, я не теряю надежды, что своей, с позволения назвать, литературной деятельностью сделаю для Родины больше, нежели сидя за рулем грузовика. Вот это меня пока и держит — «презренная писательская привычка надеяться на силу слова отуманивает меня» (Н. Чернышевский), — но не знаю, как долго удержит, потому что, чувствую, мне, крестьянину, никогда не позволят полностью открыть рта, если я не прикатаюсь — а это уже происходит — до одобренных, принятых здесь стереотипов, «не поднимусь» до выдвинутых задач, не решенных теми, кто их придумал и выдвинул, то есть пока окончательно не оторвусь от тех, кто меня родил. Ведь о деревне у нас в массе своей (за исключением двух-трех, может быть, имен, к счастью, известных) пишется с позиции стороннего рассматривания — наставлений, поучений, экономических рекомендаций, — изучения, но не с

позиции самого крестьянина. Поэтому хочу сделать одно предварительное замечание и кое-что поставить на место. Не в сознаниях, мне это не под силу, а хотя бы на время прочтения моих глав, иначе многое может стать неясным.

Кого, собственно, мы подразумеваем сейчас, произнося «народ»? Проявляя заботу о народе, кого мы видим?.. Кого-то, конечно, видим, но и себя — непременно! Руководителей разных рангов и профилей, инженеров, врачей, учителей, ученых, служителей широченной нашей культуры и служителей служителей культуры, то есть интеллигенцию. Говоря «народ», прежде всего мы видим самих себя. А народ ведь не мы!.. Мы — прослойка и надстройка, нахлебники у народа. Народ — это те, кто нас кормит, одевает, возит, строит нам жилье и убирает за нами, — вот это следует помнить в первую голову! — убирает за нами грязь, мусор, дерьмо. Рабочие и крестьяне без титулов, званий и привилегий. Если бы мы действительно заботились о народе, а не о себе, то не было бы потребности в частых многочасовых зажигательных речах, толстых сводах КЗоТа и миллиардах нечитаемых брошюр, — потребовалось бы всего-навсего разрешить народу работать не восемь часов, а столько, сколько он хочет, жить в меру способностей каждого, и забирать у него лишь определенный процент, а не столько, сколько хочется иметь неработающей надстройке и прослойке, оставляя народу прожиточный минимум (и как только нам удается возводить все это в справедливую законность!) в размере твердого и равного для миллионов оклада.

Размахивание где надо и не надо народным ярлыком говорит прежде всего о неуверенности в истинной ценности творимого, о поспешании наклеить вывеску, что это-де народное — кто осмелится выступить против народного, самого народа, ну? В итоге куцая известность самой себе выдается за общенародную... Между тем об этой всенародной славе народ ничего не знает, то, что выдается за вершину откровения, народ давно пережил и почти уже забыл, а о чем он помышляет на самом деле, говорить не принято, ибо это не укладывается в те рамки, за творчество в которых можно стать народным... В результате люди сплошь читают фантастику, зарубежный детектив и хоть какие-нибудь исторические романы о веках давно минувших, а живых классиков, народных своих писателей, каким дурным случаем приобретя, спешат сдать в макулатуру, чтобы обменять опять же на детектив, исторический роман или Джека Лондона, у которого

и романтика понятная, и страсти человеческие. В то же время славиться в каких бы там ни было кругах и в каких бы там ни было размерах становится возможным только благодаря долготерпию и трудолюбию народа. «Да наши художники — это же лучшие его сыны!» — возмутится кто-нибудь. Ну, знаете, это очень грустно, когда сыну приходится стучать себя в грудь, чтобы доказать сыновство у родителя. Тут уж или родитель пьянь беспробудная, или сын скотина, вынудивший родителя запить. Да, но хотелось бы слышать, кто обвинит наш народ в несостоятельности?.. Получается, увы, как в одесском напутствии: у вас два выхода из трех — или один раз выйти вон, или получить два раза по лицу. А и стучат в грудь! С экрана телевизора стучат, в статьях стучат: «Я тоже народ! Почему я не народ? Народ!..» А вот хотя бы потому, что доказывать приходится. Дискуссионность такой принадлежности сама по себе оставляет мало шансов, но вызывает очень неуместную жалость.

Путь к народу труден, долог. Как и где он проходит, не знает никто. Во всяком случае, не через телевизионные встречи — народ в это время или еще работает, или стоит в очередях, или ругается в семье, или уже спит.

Конечно, среди наших писателей есть люди действительно достойные всенародного уважения. Я прошу понимать меня шире — вообще всю нашу нынешнюю литературу, именующую себя народной и партийной до мозга костей. Ведь какой ни возьми роман, повесть — в них и рабочий, и колхозник, и парторг... И как же, в таком случае, становится возможным подобный разрыв? А видимо, оттого, что в действительности мы имеем вульгаризирование метода, отступление от ленинских норм партийности и классового самосознания. «...ни один живой человек *не может не становиться на сторону* того или другого класса (раз он понял их взаимоотношения), не может не радоваться успеху данного класса, не может не огорчаться его неудачами, не может не негодовать на тех, кто враждебен этому классу, на тех, кто мешает его развитию распространением отсталых воззрений...» * Ни один живой человек! А тем более художник. Особенно близко мне категоричное высказывание Поля Сартра: «Классовое сознание начинается тогда, когда человек отдает себе отчет в том, что перейти из одного класса в другой невозможно». По-моему, невозможно стать писате-

* Ленин В. И. ПСС. 5-е изд., т. 2, с. 547—548. (Курсив в цитатах везде авторский, — *Г. Г.*) Здесь и далее прим. авт.

лем-гражданином, если ты четко не осознаешь, какой класс представляешь. А какой класс представляет наша творческая и другая интеллигенция, десятилетиями не слезающая со славословящих трибун и поучительских кафедр? Боли и радости какого класса заботят ее ум, тревожат душу?.. Народа вообще, некоего безликого сонма людей, единой народности, которой нет и зачем ей быть. Нет, что хотите со мной делайте, но не могу дать иного ответа, что интеллигенция наша в большей части представляет только самою себя. А поскольку по большому счету о самой себе «представлять» ей в основном нечего (сутяжничество в учреждениях выглядит борьбой и делом только в ее собственных глазах), то она верещит обо всем на свете, глядя по поветрию. И получается, что она с одинаковым воодушевлением то восхваляет все и вся, как было вчера, то критикует все и вся и даже себя, что происходит сейчас, — болеет за всех и за все вообще, а в действительности ни за кого, кроме как за себя, потому что стоит на позициях никаких. Стоит на позиции «Что прикажете?..». Есть, есть яркие исключения, которые лишь подтверждают правило.

В последнее же время в отношении народа стали высказываться вещи вообще удивительные. Обиженно гнусавится о том, что народ-де у нас какой-то полукультурный, полуобразованный, полуидейно подкованный — отсюда, мол, все и беды дня. Но товарищи дорогие! Мы же образовываем народ, мы образователи, а он образовывающийся! Мы взялись вести его из невежества и мракобесия к свету, мы предложили ему новых кумиров и религию, мы! Как же можно обвинять весь класс, если материал оказался в массе, а не одними двоечниками, не усвоен?..

С проблемой образованности и культурия мы пытаемся перепрыгнуть через самих себя, перенестись из действительности в мечту и жить там, в мечте, не замечая действительности. Мы хотим, чтобы кто-то стелил нам дорожки, подносил рюмочку, подметал, убирал за нами, получал бы за это семьдесят рублей, не подворовывал и был бы доволен, активен, культурен, вежлив и в галстуке!.. Когда мы вычеркнем из списка профессий такой пункт, как уборщица? Когда в своей высокоумной деятельности перейдем, так сказать, на безотходное существование — все необходимое для жизни будем создавать и расщеплять одними мозговыми усилиями. Когда это произойдет? В трудно обозримой даже фантастикой отда-

ленности, а говоря человеческим языком — никогда, земля к тому времени рассыплется под нашими ногами. «Ну что там — уборщица, их единицы!» Ой ли? Посмотрите за окно, сосчитайте, сколько учреждений на вашей улице, и в каждом работает по нескольку уборщиц. Это десятки тысяч матерей и бабушек, наших равноправных граждан. Там встречаются и мужчины, студенты, но в основном это наши матери и бабушки, мы милостиво позволили им, в прибавок к пенсии, поубирать за нами... Очень мило, очень.

А чтобы отпали несправедливые, незаслуженные обвинения народа в бескультурье и грубости, нужно всего лишь признать, что в роде людском всегда было человеческое быдло и человеческая элита. Так было, так есть и так долго еще будет. И вот тогда все сразу становится на свои места! Сразу делается понятно, кто в чем виноват, кто культурен, а кто не допущен к культуре, кто кормит, а кто жрет да поучает, кто кого ведет и кто кого обманывает. Очень все становится понятным!

Я бы все же прибавил уборщице в окладе, хотя бы за ее одиночество. Она и не на улице и не в коллективе, а так где-то, в пустом коридоре. Иногда ее приглашают на общее профсоюзное собрание, но это уже чистой воды издевка — она там столько выступает, столько решает... За одиночество среди людей надо бы накинуть.

Ладно, уборщицу мы, конечно, упраздним раньше. Изобретем такой аппарат, который после нашего ухода будет сопеть под столом, шуршать по углам, шоркать в унитазе и выбрасывать с обратного конца красивые фантики, это несложно. Уже. И посуду будет мыть машина — посуда будет вся железная, машина тоже железная, а вода — горячая, все так. Но вот кто будет подавать человеку документ, книгу, красивую одежду, пищу? Тоже машина?.. Думать так — значит вообще ничего не понимать в человеке. Машина может подавать машине. А превратиться в нее человек не сможет, он скорее сойдет с ума. Единственная надежда, что нам будут подавать из любви, а не за зарплату. Мы в самом начале этого пути к любви народной.

2

Легко нам, молодым, просто... Но винят нас, что бойко мы пишем, да беззубо как-то, есть накат, но нет напора. Но товарищи опять же дорогие! Мы же не с Луны при-

летели, почему это мы выросли у вас такие незубастые? Кто выбил нам зубы? — поставим вопрос так. Кто посеял в душах молодых равнодушие и безволие? Кто привил и взрастил в их среде лицемерие и бюрократизм? Кого вы вините, указуя на нас? Мы плоть и кровь ваша, плоды вашего воспитания и учения. Давайте не будем перекладывать с больной головы на здоровую или тоже больную. Ведь далеко не каждое общество способно, например, усадить за стол двадцатилетнего здорового парня, которого должна распирать энергия, поиск себя, будоражить мысль, как жить, с кого делать жизнь, — усадить, успокоить его и приучить абсолютно ничего не делать, а если и порываться куда, так только к еще большему безделию в более мягком кресле, далеко не каждое! А они ведь сидят у нас, тысячи их сидят! В ладно скроенных костюмах, отутюженных рубашках и галстуках в тон. Попадешь к ним — и как в паутину влипнешь, понимать даже перестаешь, зачем ты пришел и чего ты стоишь, если не умеешь вот так сомнамбулистически сидеть восемь часов, перекладывать бумажки и время от времени говорить в телефон: «Вопрос еще не решен», или: «Он в командировке». Какой вопрос? Почему не решен? Кто в командировке, зачем?..

Вот, думаешь, черт возьми, какое спокойствие у этих кормчих, как уверенно, оказывается, плывет корабль, по какому маслу все идет, что ты ерзаешь, суетишься, волнуешься, спешишь куда-то! — сиди себе знай, и баста. Но нет, не получается... Вырвешься наконец на улицу, отойдешь подальше, оглянешься... А может, они и действительно какую-то важную государственную тайну хранят, секретные, не для твоего ума, планы?.. Но зачем в тайну посвятили столь многих? Доверили бы ее одному, приставили солдата с ружьем, и пусть тогда хранит себе в надлежащей скромной обстановке. А для чего же сидят они в несколько этажей в каждом городе, в каждом районе, получают зарплату, внеочередную жилплощадь, пайки, еще какие-то льготы, специально для них придуманные? Ведь не сами они пришли да расселись, а кто-то их усадил, устроил, провел телефоны, написал инструкции, как ничего не делать и сохранять недоступную для посетителей мудрость на челе. Кем, чем они руководят, какие создают блага, какие устраняют препоны человеческой мысли и прогрессу?.. Ударными молодежными стройками руководят? Так надо тогда освободить от забот министерства, главки и поименно — начальников строек, замов,

инженеров, бригадиров, прорабов... Пусть вот эти молодые люди и руководят. По телефону. Может быть, бойчее пойдет. Воспитывают молодежь?.. Какую молодежь? Вокруг никого нет и никому сюда с улицы не войти — там, внизу, вахтер, в цивильном, но стоит насмерть. Если только друг друга... Но для чего такие парниковые условия, кого в них можно воспитать?

Люди, милые мои, давайте признаемся друг другу, посмотрим в глаза честно! Ведь ничего они не создают, не устраняют препоны, а преумножают их, а преумножив, возводят в степень, чтобы для свата и брата раздуть свои штаты. Давайте же разгоним их к чертовой бабушке, заставим работать, а то ведь они, может, и не осознают двусмысленности своего положения! «Ни один работник не скажет, что нужно уничтожить ту фабрику, на которой он находит кусок хлеба, и не потому, чтобы он это рассчитывал, а бессознательно». Это я Толстого Льва привел нам в помощь, он давно подметил, что привычный кусок хлеба приводит зачастую к вредности, абсурдности некоторых учреждений, бессознательному иждивенчеству у народа. Запретим спекулировать легендарными, святыми нашими понятиями! Ведь гнется выя народная под бременем плодящихся нахлебников!.. Искоренено ли рабство или оно лишь замаскировано? Ведь это очень удобно, такое четкое распределение обязанностей: пахарь и успокоитель, который погоняет и приговаривает красивые слова.

Оставьте свои «Чайки»,
«Волги»,
«Жигули»,
дачи,
коттеджи
и виллы.
Прервите речь о недалеком счастье,
о единой социальной структуре,
спуститесь на землю!

Заберитесь в глубину России, в какой-нибудь районный городок вдали от железных дорог, аэропортов, генеральных наших направлений. Сядьте в рейсовый автобус с легкомысленной маркой «Турист», который ковыляет по ухабам и колдобинам дороги местного, несоюзного значения со скоростью двадцать километров в час, вглядитесь в людей, в нем едущих!.. Набит ими автобус битком, он раз в день ходит, разбит он, скрежещет, хрустит, надрывается, пылищи — рукой не отвести, выхлопная бензино-

вая вонь до рвоты, — посмотрите на этих людей, которых везут хуже, чем скот...

Черные,
избороржденные морщинами
лица,
беззубые рты,
согнутые спины,
голенища шей.

Скрюченные от работы руки,
веревки вен...
Они прошли по две,
три войны,
столько же периодов голода,
они два раза подняли страну —
нас! —
из пепла,
они кормили и поили нас,

они родили и вырастили нас,
посмотрите на них! —
это рабы наши...

Стоишь, зажатый, угол буханки трет тебе спину, под ногами визжит в мешке поросенок, костыль старика упирается в бок, стоишь и не плачешь только потому, что они начнут тебя успокаивать, обласкивать, — тебя, трутня! — что они даже не поймут, чем ты не доволен, отчего тебе больно. Они столько пережили, натерпелись, что рады покою старости, недалекому концу, рады этой буханке-кирпичу, этому автобусу, груде лома, тесноте, они никогда не жили лучше и не будут уже жить лучше никогда! Они даже меньше, чем рабы, они даже не ропщут, не восстают, мирятся со своей нищенской долей, и где же тогда наша совесть, когда мы говорим о достатке, благе человека, социальном обеспечении, равенстве, развитом гуманном обществе?

Да, они скоро уйдут, теперь уже недолго они будут мозолить наши бесстыжие глаза, они падают сотнями, тысячами, но что будет с нами, что мы будем стоить без их трудолюбия, бескорыстия, любви, — ведь между ними и нами пропасть знаний, ухищрений, постановлений, которые так и не дошли до их сознания, не облегчили участь, но сделали одинокими и беззащитными...

Накормим ли мы когда-нибудь алчных, напоим жаждых, оденем ли нагих и прикроем сирых? Несть им числа на земле нашей, бесконечен их тяжкий труд, и тихо их великое горе. Любим мы красиво говорить, далеко смот-

реть, высоко лететь и петь о коренных изменениях жизни. А видим ли мы со своих высот коренное? Что изменилось в деревне? Все стали грамотными? А разве есть в Европе страны не грамотные? Медицинское обслуживание, санитария быта?.. Развитие этой сферы характерно только для нас? И разве здесь мы на ведущем месте?.. А какую культуру, кроме кино и ошельмования религии, мы дали деревне?

И все же изменилось — многое и действительно коренное.

Крестьянин — хлебороб и животновод — рождался и должен будет рождаться в деревне до тех пор, пока мы в производстве продуктов не откажемся от земли и не начнем сочинять их из одной лишь нефти или еще чего-то чистыми руками и в белых колпаках. Дело даже не в колпаках, а в мышлении, дело в интересе, удовлетворении от труда и образа жизни. Из горожанина крестьянина не сделаешь ни в ПТУ, ни в институте, нигде и никак. И вот страшно то, что последние трудяги ложатся в гроб, а сама деревня крестьянина уже не рождает, а рождает она рабочего, служащего, то есть опять же горожанина. Ну, может быть, он не совсем пока горожанин, но еще в большой степени он теперь и не крестьянин. С идиотическим спокойствием взираем мы на этот процесс, всячески развиваем, поощряем, ускоряем, подталкиваем его всеми возможными и невозможными способами, ровняем деревню с городом, тогда как, может быть, в определенной мере как раз наоборот бы следовало. Если в прошлом крестьянин в своем труде на земле находил удовлетворение и эстетическое, не ведая, конечно, ни слова этого, ни самого понятия не зная, — обретал душевный покой, видел красоту, счастье в дружных всходах, в корове своей, цыплятах, барашках, навозе, наконец, когда все вокруг имело для него свою душу, характер, целесообразность, сцепленность, где и себе-то он отводил роль незначительную, но такую же всенепременную, как и всему остальному, то крестьянин теперешний, подравненный под горожанина, ничего, кроме тяжкой обузы и грязи, в своей работе не видит. И если житель города обожает для отдыха, строго по журналу, то есть по-дилетантски ковыряться у себя на дачном участке, то горожанин деревенский землю не то что не любит, он ее ненавидит. Так он ее ненавидит, что у дома своего, построенного ему совхозом, и за который он платит смехотворную сумму, он уже грядку под лук не разобьет, кры-

жовник, смородину не посадит, а уж о яблонях и говорить не приходится — жди, когда они вырастут да начнут плодоносить, если ждать, жить здесь плотно он не хочет, а все посматривает на большак, все порывается сняться, уехать, искать чего-то легкого, чистого и беспечного. Яйца он теперь покупает в магазине, и тушенка там порою продается, и овощи... А то можно, можно пока на «Беларусе» своем или ЗИЛе сгонять в дальнюю деревеньку к теще или просто заехать во двор, заросший бурьяном, где старый сад ломится от яблок и слив и какая-нибудь баба Нюша кормит ими своего поросенка, — дюже свининка потом вкусная и ароматная получается, куда там поросям, выкормленным на стимуляторах да рыбном фарше! — наколотить мешок, набрать корзины, без забот и хлопот наварить варенья, компотов — сиди да поглядывай в голубой экран на легкую и красивую жизнь.

Уж до чего дело докатилось, сам класс — класс! — мы стали стесняться называть своим именем. Сверху, именно сверху прививаем мы отвращение к наиважнейшей деятельности, гуманнейшему, земному слову и именуем теперь крестьян «тружениками села», а то и совсем витиевато — «тружениками аграрно-промышленного комплекса». Дойдем, видимо, по логике и до «тружеников поселков городского типа». Но и эти титулы не привязывают людей к земле, к плугу, коровьему хвосту. «У них мало объектов культбыта! — вопят городские ясновидцы. — Нет театров, дворцов, ателье!»

Че-

пу-

ха!

Перенесите в деревню весь Большой театр, с труппой, оркестром, буфетами, — посмотрят, конечно, с восторгом посмотрят, но жить рядом все равно не станут. Не станут жить нонешние крестьяне, потому что вокруг театра им надо будет пахать и бороновать, ходить за скотом без выходных и отпусков, от темна до темна, в пыли, грязи, мазуте, солярке, респираторе, уродоваться без любви и радости, без удовлетворения, без простого чувства нужности этого дела и чувства хозяина, которые утрачены нами на своем не таком уж и длинном пути. А если работать в деревне по восемь часов, по пять дней в неделю, а вечером сидеть в Большом, то осенью окочурится с голоду и театр, и сама деревня, и весь город.

Деревня жила — трудно, в каторге, но жила — и

кормила и без культуры в нашем ее туманном понимании, ужиться же с привнесенной внове культурой — духовной и аграрной — она не смогла. Я не за бескультурье, назад пути нет, только вперед, и не в словесах, а на деле и по всему фронту. Только не пойму вот — крестьянское мышление, — где мы будем сеять и держать свиней, превратив все в Город и Большой Театр?..

3

— А не надо никакой войны, — говорит моя мать, — и так все перемрут, передавят друг друга, обопьются. Господи, сколько на моем веку их тут на погост сволокли, скольких я пережила!.. Кто уехал, так не видишь, что там с ним делается, а тут как какой остался, иль обопьется, иль, глядишь, под трактор угодит, иль в тюрьму. Старого несут, а за ним молодого, старого — а за ним молодого, глазоньки б мои не видели!.. И когда только господь приберет меня, не могу я глядеть на безобразие это, хуже войны, хуже... И сердце так болит каждый раз, так болит...

Моя мать — старая малограмотная женщина, прожившая всю жизнь — за исключением военных лет — на одном, можно сказать, месте, крестьянка, человек, не умеющий фантазировать, лгать, и если она что-то обобщает, сравнивает, то только то, что видела и видит своими глазами, что пережила и прочувствовала. Она не прочитала ни одной книги — разве что какую-нибудь в детстве, юности, но когда это было? В какой жизни и в каком мире? — но очень любит слушать театральные радиопостановки и концерты по заявкам, помнит наизусть много стихотворений, особенно из Некрасова, выученных еще в церковноприходской школе, сыплет пословицами, поговорками, присказками и знает песни, которые нигде я больше не слышал.

Под окнами дома, в котором живет мать, где я родился и вырос, из которого в свой час отправились в мир иной мои дед и бабушка, проходит дорога, ведущая к церкви и кладбищу, и ей, сидящей у окна, действительно видно, как часто и кого несут. Сравнивая этот поток гробов, в которых и старые и молодые, с войной, мать тоже не голословна, ибо всю почти войну прошла с действующей армией.

...Штаб отходящего соединения задержался в нашем селе. Село было небольшое, но являлось центром сельсовета, стояло оно на большаке, имелась в нем телефонная, действующая пока, зуммерная подстанция, через которую можно было выйти на другие. Имелась и столовая, где работала моя мать.

Истощенный язвенной болезнью полковник с подозрением оглядел две румяные мясистые котлеты, принесенные ему. Осторожно ковырнул вилкой, разжевал, проглотил... Съел одну и, быстро, другую. Спросил у работника сельсовета, сидевшего в углу, кто готовил.

— Савельева Татьяна, повариха наша...

— Она пожилая?

— Да ту, пожилая!.. Молодуха...

— Позовите ее.

— Таньку?

— Да. Быстро сюда!

Полковник спросил мать о семье и тут же предложил место повара при штабе — поступить в интендантский взвод вольнонаемной. Мать, удивленная, конечно, стала отказываться, ссылаясь на то, что сын, отец, хозяйство, война, и как же? — нет и нет. Полковник, ощущая спиной подпирающую фашистскую лавину, прервал ее:

— Все это теперь не имеет значения. Вы не понимаете, а у меня нет времени. Немедленно идите к отцу и скажите о моем предложении. На сборы у вас остается тридцать минут. Здесь уже фронт, и это приказ. Идите.

Буквально за несколько дней до начала войны из Ленинграда привезла на лето малолетнего сына сестра матери тетя Наташа, маленькая, веселая, энергичная женщина. Когда прозвучало сообщение о вероломном на нас нападении, она схватилась за чемодан — в Ленинграде оставались муж, квартира, работа... Но отец, мой дед Савелий, ее остановил.

— В войну в городах голод, мор, сдохнешь там. Тут хоть кореньев пожуешь и то еда, а в городе что? Камень. И малец с тобой. Никуда не поедешь, разоблакайся. И не заикайся у меня!..

Выжили бы тетя Наташа и мой двоюродный брат Славик, вернувшись в Ленинград, который вскоре сжало кольцо блокады, уцелели бы?.. Неизвестно. Но дед Савелий дочку из деревни не отпустил. Мудрость? Опыт, предчувствие беды?.. Да, но и еще — вера в землю, что она прокормит, исцелит, спасет, — дед был крестьянин.

...Растерянная, испуганная, мать прибежала домой. Дед молча выслушал сбивчивый ее рассказ и произнес только одно слово:

— Иди...

— Куда идти, папаш? — поняв по-своему и уже радуясь, спросила мать. — Что делать?

Дед поднял голову.

— Иди с войском.

Мать с тетей Наташей заплакали, запричитали. Дед дал им минуту, встал.

— Цыц! — Женщины смолкли. — Немец прет не в шутку, скока под ним сидеть — неведомо. И спокою тут не будет — война... А ты все ж так при штабе будешь, не в солдатских окопах. Мальца мы с Наташкой приглядим... А то скоро и назад будете... А куда дальше? Дальше тут никого и не пускали... Мальца я тебе пригляжу... Все, собирайте шалгун!

Через полчаса мать сидела в кузове грузовика, прижимая к себе восьмилетнего сына. Ахали собравшиеся, старухи зло тыкали в сторону деда палками. Тот стоял молча, содрав с головы картуз, с сухим, беспомощным лицом...

Полковник оглядел толпу крестьян, набрал в грудь воздуха... Выдохнул, поправил на голове фуражку и сказал глухо:

— Здесь будет бой. Все уходите в лес. Прощайте.

Командир взвода охраны, с ППШ на шее, стоя на подножке первого грузовика, поглядывая на небо, махнул рукой, и машины тронулись. Двое связных на колхозных конях, верхом, неумело, без седел, рванули в обратную сторону — навстречу фронту и бессмертию.

...Вися на хвосте отступающей Красной Армии, немецкие передовые части прошли не останавливаясь. Только через несколько дней в помещичьем особняке разместилась тыловая команда, выбрав деревню центром нового административного деления оккупированной местности. «Гут! Гут!» — похлопывали фрицы по каменным стенам метровой толщины, разглядывали фигурную кладку квадратных колонн парадного въезда, фасада, карнизов, окон... Серебристые тополя и дубы парка тоже были «гут», немцы даже отказались от мысли свалить их на дрова — до того они необъятны в комле. И земли, леса вокруг — гут...

Многие бывали в Пушкинских Горах и могут пред-

ставить себе всю прелесть, неповторимое очарование этого всхолмленного северо-западного русского ландшафта. Моя родина, места, о которых пишу, — в пятнадцати-двадцати километрах от Святых Гор, если брать напрямую. В юности я пробирался туда на велосипеде. Теперь тех проселков не найти, нет деревень, нет людей — лес, кусты, дурная, годами невыкашиваемая трава...

Немцы руками крестьян взялись вывозить с полей камень, выравнивать участки, прочищать заплывшие канавы, строить дороги, наводить мосты, ремонтировать плотины, пахать и сеять столько, сколько позволяла имеющаяся рабсила и ее послушание. Труд был знакомый, но подневольный, труд, который нельзя было делать и невозможно совсем не делать. «Вот пришел барин, — говорил дед. — На всяких я поработал, но такого еще не было. Такого не допускали. Простится ли нам?..» Техники не было, но лошадей фрицы привезли, раздали по наиболее сильным дворам, и, несмотря на каждодневную работу по наряду (работы отменялись только по немецким религиозным праздникам), конь должен был быть здоров, с исправной упряжью, обеспечен кормом на зиму — вертись, дед, вертись, баба, кусай локти, вой волком, плачь... Нет тебе защиты ниоткуда, далеко Красная Армия, нет сыновей, не слышно великого Сталина, фашист оседлал землю и тебя. «Арбайтен, арбайтен, арбайтен!..» Лихо, ох лихо на Руси... *

Как-то рано утром в избу ввалился полицай. Дед, тетя Наташа и оба пацана сидели за столом, хлебали что-то из оловянной миски деревянными ложками.

— Савельева, к оберсту! — мыкнул полицай, оставшись у порога и заложив руки за спину.

Тетя Наташа уронила ложку.

— Зачем?..

— Шнель, Савельева, шнель, — с постным лицом, глядя в стену и покачиваясь с пятки на носок, сказал полицай и даже вздохнул.

Тетя Наташа, побледнев, выбралась из-за стола.

— Нет, ты скажи, зачем девку забираешь? — Дед

* Псковская область — край яростного партизанского сопротивления, сильного лесного подполья с действовавшими там, в немецком тылу, советскими правопорядками. Об этом достаточно много и хорошо написано. Задача моей работы скромнее, тише — показать муку людей, волею судьбы и обстоятельств пожизненно запряженных в плуг.

тоже поднялся с лавки. — Нам на работу идти. А?

Дед Савелий был мужичок маленький и даже не коренастый — самой незначительной внешности, на полицая ему приходилось смотреть снизу вверх. Но тот все буровил поверх дедовой головы простенок. Чего он там разглядывал, непонятно, наверное, просто глядел внутрь себя, и там все было так же уныло голо, как на бревенчатой стене избы.

— Так ты мне скажешь иль не? — не отставал дед. — Во столбень, прости ты, господи.

Полицай скосил на деда глаз, снова упер его в стену и прежним же тоном спросил:

— У тебя, дед, чего покрепче кваса нету?

— Покрепче кваса! — Дед развел руками, склонил набок голову. — А-а!.. А блинков с масельцем тебе не спечь?..

Полицай, словно проснувшись, вдруг улыбнулся во всю харю.

— Ии-ха-ха!.. Их ты, дедуня!.. — Веселость стала таять, как снег на плите, переходя во что-то нечеловеческое, взгляд погас. — Дедуня... Дедуня, — цедил полицай уже сквозь зубы. — И-и, деду-уня...

Дед Савелий отступил, перекрестился. Тетя Наташа вышла вперед.

— Я готова...

— Готова... Метр возьми.

— Метр?..

— Мерку снимать, — полицай махнул поперек груди, — шить, ну?

— Сантиметр...

— Ну!..

Начальник зоны, огромный, кривой на один глаз и хромой немец, с трудом, но мог объясняться по-русски, видимо, был в России не первый раз.

— Ты есть портной! — пригвоздил он сразу тетю Наташу.

Она действительно умела шить. Приезжая в отпуск в деревню, шила бабам кофты из ситца, из взрослого ладила ребятишкам пальтишки, штаны, рубашонки, перелицовывала старье. Все в округе это знали, дошло и до немцев.

— Гут. Шить френч.

Дальше, поднявшись из кресла, он пролаял что-то про фюрера — приближался день его рождения, и тыловик

надумал встретить праздник надлежаще, в обновке. Вышел из-за стола.

— Так, хиер так, унд так! — и вытянулся перед тетей Наташей во фрунт. Даже подняв руку, она едва доставала ему до плеча. Фриц указал перстом на табуретку у входа.

«Господи, не забыть бы... Надо записать... Нет, забуду, ничего не помню... А как спросить?.. Забуду!.. Уже не помню...»

— Герр офицер, я должна записать... Шрайбен...

— Я, я, — немец дал лист бумаги и карандаш. Тетя Наташа снова забралась на табуретку...

— Работать можно не ходить, пока готов!

Френч не майка, одним махом не сошьешь, а что подумает герр офицер, когда принесешь ему заготовку без рукавов и с белыми нитками?.. Тетя Наташа растерялась, но нашла в себе силы пролепетать:

— Нужно будет делать примерку...

— Вас? Делать вас?

— Примерку... — Она стала показывать жестами, и фриц, к счастью, понял.

— Гут. — И указал на дверь.

Тете Наташе принесли машинку, великолепную немецкую машинку, сукно, ткань на подбой, вату, пуговицы... Она развернула на столе отрез, разметила мелком, взялась за ножницы... Руки дрожали, и она заплакала, заревела в голос, забилась, упав лицом на стол.

— Не могу-у!.. Тятя, не могу я, боюсь!..

— Шей! — прикрикнул дед. — Шей, сукина дочь!.. — Пробежался по избе, сел на лавку, заплакал. — Шей, дочка, шей...

На третий день работа была закончена. Дважды, пересиливая страх, тетя Наташа носила френч на примерку.

Застегнувшись перед зеркалом, фриц помахал руками, похлопал себя по бокам и остался доволен.

— Кляйне русская фрау ист зер гут портной!

Дома ее поджидал дед.

— Ну, что сказал?

— Похвалил...

— Как так — похвалил?

— Зер гут, сказал.

— Да я тебя о чем спрашиваю, курица?

— О чем, тятя?

— А! — Дед махнул рукой. — Собирай на стол перехватывать...

На следующий день к дому подкатил мотоцикл. Солдат вытащил из коляски мешок, бросил его у крыльца и уехал. Дед долго и тупо смотрел на мешок, нагнулся, пощупал руками, развязал горловину... Соль...

Распрямившись, дед Савелий рьяно, трижды перекрестился на восток.

4

В моей повести нет восходящих на крест за идею — нет героя и нет подвига. В ней действуют мои родственники — крестьяне, и фоном — мои земляки, такие же крестьяне. В целом все они заурядны и безвестны, как тысячи и тысячи им подобных. Но лично для меня главное действующее лицо в рассказе есть. Это мой дед по матери Савелий, Савелий Антонович. Я не застал его. Но достаточно хорошо знаю о его судьбе из рассказов матери, теток, других людей, помнивших его. Помнивших, да, именно помнивших... Дед умер, может быть, рано, но и сверстников его уже нет на земле, все они — прошлое, прах и память. И не только они — нет, невозможно отыскать на родине знавших деда и из следующего поколения — умерли, погибли, разъехались. Грустно на древней земле, населенной новичками, людьми, не помнящими о себе. Тяжело и самой земле в неопытных руках...

К счастью, сохранилась хорошая, увеличенная фотография — его лицо. Ничего примечательного, даже по оплечному фото понятно, что это мужичок, а не мужичище: в картузе, с окладистой бородкой и усами, небольшими подслеповатыми глазами, глядящими на мир просто и тепло, — все. Признаюсь, что образ деда, складывающийся из рассказов, был для меня вначале, в юности, не совсем понятен, темен, а некоторые факты жизни даже неприятны. Порою я был почти рад, что его давно нет, что никто из посторонних не вспоминает о нем, не знает, чей я. И я отворачивался от портрета.

Прошло достаточно лет, скитания среди людей содрали с меня школьнический максимализм, кондовость казенных нравоучений, едва не сделавших меня безродным, пустой и звонкой бутылкой, в которую можно набулькать чего угодно. Жадно я изучал время, в котором жил мой дед, исторические катаклизмы, которые прошлись по не-

му, наши успехи, ставшие возможными благодаря таким, как он, и наши ошибки, отразившиеся прежде всего на таких, как он. И постепенно образ его для меня высветлился, я вернулся к своему деду, его лик теперь для меня — свят. Я атеист. Но невозможно жить без образа в душе, несущего в себе непоколебимую веру в дело, вложенное в руки судьбой. Каждый ищет его для себя где может — в философии, истории, учениях, в героях живых и живших, древних, мифологических, книжных. Мне не пришлось искать на стороне, я нашел его в своем предке, я счастливый человек. О чем я могу еще мечтать? Только об одном: чтобы и мой внук обрел хотя бы часть той веры, которую перенял я.

Тяга к жизни идет не с небес, не из чьих-то уст, она идет от чувства родства с предками, с прахом людей, по которому ходим. Человек рвется ввысь от великой силы под ногами. Эта сила, или вера, может объясняться поразному, очень заумно или очень прямолинейно, но начала, истоки ее останутся неизменны — в земле, в прахе и памяти. И когда наша память оторвется от земли, человек исчезнет во Вселенной, как луч, — мы превратимся в свет, чтобы на какой-то миг осветить закуток чьей-нибудь пещеры. По пути к этой великой и конечной цели мы пройдем через все круги ада, не минуя, может быть, и рай. Но рай — всего лишь одна комнатка агитпункта. Во все века, у всех народов, на всем протяжении развития разума существовал он в той или иной форме, но никто никогда не достиг его, ибо это означало бы конец пути и эволюции, и нас бы уже не было здесь, там, нигде. Не будем обижать человечество утверждением, что оно мучается лишь ради будущего удовлетворения потребностей. Потребности зависят от фантазии, а фантазия безгранична, как космос, — она и уведет нас в него. Наше нынешнее и будущее — это всего лишь очередные порции топлива в адской спирали бесконечности...

Кажется, я пытаюсь объять необъятное: тут и земля, и космос, а в центре стоит, разинув рот, мужик с подседельником... Пусть стоит. Думаю, что стоит он не случайно.

Эпоха, в которую довелось жить моему деду, сложна — целый водоворот событий, расколовший мир надвое. Не во всех них он участвовал непосредственно, но все они в той или иной мере коснулись его, а некоторые — именно лишь его как крестьянина. Для наглядности я напомню эти события в хронологическом порядке:

первая русская революция;
столыпинская аграрная реформа;
мировая империалистическая война;
февральская буржуазно-демократическая революция;
Великая Октябрьская социалистическая революция;
Декреты о земле и мире;
интервенция, гражданская война и
продразверстка;
нэп;
коллективизация;
вторая мировая война.

Даже для родившихся после все они, может, лишь за исключением одного-двух, звучат грозно. За каждым из них стоят крутые перемены в жизни народа, тяготы и надежды, утраты и приобретения. Один человек за сорок лет брался на смертельный излом столько раз, сколько, бывало, не случалось и за века. Глупо было бы утверждать, что сознание моего деда за это время совсем или почти не изменилось, что он умер таким же лаптем, как и родился (читать, писать и считать дед умел), но все же главной, наипервейшей и неизменной религией его, единственной верой всегда было и оставалось одно — обрабатывать землю. Земля — кормилица, зов, совесть, благодарность и благодать. Зло никогда не изойдет от земли, и случайные семена на ней не привьются.

Непомерные тяжести, физические и нравственные, многих вывернули наизнанку, они бросили землю, сыскали более легкую долю. Дед Савелий остался верен своей религии до смерти. Облегчения, исцеления он искал не в изгибах души, компромиссах с порядками, а только в самой земле. Он верил в святость хлебопашеского труда непоколебимо и надеялся, всегда, увы, надеялся, что склоненная над бороздой спина — лучшая защита от любой беды. С этой доброй и наивной верой он и лег в землю.

Чтобы не возникло в отношении деда подозрений в каком-нибудь приниженном, опростанном богостроительстве, сразу скажу, что человек он был верующий. (Уж и не знаю, многие ли помнят такую маленькую деталь, что слово к р е с т ь я н и н и происходит от х р и с т и а н и н, крещеный человек.) С именем бога садился и вставал из-за стола, приступал и заканчивал работу, с молитвой отходил ко сну. Но и здесь дед был если не типичным, то характерным представителем крестьянской массы — человек труда, он не любил попов и всех, кто, не утруждаясь шибко, пристроился жить «под колокольней», —

дед верил в бога, но мало ходил в церковь. И вряд ли он считал, что «чем тяжелее труд, тем он угоднее богу», он наставлял детей фразой несколько иного толка: «Бог сказал: трудись, и я к трудам прибавлю». Не был он и ханжой от религии. Ведь «с точки зрения идеи спасения деятельность человека, направленная на улучшение условий его существования, оценивается как нечто второстепенное. Если приходится делать выбор между... трудом и служением богу, то истинный христианин должен оставить все земные заботы и пойти за Христом» *. Дед Савелий не делал выбора и не пошел ни за Христом, ни за новым учением — он остался ковыряться в земле.

Землю себе дед приобрел в 1911 году, купив «банковский» хутор в 14 десятин, с ежегодной выплатой 55 рублей в счет погашения кредита. Мне не удалось выяснить настоящую цену этих десятин — какую ссуду предоставил деду банк, под какой процент, на какой срок, и уложился ли дед в этот срок, выплатил ли он за землю сполна, или же постановление Временного правительства от 11 июля 1917 года, отменившее действие столыпинской аграрной реформы, приостановило платежи, а Декрет о земле аннулировал дедов долг, буде такому оставаться.

Я также не знаю, был ли это банк частный или Крестьянский поземельный банк, имевший свои отделения в губерниях. Увы, мы так круто обошлись со своим недавним прошлым, так его запинали-затоптали, что легче узнать фактический материал о том же крестьяне из совершенно темного средневековья, нежели о своем родном предке, умершем, может быть, какую-то сотню лет назад. Где-нибудь в другой стране по хранящимся потомками бумагам, просто в устной передаче можно до пятого, седьмого колена проследить подъем и упадок семейных дел, всю предыдущую жизнь, свою маленькую историю, не отделимую от истории народа. Мы же уничтожили для чего-то и, казалось бы, неучтожимое — лишили каждого памяти, вырвали кровное, родовое; хорошо, если знаем что-то про дедушек, а уж прадедов у нас как будто и не было никогда, мы почти гомункулы в мире, если глянуть на нас беспристрастно со стороны. И вот стоим в пустоте, разводим руками, мычим и натыкаемся на что-то, как слепые и глухие одновременно, не чувствуем за спиной никого, не знаем о себе ничего конкретно — откуда ты, чей, почему такой?.. За что держимся? За мечту. И за

* Настольная книга атеиста. Изд. 8-е. М., 1985, с. 224.

песню, которую приходится петь не умолкая. До недавнего времени хватало, но теперь, судя по широко прорвавшемуся интересу к действительному прошлому, одной лишь бойкой песни и одной Общей Истории-Теории на всех стало недоставать. И так заметно поотстав в развитии, в пору, когда необходимо шибко поспешать вперед, мы вынуждены тратиться на восстановление забытого и разрушенного. И чем больше разбираемся в завалах, перебираем золу и пепел, тем все больше выплывает содеянных ошибок, перегибов, упущений и упрощений, так много их громоздится за спиной, так больно они аукаются сегодня, что порой думаешь в страхе: и как это мы только не ошиблись в главном?! Только на такой смелый, бесшабашно-отчаянный народ, всегда уповавший на авось, и мог пасть выбор истории. Но мы слишком преисполнились своей значимостью избранников на пути человеческом, задрали нос, слишком рано отринули прошлое, посчитав его за один сплошной пережиток. До кощунственных, вандальских вещей порою доходит. У всех, например, народов есть день поминовения усопших, день встречи с умершими предками — большого морального, воспитательного значения обряд. У нас же такого дня нет... В День Победы мы воздаем должное погибшим на поле брани последней войны. Остальные, получается, у нас не достойны памяти... В чем же тогда заключается наш гуманизм? В заботе о живых и здоровых, способных работать?.. И как можно честно, старательно трудиться живым, зная, что их завтра же забудут? То есть, точнее, не зная, что забудут, а уже не зная, не понимая, не чувствуя всегда, что будут помнить, соотноситься, мысленно советоваться? Такая жизнь ни к чему не обязывает. Она предоставляет почву не для созидания, а для упражнений, какие на ум взбредут, для рвачества, ибо жизнь становится в самом деле коротка... Не это ли мы и наблюдаем сегодня? А где ищем причину? В воздусях, в воздусях все...

Ладно, дня нет. А как мы его можем ввести в свои святцы? С бухты-барахты — такое-то воскресенье такого-то месяца, как день мелиоратора?..

...Не надо, видимо, захватывать приоритет в общечеловеческом стремлении к справедливости и счастью. Путь долог, необозримо долог. Вполне вероятно, что на этом пути кто-то нас обгонит, и мы, уйдя со старта первыми, придем в общей массе выдохшихся, как знать.

Да, в Общей Истории-Теории можно узнать, что земля

перед войной стоила до ста и более рублей за десятину. Но — пахотная земля. А мой дед, как скоро увидим, купил кусты... Сколько стоили кусты? Сейчас-то у нас ни с кустами, ни без кустов земля ничего не стоит, голову ломать не приходится, а деду вот пришлось платить и за кусты, и за камни... Общая История-Теория говорит, что хутора нарезались под залог надельной земли, размежевывая, разобщая тем самым общинные земли. Ничего, кроме наличных, мой дед в банк не закладывал... Та же История-Теория утверждает, что хуторянам отдавались лучшие земли, в ущерб остающимся в общине... Что же получается, ему не продали, а всучили, деда обманули? Покупал кота в мешке? Сомневаюсь, что крестьянина можно было провести с землей, во всяком случае, не моего деда. И не один он вышел в кусты, далеко не один. Как это объясняет Общая История-Теория? Никак... Я не нашел ни слова. Получается, что деда у меня, по теории, не было... А он ведь был, жил, честное слово!..

Уже само название местности, где дед Савелий разбил хутор, говорит само за себя — Каменец. Гряды валунов, надвиганные ледником, овражки, ручьи, болотца, кустарник — сюда исстари ходили за ягодой, орехами, драли лыко, пасли, где дозволялось, овец. Представляю, с какой жадностью дед еще раз осмотрел, ощупал каждую сажень своего приобретения... Избу ставить здесь, какая-никакая, а вышинка... Камень близко, для бута под печь, под углы, под стены накатать... Вот и кипун, ишь, лопухи разрослись. Вставить на первых порах бочонок без дна — и колодец тебе. А эти полянки надо сразу вспороть сохой... Сколько тут? Ну, десятины две... Да там плешинка... А под покос? Где-то надо ж на коровенку намахать пудиков полтораста... Овцы... А эту болотинку выбрать — и мочило, камни на прижим под боком. Да, камня тут хоть продавай... А вот и ельничек расселся, березки!.. Куст вырубить, прочистить — красивая лядинка будет, земляника, грибы пойдут... Ай и канава!.. А воды нет, знать, зыбун на дне — пустое место... Опять болотина, что ты будешь делать!.. Пускай лешакам остается, лешакам тоже жить где-то надо... Ну а эти осины с комля на сруб под баню пойдут. Больше леса тут не видать, лес покупать... Остальное подрубать, жечь, корчевать... Работы без краю, сдюжить бы... Теперь, как дорогу вести? Если печина там, то дорога длинная выходит. Надо прикинуть, чтоб попрямей... С соседом обтолковать, дорогу одному не наладить, не, надо сговориться, да...

За что хвататься? Две руки да бабы... Деньжат бы!.. А у кого попросить? Все в долгу, у кого было — на выселки пошли... Отец не даст, зажался... Да и нету у него лишку, все по хозяйству расходится, подушная большая... И как без коня начинать, вот задача!.. Кроил-кроил, никак не вышло, что ты будешь делать... Понадеялся на отца, не отказывал... Матушка твердила: «Даст, сынок, даст! Видишь — и жеребчика подпустил. И я в добрый час подскажу, не думай!..» Вот и дал шиш, прости господи. «Бери, — говорит, — еще одну корову да дроги и полно с тебя». Насмехается... «Я, — говорит, — с одной коровы зачинал и не пропал!..» Дак когда ты начинал? Где теперь видано, чтоб на корове пахать. Две кобылы в хозяйстве и жеребчика скоро впрягать можно, в дрожках объезжен уже... «Собину на тебя перепишу, дай, батюшка, лошадку, ить жить начинаю! Внуки твои!..» — «Собина мне твоя не нада, а для внуков я ворот не запираю. Не обстроишься к зиме — пущай у меня живут. И шабаш. Хомута не дам больше, умный гораз. Что тут тебе, лишей других? Сголодал, сработался?.. Вот попробуй-ка сам нажить да раздавать готовое — поймешь. Дай да дай! Иди у барина попроси, можа дась! Ты с им шибко кланисся!» — «Прости, батюшка, что прогневал. Я и тебе кланяюсь, а уже годы, семья, вот и хочу сам на ноги встать. Прости, родитель...» — «А вот станешь, тогда и поговорим о кобыле. Ступай прочь!..»

Это факт, а не намеренное усугубление обстоятельств — дед Савелий начинал разрабатывать пятнадцать гектаров целинных неудобий безлошадным; сам-девят — жена и семеро детей, среди которых только один мальчик, а остальные девки мал мала меньше. Лишь старшую, десятилетнюю, можно было считать полностоящей работницей, но, увы, никак не работником. Мальчики рождались, но, как по дурному навету, умирали в младенчестве.

Я не могу назвать своего деда безголовым, легкомысленным, он не был таким, он понадеялся, что отец по-божески, по-родственному ссудит ему коня, но тот в последний момент вдруг заупрямился и отказал. А земля была уже куплена, все наличные вложены, и пути назад не было. Не могло быть у крестьянина пути назад от земли.

...Прадед Антон умирал летом, лежа на широкой деревянной кровати, пододвинутой к раскрытому окну. Изба стояла на северном склоне холма, на котором расселась деревня Высоцкое (поредевшая, она жива посейчас), и с

высоких головашек прадед видел в окно широкие пространства земли, синеющие леса, речки, озера, деревеньки, дороги, нивы, нивы, нивы... Он смотрел как в чашу, и на другом ее, приподнимающемся краю, у горизонта, хороший глаз мог различить шпиль монастыря захудалой Святогорской обители, куда прадед хаживал на богомолье, ездил на ярмарки, а дальше он и не бывал — вся жизнь прошла в этой впадине земли, он знал здесь каждый куст, каждого мужика и бабу, коня и телегу, полянку и бочажок, и не страшно было сюда лечь, чтобы соединиться со своею жизнью навсегда, но все равно он плакал, глядя в пространства цветущей, угасающей в глазах земли...

— Чего ты плачешь, дед?

— Жалко, дятенок, того, что прошло, вот и плачу...

— А сколько ж тебе лет, дед?

— Не вспомнить, родитель... Какие были — все прошли...

Прадед Антон прожил без малого сто двадцать лет.

Был он мужиком высоким, крепким (дед Савелий скромным телосложением пошел в мать, маленькую набожную прабабку мою Матрену), смолоду задаватистым, но не злобливым. Любил наставлять и поучать каждого встречного и поперечного, хвалиться собой и своим хозяйством. Выжили и выросли у него до взрослости четверо детей. Дочку выдали замуж, а сыновей, женив, прадед держал при себе, на выдел не отпускал. Жили одним общим домом, на три-четыре тягла *, шумным, горластым, но не сварливым. Прадед где строгостью, где шуткой, где хвастовством, переходящим во вранье, которое

* Тягло в данном случае означает не лошадь, а две души, мужа и жену, семью. Тяглом встарь назывался и полный земельный надел в общине, и оброк, подати, которые взимались с тягла, с семьи, как с двух душ. «Жениться — на тягло садиться». Несмотря на введенную Петром подушную — с мужской души — подать и лишение крестьянки надела на свою долю, понятие тягла в крестьянском миру сохранялось, так как община этот чудовищно несправедливый порядок умела внутри себя «негласно» обходить, деля землю все же не по ревизским, а по живым душам, то есть по тяглам, «по справедливости», учитывая и женщин, и мужчин, не попавших в ревизские сказки, «оставляя» за собой право нести подати согласно числа ревизских душ. Последнее компенсировалось тем, что общине, как правило, приходилось выплачивать и за «мертвые души». Число тягл двора необязательно соответствовало такому же числу тягл земли и, следовательно, размеру платежей. Каждый конкретный случай разбирался сходом, где учитывалось наличие действительно тяглых в семье работников (18—60 лет), лошадей и многое другое.

ошарашивало домашних до немоты, ссоры притушал в зачатке. Красна нива рожью, а речь ложью. Но старик не столько лгал, сколько, как я понимаю, мистифицировал из-за своих особых каких-то склонностей, которые, впрочем, могли иметь объяснение в способности крестьян одушевлять окружающее и все в нем происходящее. Он говорил, например: «Взялся вчерась за оглобли, а телега возьми и пойди на меня...» Все открывали рты. «Я оглобли-то кинь — телега и встала... Вот ты и думай!..» И все ходили и думали, глядя то на телегу, то на отца. Или так: «Еду я на мельницу. Иде, гляжу, Митрошка Захаркин. Подвези, дядя!.. Садись. Едем, да, я молчу, он молчит. Слез на полгоре, пешком пошел. Ладно. Еду, помоловши, взад, глядь — иде опять поперед меня Митрошка, а я его опять нагоняю... Перекрестился тут я, коня вожжой — да мимо!.. Обернулся — а он все иде и иде... И многие так примечали за им — во-одя яво!..»

А лучше так: «А вот, мужики, теперя я расскажу чаво. Посеял я как-тыть на пахом проса. А взошел овес! И такой овес, итит-твою матушку, не вмолотить было!.. А ты говоришь, впоздал!.. Посеешь на пахом, так не соберешь и махом!..»

При трех мужиках в доме, уходе невесток его склонность к выпячиванию себя перешла в барство, и, как следствие, прадед ударился в горькую. Где-то на седьмом десятке жизни. Кабаков на Руси всегда было вдосталь, водка — пятачок рюмка, рты широки, глотки лужены, желудки переваривали лебеду и кору, сотоварищей — только мигни. А перечить ему, могучему мужику, члену общинного совета стариков, никто не мог. Нет, бывало, отца дотемна, пойдут сыновья, вытащат из-за стола, приведут домой, разденут, уложат, шайку рядом поставят для надобности и корец с квасом. А утром — отчет, что сделано за вчера, вспахано, скошено, обмолочено, кто телился, кто ягнился, кто обгулялся, а кто поносом изнурился.

Сидит прадед в подштанниках, кивает лохматой головой, ткнет вдруг рукой в висящую на стене одежду:

— Савка, подай поддевку.

Савка подаст. Прадед достанет из кармана сверточек и кулечек — из другого.

— На, снеси мамашке сельдинку — добра! А это ребятенкам раздай. Кондрашке не давай! Кобелю палкой в глаз тыкал, я ему!..

Уйдет Савка, как младший, с пустяшным этим поручением...

— Ну-ну, слухаю... Так, так... Ладно, погляжу, схожу, ужо скажу, — бубнит, и все, что ему положено, сделает, проверит, пощупает. Все верно, все идет своим чередом, мужики работают, кони здоровы, бабы снуют по двору, ребяты не пищат, Михайловна селедочку взяла... А голова болит...

Корова в начале века стоила на Псковщине 18—20 рублей. Каким же образом дед Савелий, живя под началом отца, сумел скопить денег на целые три коровы? (Будем считать, что первоначальный взнос составил те же 50—60 рублей, хотя в действительности он, видимо, был больше.) На эту сумму можно было купить и неплохую мужицкую лошадь. Дело в том, что у него была собина — свой, отдельный от общего, семейного, участок земли. Мать не помнит, каким образом дед его заимел. То, что ее отвел ему отец, мой прадед Антон, отпадает — это не вяжется ни с самим положением дел в крестьянском миру, ни с характером прадеда и порядками в семье. Скорее всего, что дед Савелий получил ее как часть приданого за моей бабушкой Нюшей. Или, возможно, но в меньшей степени, это было приданое прабабки Матрены, и та, имевшая над мужем власть, передарила наделец своему последышу — Савушке. Может быть, как раз по случаю женитьбы его. Прадед был болезненно горделив и, не считая эту землю до конца собственной, мог, видимо, согласиться, кинуть в качестве подачки «не свое». Прадед-то, думаю, видел, что Савка — вот не гляди, что мал! — посмекалистей старших братьев и не глупее его самого. Но не гордость от этого испытывал, а из-за своей кичливости досаду. «Вот пусть-ка теперь на трех нивах порастопыряется — отцовской, собине и на барских отработках! (Мои предки вышли из обычных крепостных помещичьих крестьян.) Поглядим, как он запоет... И Матрешу замаслю не на один какой раз. А в доме спуску не давать, отцовское дело в первый черед. Пущай, с богом, богатеет...»

Эту собину дед продолжал обрабатывать и выйдя на хутор. Получалась она уже далеко, и мать вспоминает, как не хотелось туда, за несколько верст, идти, как на чужбину, жать, грабить, когда вся семья уже прикипела к хутору и новым соседям. Дедушка с бабушкой к тому времени уже померли, дядья поделились, старый дом

стал чужим, да он для нее и младших сестер, выросших на хуторе, в кустах, и не успел стать родным.

Собину как излишек у деда отобрали при переделе земли в восемнадцатом году. Шибко дед не расстраивался. К тому времени хутор у него был полностью разработан. Была справная лошадь, коровы, изба на две половины, рига, амбар, хлев, сарай, сани и дроги, сохи, бороны и немецкий плужок, был разбит и обнесен тыном сад, в котором гудело летом десяток пчелиных колод, — хозяйство было крепкое, и не знал дед, что никому оно, плоды его титанического труда, не достанется, не перейдет по наследству, вообще никому не понадобится, а все пойдет прахом и порастет уж такими кустами, где не то что с конем, но и с трактором ничего уже не поделаешь. Все пойдем прахом.

5

«Забили в кустах кол и стали вить», — вспоминает мать о начале жизни на хуторе. Прадед Антон дал под избу сарай — здесь он от своего слова не отступился. Дед Савелий его перевез, поставил, прошив, забрал потолок, осенью покрыл новой соломой — в этой избе все и ютились первые годы. Позже к длинной стороне ее дед подрубил крепкий квадратный придел, подвел под одну крышу, сложил новую печку, а из малой избы выбросил, сладив там только плиту для обогрева и готовки летом, — получился дом, которому не могли нарадоваться. (Дед был хороший, известный в округе печник. По сей день топятся в деревнях несколько сложенных им русских печей.)

Лошадь он заимел на следующий год на паях с соседом, то есть пол-лошади. Сосед сидел крепче деда, лошадь у него была, показалось мало, и он нацелился на вторую, но купить самостоятельно все же не тянул. С дедом они сговорились, что как кобыла жеребится и жеребчик подрастет, сосед забирает его себе, а кобыла тогда остается у деда целиком. А пока, значит, на равных — и в работе, и в прокорме, а сбруя — у каждого своя.

Лошадь жеребилась. Но жеребенка в первую же неделю запорол и унес волк — «Ни копытца не нашли», — и сильно напугал саму кобылу. Дед запечалился. Своя лошадь откладывалась на неизвестный срок, уговор есть

уговор. К счастью, с соседом они к тому времени шибко подружились, и тот деду сказал:

— Ты вот что, Савелий Антоныч, ставь кобылу себе. Када работа — так я буду брать, а там поглядим. Коси, а овсеца на зиму и я подкину, вот, а там поглядим. И эта... пришли какой раз своих девок пограбить. У меня такое дело, вишь, баб-то много, да все по печи сидят... За тобой, Савелий Антоныч, тут вины нет, мои жеребенка не доглядели. Я Никольку драл, пока подумал: а зачим бью яво, как волчину?.. Ребятенок... И кобыла, слава богу, цела, кобыла молодая... Ну и так. А там поглядим.

Кобыла жеребилась еще не раз, жеребят берегли пуще глазу, уговор был исполнен, а следующих коньков, вырастив, а иной раз и объездив, приучив к сохе, дед продавал. Таким образом случалось, что у деда было и две полноценные лошади, но все же постоянно две он не держал, вторая всегда была нацелена на сбыт, за ней и смотрели лучше, работали полегше, чтоб не надорвать, не сделать изъяну — чтоб продать подороже. Дед и рад бы был держать две, да вот беда — рук не хватало. Лошадь не корова, за ней должен ходить мужик, а мужик был один — он сам.

Большие надежды дед возлагал на сына Гришу. Мальчик рос смекалистый, хваткий до работы, во многом уже помогал деду за большого, но Гриша, мой дядя Григорий, умер в двенадцать лет от простуды. Захрипел, загорелся, отошел в неделю. Не помогли ни травы, ни мед, ничто не помогло, нужно было везти к лекарю, везти было некогда — земля звала к себе. И кто мог подумать, что этот жар — с кем не бывало? — так обернется...

Выла над телом сына моя бабка Анна, чувствовала, предвидела, что не даст больше, не пошлет бог сынка... Не послал.

Тихо плакал дед. Велико было его горе, горькая складка безысходности ложилась на лицо... Корил себя, что не уберег парнишку, не углядел за работой, положился на баб...

Какой помощник рос, уже и коня мог запрячь, только хомута не надеть еще было — не доставал, а так, вдвоем-то... И в школе похвальный лист получил. «Благонравен, примерно послушен, и память дивна», — поп сказал. А учитель советовал отдать в уезд в учительскую школу или в семинарию, как войдет в лета. И брался подготовить к шестнадцати годам. Вот подумай ты, мог Гриша учителем стать!.. А что, можно б было и послать,

это дело, в большие б люди, глядишь, вышел, можно бы и отдать, будь в семье хоть еще один мущинка, а то ить одни бабы — кому работать?.. А так, на пару-то, жить бы и жить... Вот, помню, он-то совсем мальчонка был, начинали тока тут, опрокинулся с сеном и никак одному не сдюжить. Девки, подграбивши, домой побежали, а надо и воз приподнять, и коня на дорогу выправить да подстегнуть вовремя — хоть разорвись. И солнце за лес. Глядь — бежит Гришанька, встречать послали, рубашонка пузырем, так бежит... Сынок, подсоби! Держи вожжи, хворостину, я тебе крикну — ты и поднукни!.. И, глядишь, вытянули воз с канавы, вот тебе и мальчонок... Ой-я-я, ничего-то он, окромя кустов, не повидал, сладкого не поел, песен мало спел... Прости нас, господи, прости, Гриша, сынок... Ой-я-я, горюшко какое...

Сутулился дед, выла вся семья, раздавленная несчастьем. Все Гришу любили, жалели и почитали уже за большого. Как же! Рос в доме мужчина, еще один защитник, сидел за столом рядом с отцом, говорил о мужицких делах, и вот — не стало, опустело место, никто не сядет рядом. Как увидишь эту пустоту — все, разрывается сердце, кусок не лезет в рот, и не мил весь белый свет. Как забыться, чем утешиться?..

Не забылось, конечно, осталась боль навсегда. Мать до сих пор вспоминает брата с особой любовью и печалью, другой раз и заплачет. А уж сколько всего у нее, кажется, оплакано...

А утешались работой — горевать в бездействии не позволяла земля.

Я знаю примерный распорядок обычного трудового дня деда. Я не буду его приводить — без подробных объяснений мелочей, из которых и состояла вся крестьянская жизнь, без длинных отступлений он покажется пуст, а сами объяснения — нудны и утомительны, да вряд ли будут кому интересны в моем изложении. Но все равно, даже для себя самого я не могу уразуметь, каким образом дед, семья успевали все делать, ладить, справлять. Конечно, большую роль играло четкое, ясное разделение обязанностей, разделение труда то бишь. Малые делали малое, большие — большое, все старались сделать больше заданного, заслужить похвалу старшего. Сам дед в окружении женщин был, понятное дело, избавлен от бытовых мелочей, без которых, однако, нормальная жизнь хозяйства идти не может. Он не пришивал пуговицы, не мыл посуду, не подметал пол, не сти-

рал пеленки, не солил огурцы, не шинковал капусту и не собирал, простите, ягоды. Если бы за чем-нибудь подобным его застали, то все женщины в доме переполошились бы, решив, что у отца что-то не в порядке с головой. Протестов, споров по поводу его указаний тоже не возникало, на это просто не было времени и никогда — повода, ему верили и подчинялись беспрекословно, чувствуя от него заботу, а не тиранию. Сам же дед не работал только в двух случаях: когда ел за столом и когда спал. А когда он спал — никто не видел. У него на каждом углу лежало какое-нибудь заделье. Придет, например, сосед или просто какой человек, дед слушает его, разговаривает, а сам — руки его — продолжает что-нибудь делать: плетет лапоточек или корзину, вьет веревочку, чинит сбрую, ровняет молоточком на обушке старые гвозди, вырезает палец для косовья, суки для грабель, что-то переставляет, перекладывает, трогает, поправляет. Подскочит тут к нему дочка: «Папаш, я сграбила, что теперь делать?» — и он, не задумываясь, даст новое задание, а если такового не видит, то непременно пошлет ниже «по инстанции»: «Спроси мамку». И только от матери, выполнив уже чисто женское какое-нибудь поручение, можно было получить свободу для игры. Вообще дед Савелий говаривал: «Дай мне сто человек, и я всем найду дело».

У деда, бывало, случалось, считая нетель, и четыре, и пять коров, а бывало, что и одна. Он каждой дочке, кроме всего прочего, давал в приданое и корову, а с коровой, по-крестьянски, невеста уже богатая. А когда, которую из них сосватают, предугадать, сами понимаете, было трудно. И дед всегда старался быть наготове.

«Ну, хозяин, давай гоношить, — шептала деду баба Нюша. — Ленка все ворочается, подушка мокрая, и с гулянки дотемна припоздняется». — «Вижу я... Не буди завтря, пускай поспит...» — «Сама вскочет...» — «Надо прознать — кто такой?» Узнавали, судили-рядили, начинали гоношить — исподволь, незаметно готовиться. Являлись и сваты, да не те, и сватали не Ленку, а другую... Но доходила очередь и до нее. Дед никогда выбору не перечил — не до того было, дочки шли одна за другой, что блины из печи, — хотя не всякий и одобрял. «Гляди, дочушь, я тебя плохому не учил и плохого тебе не желаю. Но семья мне эта известная. Держись мужика, угождай ему, или как там полюбовно, но чтоб он за тебя был, он молодой, ты молодая... А со стариками тебе

сладить нелёгко будет, это я тебе сразу говорю. Но и не задирайся, молчи, не то сживут со свету. А вот бабку Стешу, она твоему прабабка будет... и да что я говорю? Ну да, прабабка, хоть и не родная, вот ону ты слухай и замасли как-нибудь, она там большую силу имеет... Но жить надо, терпи, дело свое женское сполняй, будете становиться на ноги — пособлю».

Об одном только выданье дед сожалел до конца дней. «Надо было отцовской властью не позволять. Перегорела б, ничего, от этого не помирают, а судьба по-другому сложилась бы. Все равно как — а хуже б не было. Пожалел... А там не жалеть, а выпороть следовало. И Никита Петрович просил — не, пожалел!.. Вот теперь жалей — не пережалеешь. В какой молитве вспомянуть, не знаешь. Вот слабость моя. Прости, Настюша, что пожалел тебя, прости, ягодинк...»

Никитой Петровичем был многодетный крепкий хуторянин, но у него шли в основном сыновья — только успевал ставить «домки». Последний получился лучше всех — статен, темноволос, голубоглаз, ходил в красной рубахе и сапогах — гармонист! И ходил он по земле только восемнадцатый год. Жили они не близко, но какое это имеет значение — молодых ветер носит.

Как-то проезжая на телеге мимо поля, на котором работал дед, Никита Петрович остановил коня.

— Бог в помощь!

— Спасибочки, Никита Петрович! Не отворачивается, спасибочки...

— Я гляжу, Савушка, — будущий сват был намного старше деда, — что камешков-то у тебя не меньше моёва... Тоже господь не обошел...

— А это бес уже, а не господь... это от беса, Никит Петрович...

— И то, от беса, да... А ты б, Савелий, выдрал бы девку-то свою, а?

Дед наконец прервал работу, смахнул со лба пот.

— А ты б, Никита Петрович, лучше б об своего молодца колышек-другой обломал.

В чём причина «болезни» дочки, давно было узнано, но гоношить и не думали — «невесте» не было еще и шестнадцати.

На том разговор тогда, о весеннюю пору, и закончился. Но в конце лета они снова встретились — Никита Петрович приехал на линейке, принаряженный и серьезный.

— Ну, Савелий, выпорол ли ты свою Настю, как я просил?

— Не бил, но приструнил строго. Ревела, да, но слова не добился. Не бил, Никит Петрович, зачем...

— Та-ак... Дело родительское, приказать не могу. А я вот твой наказ сполнил — ввалил! Первый-то кол из плетня выхватил, раз — пополам. Взял топор, погоди, говорю, сынок, я тут недалече, мигом обернусь. Срубил ольшинку с комелька, попашибистей, взялся охаживать — не валится! Не бежит!.. А годы-то какие мои — в грудях закололо, запотел... а отступать нельзя! Тут отступаться нельзя. Довел дело до конца, да. Лежал три дня. Вот... И все лето бирюком, работает — молчит, за столом молчит, в баню пойдем — и там молчит! Я тебя, говорю, сынок, в гул тем же манерцем приведу — молчит!..

— Ишь, крепок...

— То-то и оно, что крепок, и главного ты, Савелий, как я погляжу, не знаешь... — Никита Петрович выдержал паузу. — А все ж так встреча-лись они, и не раз, вот что я тебе доложу!..

— Как так? — Дед вскинул голову.

— А так — не на людях, вот как!.. Чуешь, к чему дело пошло?

— Спасибо, Никита Петрович, что оповестил, отдеру, в погреб запру... — Дед растерялся, бессмысленно огляделся, ничего не видя. — И прости, дорогой Никита Петрович, в нашем роду такого не было, в голове не помещается, ты прости...

— А ты погоди. Я плохого ничего тебе не говорю, я там не был, но передумано всяко, ты понимаешь. Тут поправлять уже с опаской надо, ты понимаешь. И слухай дальше. Три дни назад мой и говорит: ты меня, батя, или вбей, или жени, а то я не знаю, что сделаю. Хошь, в ноги тебе повалюсь?.. Вались, говорю. Вались, а я тебя вот этой кочергой в землю вобью, сукина сына. Признавайся, было у вас что иль не было!.. Божится — не было. А как им верить?.. А что они понимают, а?

— Это так, да...

— Ты, Савелий, не трясись. Я к тебе не лаяться приехал, хоть и есть тут твоя вина. Род твой я знаю, ты не хвались. Ну, вышла грешина иль не вышла, но до горя дело допущать не след. У меня он, знаешь, последний, матка колотилась над ним, да, малец все сто сот стоит, косить пойдет — не вгонишься, гармонист и все такое...

И я к тебе, Савелий Антоныч, не так просто приехал. Я ить за лето все дома, куда у тебя девки выданы, объехал, выспросил — никто не жалуется. Нет в твоих девках изъяну, Савелий Антоныч. Я к тебе сегодня не так просто приехал, я к тебе в сваты приехал! Зови хозяйку, ставь самовар!..

Дед прослезился, обнял гостя.

— Спасибо, отец родной, спас от позору... Нюшок... Нюшок! Иде ты?.. Собирай на стол, дорогой гость приехал!..

— Осподи, что ж это такое?..

— Сват приехал, Нюшок, сват!.. Самовар давай.

Никита Петрович принес из линейки корзинку с гостинцами, уселись за стол, успокоились, еще раз обтолковали то, чего не знали. Происходило это в советское время, но крестьяне тогда еще сплошь венчались.

— Как это дело нам разрешить? Поп малолетних венчать не станет, забоится... И время такое...

— Как же без венца! — встрепенулась бабка. — Малых да без венца — это ж не кошки!..

— Полагаю, надо дать. А возьмет?

— А кто там не берет?.. Но венчать будет ай не, не скажу... И ты, Никита Петрович, меня прости. За девкой я все, что полагается, дам — корову, шкап березовый, сундучок соберем, вышивание там, да, а попу мне лишнего давать нечего. Доходы ты мои знаешь, деньги теперь не понять какие, а серебра у меня нету...

— Это, Савелий, я уже прикинул. И не тужись. Это дело, как жениховская сторона, я беру на себя. Коли не возьмется в церкви, обвенчаем дома. И свадебку сделаем малую, но чтоб, кто будет, остались довольны. А к попу я на днях с таким разговором и поеду, не тужись — обломаем!..

Умиротворенные повершенным сговором, разогретые выпитым чаем, старики засиделись. Сват попросил привести будущую невестку.

— Я ж ее и не видал толком...

Ее позвали. Объявили решение. Девушка вспыхнула, просияла, потупилась в смущении. Свекор подошел к ней, взял за плечи, поцеловал в лоб.

— Рада ль ты, коза?

— Рада, Никита Петрович, — прошептала та. Глянула на отца. Тот глядел строго. С отцом еще предстоял разговор. Да пусть хоть десять, хоть сто теперь разговоров — их обвенчают!..

Как задумали, так и сделали. На покров сыграли свадьбу. Привезли попа, собрали родню, посаженых да крестных, и было всем на той свадьбе умилительно — пара была хороша, потому что юна, и, по всему видно, счастлива. Старики, разрумянившись, плясали наравне с молодежью, и пела, как никогда, гармонь в руках жениха...

Вскоре началась коллективизация. Никита Петрович одним из первых был раскулачен, и все его семейство, под корень, вывезено на Север. Велик русский Север, и не было оттуда вестей от Насти и новой родни, ни единого письмеца не пришло. Осталась на всю жизнь скорбная память, осталось удивление от непонятой до конца той ранней, жгучей любви и неясное ощущение вины перед ней...

Во всем этом ушедшем от нас порядке, образе жизни мне видится большая культура, если под ней мы понимаем «именно положительный духовный опыт людей, опыт, содействующий жизни», и большая общественная ценность *. В строгой иерархии семьи, в стремлении угодить старшему заключался залог и сытой жизни, и здоровых детей, и уважения соседей. Отклонение в сторону от этих правил грозило крестьянину развалом и голодной смертью, тень которой сопровождала его от самого рождения. Все подчиняются большаку, лезут в чашку после него, стараются не прогневать, не подорвать авторитет, ибо он — защитник всех и опора, он умнее, хитрее, больше знает, он известен в округе, он представляет семью в миру, и по нему судят об остальных — мужающих женихах, зреющих невестах. Не требовалось обширной характеристики, достаточно было сказать: Сашкин, Петькин, Васькин — и сразу каждому становилось ясно, чего они стоят и что можно ждать от одного, другого, третьего. Таким старшим по положению был в доме дед, отец, старший сын, зять, живущий в примаках. Не очень способным, случалось, молодым невидимо пособляла руководить хозяйством какая-нибудь вековая старуха, уже лет десять не слезавшая с печи, но с ясной памятью и разумением, основанным на богатейшем опыте. Никто ее не сживал со света, не морил голодом, не пытался сбыть на сторону родне, отдать в богадельню, а лучший кусок — всегда ей первой, и чайку с сахаром подадут, и освящен-

---

* Опять не знаю, многие ли помнят, что слово культура — римского происхождения и первоначально означало уход за землей, возделывание почвы.

ную в церкви просвиру — помяни матушка! — покажут обнову, принесут «на обследование» запаршивевшего ягненка; какой-нибудь внук, сам с бородой, взвалит старую на загорбок, отнесет в баню, там девки ее выпарят, вымоют, мужик снова водрузит ее на печь — и сидит она там, как новая, командует домом.

Не надо забывать еще о двух деревенских институтах, пекшихся о крестьянской нравственности и порядке жизни. Это собственно мир, сходка, совет стариков, и церковь, религия. Не надо, не надо об этом забывать, у нас таких крепостей сейчас на деревне нет. И если нам иные решения схода покажутся теперь тупыми, нелогичными, несправедливыми, то ведь это только нам, живущим по другим законам; если мы в вере в Христа, загробную жизнь, в неизбежность наказания, в боязни греха видим только мрак, невежество и обман, то ведь это только мы, просвещенные материалисты, а для людей когда-то вера являлась реальностью, светом, пробуждающим надежду, законом, державшим совесть на высоте, воспитывающим доброту и человеколюбие.

Культура же, вычитанная из книжек, усвоенная из лекций, когда она не согласуется ни с жизнью человека, ни с действительными его убеждениями, есть, по-моему, ложь, пустозвонство, нацеленное на самое себя. Внешний интеллигентский лоск в конечном счете ничего не дает обществу, но зачастую приносит ему один только вред именно по причине своей легковесности, за которой — пустота души, невежество, хамство, эгоизм. И самое страшное, когда такие накультуренные люди начинают руководить массами, целыми отраслями или создавать искусство с претензией на народность. Прячься тогда все действительно святое, честное, народное и культурное — интеллигентствующая чернь поставит все с ног на голову, наклеет ярлыки, замахнется лозунгом, цитатой, не вникнув в смысл, — все равно какой, лишь бы под ними было имя или номер указа, лишь бы цитата имела вид, не подлежащий дискуссии, хотя, в сущности, может быть, она призывает именно к дискуссии. Государственными якобы задачами будет побиваться народное, всенародными якобы интересами — местное, производственными — личное, сегодняшним днем — историческое, а в итоге нынешними «задачами» — будущее народа, государства, каждого человека в отдельности.

Такая «культура» жизни (и самой культуры) вытесняет настоящую, занимает главенствующее положение,

издает свои шедевры и эталоны мастерства, свои учебники, как жизни, так и культуры, растит своих сынов, уже совершенно не осознающих связи с народом и его культурой или осознающих ее в чудовищно извращенном виде, но успешно в лоне отцовства делающих собственную культуру и кумиров, и так далее, так далее, превращая государство в антинародное и антикультурное, официальную культуру — в полнейшее бескультурье, шаблонную серятину, доктринерство, занудство и выпендреж, на объяснение которых у обслуживающей клики уже не остается слов и она начинает выдумывать новые, уже никому не понятные, антиязыковые и антинародные, в сущности.

Ну да вернемся к земле.

Мама моя на своем огороде сейчас ничего, конечно, кроме укропа, не сеет. Но и она много помнит, так сказать, в вопросах севооборота. Знает, например, что рожь на одном месте сеют с двухлетним перерывом, а два года ничего там не сеют, а если сеют, то только горох, что жито (ячмень) * хорошо растет по тяжелой, суглинистой земле, картошка — по резам, а овес сеют в грязь, но чтоб ноге в грязи этой было уже тепло, что грече будет урод, если в белом цвету ее чуть разольется голубизна, и так далее.

Но все же мать, понятное дело, не может упомнить, не могла, как женщина, и знать все те тонкости, которые знал дед — сам сеятель, землепашец. Надо полагать, что он знал много такого, что и выразить-то словами не мог, а мать, следовательно, услышать.

Ведь крестьянин думал об урожае, хлебе не только летом, а круглый год, всякий день всего года. И не просто полеживая, сочиняя планы на перевыполнение, а думал, глядя вокруг себя, на природу, и относительно будущего урожая имел уйму всяческих примет с вытекающим отсюда порядком действий, он был способен связать определенный день осени, зимы, весны с тем, что родит или не родит земля предстоящим летом. И этот опыт, уходя в века, наращивался каждым следующим поколением. Нам его теперь не восстановить уже хотя бы потому, что приметы крестьянского календаря привязывались ко дням святых, религиозных празднеств, неделям постов, мясоедей и проч., многие из которых, как известно, не имеют постоянной даты (то есть имеют, но

* В южных областях житом называют рожь.

в церковном календаре), они текучи, изменчивы во времени, как изменчива сама природа в году. Видимо, были приметы и ложные, так сказать, излишне многозначительные, ничего в действительности не дававшие, но вот возьмем, например, такое явление, как луна. Всем нам известно, что она оказывает заметное влияние на жизнь на земле, самого человека, что многие биологические и физические явления неразрывно связаны с периодом лунного месяца. Но смотрим ли мы на луну, выезжая на сев? Нет, не смотрим, почему-то не смотрим... Не верим науке? Да нет, верим, на себе чувствуем, но, понимаете... план, обязательства, сроки сева, а вы — про луну!.. А крестьянин прошлого фазе луны придавал огромное значение, он на нее смотрел. Дед, например, пшеницу сеял только в полную луну, а овес никогда (когда именно, мать не помнит, не знает). В чем здесь дело, какая связь, какая разница между луной и пшеницей — луной и овсом, я объяснить не берусь, как не объяснил бы, видимо, и сам дед (может быть, дело в разном периоде всхожести зерна?), но это был практический опыт, выверенный поколениями рецепт, и то, что он лишен мистики, суеверия, доказывать, по-моему, нет необходимости. Но нам он, увы, как и многое другое, не понадобился. Мы вырабатываем свой, не прекращая ежегодных опытов на земле. Не слишком ли мы самонадеянны, не слишком ли полагаемся на науку, химию, и не режем ли мы последней сами природные способности земли и зерна?.. Не насилуем ли мы и здесь природу, когда должны жить в согласии с нею? Сумеем ли мы ее все же согнуть и заставить? Ведь удается нам пока немногое... Но зато как тратимся! Как ломаем головы, какие нелепые планы громоздим...

Сам-ось — сам-десять у деда Савелия, как правило, хлеба родилось (на меру посеянного собирал восемь-десять) *. Случалось и больше, но редко. А вот если сам-сём и ниже, то уже было худо. Дед говорил со стариками, с соседями, никогда не валил на погоду, «божий отворот» — он искал причину в себе, в хозяйском недогляде. «А вот не вышло землицу обмануть, не вышло, — вздыхал. — Какие сами, такие и сани, вот и весь тут сказ». Об отсутствии какого-либо кликушества в его отношении к своему делу говорит хотя бы такой пример.

* Для сравнения: например, если считать, что на 1 га при машинном севе уходит 2—2,5 ц семян ржи, то сам-ось мы получим при урожае 16—20 ц/га.

Если во время цветения хлебов не было ветра и затруднялось опыление, он посылал на поле дочек, и те, растянув веревку, проходили с нею туда-сюда, ударяя по колосьям. Отсталый «дедовский» метод? Какой длины должна быть веревка при нашем размахе?.. А чем мы его заменили? Или у нас всегда ветер?..

Да, но урожаи пошли, когда стало где сеять. А сначала... сначала-то была сущая каторга. «Это ссылка, ссылка!» — отчаивался порою дед.

Как же он, не имея мощной корчующей техники, даже коня вначале, боролся с кустом? Да все так же, как и тысячу лет до него. На предназначенном под пашню участке сначала тщательно все вырубал. Очень низко, у самой земли, а некоторые комли и приоткапывал. Рубил летом, осенью, плотно расстилая по земле. Весной по ветру зажигал. Оставшиеся головешки с поля убирались. Черную гарь бороновал — «царапал» — тяжелой бороной и засевал тимофеевкой, кормовой травой. Тимофеевка всходила быстро, дружно, густо, не позволяя подняться побегам от живых корней и бурьяну. Скашивал ее за лето дважды. В следующую весну подсевал еще раз. Корни за два года подопревали, и тогда выходила вся семья на корчевку, «драть коренье» — с цапками, крючьями, лопатами, топорами... Корни сносились в кучи и позже тоже сжигались. Доходил черед до валунов. Небольшие камни на носилках, в корзинках выносили на межу, берег поля; если камень был неподъемен, дед подкапывал под него яму, сталкивал на дно, утопляя ниже пахотного слоя. И только после этого дед первый раз, с оглядкой, не понукая, проходил настроенной на огнище сохой. Соха выдирала, выворачивала новые корни, новые камни... И если от корней в конце концов избавлялись, то камни приходилось убирать каждый год. Они словно растут из земли Псковщины, и так по сей день, если вы внимательно посмотрите на поля. Теперь их как-то перестали убирать — какие там камни, если оставшимися силами урожай не убрать, какой вырастет, — и комбайнеры при работе не сидят, а стоят на полусогнутых, высматривая через барабан жатки валуны, вывернутые при вспашке.

Не знаю, уловил ли кто, прочувствовал в моем пересказе всю надрывную каторжность этого труда, но дед Савелий в иной день приползал с поля на карачках — ноги не держали его... Я и сам, сын времени, не могу уразуметь, как так можно работать, чтобы потом ползти

на карачках? В этой позе я видел только пьяных и спортсменов, но чтобы от работы... А вот работали, оказывается, и были рады такой возможности.

Ну что он, дед мой, не понимал, что от трудов праведных не наживешь палат каменных? Что барином он все равно не станет, что в бары не через работу выходят, а через род иль, на худой конец, службу? Что как ни старайся, суглинок, супесчаник в чернозем не превратишь? И что, в конце-то концов, не мог он обкосить, сохой объехать камень, а не уродоваться, закапывая его под землю? Разве нельзя было работать ну хотя бы на четверть силы «полегче»?.. Понимал, знал, не умер бы с голоду — но работать вполсилы не умел. Не мог видеть бесхозяйственности, непорядок, уйти с пашни засветло — он не мог быть равнодушным на земле. И требовал того же от всех членов семьи.

Отношение к труду моего деда было не исключением, а типичным в крестьянской среде. На чем я основываюсь? На многом. Я и пишу о том, на чем основываюсь, не знаю только, убедительно ли получается. И на примере живых стариков. Я знаю их много, то есть теперь уже и не много, деревенских этих старушек и нескольких уцелевших дедков. Они все разные, с каждого можно писать — не повторишься! Схожесть в одном — в отношении к труду и земле. У них, чуть живых, растет все как на дрожжах, а сразу же за плетнем, у молодой семьи, ничего почти не родится — чахлость, уныние, сорняки в грядах. Чуть дальше, на совхозном поле, тоже, знаете ли, не изобилие... В чем дело? Что, они, старики, секрет, заговор какой-то знают? Ну, вообще-то знают, потому что землю чуют как живое существо, понимают ее желания, возможности, усталость. А главное, посмотрите, они там, на своем огороде, от солнца до солнца чего-то все, согнувшись, ползают, похаживают, пощупывают, поковыривают... Тогда как молодой сосед бывает на своем участке только тогда, когда надо что-то положить в чашку, — посадил, разъехал-окучил да дай бог разок прополол, когда все уже дерном возьмется.

И точно так же старые и молодые работают на общественном поле — вот что главное! Пристрастие и даже непристрастие к личному мы-то запросто можем объяснить, такую уничижительную или превозносящую теорию подведем, что только держись. Но в данном случае мы имеем отношение к труду вообще.

— Да, уж коли пошлешь этих пенсионеров чего де-

лать, — говорил мне как-то знакомый бригадир, — картошку там копать или перебирать, морковку, свеклу дергать, так проверять их потом не надо. И кучи мешками накроют, и ящики соберут с борозд, составят на берегу, и ботву в одно место сносят — чисто, гладко, ничего не валяется. Другой раз вдвое заплатить хочется, когда на соседнее поле придешь. Тоже вроде все сделано, да все не так, туда еще надо наряд давать, там еще на полдня работы, а посланы молодые были!.. Вот ты и считай тут...

Ничего нового я не открываю, все это известно. Правда, как-то не принято у нас отсталых неграмотных стариков ставить в пример, а принято, наоборот, всячески их деятельность ограничивать, чтобы не вылезали они из-за плетней со своим изобилием, мы к изобилию идем новым, прогрессивным путем, да, но все это вызывает к жизни острейшие вопросы, над которыми нельзя не задуматься. Почему, отчего так происходит? Почему старые люди рабоют самозабвенно и на участках самых тяжелых, трудоемких, низкооплачиваемых, а мы, здоровые грамотеи, все понимая, все подписывая, со всем единодушно соглашаясь, социалистически обязываясь, работать не хотим, работаем плохо? Чем мы выхолостили любовь к земле? Какими призывами, методами руководства и воспитания? Где ложь проникла в нашу методу? Где мы потеряли зерно понимания действительности? Ведь невозможно ликвидировать причину, не назвав и точно не очертив ее!

У много переживших на своем веку стариков сохранился страх голода? Ну, во-первых, не надо своих родителей низводить до уровня животных, только и жаждущих набить брюхо. Они, кстати, так и не привыкли жрать нашими пайками, не приучились к гастрономическому изыску, а довольствуются малым, отдавая нам. А во-вторых, голод, слава нам, голодная смерть никому из живущих не грозит. Все, кто больше, кто меньше, но сыт, и старики кое-как, да обеспечены, и это они по сравнению с действительно испытанными лишениями считают за благо. Так в чем же дело?.. Нет, давайте отбросим все эти выверты типа «время», «прогресс», «подъем духовных запросов», а деревня-де не в состоянии и т. п. — давайте не отпускать сердцевину разговора! Никто из уехавших из деревни своих духовных запросов не удовлетворил, они не в театры уехали, а на заводы, фабрики, стройки, в общежития — забились в ячейки бетонных блоков, и ох тяжело там крестьянину, привыкшему к

простору и воле, тишине и податливости природы, тяжело обрести удовлетворение в привязанности к станку, железу, шуму, грохоту за высоким забором, закрытым за тобой на восемь часов, — не надо, не надо обманываться на этот счет. Пьянкой, пьянкой, а не концертами и выставками глушит он раздирающую его тоску и «свободное время», в лучшем случае — самой обычной утряской, вдесятеро тяжкой для него, чем для горожанина, бытовых повседневных и ничего душе не дающих дел.

Дело, думается, в главном — в самом подходе к крестьянину, в понимании и непонимании его интересов, его места в обществе, в отношении к крестьянству как к классу. Мы как-то уж отчаянно бойко, в один присест разрешили вопрос, который всегда был главным и неразрешимым для всех умов России. Отказавшись от стоимости на землю, мы заодно отказались и от «стоимости» самого вопроса. Мы от него отмахнулись, досадливо отмахнулись, прижали, умертвили недовольных и поспешили дальше. Но вот теперь обнаруживается, что дальше идти не с кем и кормить нас некому.

«Крестьянский, аграрный или вопрос о мужике — как его ни назови — при кажущейся своей простоте настолько сложен и неоднозначен, что исчерпать его раз и навсегда... не представлялось и не представляется никакой возможности, ибо это вопрос не только социальный или политический, но и философский, нравственный, этический, религиозный, правовой, эстетический, короче говоря, он связан со всеми сторонами жизни народа, если не всегда связями прямыми, то опосредствованными непременно» *.

А вот взгляд в корень писателя старого режима:

«Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтоб он забыл «крестьянство», — и нет этого народа, нет народного миросозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди куда хошь...» **.

---

* Ланщиков А. — В кн.: Подъячев С. П. Деревенские разговоры. М., «Советская Россия», 1975, вступительная статья, с. 9.

** Успенский Г. И. Власть земли. М., «Советская Россия», 1985, с. 136—137.

На мой взгляд, это слова провидческие — то, чего опасался Глеб Успенский, мы с радостью сделали и добились как раз предполагаемого им результата. Отняв у крестьянина землю и лошадь и прочитав ему по этому случаю ликбезовский курс политграмоты, мы посчитали, что и довольно ему, всему обществу довольно, и все сложнейшие вопросы разрешены. А все, что не разрешалось, называли пережитками, рецидивами прошлого, оппортунизмом и яро выкорчевывали вместе с самими носителями этих пережитков и их устаревшими, по-нашему, институтами. Получается, что мы намеренно запутывали и без того сложный вопрос, зажимали, затыкали ему рот. Вопрос, однако, там-сям, да давал о себе знать. Боролись, «всенародно» — с высоких трибун и на местах. Не разрешали вопрос, но умерщвляли его, то есть самое крестьянство. И практически на сегодняшний день можно констатировать, что с задачей мы справились — крестьян не стало. Но вот беда — вопрос остался... Осталась, в частности, проблема продовольствия, которую не разрешить без пахаря. Мы загнали себя в жутчайший тупик, теперь с проблемой продовольствия мы будем биться если не вечно, то трудно предсказуемое количество лет — продукты уже не будут дешеветь, а неуклонно дорожать, их будет становиться все меньше, они будут делаться дефицитом, и трудно теперь этот процесс приостановить, ибо потребность в продуктах растет при сокращении основных производительных сил села — людей и пашни. Интенсификация, повышение производительности труда возможны только при вложении громаднейших государственных средств, что опять же в конечном счете не может удешевить сельскохозяйственную продукцию.

Мы будем тратиться, ломать головы, обязываться, слегка приписывать и приукрашивать, отчитываясь, но создать заново класс земледельцев мы не сможем. Классы не возникают по чьей-либо прихоти, а вот уничтожить их в прихоть, как видим, можно. И требуется для этого всего каких-то семьдесят лет — миг в истории. Да что там миг — неуловимая доля его.

Некоторые толкователи проблемы оскудения деревни почему-то всю вину валят на войну — она-де выбила мужское население села, а от выбитых никого, следовательно, не родилось, и прореха эта разрастается. Ну вообще-то пуля не выбирала, крестьянин ты или учитель. Но действительно — выбила, ужасно выбила. Здесь ведь

какая есть тонкость — страна была аграрная, и если промышленность, оборонное производство нельзя было оставить на одних женщин, то сельское хозяйство, которое, впрочем, в условиях войны тоже является производством оборонным, и было практически оставлено на баб, стариков и подростков. Они кормили фронт и страну, давали сырье. И то, что эти люди, перенесшие неимоверные тяготы, теперь забыты, заброшены нами, доживают век на смехотворную пенсию, которой иному из нас не хватит на один обед в ресторане, лишний раз подтверждает наше отношение к своему кормильцу, как к рабу.

Одно маленькое, но серьезное отступление. Борьба с алкоголизмом в том виде, в котором она у нас проводится, есть прежде всего борьба с пенсионерами. Цену бутылки водки мы вогнали в $1/4$—$1/5$ пенсии деревенских стариков. Поскольку никакой другой твердой валюты на деревне нет, а пьют все теми же стаканами, то старики поставлены нами уже в совершенно безысходное положение. Если раньше тракторист, запахивая участок пенсионера, привозя дрова, скрепя сердце, но мог взять пятерку, то теперь он ни пятерку, ни десятку не берет, потому что отоварить ее негде. Что бы мы там ни говорили про нынешнего труженика аграрно-промышленного комплекса, но копить деньгу, обирая стариков, он не умеет. Нет в нем этого. Выпить, сделав доброе дело, — да. Выпить, добавить, нализаться до положения риз — это есть, но чтоб собирать, складывать в кучку стариковские рубли — этого, слава богу, нет. Но и «на сухую» помогать он уже не умеет. Мы сейчас призываем из умных городов, чтобы помощь старикам оказывалась организованно, законно, местными властями. Но, товарищи дорогие, давайте смотреть реальности в глаза, красивостей на бумаге и в речах у нас океаны разливанные, — местные власти избираются из тех же местных мужиков, «мужуков», и замаслить их самогонкой или бутылкой магазинной водочки уже невозможно, подношение требуется более весомое. Может быть, мы их перевоспитаем на закрытых партийных собраниях, может быть, придут новые, бескорыстные люди, может быть, — но последние годы стариковские летят еще быстрее. То, что буквально через несколько лет у нас все будет прекрасно, это мы давно знаем, с этим и живем каждый год, но живем все же сегодня — так как же жить сегодня старику?..

Когда я встречаю в мемуарах, что на какой-нибудь удерживаемый месяцами пятачок приходилось столько-то сот пуль и осколков, столько-то мин, бомб, снарядов на каждый квадратный метр, то невольно холодею и задаюсь вопросом: а чем же, собственно, какой броней можно было защитить, заслонить этот самый метр? И не нахожу иного ответа, как — телами... Пехотой. Телами солдат — крестьян в первую очередь и рабочих. Всегда ли мы, нынешние, помним, благодаря кому живем, кто закрыл нас от пуль? Закрыл не в аллегорическом, переносном смысле, а буквально, подставив свою грудь?..

И была масса деревень, в которые не вернулся ни один мужик из ушедших на фронт или вернулся один из десяти. И все же деревня была жива! Кто-то вернулся с фронта, выросла молодежь — честная, работящая, деревня поднималась вместе со всей страной, деревня самозалечивалась и возрождалась. Вскоре она вышла на довоенный уровень.

И вот здесь на нее, ожившую, снова пошли гонения. Опять в разведшем домашнюю скотину в лице одной коровы, свиньи и овец мужике кому-то стал мерещиться классовый враг, правый уклон и оппортунизм. Это дела лет совсем недавних, это еще предстоит нам осмыслить. Чего только стоил налог на каждую яблоню, каждую курицу — такого не было, понимаете, на Руси никогда!.. Может быть, при Петре только. Смутно, но помню, как отец прятал теленка — его надлежало сдать или платить налог в каком-то нереальном размере, как за вторую, неположенную, корову. Но теленка спрятать труднее, чем пулемет, — он мычит. Мычит от голода, мычит от сытости, мычит от скуки, от своего телячьего восторга, просто так мычит по глупости своей телячьей. Нет, мой отец был не из тех людей, кто отступается, и, так и не поняв, почему за теленка должен платить он, а не ему, отец его просто зарезал — раньше, чем хотелось. «А помер теленочек, помер, ага. Мыкнул два раза и повалился прямо на этом месте. Вот этой лопатой я его и закопал. Пойдем, покажу...» И лопату на плечо... И он бы эту лопату на умную контролирующую голову опустил, минута была страшная, я ее не забуду никогда. К счастью, «голова» с характером отца была знакома, и вопрос о теленке был снят.

Чего стоило то, что землю стали мерить рулеткой, до сантиметра!.. Когда вокруг — ну все же видели! — земля пустовала и зарастала.

Весь этот «подъем» сельского хозяйства в преддверии «съезда строителей коммунизма» и сразу после него еще предстоит осмыслить и назвать своим именем.

Но одно уже ясно сейчас. Неуклонное, заметно ускорившееся с конца пятидесятых годов обезлюдение деревни не позволяет утверждать, что оно происходило, так сказать, помимо нашей воли, желания, в результате ошибок, недооценок, искривления линии. Как раз наоборот. Процесс, взявший начало с конца 20-х годов, имел устойчивую направленность, беспрерывность, последовательность, был подкреплен идеологическим фундаментом и всеми необходимыми руководствующими документами. В подтверждение этого вывода можно открыть, простите, ну что попало, чтобы убедиться.

Вот, например, что это здесь у меня на полке такое черное стоит?.. Ага, Философский словарь. (Почему у нас как философия, так непременно в черном или фиолетовом переплете?.. А вон, рядом, Уголовный кодекс в приятной бежевой обложке... Но что в нем может быть интересного для понимания жизни?) Под редакцией товарищей ученых М. Розенталя и П. Юдина... Издательство политической литературы, Москва, 1968 год, второе издание — очень хорошая, полезная, следовательно, книга... Статья «Классы»... Пожалуйста, читаем:

«В каждом классовом обществе наряду с основными классами... существуют и неосновные; эти последние связаны либо с сохранением остатков старого способа производства (в буржуазном обществе — крестьянство), либо с зарождением нового...»

Вот как, оказывается. Даже в буржуазном обществе крестьянство является «остатком», пережитком — на что же надеяться, чего ему ждать хорошего в обществе нашем?.. Жалко, нет знакомого буржуя, интересно бы спросить, сам-то он считает своего кормильца «остатком», мешающим ему жить и делать капитал?

А вот дальше:

«Крестьянство при социализме (господи, помоги! — *Г. Г.*) навсегда покончило с ведением хозяйства на основе частной собственности, с унаследованной от капитализма раздробленностью, с примитивной и отсталой техникой... При переходе к коммунизму стираются грани между рабочими, крестьянами и интеллигенцией. Основу этого процесса составляет постепенное преодоление существенных различий между городом и деревней, между умственным и физическим трудом».

Замечательно красиво звучит. Такие приятности и писать приятно, посиживая в тепле и сытости, и читать в

высоком, тихом кабинете. И все это правильно, может быть. Но, увы, мы не стали ждать, когда «грани сотрутся» в процессе нашего развития, мы проводили на деле не «постепенное преодоление существенных различий», а стирали их насильственно, вырывая с корнем и кровью, оставляя обнаженное, разверзтое место. Не имея необходимых экономических и социальных оснований, созревшей исторической ситуации. Мы не грани стирали, мы стирали сам класс, мы провели над ним вульгарный, вандалистический опыт, в результате которого получили «пустой аппарат пустого человеческого организма». Нам пришлось это сделать, зажмурив глаза, себе на беду, потому что до полного преодоления различий и стирания граней в последний раз было назначено сроку всего 20 лет... Хотелось успеть пожить в раю — кого действительно воодушевит перспектива, скажем, в 200 лет? О, это тоже звучит!..

«Программа содержит определение коммунистического общества и конкретный, научно обоснованный план его построения в СССР, рассчитанный на 20 лет, предусматривающий решение трех взаимосвязанных задач: создание материально-технической базы коммунизма, развитие коммунистических общественных отношений, воспитание человека коммунистического общества. В результате выполнения 20-летнего плана в СССР будет построено в основном коммунистическое общество.

На основе строительства материально-технической базы коммунизма Программа ставит задачу «обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной капитализма» *.

Не вышло. Мы миновали обозначенный рубеж с тяжелым грузом недоделок, нарушений демократии и личного несовершенства. Было ли это «научно обоснованное» планирование громко и всенародно осуждено как беспочвенная демагогия? Как крайне опасная демагогия, подрезающая нам крылья? Куда там!.. Даже не вспомнили, надеясь на короткую память народа **. Да как же такие посулы можно забыть!.. Ведь уверенность была общей! Ну, может быть, всего лишь единогласной, не знаю, я был мал в ту пору, ходил в начальную школу, но прекрасно помню, с каким воодушевлением рассказывали нам учителя о недалеком счастливом времени справедливейшего общества, в котором нам предстоит жить, и с какой страстностью внимали их словам мы, деревенские

* КПСС. Справочник. М., 1963, с. 312.

** Глава написана до январского 1987 года Пленума ЦК КПСС.

ребятишки, не в форму, а кто во что одетые, но одинаково, как солдаты, наголо остриженные, как горели наши глаза, замирали сердца от необычной сказки. Мои учителя живы, они еще работают, но никогда уже и ни о чем, входя в полупустые классы, они не могут говорить с таким подъемом, они не могут позволить себе на склоне лет еще раз солгать своим ученикам — детям, может быть, последним детям деревни...

Да, но приблизительно в момент перехода обозначенного рубежа было все же объявлено, что мы находимся всего лишь в начале некоего пути, там, где и положено было быть, где и были всегда в действительности. Констатация этой очевидности, предполагалось, должна вызвать прилив общего энтузиазма... Одно бесспорно, критичность каждого к жизни общества обострилась, увеличился интерес к жизни народа, жизни ушедшей, интерес к истории — истории действительной, а не залицованной, залаченной, интерес к истокам духовности и трудолюбия народа. Все это не случайно, но неизбежно при нынешней ситуации, и скорее всего, что именно действенное осмысление жизни народа и вызовет если не энтузиазм, то правильность и уверенность следующих шагов.

Здесь бы уместно главу и закончить, но не лишним будет еще раз вернуться к последней цитате из Философского словаря — о преодолении различий между умственным и физическим трудом. Здесь очень много мечты, и мечты, так сказать, кабинетной. Надеяться на то, что одними умственными усилиями можно будет в необходимых количествах производить продукты питания — это уже, знаете ли, область чистейшей фантастики, не имеющей под собой почвы даже в весьма отдаленном будущем. Никогда тракторист не будет работать в белоснежных манжетах — даже если его усадят в серебряный трактор с каким-нибудь безотходным энергодвижителем, то земля все равно останется землей, для многих из нас она уже стала просто грязью. Никогда свинарка не будет ходить с наманикюренными ногтями. Скажу больше. Никогда на земле, в отличие от заводов, не будут работать одни роботы, ибо земля — живородяща, она имеет характер, душу. Доверить хлеборобство, животноводство роботам — это все равно что доверить роботам принимать человеческие роды. Тяжелый, грязный, неблагодарный труд в сельском хозяйстве неизбежен. А труд, мы говорим, должен быть творческим и при-

носить радость. Он мог радовать и радовал крестьянина.

Прогремел Октябрь.
Раскололся мир.
Взбурлил народ, путаясь
и сбрасывая цепи.
Гегемон Революции
взял под рабочий контроль
мелкобуржуазную стихию экономики.
Захлестнулась удавка интервенции,
контрреволюция грызла горло изнутри.
В военном лагере Республики
объявлен
красный террор,
всеобщая воинская обязанность,
установлен военный коммунизм —
государственный контроль
над всей промышленностью,
монополия хлебной торговли
и продразверстка.
Гражданская война полоснула по сердцу.
Колесо Истории,
разгоняясь на витке спирали,
провернулось с хряском.
Одни его толкали,
другие за него ухватились,
третьих оно подмяло.
Никто не остался безучастным.

В восемнадцатом году земля делилась дважды. Первый раз весной, перед пахотой, «обчеством» — помещичья, земская и др. Второй — уже летом, под руководством организованных комбедов, делилась вся заново, уже засеянная и озимью и яровыми, и бывшая помещичья, и крестьянская, и кулацкая — по едокам. Было много шума, спора, бестолковщины, обид и торжества. При втором переделе у деда была отрезана, как я уже говорил, и пущена в общий котел отдаленная от хутора собина. Больше ничего — ни инвентаря, ни скота, ни хлеба у деда изъято не было, а сам он с семейством записан в середняки. Осенью того же года он, как «рассудочный» мужик, был выдвинут в Совет. Я не могу для красивой стройности рассказа сказать, что его выдвинули бедняки, — я не знаю, мать и тетки помнят революционные годы весьма сумбурно, — а кто среди крестьян что-то тогда понимал ясно?

Некоторые знакомые мне на родине мужики помнят деда уже в позднее, предвоенное время, в семнадцатом-

восемнадцатом году они его или не знали, или их на свете не было, или они еще ничего в свете не разумели. Сверстников же деда, сами понимаете, и я уже говорил, в живых на земле не осталось.

Вполне возможно, что деда выпихивали к власти подрезанные комбедами крепкое крестьянство и кулаки, ставя на него, как на своего. Хотя дед, повторяю, за собину шибко не расстраивался (полагаю, что и в восторге не был), а узнав, кому ее прирезали, сказал: «Людям досталась, бог с ним...» Досталась действительно человеку честному, потому что, засеянную дедом озимыми, новый хозяин обмолотил ее с ним сполу — пополам. Ну а такая тонкость откуда известна? — спросят меня. От матери. Она, девчонка в ту пору, прекрасно помнит все, относящееся к хозяйству: сколько чего было-стоило, что сеяли-сажали, что носили-надевали, где что лежало-стояло-висело, что пчел держали, а чай пили несладкий, что пять коров было только для навоза, а молока от них из-за нехватки корма надаивали столько же, сколько и от трех, и так далее и тому подобное. А вот, так сказать, политическую обстановку того времени она не ухватила — и мала была, и крестьянка — «Жили в лесу, молились колесу», — и женское все же мышление. И когда я пишу об этой стороне вопроса, то исхожу главным образом из печатных источников.

Исхожу, когда могу, когда есть из чего исходить, ибо часто я натыкаюсь на «белые, белые пятна» в нашей громко расписанной, беллетризированной, экранизированной, театрализованной и проч. истории. Собственное невежество, поймите правильно, я не хочу распространять на всех, надеюсь втайне, что таких недорослей немного, но все же: я закончил среднюю школу, среднее специальное заведение, высшее гуманитарное заведение — столичное, престижное, единственное; самостоятельно, «сверх программы», начитал довольно много документальной, публицистической, справочной, политической, экономической, художественной очень литературы, относящейся к эпохе, и все равно — «белые пятна»... Один только пример. Семнадцатый год (!), период с февральской буржуазной до Великой Октябрьской революции, кроме политической и революционной борьбы в Петрограде, Москве, Орехове-Зуеве и др. городах, что конкретно происходило в русской деревне? Кто, как управлял огромным сельским хозяйством огромной аграрной страны? Ведь шла война, фронт требовал продукты и сырье — брезент, ши-

цели, сапоги, портянки, лошадей, телеги, фураж. Сами города, сами революционеры тоже продолжали кормиться и одеваться. На кого все это было возложено? Ну не на общину же, правда, не на крестьян-подворников. Каким образом все это было организовано, как справлялись, какие конкретно и через кого спускались указания на деревню, сколько, чего в связи с войной, с кого или с чего — души, тягла, коня, трубы, дыма, двора, десятины, хутора, деревни — взималось?.. Как изменилась — не изменилась? — функция земств?.. Нигде конкретно ни строчки, ни слова... Такое впечатление, что почти год вся страна питалась, а заодно и одевалась одними политическими речами, революционной или контрреволюционной деятельностью, митингами же и братаниями удерживался фронт, то есть одной духовностью и кровью были живы. Есть же, наверное, свидетельства в архивах, но кому они доступны? Какую историю в конце-то концов мы изучаем и преподаем — народа или Истории-Теории? Последнее, безусловно, важно и обязательно, но разве достаточно?..

Так вот на этом широком «белом пятне» мне известен только один штришок: в семнадцатом году, в пору большой неясности, неуверенности, витавшего в воздухе, и не только витавшего, предчувствия чего-то чрезвычайного и неизбежного, когда из Питера на лето даже не приехал помещик, а передоверил все дела управляющему, когда рядом стоял фронт и было незнамо что ждать, мой дед засеял озимыми собину, отлежащую от хутора в нескольких верстах, где-то далеко, на краю земли... Вот это меня поразило чрезвычайно. Он ничего не ждал, разинув рот, не побоялся, не спрятал в амбар — он собирался жить, и осенью, под накатывающийся вселенский грохот, посеял поле ржи... Потрясающе. Этот поступок стоит тома теории, памятника.

> У поля ржаного лицо спокойно:
> его измерение — Вечность.
>
> Имант Зиедонис

Да, но дед от работы в Совете отказался, сославшись на хозяйство и невеликую свою грамотность. Он считал, что человек власти должен быть весьма грамотным. Увы, в ту пору так думали немногие.

Бедняки, получившие полные наделы, схватились пахать, некоторые — строиться хуторами. Помещичья двор-

ня и батраки его были избавлены от многих забот — они сбились в оставленный дом, полученный скот и инвентарь поставили в помещичьем же добротном дворе и организовали коммуну, ядром которой и стал комбед. Осенью семьи коммуны не смогли почти ничего дать по продразверстке, а зимой она фактически распалась — стали делить остатки барской посуды, одежды, мебель, вазы и картины, каждая семья завела свои горшки и ложки за пазухой. Но есть было нечего, и коммуна требовала у Совета хлеба, сала, картохи. Действия коммуны и комбеда обсуждались в Совете. Комбед не шел на роспуск и считал себя главнее Совета, а коммуну вообще важнее всего. Так или иначе, но коммуну пришлось кормить, а с весны взять над ней контроль, следить, чтобы хозяева жизни пахали и сеяли отведенные им земли. Батраки с задачей справлялись (они и раньше жили у барина под крышей почти коммуной, но с нарядчиком во главе), а вот с дворовыми людьми сладу не было — они не умели работать на земле, но спеси у них хватало. С этой оравой обленившихся людей, особенно с функционерами коммуны, долго пришлось мучиться Совету. Землепашцами они так и не стали. Мастеровые нашли себе дело, остальные приноровили свои навыки к новому времени, через бедность — бедность их была неоспорима, — холуйскую способность где надо смолчать, а где надо поддакнуть, поддержать мнение, вышли в начальство разной шерсти, расползлись по свету.

Мои старшие родственники вспоминают гражданскую войну как время голода, лишений, страха, безысходности. Моя родина оставалась внутри кольца блокады интервенций и контрреволюции, сдавившего молодую республику, но несколько лет подряд находилась в прифронтовой зоне. Фронт, то приближаясь, то отдаляясь, все время гремел рядом на западе (он увяз здесь с империалистической войны, с конца 1915 года в Пскове находился штаб Северного фронта и размещался тридцатитысячный гарнизон) — то германцы, то Юденич и белоэстонцы, то белополяки, то еще неведомо кто. Новоявленный полководец Булак-Балахович шуровал на севере края, не подчиняясь никому, ведя «войну», похоже, ради чистого героизма и собственной мошны. Обозы с зерном и в войну империалистическую, и в войну гражданскую шли отсюда, из непосредственной близости, прямо к фронту и одновременно на Петроград...

Но самый страшный голод наступил уже по заверше-

нию войны, с двадцатого на двадцать первый год. Уже с осени в хлеб стали подмешивать картошку, редьку, а многие и цвет лебеды, кору деревьев, трухлявые пни — все, что можно было жевать под видом хлеба. Зубы жевали, глотка проталкивала, но желудок не принимал — были болезни, смерть, силы людские иссякали... Весной двадцать первого продразверстку заменили «божеским» продналогом. Но изнуренной русской деревне приходилось начинать с нищеты, может быть, уровня семнадцатого века. Не было керосина, спичек, соли, мыла, сахара, в избах снова жгли лучину, мылись золой, стирали хверщем — растолченным в порошок камнем, снова все от мала до велика ходили в грубой домотканине, и не было ей пересменки.

Такой же, если не более жуткий голод и тяготы неимоверные матери довелось испытать еще раз в 1944—1945 годах, когда она вернулась с фронта домой. В разоренной Псковщине не было ни одной лошади, ни одного полноценного мужика, а война еще шла, и все, даже отсюда, отдавалось фронту. Опять ели пни и лебеду, жгли лучину, ходили в мешковине, босые, в лесу, в кустах собирались все ягоды, кроме волчьих, все грибы, кроме красных мухоморов и бледных поганок, и пахали на себе... В голоде, полуголоде — а это тот же голод, — дрожании над каждой крошкой прошли молодость и зрелые годы моих отца и матери, теток. Им не надо внушать, что хлеб всему голова, что хлеб — богатство, хлеб для них — жизнь.

7

Только дед начал выправляться с хозяйством, выдал замуж еще одну дочку, как на голову свалилось новое несчастье — град летом выбил всю округу. Градины летели со сливу, случившихся в поле людей забивало насмерть, много погибло птицы, овец на выпасе, разнесло крыши изб, повыбивало окна, деревья стояли голые, без листвы, с наполовину сбитой корой, лед слоем лежал на земле до следующего полдня... Трава к осени выросла, и сена скоту накосили, а вот хлеба не поднялись, погибли все, не родилась и картошка, второй мужицкий хлеб — хрупкое ее ведилье град срубил до земли.

Не знаю, зафиксирован ли этот град в каких-нибудь метеорологических святцах и сколь широкой полосой он шел, но в зиму с двадцать восьмого на двадцать девятый

год у меня на родине опять были голод и горе. Ели мясо. К рождеству дед зарезал отелившуюся корову. Но мясо без хлеба, без овоща в горло не лезло. Амбар, подпол были пусты, засеки выметены дочиста. Вскоре отелилась вторая. Попоив пару недель теленка молоком, дед зарезал и ее, последнюю. Никому из семьи не позволил выпить молока ни кружки. Из того, что телята не выпивали, делали творог, морозили в кадке, сыворотку сливали в другую.

Замерзшую коровью тушу дед уложил в сани, накрыл дерюгой, прикрутил сенца на дорогу, взял торбешку с обжаренным мясцом, перекрестился и поехал куда-то, наказав:

— Вы, бабоньки, тут без меня не помрите, ешьте потрохи, а пуще всего телят берегите. Особливо телочку, а то нам, бабоньки, с-под граду этого не встать. И не пужайтесь — я возвернусь.

Телята были поставлены в избу, в пустом, без скота, хлеву они бы просто замерзли. Пока дед был в отъезде, им разводили на кипяченой воде творог, добавляли сенной муки, сыворотки — этим и поили.

Через десять дней дед вернулся с возом овса (овес был дешевле ржи или ячменя). Говорил, что мог бы обернуться скорее, но боялся ехать по ночам, да и днем подыскивал попутчиков.

На овсе и выжила вся семья. Овес драли, мололи на ручном жернове, пекли лепешки, блины, варили кашу, кисель. На этой каше до весенней травки вытянули и телята. Бычка осенью продали, тёлка на следующий год обгулялась и превратилась затем в корову. Но уже не в дедовом хлеву — шел грозный тридцатый год, год новой переформировки деревни...

В эту голодную зиму уехала из отчего дома тетя Наташа. Многие, спасаясь, уезжали, кто временно, а кто и насовсем.

— Я маленькая, добрый меня замуж не возьмет, а за дурака я сама не пойду. Отпусти ты меня, папаша, поеду я... И тебе полегче...

— Куда ж ты поедешь?

— А поеду в Питер... Я и товарку уже себе нашла...

Дед думал неделю и отпустил. Даст бог, мир не без добрых людей, а лишний рот с плеч долой — наверное, так он размышлял, не знаю.

И тетя Наташа поехала. Поехала, как говорится, втемную, не имея в Ленинграде ни родственников, ни

знакомых, с одним чемоданчиком, денежкой мизерной — дед ничего не мог дать в тот год, — с тремя зимками церковной школы.

Судьба оказалась благосклонной. Тете Наташе удалось устроиться подсобницей на чулочную фабрику, а вскоре — в домработницы к инженеру цеха, в котором она работала. Инженер был из попутчиков — демократически настроенных кругов старого режима. Высокий, красивый, черноволосый мужчина с грузинской фамилией. На всю жизнь остались о нем у тети Наташи самые добрые воспоминания. Был он с подчиненными прост, внимателен и ироничен, как может быть ироничен по-настоящему интеллигентный человек, с начальством же — сух, корректен, немногословен. На чулочной фабрике он держался в качестве проверяемого и, именуемый «товарищем инженером», в цехе подчинялся мастеру, пожилому рабочему-большевику. Он мог настроить не только вязальную машину — по образованию инженер был железнодорожник, делу своему обучался в Англии и Германии и по делу настоящему ужасно тосковал. Чулочное же производство вгоняло его в черную меланхолию, за которой кипело чисто кавказское бешенство, но он должен был и умел держать себя в руках. Жил он с женой, которая служила в канцелярии учреждения, и тремя детьми — старший ходил в школу, двое других еще нет — на улице Астраханской в коммунальной квартире, занимая две комнаты — большую и крохотную, в которой и поместилась тетя Наташа. Сейчас в Ленинграде нет ни того дома, ни улицы Астраханской — на их месте взметнулась гостиница «Ленинград», что напротив вечного прикола крейсера «Аврора». По вечерам, в хорошие семейные дни, инженер играл на пианино, а жена тихо пела русские романсы, глядя на мужа и серый, революционный силуэт крейсера на Неве.

В тридцать втором году инженер получил-таки направление по специальности — в Донбасс. Уезжая, он сделал все, чтобы большая комната осталась за тетей Наташей. Несколько лет она получала к праздникам поздравительные открытки, должно быть, у инженера никого в Питере не осталось из знакомых или родственников, а он был петербуржец по рождению и по городу скучал. Связь неожиданно и навсегда оборвалась в тридцать седьмом году.

Через тетю Наташу, через эту комнату на Астраханской с двумя большими окнами на Неву и потянулась

потом в разное время моя родня в Ленинград. Да и не только родня. Всякий находил там приют, тепло и помощь. Мое знакомство с Ленинградом тоже связано с этой комнатой. Не могу судить, какая в действительности в той громадной квартире была «бытовая ситуация» — жили там семейные и одинокие, молодые и старые, жили какие-то цыгане, которых, по рассказам, все время полоскала милиция и которых я ни разу не видел или видел, да не признал в городском-то обличье, — но гостеприимство и многолюдность той квартиры, торжественность высоких, с лепкой, потолков, коричневых филенчатых дверей, таинство закутков бесконечной прихожей навсегда останутся для меня неотделимы от самого Ленинграда. Там впервые увидел я телевизор, темно-красный ящик с заваленными углами и небольшим выпуклым экраном, и игру настоящих хоккейных команд на экране, которая если сказать, что потрясла меня, то, значит, вообще ничего не сказать — я долго и серьезно, в детстве все серьезно, мучился проблемой: быть мне моряком или хоккеистом?..

Позже я узнаю другой Ленинград. Буду жить в нем три года, носить морскую форму, привыкать к самостоятельности и, одновременно, к казарме, там я полюблю писк морзянки в наушниках, которая позволяет общаться с человеком хоть на краю земли и чувствовать его рядом, я буду бродить по набережным белыми ночами, на исходе одной такой ночи я встречу прохладную девушку, с которой через десять минут мы начнем целоваться как сумасшедшие, а через час расстанемся навсегда, потеряем друг друга внезапно в молодежной толчее, она растает, как ночь, которой почти и не было, или была? — уже и не знаю; я буду рубить по Ленинграду шаг в парадном строю, я буду прощаться с ним перед дальней дорогой, и с друзьями юности, нет которых дороже, потому что в юности честен и строг выбор души. Но все равно, все мои новые впечатления и знания о Ленинграде всегда будут держаться на первых детских встречах с ним.

Нет теперь той квартиры, нет улицы Астраханской, и нет в живых тети Наташи. Она умерла, только-только выйдя на пенсию, от третьего приступа аппендицита, перенеся два первых молча, заглушив боль работой.

...Я много и старательно выспрашивал мать, теток, почему дед не шел в колхоз. Ничего нового сверх своих предположений я не услышал в их объяснениях. Причины были самые приземленные, крылись в образе жизни и сознании. «Не хотел. Жалко трудов было... Говорил,

пусть молодые жить заново начинают, а мне куда?.. Переезжать надо было, постройку перевозить, заново ставить, обживаться — не хотел. А чтоб переселиться в чужое или в каменное, барское — он и слышать не мог. Осерчал раз, выдаю, говорит, выдаю замуж, а вас все кагал вокруг меня, вот наказанье божье! (У деда выросло двенадцать дочерей.) Хоть бы в примаки какого дурака привели, все б мужик, ну что я один с вами поделаю? Это ж не ниву сжать — такое хозяйство перетянуть...»

Дед, увы, не понимал всей серьезности момента. Знай он все наперед, он семью под удар не поставил бы, ему не были знакомы крайности духа, не было в нем злобы, а уж о беззаботности говорить совсем не приходится. В новое время он вошел со старым, ставшим отсталым сознанием, но человек, который поставит ему это в вину, еще более недалекий, чем мой дед. Он не мог знать, не мог поверить, что своим сидением в кустах замешает кому-то как преступник. Он не чувствовал за собой ни толики вины, между тем как виной стала вся его сознательная жизнь, весь его труд, весь он сам.

Сначала у деда отобрали коня. Тут уж он обиделся и никаких попыток повлиять на судьбу уже не делал. Во всяком случае, заметных, какие запомнились бы его дочерям. Надо думать, что дед куда-то и пытался ткнуться, но быстро понял, что нет уже ни органа такого, ни человека с весом, которые могли бы стать на его сторону.

Я просто не знаю, с чем и сравнить, что значила для крестьянина лошадь. Для крестьянина, начинавшего пахать на корове. Это не «Жигули» для нас и не «Волга». Без лошади крестьянин вообще никто — изгой. С лошадью он человек. Лишить его лошади — это все равно, что сейчас кого-нибудь из нас выгнать с работы, квартиры, лишить медицинского обслуживания, всех общественных фондов потребления и избирательного права одновременно.

Дед осерчал и остался сидеть в кустах. То есть сидеть-то ему пришлось теперь недолго. На хутор пришла сельсоветская комиссия во главе с районным начальником, руководившим «всеобщим и единогласным» вступлением в колхоз, переписала все от трубы до горшка и от самого деда до курицы. Затем деду поверх продналога, поверх еще взимавшегося налога самообложения был спущен план индивидуального налога, а сам он обозначен как кулак и хозяйство его — кулацкое.

Налог был таких размеров — по зерну, льну, мясу

и деньгам, что и с конем бы дед его не выполнил. Он осенью его и не выполнил. Был арестован и отдан под суд. На суде, кроме нежелания вступать в колхоз, невыполнения налога, отказа от работы в Совете в восемнадцатом году, деду было предъявлено обвинение в убое личного скота и продаже его на сторону как намеренный, кулацкий подрыв колхозного движения. Страшное по тому времени обвинение. Дед — с семьей — был объявлен лишенцем — лишенным всех гражданских и имущественных прав, то есть человеком вне закона, приговорен к десяти годам заключения и отправлен в Кресты Ленинградской области.

Сразу же по завершении суда — все это происходило оперативно, споро — остававшаяся скотина, птица, сохи, бороны, сани, телега были обобществлены, остатки зерна, картофеля, овощей, включая кадушку насоленных грибов, конфискованы, сапоги, валенки, кафтаны, зипуны, калоши, веревки, мелкий хозяйственный инвентарь и инструмент — все до подковы изъято, свезено в сельсовет, и там назначены торги всей этой крестьянской рухляди. Чтобы бабы и после этого не вздумали жить в избе, с крыши была спущена солома, выбиты окна, бабушку Нюшу, слегшую с горя, прямо с кроватью вынесли на улицу.

— Коли завтра тут останетеся — зажгем!

Глухая осень, вечер, подмерзшая земля. Пустые голые поля. Ветер шевелит кровельную солому, воет в скелете разоренного дома. На улице кровать со старой женщиной и пять молодых крестьянок рядом — это мои бабушка, мать и тетки, младшей — двенадцать лет. Я беру вас за руку, читатель, и подвожу к ним. Объясните им, пожалуйста, что они есть необходимая жертва в созидании счастливого будущего. Обратите их вселенское горе в тихую надежду или хотя бы отбейте у них память. Я это сделать не берусь. Я остаюсь здесь, с ними,

глухой осенью,
на голой земле,
ночью,
в кустах.

«7) Землепользование должно быть уравнительным, т. е. земля распределяется между трудящимися, смотря по местным условиям, по трудовой или потребительской норме.

Формы пользования землей должны быть совершенно свободны, подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках.

8) ...Земельный фонд подвергается периодическим переделам в

зависимости от прироста населения и поднятия производительности и культуры сельского хозяйства.

При изменении границ наделов первоначальное ядро надела должно остаться неприкосновенным».

Из Декрета о земле, принятого
Вторым Всероссийским съездом Советов

8

Из заключения деда Савелия освободила амнистия в связи с принятием новой Конституции, утвержденной VIII съездом Советов 5 декабря 1936 года. Дед вернулся весной тридцать седьмого, собрал семью...

Горькой была эта встреча. Пока дед отсутствовал, бабушка, мать и тетки мыкались у родни. Одним было получше, другие находились на птичьих правах. И теперь всем вместе жить было негде. Изба и все бревенчатые постройки хутора были вложены в стены льнозавода, выстроенного на берегу залива реки. (Льнозавод перед войной сгорит от грозы — «вода притянула». Точка? Да нет, длинна жизнь и непредсказуема. После войны, уже после смерти деда, мать будет носить на себе остатки пожарища в дрова и по трещинке, извилке сучка, по отцовской зарубке вдруг узнавать родную половичину, слегу, бревно простенка над столом...) Дед с семейством в тот момент равнялись нищим — все свое имущество каждый мог собрать в узелок.

Дед пошел в сельсовет. Идти туда ему не хотелось, но как миновать? Освободила деда власть верховная, указом сверху, а отправляли его в места не столь отдаленные власти местные, снизу. Никто из последних не пострадал за перегибы; во всяком случае, так, как сам дед, — все эти люди по-прежнему находились на своих местах. Дед попадал как бы в перекрестье двух мнений на себя, и ничего хорошего из этого ожидать не следовало.

— В колхоз, значит?.. А с чем же тебя принимать? У тебя ж ничего нет...

— Нету...

— Прими тебя, так ты и корову себе потребуешь, избу, барана...

— Земли попрошу тока. Не на воздусях же мне жить.

— Ладно, дед. Земли, так и быть, мы тебе дадим. А насчет колхоза надо подумать. Откуда нам знать, каким ты вернулся?.. Вот проявишь сознательность, тогда и потолкуем. А пока запишем тебя в единоличники, соток пятнадцать нарежем — живи...

— Ну, Нюшок, радуйси, — вернулся из сельсовета дед. — Отвела нам власть хуторок... Барские фундаменты за большаком.

Бабка опустилась на лавку и завыла...

Сейчас это самое красивое место в деревне. Дом на горке, две высокие березы под окном, которые в войну по указке деда посадили пацаны Аркашка и Славик — мои братья. В тридцать седьмом там была груда кирпича, щебня, головешек; ямы, пни деревьев, полусгнивший хлам — деревенская свалка. Какой-нибудь потомственный бедняк, скорый на ногу, почесав под рубахой пуп, плюнул бы, сел на случайную подводу и махнул бы куда глаза глядят. Человек более решительный, отчаянный, покончил бы с собой — бывало и так. Но дед Савелий, не знакомый с крайностями духа и ничего не знавший, кроме земли, сказал:

— Не плачь, Нюшок. Видать, такая наша доля, надо сдюжить... Я прокормлю тебя и на этом камне, тока б мне не помешали...

И началась работа, титанический труд...

Какую-то халупку с помощью родственников, добрых людей, дед собрал в первый же год, в ней и ютились. Осилить капитальные фундаменты (хозпостройки у помещика хоть и деревянные, но стояли на камне) было невозможно, их засыпали поверху землей. Головешки были собраны в кучу, вырублен весь разросшийся кустарник, выдерганы с корнями бурьян и крапива. Необхватные пни дед откапывал, подрубал корни, затем, обротав веревкой, всей семьей вытаскивали из ямы, отволакивали в сторону, обкладывали хворостом и сжигали. В образовавшиеся полутораметровые ямы ссыпался битый кирпич, щебень, известковая крошка, мусор, сверху ложилась земля и торф, который дед подвозил на тачке. Сразу же дед стал разбивать и сад, принося на себе яблони с печин разрушенных хуторов. Место менялось на глазах. Дед с бабами копошились там от зари до зари, не разгибая спины, не поднимая головы — кругом залегали, гуляли, начинали зарастать пахотные земли... Вся эта горка, на которой прошло мое детство, без всякого преувеличения полита слезами и потом.

За что, часто думаю я, за что моего деда сунули мордой в субор? Его же все в округе знали. На что его проверяли? В кого перевоспитывали? Куда повернулось людское сознание? Где нам забрезжил свет, какие высоты морали открылись? Откуда явилась такая жестокость

к брату, из какого учения — ведь не было такого! Или все же было?.. И я вижу цепкие корни от тех времен в нашем общем древе, они вплелись намертво, дают новые ростки, цветут, цветут и плодоносят...

За четыре года (!) дед сумел стать на ноги, отстроиться, был принят в колхоз, и началась война, оккупация... Не было перерыва в каторге для моего деда, не было.

Тяжелейшая довоенная жизнь вынудила всех моих теток, и замужних и нет, оставить родину. Двух младших сестер забрала к себе в Ленинград тетя Наташа, война окончательно всех перемешала, но никто, помня о пережитом в мирное время, не вернулся к земле. Все мои тетки стали городскими. Какая сила угнала их?.. Страх. Страх, оставшийся от беды, обрушившейся на семью, на отца. И неверие, что подобное может не повториться в любой момент. Неосознанное, может быть, стремление забыть, затеряться.

Мать вернулась домой в конце сорок четвертого года из Польши. Ее не отпускали, отговаривали.

— Савельева, — внушал ей кадровик, — в тылу сейчас голод. Ваша область была под оккупацией, ее освобождали с боями, вы сами видели, что собой представляет такая местность. Куда вы рветесь, одумайтесь!

— У меня там сын, сын! Маленький...

— Хорошо. Давайте сделаем запрос. По нашим каналам, они надежны. Если ваш сын отыщется, простите, мы его вызовем сюда. Его доставят вам прямо в руки. Сколько ему лет?

— Скоро двенадцать...

— Вот и хорошо. Будет ординарцем при штабе.

— Ему учиться надо, в школу!..

— Мы определим его в суворовское училище, ваш сын станет офицером!

— Не хочу!..

— Савельева, выслушайте меня. Вы на хорошем счету, у вас боевые награды, войне конец. Но время будет сложное, мы будем восстанавливать границы, нам будут нужны честные, преданные люди. Вы не будете после войны поваром, уверяю вас. Вы будете обеспечены и устроены. И ваш сын тоже. В деревне же вам придется глодать кору, понимаете вы это? Если вы любите своего сына, если вы хотите ему добра, вы не должны возвращаться туда сейчас!

— Вы не понимаете, вы не понимаете...

— Ошибаетесь. Я все понимаю. У меня есть семья, дети.

— Где они?

— В Казахстане.

— А где мой, где?.. Я не знаю, я не могу, я хочу видеть!.. Вы не можете меня держать, я мать!..

— Вот потому я и не хочу, чтобы вы увидели то, что там, может быть, произошло. Давайте сделаем предварительный запрос.

— Я убегу, я уеду!..

— Без глупостей, Савельева! Вы на фронте. На вас форма советского солдата!

— Пусть каждая женщина отдаст столько фронту... Что вы от меня хотите...

— Простите. И успокойтесь.

— Я и замену себе подготовила — Кондратьеву... Что вы так посмотрели? Она и до войны поваром работала, в городе... А я деревенская баба...

— Савельева, вы шеф-повар в офицерской столовой, забудьте про свою деревню! У вас прекрасные характеристики, не было случая, чтобы вы не развернули кухню и не накормили состав!.. То есть я хотел сказать, что человек на вашем месте... должен быть исключительно чистый. И приятный. А у Кондратьевой вашей здесь... А она ведь тоже замужняя.

— У нее муж пропал без вести, она писала...

— Тем более. Мы не сможем ее утвердить. Вы проявили ненужную инициативу. Прошу вас не говорить с ней на эту тему.

— Вы отпустите меня?

— Ох, Савельева, не вовремя вы все это затеяли, ох, Савельева... Идите, будем решать. И заберите свой рапорт, зачем он, вы же не генерал...

Мать добралась домой, застала всех в живых, и после виденного это было для нее счастьем, какого ни до, ни после ей не доводилось испытывать. Оно было ярким и коротким, как всполох. Вскоре умер дед. Послевоенный голод и непосильный труд добили его. Вот дневные нормы колхозников той поры, которые перевыполнялись: вскопать лопатой 3 сотки, скосить 35 (некоторые косили и по гектару), запахать плугом 40. Плуг тянули шесть человек, седьмой правил. Кто тянул? Бабы. Кто шел за плугом? Старик, подросток *. Было вроде бы легче, если

* Хочу хотя бы в сноске обратить читательское внимание на следующий момент истории, нашими историками и писателями

поле длинное, но в конце борозды все падали... Есть в первый год после освобождения было нечего, просто нечего — шла война, в первую очередь поднимались промышленные и зерновые районы, Псковщина не принадлежала ни к тем, ни к другим.

Дед Савелий умер в шестьдесят с небольшим лет, прожив вдвое меньше своего отца, моего прадеда Антона.

— Пришел мой час... Внуков я сберег... Нам тут всяко было... Живите с богом... Простите...

Здесь бы, думается, не надо ничего разъяснять, но не могу, ибо знаю, что и эти простые слова будут кем-то истолкованы неверно, излишне глубокомысленно. За что дед просил прощения? За то, что заставлял близких работать не меньше себя? Что они вынуждены были по его вине, недодумию — он мог так считать, возомнит кто-нибудь — голодать, скитаться в людях несколько лет?.. Нет. Тысячу раз нет! Дед просил прощения за то, что он умирает среди живых и доставляет им своей смертью хлопоты, которые отвлекут их от дел, необходимых для жизни, за то, что оставляет их в мире одних, без себя. И только. Он никогда не ставил себя выше травы, он жил стесняясь, боясь не то что кого-то обидеть, а просто задеть, помешать. Он жил в вечной робости и тихой надежде, что и ему никто не помешает трудиться. В этом и заключалось для него счастье, никакого больше света он для себя не желал. И таких в России было тысячи тысяч. Время не оценило их, время скосило их и забыло. Они неразличимы в великом сонме ушедших в землю, которую они любили необъяснимой для нас любовью. Мы не стали их детьми, продолжателями, мы дети нового времени. Мы закрыли их как тему и не вспоминаем, даже спотыкаясь. Самонадеянны и одиноки мы на пути своем. Исполнение гражданских обязанностей мы возводим в героизм, восьмичасовой, с перерывом на обед, с перекурами и трепом труд мы преподносим как героический. Мы все сплошь герои, у нас скоро не хватит цветного металла, чтобы всем воздать за труд. Мы могли разыгрывать этот героизм, пока ехали на старых людях, родившихся до нового или в начале нового времени, чью

обойденный. Мужчины призывного возраста, перенесшие оккупацию, считались фактически штрафниками и, мобилизованные, без надлежащей воинской подготовки бросались в самое пекло. В массе своей все они погибли или были ранены, провоевав в действующей армии считанные недели. Попавшие в плен считались дважды изменниками.

древнюю жажду к свободному самостоятельному труду немного выпростали, выдавая за новое, привнесенное в человечество начало. Но стоило им уйти, как весь наш героизм стал превращаться в трагикомедь, обнаружилось, что, убив животворящее, жизненностоящее старое, мы ничего, кроме новых пороков, не воспитали вновь. Ошельмовали и умертвили, ничем не сумев заменить. И прежде всего старую, строгую, согласную семью, отъяв детей от отцов. И дети, получив не от отцов своих, а от газет и собраний, не стали отцами для своих детей.

Я смотрю на дедов портрет, в небольшие подслеповатые глаза... Он заснят перед войной, в пору, когда бился с грудой камней и кирпича, бился над тем местом, где родился и вырос я. Я всматриваюсь в его лицо и не нахожу в нем ни испуга, ни тени озлобленности — усталость... Фотографическая камера не вызвала в дедовых глазах удивления, неверия, усмешки. Дед смотрит на меня сквозь стекло, как из-за окна. Я не встречал людей с подобным взглядом — тихим, мирным, простым... Взгляд человека, который успел сделать что-то необходимое и важное, для чего рождается каждый, успел понять и успокоиться на этом. Он готов хоть сейчас оставить мир, но может и пожить — это уже ничего не решает. Я всматриваюсь до слез, тщусь проникнуть до дна его глаз, тщусь ухватить это знание и не могу — дед за стеклом, оно непроницаемо для меня. Я отступаю, и тогда, издали, лицо становится мне ближе, просто как тихое, человеческое лицо, я делаю шаг вперед, и снова боль собственной покинутости просекает меня. Я держу, купаю себя в этой боли, хочу увидеть в дедовых глазах осуждение, строгость, которые бы собрали, подхлестнули меня... Но нет ничего — усталость...

Что я не понимаю, дед, что не довелось мне перенять от тебя? Что ты унес из мира, и как мне возместить за тебя?.. Ведь я что-то должен, я должен, должен!..

9

Сколько у нас было сложено песен, написано стихов, поэм, романов, преподносящих колхозное устройство жизни как справедливейшее, счастливое, передовое, цветущее!.. Сколько за них было получено премий, почестей, наград... Сколько всего написано парадного, радужного, величавого... Так много, что за этим парадным фасадом вообще ничего не видно, непонятно становится, почему же

при таких благостях, при таких устранимых в каждом произведении «временных затруднениях» сбежал народ, откуда эти заросшие непроходимым бурьяном, пустые, провалившиеся крышами деревни?.. Что здесь, мор был, чума, холера?.. Что здесь, за торжественной ширмой демагогического краснобайства, происходило, товарищи, как не целенаправленное, плановое уничтожение целого класса!.. Только немногие писатели увидели всю грядущую трагедию, вытекающую из сталинских методов коллективизации. И произведения о колхозном счастье продолжали все писаться, издаваться, и самые последние из них остались незаконченными на полуслове, может быть, только вчера. На каких классовых позициях стояли эти литераторы? На позиции какого класса?.. И что это за класс, давивший сок из мужика, как из раба, назовем мы его когда-нибудь или нет?.. И как они чувствуют себя теперь, ведь в массе они живы, здравы и в полной памяти. Я что-то не слышу ни одного внятного, чистосердечного публичного раскаяния. А слышится со всех сторон другое, как нас, молодых, увещевают не оглядываться назад: «Ну, было, да, признано, но идите же вперед, дальше!» Но с какого рубежа идти нам дальше, от какого душевного порядка? Как можно идти вперед, не имея твердого понимания того, что у тебя за спиной? Стоя на нагроможденной лжи, с нуля? Какой в этом может быть прок?.. Вы хоть лгали, да видели, а мы и не видели!.. Нам приходится проходить все заново, сначала, тыкаясь в потемках и казуистике, отмывать застывший сироп, которым залито и происходившее, и сама идея. Мы, по сути, остались без веры, без истории, без правды, без дома на земле. Ввязавшись в бой с тенями, мы через пятнадцать-двадцать лет можем оказаться в таком же глубоком нокауте, в каком пребывают весьма многие писатели старшего возраста, которым теперь сказано сверху, что их представления о социализме, на «базе» которых они писали свои произведения, выдавая их за вершину народного откровения, оставались на уровне тридцатых годов. Сейчас они находятся на полу, пытаясь сохранить умную мину и благопристойный вид. Из этого лежачего положения они даже пытаются кого-то поучать. Право, они смешны.

Не можем же мы идти дальше, довольствуясь лишь констатацией того, что были ошибки. Ничего себе ошибки: мелкая буржуазия, коррупция, наивысшего в мире образца бюрократизм, экономический застой, бесхозяйствен-

ность, забвение демократии, жесткая принудиловка уже со школы вместо добровольности во всех мероприятиях, небывалая преступность среди молодежи, потеря доверия у нее и чувства места в жизни общества комсомолом, попрание памятников и народных традиций, превращение народа в толпу несунов...

В апреле 1987 года в телепередаче «12-й этаж» велась полемика о положении с молодежью в Новосибирске, где, в частности, группа молодых людей, комсомольцев большей частью, для нужд своего спортивного клуба срезала капроновую ткань с козырьков учреждений и оказалась за решеткой. И вдруг один из комсомольских работников в зале студии Останкино бросил в экран, где маячила покаянная, остриженная голова подследственного: «Вы же нарушили одну из первейших заповедей: не укради!»

Где? Где она у нас записана как заповедь? Нигде. В статьях Уголовного кодекса, воспитующее воздействие которого начинается уже слишком поздно, в изоляции, и носит характер все же карающий? Видимо, мнилось кому-то, что народная мораль, взращенная на основе христианских заповедей, будет существовать в сознании масс сама по себе, независимо от происходящего в жизни, как будто она так же естественна для человека, как нос или колено. Но нет, исчезла, и заповеди забылись напрочь. Они действовали только до тех пор, пока были живы люди, воспитанные на них. А дальше началась пустота, та «свобода», которую может удержать в рамках только уголовное законодательство, где нарушение евангельских заповедей все же трактуется именно так, как и должно быть — нарушением закона. Парадокс? Ошибка?.. Ничего себе ошибка! — тысячи молодых людей в колониях, тысячи кинутых в приютах малолетних детей, тысячи заброшенных стариков и т. д. — миллионы человеческих бед.

Да, мы поколение особое. Мы не пережили ни голода, ни войн — нас просто обманули в детстве, и общее у нас — незаслуженная горечь сотворенного с нами обмана. Родившиеся в 60-е годы и позже просто ничего не знают, не понимают. У них другая судьба, может быть, сложнее нашей — им ведь вообще уже не знакомо чувство корня. Для них корень — даже и не двор, дворов не стало, а просто улица, подворотня, танцплощадка, — сомнительные этические ценности. Хотят нас замечать или нет (конечно, не хотят), приятны мы или нет, но мы — есть. Родившись в 50-е годы, мы не видели

подъема и активизации жизни в послевоенный период, не помним его из своего малолетства. Подъем, испытанный в ранние школьные годы от провозглашения двадцатилетнего рубежа и полета Гагарина, оказался вершиной, с которой жизненный настрой пошел под гору. Осознанно поняли мы это, может быть, позже, но почувствовали давно — мы росли и взрослели в период все усложнявшихся социальных и бытовых условий, роста пьянства и преступности, бюрократизма, бездуховности, лжи, исторического, хозяйственного и культурного волюнтаризма, тайной и явной коррупции, все расходящейся пропасти между словом и делом, приведшей в конце концов к возрождению самой настоящей буржуазии, прекрасно уживавшейся под вывеской партийности и марксизма. И если для людей старшего поколения это было в определенной мере делом, может быть, привычным, знакомым, то для нас, молодых, все происходило впервые, ничего другого в своей жизни мы не видели, мы воспринимали мир таким и росли — на этом. Бытие определяет сознание...

И дело не в самом факте ошибок, не ошибается тот, кто ничего не делает, — а именно в лицемерии, в политическом, философском и культурном ханжестве. Я вот не знаю у себя на Псковщине ни одного бывшего колхозника (теперь там всё совхозы), который был бы не то что рад, а хотя бы согласен с организованной ему жизнью, которую воспевали в политических меморандумах, песнях и романах, с тем ярмом, которое он, закрепощенный, тянул. Вот как мне с этим быть? Ведь жить-то с людьми, а не с художественными образами.

Ну а если говорить об образах, то положительным для меня при таком жизненном знании (возьмите в кавычки, ради бога, но другого у меня нет), хочу я того или нет, вписывается это куда или нет, становится всякий, сопротивлявшийся в мирное время колхозному порядку, всякий, отстаивавший свои элементарные человеческие права и свободы. Чувствуете, к какой опасной черте я сдвинут? Я не хочу находиться здесь, рядом со злопыхателями, но что я могу сделать? Я поставлен сюда своей реальной жизнью, которая у каждого одна. Вот с каких начал я должен заново обретать веру...

В конце концов, высосав из колхозного способа производства в Нечерноземье все, пройдя этапы укрупнения, приливания и сливания, мы вынуждены были колхозы реорганизовать в совхозы, при всей теперь уже нерента-

бельности этих новых совхозов, выдать оставшимся людям паспорта, наложить оклады, разрешить отпуска, допустить ко всем прочим правам и льготам, полагающимся советским гражданам согласно Конституции.

Сто лет (!) длилось раскрепощение русских крестьян, начатое в 1861 году... Молчим мы об этом, крепко молчим. Стыдно признаться. Ленинскую мечту о действительно демократическом устройстве мы поставили с ног на голову, вывернули наизнанку — не знаю, как будет точнее.

«Социал-демократы требуют для народа полной свободы передвижения и промыслов. Что это значит: *свобода передвижения?* Это значит, чтобы крестьянин имел право идти куда хочет, переселяться куда угодно, выбирать любую деревню или любой город, не спрашивая ни у кого разрешения. Это значит, чтобы и в России были уничтожены паспорта (в других государствах давно уже нет паспортов), чтобы ни один урядник, ни один земский не смел мешать никакому крестьянину селиться и работать, где ему угодно. Русский мужик настолько закрепощен еще чиновникам, что не может свободно перевестись в город, не может свободно уйти на новые земли. Министр распоряжается, чтобы губернаторы не допускали *самовольных* переселений! Губернатор лучше мужика знает, куда мужику идти! Мужик — дитя малое, без начальства и двинуться не смеет! Разве это не крепостная зависимость? Разве это не надругательство над народом?..» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 7, с. 169).

Отсутствие паспортов у людей в стране с паспортной системой делает их не свободными, а именно закрепощенными, прикованными к месту рождения.

«Э, а как же без паспортов могли они разбежаться?» О, это была целая система! Чтобы выхлопотать паспорт, нужно было пройти цепочку местных чиновников, знать, кому, сколько, через кого дать и деньгами, и продуктами — сладко поели и крепко попили уездные корольки у этого ручейка. Но это, главным образом, путь для взрослых. У молодых он был проще. Для парней служба в армии и оттуда завербоваться на стройки народного хозяйства, для девчат замужество хотя бы за совхозника, для обоих полов — учеба в городе, откуда дорожки распахивались на все стороны. И родители детей не держали, понимаете, не держали! Они выталкивали их всеми правдами и неправдами за пределы колхоза — деревни, — родители всегда желают своим детям лучшего, а при имевшихся порядках на стороне стало лучше, чем дома.

Все перевернулось! Когда-то уехать на чужбину, уйти на сторону, «в люди» считалось горькой долей, при колхозах стало счастьем...

У колхозника была на руках книжка колхозника, но для чего сей аусвайс был выдан, так никто и не понял, потому что он паспорта не заменял и нигде не требовался. В деревне, в колхозе, в сельсовете целом и шире человека знают в лицо, всю его родню знают, детей, внуков, зятьев, кумовьев, что у него в подвале и кто в хлеву. При выдаче пайка на трудодни документом являлась все та же тетрадка бригадира с палочками. При получении посылки, денежного перевода в деревенском отделении связи достаточно расписаться в извещении. Рядом с моим домом находится почта, и уж невозможно упомнить, сколько раз я расписывался за неграмотных стариков, пока там жил. «Сынок, — ловили меня на улице, только научившегося писать, — иди, кормилец, распишись за посылоцку!..» На нужной строчке надо было сначала поставить предлог «За», за указанного адресата значит, и расписаться самому — вся процедура.

Может быть, по книжке колхозника выдавался билет на самолет, не знаю... Как поднимешь на гул лицо к небу, как увидишь самолет, так сразу и подумаешь: вот летит самолет с колхозниками, деловыми людьми, вот они летят с поросятами, цыплятами, буханками в мешке!.. Вот они везут по воздуху косы, гвозди, вилы, топоры... Вот какое получили развитие, как они воспарили!..

Теперь-то положение изменилось. Нынешний крестьянин, то бишь работник аграрно-промышленного комплекса, легок, стремителен на подъем. Вместе с остальным народом, перемешивая национальности, кочует он по стране из края в край, ищет свою долю, глядит, кому живется весело, вольготно на Руси, а кому и того лучше. Теперь его ничто не привязывает к деревне, ему не жалко бросить дом, потому что он его не строил, получил готовый, в каком-нибудь другом месте он получит такой же, о любви к земле говорить тоже не приходится. Равнодушен и подальше от земли нацелен сельский рабочий, на безопасную дистанцию от коровы и навоза.

К воспитанию такого нового деревенского труженика мы шли неуклонно, здесь не было изгибов генеральной линии. На протяжении всего своего развития мы осуществляли практику: пусть пропадает, но не тронь. Пусть пропадают покос, сжатый хлеб, овощи, картофель, земля, но трогать не моги. Вот эти полметра пахать не смей,

пусть растет бурьян, это не твое, бурьян колхозный. Клевер пусть остается под снег, а сдохших зимой коров захвати тросом, оттащи в овраг и закопай. Как мог спокойно смотреть на все это крестьянин-практик, хозяин, «эконом» поневоле, из-за бедности?.. Помню, как у нас «арестовали» и вывезли из сарая сено, которое отец, всю жизнь искавший правду, боровшийся с мракобесием местных властей, с чумой выполняемых ими указов, накосил где-то в кустах в самую макушку лета, в пору цветения трав, то есть «не вовремя», не дождавшись осени и разрешения. Отец тогда затеял какую-то длинную тяжбу с подключением областных верхов, которую он вроде как и выиграл, а на самом деле получил еще раз по носу: сено ему не вернули, но дозволили накосить в любом, кроме обрабатываемых полей, месте. Дозволение снизошло к нему в конце ноября, под первый снег.

Для чего подобное творилось, если рассудить трезво? Для того чтобы земля окончательно зарастала, чтобы отучить человека от нее, чтобы он сбежал. Вот задачи, которые исподволь ставились и которые успешно на сегодняшний день выполнены, вот. По-моему, если люди, декретировавшие жизнь на селе, не были дилетантами, то — настоящими врагами. А кем же еще?

Но сам-то мужик видел, переживал — прислушался ли кто к его негодованию и боли? Куда там!.. Наше же управление базируется на самой передовой философии, мудрой аграрной политике, а какая может быть философия у простого колхозника? «Надоть» да «не надоть», скотина, сено, навоз... Где тут достучаться ему до нашего просвещенного, озабоченного горними идеями сознания?.. Смотри, привыкай! — заставляли мы его. Но нет, не приучили, разбежались люди. Ну а те, кто привык, кого мы воспитали внове, те так нас и кормят. И не надо от них требовать и ждать невозможного, того, чего они не умеют, не надо переводить бумагу, произносить зажигательные речи, выдвигать отчаянно смелые планы — они не доходят до сознания рядовых исполнителей, оно не на ту волну настроено, нужны какие-то другие кардинальные меры, которые еще возможны в рамках нашей гуманности. Люди выросли не на созидании, а на планомерном и беспрерывном разорении, впитали пренебрежительное, наплевательское отношение к земле и труду на ней.

Ведь посмотрите, практически на отрезке времени, равном жизни одного поколения, умудрились мы карди-

нально изменить отношение человека к земле. «Крестьянство хочет земли и воли», — писал В. И. Ленин в 1905 году в работе «Пролетариат и крестьянство». Волю, с выдачей колхозникам паспортов, крестьянство наконец-то обрело, а землю... земли оно уже и не хочет. Земля пустует, зарастает, никто ее не мерит рулеткой — бери, паши, сей! Никому не надо... Мы не могли спокойно спать, пока мужик цеплялся за свою мелкую собственность, мы отбили-таки желание ее иметь — землю, лошадь (ничем последнюю не заменив), скот, инвентарь, — и тогда обнаружилось, что без этой мелкой и мельчайшей собственности человек не может жить на земле, любить ее, быть активным — мы отбили у крестьянина желание трудиться. Завлекая, подсунули ему телевизор и автомобиль, и тогда новый крестьянин задернул шторы, налил стакан бормотухи и плотно уселся у голубого экрана или сел на автомобиль и уехал, а мы остались на бобах — вот итог.

На ком держится сейчас деревня в том виде, до какого мы ее довели, тот уровень производства, который имеется? Молодежь есть, и немало, все работают на технике. Но, знаете, мне не хотелось бы говорить о ней подробно, все же есть какие-то нормы приличия, и в том, какая она, не только она, молодежь, а точнее, не она сама виновата. Скажу только, что бытовые условия, создаваемые для молодых, только бы их удержать, они вряд ли смогут возместить — работа их оставляет желать лучшего. По-прежнему не разрешена на деревне проблема невест (сколько мы проблем себе народили, над разрешением которых бьемся, — так это всей арифметике не сосчитать!). Если для парня со средним образованием, СПТУ, техникумом возможностей трудоустроиться в деревне достаточно, то девушке давно уже в деревне делать нечего. То есть дел-то много, но современная девушка уже ни за что не хочет ими заниматься. Девицы плотно набиваются в конторы... где еще они могут приткнуться? Ну, в библиотеке, ветучастке, столовой, отделении связи... Но это же все мало, это крохи, это раз, два, три... А остальные — далеко, в городах, ютятся в общежитиях предприятий нашей легкой совершенно промышленности, покуривают там сигаретки, томятся под взглядами жгучих актеров с картинок на стенах, ходят в кино и на танцульки. Одно дело, понимаете, крутить баранку автомобиля, слесарить, заведовать электротехникой — это чисто мужская работа, способная принести удовлетворение

и деревенскому, и городскому парню, и совсем другое — ходить за скотом, а там в первую очередь требуется и должна быть женщина. Ну так уж сложилось в деревне исторически — не хочет, не может здоровый мужик доить коров и говорить, как глупый, цып-цып. Есть и дояры, и свинари, но это же от горя, это не правило и не путь. Встречаются и усаженные за рычаги трактора хрупкие девушки и женщины-матери, но я не назвал бы это великим достижением. Женщина деревни, и без того загруженная тяжелой работой по хозяйству, нуждается не в уравнивании подобных прав с мужчиной, а в ограничении и запрещении их. Впрочем, и на заводах тоже.

Что представляет собой труд доярки в стойловый период на наших дворах? Научно-технический прогресс, роботизация и автоматизация запечатлены в них лишь в двух проявлениях: доильном аппарате и электрическом освещении. Ну, в иных есть еще бадья, подвешенная на монорельс, для отправки за ворота навоза, и линии автопоилок, которые зимой, как правило, не действуют, замерзают. (Если мужицкий деревянный хлев корова со свиньей и овцами нагревают, то железобетонный продувной двор никакое количество полуголодных коров при двадцатиградусном морозе согреть не могут.) Было довольно много проведено опытов с техническим оснащением, много было «новинок», но все они, сделанные не для нужд деревни, а для отчетности конструкторских бюро в верхах и вышибания себе фондов, вытолканы бульдозерами за пределы дворов, ржавеют в оврагах или сданы пионерами в металлолом на выплавку высококачественных сталей. Глядя на нынешнюю техническую вооруженность производителей мясо-молочных продуктов, хочешь ты того или нет, но воочию убеждаешься, что наш прогресс направлен не на облегчение труда, не на благо человека, а куда-то, видимо, вовне, в космос, что ли, во всяком случае, за пределы родной земли.

На доярку из-за нехватки рабочих рук сейчас приходится до пятидесяти и больше голов. Она должна встать в четыре утра, прийти на ферму и в течение дня:

а) три раза задать корм, пусть он привезен и свален у входа, по 2—10 килограммов сена (сколько есть в хозяйстве), 1—3 ведра древесной крошки, 5—10 килограммов силоса, по ведру воды — каждой корове по три раза в день, туда и обратно, туда и обратно...

б) провести две дойки, сцедить в бидоны молоко, вы-

мыть аппараты, емкости, перед каждой дойкой вымыться самой, переодеться в белый халат...

в) успеть два-три раза сбегать домой, задать корм своей скотине, накормить, приласкать мужа и детей...

В зимний период происходит отел (опорос, окот), при котором присутствие животновода обязательно, в противном случае молодняк может погибнуть: свинья может сожрать поросят, телята, ягнята могут замерзнуть, сами матки — погибнуть при неправильном положении плода. А зоотехник на хозяйство один... То есть доярка там днюет и ночует — в изморози, парах, сопутствующих запахах. И так изо дня в день, с четырех утра до девяти-десяти вечера, без выходных, полгода...

Я не понимаю, товарищи, какую колбасу мы собрались нарезать, уселись за столы с остро наточенными ножиками? Каким накопленным потенциалом хвалимся? Я рассказываю не о первых пятилетках — о годе одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмом от рождества Христова, о семидесятом годе новой эры человечества. Я не знаю, в каких училищах, институтах, какими книгами, статьями, кампаниями мы сможем привить у бегущей из деревни молодежи любовь к такому труду, чтобы он доставлял ей радость и удовлетворение? Убив эту любовь, трудно воспитать ее вновь. Какой может быть выход?

Могут возразить наслышанные люди, что теперь в животноводстве вводится двухсменка. Да, вводится, как все у нас, широко и бумажно — если людей не хватает на одну смену, то вводи хоть пятисменку, на деле это ничего не меняет. В начале восьмидесятых годов, в связи с Продовольственной программой, животноводство в моем районе было объявлено ударным молодежным фронтом. Из материала районной газеты той поры я узнал, что, несмотря на призыв, в животноводстве молодежи (до 30 лет) трудится 19 человек... Понятно, что все или почти все эти девятнадцать — парни, обслуживающие электротехнику ферм и дворов. Что еще здесь можно комментировать?

Я заканчивал школу в классе из 36 человек. Это был последний такой большой класс (сейчас учителя маются с классами по 5—10 человек), мы были последние в деревне. Примерно треть из моего класса работает сейчас на Псковщине — шоферами, механизаторами, медиками, учителями, милиционерами. Нескольких уже нет в живых, пятеро побывали в заключении (производственные аварии и разбой в состоянии опьянения). Но нам уже по три-

дцать пять. Молодежь ли мы? Ну, это смотря какой и для кого отчет составлять... Все же ядром на деревне остаются люди среднего, уже предпенсионного возраста. Хлебнувшие лиха подростки военной и послевоенной поры. Их тоже немного, но работают они зверски, вот на них пока все и держится. Через пять-десять лет последние из них уйдут на отдых. И что же тогда, деревня окончательно рухнет, зарастет бурьяном?.. Вряд ли, не думаю. Деревня возрождалась и из пепелищ, на гарях и пустошах. Одно бесспорно — роды предстоят долгие и трудные, ведь предстоит возродиться не внешней атрибутике, ей уже не бывать, а человеку — земледельцу, хозяину.

1983—1987

Валентин Распутин

ПАТРИОТИЗМ — ЭТО НЕ ПРАВО, А ОБЯЗАННОСТЬ

Меня задело в одной из статей утверждение о том, что слово «патриот» в русском языке не должно иметь первого лица. Это значит, что никто из нас не вправе сказать: «Я — патриот», а может надеяться, что кто-то скажет о нем: «Ты — патриот», или после смерти напишут в прощальном слове: «Он был патриот». Выходит, что декабрист Раевский был слишком нескромен и много на себя брал, когда говорил: «Если патриотизм — это преступление, я — преступник, и пусть суд вынесет мне самый ужасный приговор, я подпишу приговор». И все другие, кто считал себя патриотом, не имели морального права присваивать себе это звание, потому что оно не захватывается, а даруется, и по нравственной этике не приличествует награждать себя добродетелями, пока этого по достоинству не сделают другие.

На первый взгляд тут есть здравый смысл. Мы так обобраны в правах по отношению к своей Родине, что почему бы не отдать еще одно — именное, тем более что каши из него все равно не сваришь. Казалось бы, это не так существенно. Важно быть патриотом по характеру и целям своей деятельности, а не считаться им, важно внести свою долю в патриотическое сознание и деяние, а оценку себе можно и не давать. Важен ре-

зультат, а не обозначение. И все это было бы так, когда бы патриотизм был правом тайного или клубного общества, которым (правом) можно пользоваться, а можно не пользоваться и в которое (общество) можно вступить, а можно выступить. Но патриотизм — это не право, а обязанность, хоть и кровная, почетная, но тяжелая и, как выясняется теперь, довольно опасная обязанность, которую в меру своих способностей и сил должен нести гражданин той земли, что отдана ему под Отечество. Из отеческого общества выйти нельзя. Можно не исполнять свою обязанность, но в таком случае эту долю придется взять другому. Неисполнение этой обязанности есть гражданское дезертирство, происходит сначала ослабление, потом загнивание, потом разложение государственного организма. И в конце концов из него получится совсем другой продукт.

Человеческий организм в правильных движениях руководится разумом. Для государства разумом является прежде всего патриотическое сознание. Есть оно — государство крепкое, нет — огромные беды могут ждать это государство, и только слишком счастливый случай, да и то не без патриотического вмешательства, может спасти его.

Чтобы далеко не ходить, вспомним, что пришлось вынести нашей стране после 20-х годов, когда патриотизм как сознание народа был заклеймен и втоптан в грязь. Слово «патриот» считалось синонимом слова «белогвардеец», «память» ассоциировалась с дикостью и невежеством. Но когда встал вопрос: быть или не быть стране, когда потребовалось спасать ее от фашизма, за ним, втоптанным в грязь и обруганным, пошли и поклонились. Другого выхода не было. После 45-го, когда именно патриотизм выиграл войну, впервые, кажется, сейчас происходит, что к нему подступают с циркулем и линейкой. Пока еще с оглядкой, с оговоркой, но с видимой целью устроить ему перекрой и пересуд.

Нет, патриоту не только можно, но и должно знать в себе патриота. Это не милость. В каждом из нас, не утерявшем национальные корни, независимо от того, к какой бы нации мы ни принадлежали, это чувство столь же живо и зримо, как чувство к детям. Спрашивать ли нам у современных иллюминатов, зваться ли нам отцами своих детей, а если нет, то почему надо спрашивать, называться ли сыновьями своей земли? Потому только, что среди нас могут сыскаться экземпляры, способные

присвоить себе это звание без заслуг? А разве меньше самозванцев среди тех, кто без непорочного зачатия называет себя Иисусом Христом? Значит ли это, что, не будь Христа, не было бы и сумасшедших. Как-то удивительно на исходе XX столетия слышать, что мы неспособны отдавать себе отчет в своих делах и поступках, знать их меру и пользу, и что только избранные, подобные жрецам, на своих весах станут судить наши земные дни.

Но вот еще вопрос: патриотизм, патриотизм, а что такое патриотизм? Пока понятие это окончательно не низложено, на него ссылаются многие, в том числе те, кто уже сейчас, загодя, готовит ему обвинительное заключение. Стороны, занимающие совершенно противоположные позиции, как было с поворотом рек, Байкалом, Севаном, Ладогой, Аралом, с переустройством исторических городов, да и самой российской истории, как происходит с революцией в искусстве, уничтожающей старые ценности, как происходит с гласностью и демократией, которую раздирают на части для групповых флагов, никто не забывает пока о патриотизме и потребностях Отечества. Не надо обольщаться, что неправые заблуждаются искренне. Что было в цене, на том и шла спекуляция. Теперь на любовь к Отечеству станут наверняка ссылаться меньше. Демократия с чужого плеча брезгует ею, ставки на нее понижены. Все смешалось в российском доме, будто патриотизм как отец многочисленного семейства, уже скончался и все его сыновья, родные и неродные, кто любил его и презирал, преумножал и транжирил его достояние — все они с одинаковым правом грызутся из-за наследства.

И коль вспомнили мы автора «все смешалось...», надо вспомнить, что и он, Толстой, добавил свары этому дому, когда решительно заявил: «Патриотизм — это рабство». И как продолжение звучат слова Достоевского: «рабство у передовых идеек». У великого человека и заблуждения бывают великими. Отзываясь так о патриотизме, Толстой перепутал, очевидно, грешные наши дни с царством божиим на земле, когда люди всех народов и рас готовы лобызаться друг с другом, и патриотизм, как протез на губах, может им в том помешать. Слова Толстого прозвучали сто лет назад, за кои всемирное лобызание, которое представлялось Льву Николаевичу близким, отодвинулось теперь за десятые горизонты. Только поэтому я и беру на себя смелость с сегодняшней,

хоть и низкой, но все-таки далеко продвинутой вперед точки утверждать, что Толстой ошибался. Ныне, чтобы защитить Ясную Поляну, без патриотизма не обойтись.

Как безжалостно по отношению даже и к великим поправляет жизнь сильные, но неверные суждения. И Ясная Поляна тому яркий пример. Она нуждается не просто в патриотизме как охранном, действенном и благодетельном чувстве к родной земле и ее святыням, которого достаточно было, чтобы отбить Ясную Поляну от фашистов, но перед отечественными манкуртами, духовными недорослями, она нуждается в патриотизме вдвойне и втройне. Терпеливом, неустанном и жертвенном, встречающем перед собой сегодня таранные действия, завтра казуистику, послезавтра эквилибристику — и все с непогрешимостью истины в последней инстанции.

Малосильный перед такой сплоченностью и гибкостью, оглядистый, перебивающийся, как с хлеба на квас, с надежды на отчаяние, патриотизм делается еще и подозрительным, дурно пахнущим. Мы вовсе не против всемирного братства, но разве нельзя каждому народу прийти в него со своим собственным лицом? Слабее от этого станут объятия или грешнее поцелуи? Как в природе рассыпаны краски, без которых человеческое зрение превратилось бы всего лишь в холодное снятие изображения, а человеческая душа онемела бы, так и человечество расцвечено и разбогачено нациями — чтобы учиться друг у друга, любоваться и удивляться друг другу, друг к другу тянуться с жаждой красоты и познания. Многонациональность землян — это радужность, музыкальность, чувственность и полнота мира. И что же, от всего этого отказаться? Употребить свою деятельность на исчезновение наций и языков, на осушение традиций и обычаев, на отвержение всего этнического и исторического? Сжечь и пустить по ветру идеалы неразумных отцов? А во имя чего? Во имя всеобщего братства с единым мировым правительством, к стопам которого мы, нагие, свободные от национальных одежд и предрассудков, пойдем с восторженным воплем: «Свобода, Равенство, Братство!» Делайте из нас что угодно, мы ваши!» Этого мы хотим? В цивилизованных странах, и в нашей тоже, национальные раздоры и недоразумения больше всего тем и объясняются, что народы грубо влекут к всемирному лобызанию и не дают возможности любить и уважать друг друга без принуждения и ущемления, по праву равных друг перед другом и перед создателем языков.

И взнятый сегодня мстительно и дружно жупел с русским национализмом — это бессовестная подделка. Мстительно — потому что не торопится он, народ наш, двигаться к столпам мирового правительства, ему достаточно своего. И не торопится отказываться от родного языка, от песен и заповедей отцов, не торопится выводить детей из пробирок, чтобы были они на одно лицо, не торопится окончательно выбрасывать на свалку свою культуру и мысль. В любой семье, как известно, не обходится без урода. Есть, разумеется, и у нас люди с дурным голосом. Но судить по ним о русском самосознании, как об идеологии шовинизма, как о стремлении строить свое благополучие на несчастье других — это даже и не ложь, а что-то до того несусветное, что не имеет пока и названия. Беззастенчивое, грубое, но раз за разом повторяемое, старательно нажеванное для потребительских мозгов, оно подталкивается с экранов, называется «позицией» и набирает единомышленников всюду, где они могут сыскаться, причем делается это открыто и массированно.

За счет какого, интересно, народа мы, русские, строили и строим свое благополучие? И где оно у нас, это благополучие? О всемирной отзывчивости русского человека говорили не только русские, а после Достоевского, который сказал об этом лучше всех, не раз Россия снимала последнюю рубашку, чтобы вызволить из беды других, кто способен и неспособен помнить добро. Не оттого ли, что слишком отзывчивы были и мало думали о себе, о сохранении своего тела и духа, и добились, что с опаской и извинениями приходится называть себя русским, будто и слово это объявлено запретным или недействительным. По какой такой логике всемирного братства если мы хотим удержать свой народ от унижения и забвения, то это значит, что непременно ненавидим другие народы, или правильнее сказать — другой народ? Если так рассуждать, то человек, любящий свою мать, должен непременно презирать других матерей. Нельзя разве, любя свою, чтить и уважать других за то только, что они — матери? У каждого человека это должно быть в крови без мировой прогрессивной мысли, которая самые простые вещи запутала порой и извратила до противоположности.

Остаткам разрозненной, как разбитая армия, нынешней русской мысли придется взять на себя вину за то, что она не умела, а может быть, и не хотела противо-

стоять, не умела даже заметить своего вытеснения из общественного обихода. Она так долго молчала, соглашаясь с происходящим, что когда наконец одумалась и принялась невнятно, недружно, с извинительными поклонами лепетать, что, оказывается, есть еще такая нация, которая лишь недавно считалась великой, и что не совсем же она превратилась в археологическое погребение, это было воспринято сначала как бестактность среди приличной компании, затем нарушением общественного порядка, а сейчас — преступлением против человечества.

Если и сегодня на самом краешке самосознания, чтобы не огорчать других и самим не огорчаться от неприятной хулы, если мы сегодня опять согласимся, пойдем на поводу у «передовых идеек», то можно не сомневаться, что завтра присвоенные у человечества человеколюбивые лозунги они обратят против нас в Уголовный кодекс.

«Мы — русские! — какой восторг!» — воскликнул фельдмаршал Суворов в опьянении от подвига своих солдат. Воскликнул, может быть, излишне восторженно — сейчас бы так никто не посмел. Но поздно, наверное, поправлять Суворова. Пусть не восторгаться, но гордиться каждому человеку принадлежностью к своему народу ничуть не повредит. Армянину — что он армянин, эстонцу — что эстонец, еврею — что еврей, а буряту — что бурят. Позвольте уж и русскому пристроиться к этой шеренге «семьи вольной, дружной» без улюлюканья, кое-какие заслуги перед мировой культурой и цивилизацией есть и у него. Гордость за свое происхождение в любом народе правомочна уже одним происхождением, которое проходит невидимый нам, но строгий отбор. Народ не может явиться случайно. Ему, как известно, предшествует нравственное начало. Стало быть, вклад во всеобщее развитие. Что лучше — братство безродных и униженных или братство знатных и возвышенных? Неужели и над этим вопросом надо разводить стряпню.

Закончить я хочу уверенностью, что хоть и на самом краешке, но все-таки успели. То, что не смогли от робости и необразованности сделать мы, делают сейчас наши великие соотечественники прошлого. Поэтому и злятся и навязывают нам торопливо и запоздало свое толкование патриотизма «новые евангелисты», что видят: завтра им придется иметь дело не с одиночками и не с неформальными объединениями, а с народом, который обрел па-

мять. Российская история в именах Карамзина, Ключевского и Соловьева стала массовым и великим открытием России, на свидание со своей Родиной пойдут вслед за первыми тысячами миллионы и миллионы. И прозревшие, наставленные национальной судьбой, они, очевидно, разберутся, что такое патриотизм. Никогда в нем, российском патриотизме, не было и не будет нелюбви к другим народам. Как и к нам не может быть недоброжелательства со стороны любого другого народа. То, что пытаются посеять между нами «просветители» с карманными фонариками, подающие друг другу тайные знаки, к народам никакого отношения иметь не может!

Владимир Крупин

ЗАКОН И СВЯТОСТЬ

Бога никто не видел, говорят коммунисты, значит, его нет. Но ведь никто не видел и коммунизм. Да, не видел, отвечают коммунисты, но мы его строим. Да, и нам не дано увидеть Вседержителя, говорят верующие, но мы стараемся хоть как-то приблизиться к Его престолу.

В СССР при Хрущеве был обнародован и без передышки внедрялся в общественное сознание «Моральный кодекс строителя коммунизма». Невольно бросалось в глаза его почти близнецовое сходство с десятью евангельскими заповедями. Те же «не убий, не укради, не лжесвидетельствуй», изложенные современным языком. Назывались сроки светлого будущего. Правда, под этим понимались сугубо материальные блага. Под духовной жизнью понималось искусство, обслуживающее такие человеколюбивые идеи. Борьба с религией продолжала быть бескомпромиссной.

Недавно я был возле деревенской церкви. В ней совершался обряд отпевания. Я спросил, кто усопший. Старушка охотно объяснила мне: «Коммуниста хороним, батюшка. Пятьдесят лет с нами боролся, весь, бедный, измучился, пусть хоть на том свете отдохнет».

Воплотившаяся в этих словах новозаветная любовь к своим гонителям показывает и силу этой любви и разни-

цу в подходе к жизни и смерти верующих и неверующих. Коммунизм возгласил борьбу с религией. В этой борьбе кровь лилась только с одной стороны. И так обильно, что нужны новые святцы, чтобы поминать новых мучеников нашего времени. Гонения Нерона на христиан меркнут перед массовыми казнями священников православия начиная с 18-го года. Первомученик митрополит Киевский и Галицкий Владимир, убитый возле Киево-Печерской лавры, благословил перед смертью убийц. Лавра была отнята у церкви и возвращена только нынче. Как и Оптина пустынь. Свершен обряд закладки храма в память тысячелетия Крещения. Отменено преподавание атеизма в вузах. Эти отрадные факты говорят хотя бы о том, что более не придется читать постановлений, указывающих покончить с верой в Бога. Эдикты гонителя христиан императора Диоклетиана звучали куда милосерднее, нежели документы «Безбожной пятилетки» 32—37-го годов. Число церквей шло к нулевой отметке, начинался период «катакомбной» церкви, но началась война. Еще до выступления Сталина по радио, уже в первый день, 22 июня, к народу обратилась церковь. Она призвала защищать то самое Отечество, которое уничтожало ее физически. Еще впереди прочтение этой страницы истории — участия церкви в войне, впереди открытие преступлений против церкви.

Митрополит Иларион в «Слове о законе и благодати» говорил о недостижимости благоденствия общества посредством закона. Закон и страх — родные братья. Можно спастись только верой и любовью. Иларион говорил о неповторимости и единственности русского пути среди других народов и государств. Теперь, когда идут бесчисленные дебаты об отставании нашей экономики и о создании правового государства в СССР, трактат Илариона послужил бы предостережением против очередных заблуждений. По экономике нам никогда не догнать ни Японию, ни ФРГ, по уровню жизни Швецию, по индустрии развлечений Америку и так далее. Да это и не наш путь. Можно быть материально и продовольственно сверхобеспеченным и быть несчастным. Литература Запада заговорила об обездоленности человека в мире изобилия. Не хочется обижать Запад, но часто видишь, что отсутствие в магазине пяти-шести сортов колбасы и мяса — это целая трагедия, для нас же постоянное отсутствие молока для детей — временная трудность. Почему же мы их постоянно переносим и не устраиваем по этому пово-

ду сидячих демонстраций на Красной площади? Еще недавно это было немыслимо, но сейчас почему мы терпим свои лишения? А потому, что народу стали говорить правду. Другого объяснения нет. У нашего народа неисчерпаемое терпение, но при одном условии — если ему не врут. Корни этого правдолюбия уходят в историю. Понять историю России без истории православия невозможно. Разве не стояла Россия многое множество раз перед гибелью? И разве не побеждали при немыслимых условиях превосходство противника? Побеждали чем? Духовностью. «Не в силе Бог, а в правде», — сказано Александром Невским. А откуда наше бесстрашие? Кто боится Бога, тот не боится никого, говорит православие.

Но почему же видеть искомое спасение несчастных и заблудших не в законе? Разве закон не защищает от посягательств на личность? Но где закон, там и преступление, там все новые и новые законы.

Идея и вера в соотнесении не одно и то же. Идея сильна тактически, вера на первый взгляд, внешне, беззащитна. Идея посылает в бой, на смерть, и она смеет так делать, ибо никогда не сомневается в своей правоте. Проходит время, идут на смерть и на эшафот совсем за другие идеи и так далее. А побеждает Вера. Побеждает жертва, а не палач. Если Вера истинна, то бороться с нею бесполезно: она крепнет и увеличивается. Вспомним Василия Великого, сказавшего, что ему не страшно ничего потерять, ибо ему ничего не принадлежит, не страшно заточение в тюрьму, ибо он и там будет свободен, не страшна смерть, ибо она соединит его с Богом. Закон, защищая частную собственность, делает каждого отдельного человека более сильным, но и более одиноким. Переустройство мира в сторону справедливости для коммуниста и верующего примерно, в идеале, одинаково. Но разные подходы. Для коммуниста за гробом нет ничего, для верующего смерть — соединение с Богом. И не просто соединение, а отчет за прожитую земную жизнь. А если за гробом ничего нет, то от такого сознания легко прийти ко вседозволенности. Но, возразят мне, закон не допустит вседозволенности. Да, не допустит. Но бояться совести или бояться прокурора — вещи полярные.

О душе много писали и Толстой и Достоевский. Но у Толстого, в его творческом поведении аскетизм и сострадание лишены смирения, от того жить по Толстому легче, чем по Достоевскому. Нет смирения, и человек попа-

дает в тупик гордыни, в грех достижимости совершенства.

Вторым крупным грехопадением после случая с Евой, соблазненной Змием и соблазнившей Адама, было строение Вавилонской башни. Это пример коллективного впадения в гордыню вседостижимости. В наказание, как известно, единый человеческий язык был разделен на множество языков, и отсюда началась эра язычества. Все было в язычестве, и всего вдоволь: нарядов и золота, хлеба и зрелищ. И надо всем этим возобладали пороки, разврат и насилие. Выражаясь современным языком, Иисус Христос был послан на землю, чтобы спасти стремительно гибнущий мир. Князь Владимир так стучался в ворота Византии, что даже разбил их. Крещение Руси помогло выстоять ей в схватке с татаро-монгольским нашествием. И в схватке с тевтонскими и ливонскими орденами Запада. Но история готовила православию еще более тяжелые испытания. Последствия раскола XVII века мы ощущаем доныне, как потерю крепости веры в соединенности с праведностью земных трудов. Ведь дело было не столько в двоеперстии или троеперстии, дело было в образе жизни. Но, может быть, более тяжки последствия введения в России Святейшего Синода в 1721 году. Это была попытка сделать церковь государственным органом. В указе о Синоде Петр I называл его обер-прокурора «оком Государя и стряпчим по делам государственным». Независимость церкви исчезла. А истина ближе к независимости, нежели к любому департаменту или ведомству. Иерархия в церкви стала напоминать государственную, монашество и старчество приходило к упадку, и, если бы не подвижничество Паисия Величковского и Серафима Саровского, а затем оптинских старцев, был бы закономерен вопрос: сохранилась ли бы святость среди златоносных, обласканных престолом, церковных чиновников? Народ откликнулся на это сказками и анекдотами о попах, попадьях и их работнике. Русская литература болезненно чувствовала перевоплощение церкви, критиковала священнослужителей ума, а не души. Западная же литература и до этого пестрела изображениями развратной монашеской жизни. Мало оставалось подвижников веры. Разврат всегда более виден, нежели порядочность, и, видимо, наблюдение за внешними нравами священнослужителей позволило Марксу назвать религию «опиумом для народа», а Ленину — «духовной сивухой». Эти ситуативные выражения вскоре откликнулись необратимыми

потерями. Опиум и наркотики сейчас далеко не религиозны, а алкогольная сивуха тоже далеко не духовна. В борьбе с наркоманией и пьянством могла бы помочь семья, ведь она в православии — домашняя церковь, но это порушено, семья для коммунистов — ячейка общества, а это пропагандирует некую механическую муравьиность.

Переустройство мира в сторону справедливости не может свершиться через запреты и наказания. Единственный путь — осознание собственного несовершенства. Самая драгоценная частная собственность — собственные мысли. И прежнее благоговение перед тайнами и таинствами. Для большинства ученых в этом мире нет ничего непознаваемого, они и на мир смотрят как на полигон для испытания своих идей, обращаются с природой как с сырьевой базой. Оттого-то меж нами и небесами чаще не облака, а дым. Авторитет социализма падал еще и потому, что насильственно был забыт тип русского ученого, который искал в науке не обслуживания ведомственных или политических идей, но реализацию данного свыше таланта и благодарность за дарованную жизнь. Наши историки обслуживали каждую новую администрацию с готовностью портовых дам, философии не было вовсе. Высочайший вопрос человечества: «Что есть истина?» — не ставился вообще.

Как мы выжили? Кто надеждой, кто верой, кто любовью. А в основном — классикой. Хотя и объявлялся Достоевский реакционером и монархистом, но его учение, его любовь ко Христу легко победили ярлыки. И Гоголь, и Лермонтов, и Пушкин, и Тургенев, слависты это знают лучше наших литературоведов, — глубоко религиозные люди. Как примеры в доказательство можно назвать пушкинского «Пророка» и «К Филарету», «Размышления о Божественной литургии» Гоголя, «По небу полуночи ангел летал», «Молитва» Лермонтова, «Живые мощи» Тургенева и другие. Менее удачны были явные обращения к религиозной тематике: «Песнь песней» Шолом-Алейхема, «Иуда Искариот» Л. Андреева, «Суламифь» Куприна, «Мастер и Маргарита» Булгакова — в них был нарушен завет — не упоминать имя Божие всуе. Но прочтение этой темы: писатели и религия тоже впереди.

Вдобавок позволю высказать мысль, что художественная литература вообще во многом от лукавого. Житийный образ сильнее художественного, ибо он выстрадан не

за письменным столом, а всей жизнью. «Житие» надо издавать — это пример обретения святости в море чувств.

Настало время разобраться в сопоставлении идеи и веры, силы и совести, власти светской и власти духовной... Достаточно упомянуть, что от всякой власти истинно верующий человек бежит, вспоминая великопастную молитву Ефрема Сирина, просящего Творца избавить от любоначалия и празднославия, власть же светская достигается непрерывными сделками с совестью. Но надо сказать главное: все думающие, ищущие люди идут к истине, но идут по-разному. Путем мысли к истине прийти невозможно, почему? Потому что истина — форма добра. Потому что мысль имеет словесный эквивалент, а чувство невыразимо.

Мы часто говорим: дух дышит, где хочет. Это стало общим местом. Где больше святости — в величественном, подавляющем своим величием соборе святого Петра в Риме или в бедной деревенской часовне? Наши попытки знать ведут к новым попыткам. Мы забыли, что мысль — это не содержание жизни — это только орудие исследования жизни. В теперешнем человеке многое поставлено вверх дном, в нем, как в государстве после военного переворота, главное — оружие. Но это оружие позволило все-таки захватить такую высоту, с которой видно, что главное в человеке все-таки — душа. И эту высоту надо удержать.

Палкой в рай не загонишь, рая на земле не будет никогда.

Сейчас по воскресным дням у церквей стоянки детских колясок — идет повсеместное крещение новорожденных. Народ поддерживает церковь. Но народ поддерживает и партию.

Дело за небольшим, дело в сотрудничестве.

Евгений Лебедев

КОЕ-ЧТО ОБ ОШИБКАХ СЕРДЦА

Эстрадная песня как социальный симптом

Я неисправимый идеалист; я ищу святынь, я люблю их, мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь, но все же я хотел бы святынь хоть капельку посвятее, не то стоит ли им поклоняться!

Ф. М. Достоевский

Разговор об эстрадной песне пойдет здесь не с тем, чтобы высмеивать неудачные тексты или критиковать манеру исполнения. Я не буду скликать общественность на борьбу с эстрадной «мафией», вроде бы узурпировавшей право определять наши вкусы. Все это было бы сознательным или бессознательным облегчением задачи.

А я так думаю: критиковать по законам большого искусства то, что находится за его пределами, бессмысленно. Видеть причину засилья эстрады в злой воле какой-то корпорации, орудующей в тени, глубоко неверно (все равно что сводить проблему спекуляции к одной только психологии спекулянтов и игнорировать феномен дефицита). Конечно, разоблачение спекулянтов и воров — дело нужное. Но плодотворным оно может стать лишь вкупе с более широкими и разнообразными мероприятиями, основанными на глубоком изучении вопроса.

Вообще чем больше я размышлял над экспансией эстрады в последние годы, тем неотвратимее приходил к выводу, что разговор о ней нельзя строить только как инвективу в адрес ее вдохновителей и апологетов. Можно сколь угодно основательно и логически остроумно

доказывать публике несостоятельность идолов, но приверженность к ним не уменьшится. Причем здесь дело даже не в упорстве, а скорее в задушевности заблуждения. Здесь, мне кажется, тот характерный вывих социальной психологии, который был описан еще Ф. М. Достоевским в «Дневнике писателя»: «Ошибки сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный дух иногда даже во всей нации, несущий с собою весьма часто такую степень слепоты, которая не излечивается даже ни перед какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую дорогу, напротив, перерабатывающая эти факты на свой лад, ассимилирующая их с своим зараженным духом...»

Собственно, говорить сейчас о победоносном шествии эстрады — значит говорить о тех болезненных процессах в общественном сознании, которыми был отмечен предшествующий период. Пожалуй, лишь в этом случае критическое выступление имеет хоть какой-то смысл.

1

Начну с очевидного: эстрада стала не просто самым массовым из искусств, но и неотъемлемой и весомой частью нашей жизни. За последние двадцать-тридцать лет она превратилась из популярного развлекательного жанра в популярную разновидность жизненной философии, если хотите. И неслучайно: ведь именно в эти годы сами формы нашей общественной жизни постепенно приобрели, в сущности, эстрадный характер.

Эстрадное мышление исподволь проникало во все сферы, пока наконец в 70-е годы не стало господствующим. Промышленность, сельское хозяйство, наука, художественная проза, поэзия, драматургия, критика, публицистика, музыка, театр, кино, цирк, спорт — все эти виды общественной активности приобретали к исходу десятилетия все более и более празднично-показной, эстрадный характер. Подведение квартальных, годовых, пятилетних итогов на предприятиях и в отраслях, в колхозах и совхозах, районах и областях, наконец, по всей стране превращалось в некое подобие гала-концертов, грандиозных шоу со всевозможными световыми, пиротехническими эффектами и раблезианскими банкетами. В каждой отрасли народного хозяйства появились свои иллюзионисты и жонглеры, вообще эксцентрики.

Популярнейшей формой общественной активности стал конферанс. Свои конферансье обнаружились у рабочих, колхозников, ИТР, ученых, писателей и т. д. Иные из них выполняли обязанности ведущих без отрыва от производства; иные полностью оборвали связи со своей основной профессией и перешли, скажем так, на работу в Госконцерт. В газетах, журналах, на радио и телевидении они развили энергичную деятельность, создавая имидж прогресса и процветания — чему в действительности соответствовала удручающая картина регресса и зацветания (в том смысле, в каком пруды зацветают ряской). Практически оторванные от своего цеха, эти люди все же несли в себе некоторые цеховые признаки: знали общие приемы работы, цеховую лексику. Умели рассказать что-нибудь, располагающее аудиторию. Например: «Когда отец привел меня на завод...» Или: «На ферму я пришла совсем девчонкой...» Или: «Уже работая сменным инженером, я заканчивал вечерний институт при нашем комбинате...» Или: «У Макса Планка где-то сказано, что...» Или: «Помню, шли мы однажды с Александром Твардовским...»

Все было брошено на то, чтобы заставить общество поверить в достоверность надуманного. Заставить, слава богу, не удалось. Но удалась не менее страшная вещь. Общественное сознание в лице своих внешних выразителей и полпредов, каковыми и являлись эти конферансье, приобрело постыдный вкус к дуализму в нравственной сфере, а проще сказать — к двуличию. Одни проповедовали то, во что не верили. Другие, не веря в их проповедь, принимали ее как данность. Вот что страшно-то! Преодоление этой подлой, десятилетиями укоренявшейся привычки — первейшая нравственная задача, которая во весь рост стоит перед литературой и обществом...

Ах, как же не хотелось смотреть правде в глаза! И прежде всего потому, что тогда пришлось бы открыто признать не только наличие разрыва между грезой и реальностью, но и свою роль в создании этого положения. Иными словами, не хотелось видеть себя самих в истинном свете. Наверное, еще никогда за всю свою историю наше общество не было столь мелко и нервно подвержено стремлению принять желаемое за действительное при минимуме оснований для этого. Раздача наград за несделанную работу, попытки симулировать добрую память о себе посредством публикаций мемуаров и

установления монументов при жизни, замена одних лозунгов другими не вследствие выполнения намеченного, а как раз вследствие невыполнения и т. д. и т. п. — все это насаждалось с какою-то праздничной обреченностью.

Люди отвыкали быть самими собой. Руководящие деятели приобретали вкус к «литературному творчеству», литературные деятели — к руководящей работе. Стало модным не столько трудиться, сколько исповедоваться на публике, как надо трудиться. Особенно это было заметно в изящных искусствах. Художники полюбили показывать эскизы, композиторы рассказывать о том, как создается музыка, писатели рассуждать о том, как пишутся книги, актеры, наморщив лбы и заменяя недостаток слов избытком жестов, пытались выразить, как им «видится» Шекспир, Достоевский, Чехов, образ современника...

Писателям, работавшим, так сказать, на индивидуальном подряде, писавшим по закону правды (социально-политической, нравственной, стилевой) о людях, ищущих правду, противостоял легион литераторов, трудившихся в соответствии с планами, которые спускались сверху. Как и положено любому нерентабельному производству, ориентированному на экстенсивный подход, такая литература находилась на дотации у государства, даже премии получала.

Создавая у широких читательских масс убеждение, что жизнь, показанная в книгах, не имеет и в принципе не должна иметь ничего общего с реальной жизнью, «экстенсивные» писатели, независимо от их личных позиций, подготавливали тотальную экспансию эстрады. Литература, основанная на лжи, мнила себя идущей впереди массы, пребывая в наивной уверенности, что люди рано или поздно пойдут за нею, чтобы устроить свою жизнь в соответствии с ее неправдоподобными рекомендациями.

Эстрада чутко уловила специфику общественно-культурной ситуации и сама пошла навстречу массе. Создавая полый внутри муляж мира, эстрада обильно инкрустировала его зеркальным осколочьем, которое искрометной круговертью лучиков и бликов увлекало коллективную душу публики в псевдосказочную, псевдокрасивую и псевдоосмысленную жизнь. Эти кусочки зеркала, посредством которых эстрада отражает действительность,

служат еще и эмблемой ее познавательных возможностей. Точнее сказать: узнавательных. Через эстраду человек не столько познает себя, сколько узнает. Познание предполагает работу над собой, узнавание себя (скажем, в песне) примитивно и самодовольно:

Улыбаешься лукаво,
Никогда не скажешь: «Да».
Для тебя любовь — забава,
Для меня любовь — беда.

(«Алка, это ж про нас с тобой!..» — ничего «пронзительнее» этого этического содержания отсюда нельзя извлечь, в принципе). Главное, чем брала и берет эстрада, — это доверительность тона, умелая симуляция непосредственного, живого общения, от души к душе направленного.

По мере того как высокие искусства (ввиду массового усреднения сознания) теряли кредит, эстрада принимала на себя выполнение их эстетических, философских и воспитательных функций, припоравливая все к своим возможностям. Это поощрялось. В конце концов ей стал доступен такой широкий круг проблем, о котором даже в самые дерзкие мгновения свои не мог мечтать ни один литературный, театральный, музыкальный или кинематографический гений. История и современность, прекрасное и безобразное, героика и повседневность, политика и экология, наука и искусство, гражданственность и безответственность, сатира и мелодрама, смысл и бессмыслица жизни, любовь и флирт, патриотизм и интернационализм, чувство очага и бесприютности, вера и неверие, динамизм и бездеятельность, протест против обстоятельств и смирение перед судьбой — все вобрала она в себя, все было ей подвластно, всему дала она удобопонятные и удобоприемлемые формы.

Мы и не заметили, как на рубеже 70-х и 80-х годов эстрада стала самым многообразным и полноправным средством выражения нашего общественного сознания.

Но согласитесь: ведь это ужасно!

Общество, культурные потребности которого вполне удовлетворяются эстрадой, нельзя принимать всерьез. Впрочем, я не знаю, можно ли назвать обществом тот странный людской конгломерат, к которому обращается эстрада. Ведь кого бы она ни обслуживала, будь то рабочие или военные, интеллигенты или крестьяне, ветераны

или молодежь, женщины или мужчины, честные труженики или прохиндеи, — все эти социальные, возрастные, физиологические, морально-юридические и иные категории в сумме не дают субстанциального понятия народ, но сливаются всего лишь в модальном понятии публика. Да, именно так: эстрада воспринимает народ как публику, утомившуюся на работе и желающую отдохнуть.

Этот нюанс очень важен. Даже прикасаясь к серьезным темам, эстрада должна оставаться и развлекательной и привлекательной. Но, как уже говорилось, в последнее двадцатилетие именно через посредство эстрады подавляющее большинство наших людей получало представление о том, как и ради чего стоит жить.

Сейчас в литературе, искусстве, науке, экономике многое зависит от того, сумеем ли мы возродить и утвердить такую необходимую для любой культурной страны ценность, как общественное мнение. А поскольку оно складывается из обмена и противоборства точек зрения сознательных, свободных индивидов, то вопрос можно поставить так: сумеем ли убедить, что с лицом жить лучше, чем без лица?

Сделать это куда как трудно! За двадцать-тридцать лет господства эстрады в нашей культурной жизни публика в подавляющем большинстве своем обезличилась, привыкла к потребительскому восприятию истин, несомых искусством. Кроме того, у многих вызрело убеждение, что тотальное наступление «массовой культуры» — процесс всемирный, и поэтому-де не стоит бить тревогу: мол, все через это проходят, не мы одни — «масскульт» не знает границ и т. п.

И все-таки, я думаю, границы есть. В том смысле, что «масскульт» при всей его безликой всеобщности возникает, развивается и, наконец, празднует свой триумф в той или иной стране вследствие социально-политических и культурных причин, присущих только ей и никакой другой. В основе этого, как правило, лежит процесс дегуманизации общественных институтов, подавления человека вышедшими из-под его же контроля силами, и как следствие — культурная деградация.

Западным вариантом распространения «масскульта» пусть занимаются специалисты-зарубежники. У нас же явления культурной деградации начали набирать силу, как теперь все отчетливее выясняется, благодаря Систе-

ме. Системе, которая была задумана во имя и во благо человека, но с годами вышла из-под его контроля и обернулась против него, провозгласив одним из своих девизов совершенно чудовищное по бесчеловечности правило: незаменимых людей нет. Чем дольше и деспотичней внешнее давление на личность, тем безудержней, а подчас и уродливей проявляется противодействие ему.

Чтобы не быть голословным, приглашаю на материале эстрадной песни проследить, как деградировали в нашем обществе представления о человеке за означенный период, а также поразмыслить над социально-политическими, психологическими и культурными предпосылками и последствиями эстрадного бума.

2

Звезда эстрады и кино Людмила Гурченко, вспоминая свой оглушительный дебют в фильме «Карнавальная ночь», пишет о публике 50-х годов: «Ждали, ждали чего-то нестандартного, неординарного, ждали, не отдавая себе отчета. Образ явился на экране, и люди восторженно влюбились».

Здесь точно подмечено общее настроение в исходе первого послевоенного десятилетия. Действительно ждали. Да еще как! Люди, перенесшие ужасы войны и неимоверные трудности восстановительного периода, изголодались не только в гастрономическом, но и в душевном смысле. Изголодались по доверительному, сердечному разговору.

Поэты и композиторы сочиняли песни, в которых должное (по их мнению) выдавалось за сущее. Простые и внятные стихи, непритязательные, но милые (а подчас и красивые) мелодии делали свое дело. Люди слушали и пели о том, как хорошо любить на рассвете и видеть новые корпуса, которые «стоят, как на смотру»; о том, что и сама любовь в наше прекрасное время стала «горячей и верней», чем была у Ромео и Джульетты (!); о том, как «приветлив и знаком» свет у подъезда заводского клуба, в котором (надо же, какая удача!) «вечер вальса состоится» и т. д. и т. п. Это все для города. А на селе по доброй и лукавой задумке авторов должны были петь (и пели) о том, как молодые колхозницы водят хоровод, «провожая гармониста в институт»; о том,

как трудно застенчивому деревенскому парню поцеловать девушку («Я бы вас поцеловал, если только это можно»), а она, такая бедовая да и на язык острая, ему в ответ: «Ну уж ладно, говорю, поцелуй без разрешенья»; о том, как недотепам не везет в любви, но они при этом не теряют чувства юмора:

Что, друзья, случилося со мною?
Обломал я всю черемуху весною.
Я носил, таскал ее возами.
А кому носил, вы знаете и сами...
Что мне делать? Сам не понимаю.
Но... сирень я, видно, тоже обломаю.

При всем том, что песни эти полюбились народу (а некоторые из них и сейчас поются), они народу лгали. Впрочем, без цинизма. Ведь эти новые корпуса, этот заводской клуб, залитый светом, этот сельский гармонист, собирающийся в институт, и т. д. — ведь все это и было и не было. Было, но не здесь, а где-то. А здесь могло быть, но не сейчас, а когда-нибудь. Опытные образцы мирной жизни выдавались за серийные. Жизнь недоступная, люди нереальные... Но обо всем этом рассказывалось с таким безмятежным добродушием, с таким искренним стремлением принять желаемое за действительное!

И все-таки народ чувствовал, что со всей этой мирной продукцией что-то не так, что есть в ней (в самом способе ее изготовления) какая-то фальшь, трудно распознаваемая, но ясно ощущаемая, стоит рядом зазвучать чему-то настоящему. Я отлично помню то время: военные песни и песни о войне люди пели с большей душевной отдачей, нежели другие какие-нибудь. Мне кажется, дело тут было не только в том, что война (тем более когда со Дня Победы не прошло и десяти лет) — это тема, для нашего народа особая. Дело еще было в том, что в таких песнях, как «Дороги», «Соловьи», «Темная ночь...», «Огонек», «Враги сожгли родную хату...», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?..», художественные образы вырастали из самой жизни, а слова соответствовали переживанию.

Однако же война — это такая тема, от размышлений над которой и невозможно и очень хочется уйти: тяжела она несказанной тяжестью. Кроме того, жизнь шла вперед. Людям надо было видеть, ради чего они одержали победу. Что же касается мирных песен, то они, как

показано, были не слишком достоверны, несмотря на очевидную привлекательность.

Люди ждали...

И вот в середине 50-х годов в эстраде, как и во всей нашей тогдашней жизни, начали происходить качественные перемены. Внешне это выразилось в том, что шутки конферансье стали непринужденнее, в музыке повседневно зазвучали ранее нежелательные ритмы... Предпринимались попытки проведения не просто концертов, как было раньше: скажем, в первом отделении выступает кто-нибудь из солистов Большого театра (С. Я. Лемешев, А. С. Пирогов или М. О. Рейзен), свешниковский хор, Эмиль Гилельс, Всеволод Аксенов, и лишь только во втором — эстрада: конферансье (Михаил Гаркави или Лев Миров с Марком Новицким), куплетисты (Илья Набатов или Бен Бенцианов), исполнительницы собственно эстрадных песен (Капитолина Лазаренко или Нина Дорда), наконец, джаз (Эдди Рознер или сам Леонид Утесов со своими «мальчиками»). Теперь же пробовали создавать большие эстрадные спектакли. Иными словами, то, что раньше появлялось во втором лишь отделении, теперь распространялось на весь вечер. Эстрада искала новый стиль, новые формы заигрывания с жизнью и воздействия на жизнь.

В суматохе этих поисков произошло событие в своем роде решающего, до сих пор не оцененного значения. Однажды в середине тех самых 50-х годов известные куплетисты Павел Рудаков и Вениамин Нечаев вышли на эстраду с новой песенкой, в меру банальной и мелодичной, которая, однако, произвела форменный переворот в сердцах публики. Песенку поругивали в статьях и фельетонах. В кругах интеллигенции над ней просто потешались. Но песенка выжила. Огромная масса людей прямо-таки присохла к ней душою. Пели ее повсюду. Я не уверен, что хоть какая-нибудь нынешняя эстрадная песня может соперничать с нею в популярности. Ведь в ту пору любители эстрады не были оснащены технически. Простой магнитофон был гораздо большей редкостью, чем теперь видеомагнитофон. Тогда был только один способ передачи песни друг другу: мелодию подбирали на слух, а слова переписывали в тетрадку. Лет десять примерно песенка П. Рудакова и В. Нечаева была шлягером номер один. В начале уже 60-х годов на экраны вышел фильм «Дайте жалобную книгу», где один из героев (которого играл Юрий Никулин), услы-

шав «экспромт» собутыльника по поводу съеденной закуски: «Рыбка-рыбка, где твоя улыбка?» — очень комично потребовал: «Спиши слова!» И зрители знали, что в фильме шутят над милым их сердцу текстом:

Ты весь день сегодня ходишь дутый,
Даже глаз не хочешь поднимать.
Мишка, в эту трудную минуту
Так тебе мне хочется сказать:
    Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
    Полная задора и огня?
    Самая нелепая ошибка —
    То, что ты уходишь от меня.
Я с тобой неловко пошутила.
Не сердись, любимый мой, молю.
Только слышишь, все же, Мишка, милый,
Я тебя по-прежнему люблю.
    Мишка, Мишка... — и т. д.

Но я верю, ты вернешься, Мишка!
Позабудешь ты о шутке злой.
Снова улыбнешься, как мальчишка, —
Ласковый, хороший и простой.
    Мишка, Мишка... — и т. д.

В самом начале этого разговора я дал слово не высмеивать тексты песен и не буду этого делать. Приглашаю только посмотреть, как неприхотливо соединились здесь кокетливая задушевность интонации и неопрятность иных словосочетаний, за которой стоит нравственная двусмысленность содержания. То, что дутыми могут быть цифры и отчеты, а Мишке в его положении лучше уж быть надутым, — это еще полбеды. А вот то, что «ветреная Геба» из этой песни кается, «как бы резвяся и играя», — это уже беда настоящая. Но — в самом начале своем. Как в арии дона Базилио о клевете: пиано-пиано, тихо-тихо. Бомба еще не разорвалась. Она разорвется в 70-е годы.

Один знакомый литературовед на вопрос непосвященного, что значит по-русски «амбивалентный», полушутя-полусерьезно ответил: «Склизкий». Так вот — песенка амбивалентна именно в этом смысле. Слащаво-благовидное содержание и блатная интонация составили здесь нераздельное и симпатичное целое. Именно легализованная приблатненность ее пришлась по вкусу. Песенка убеждала, что покаяние может быть и игривым, и это была игра не только словами, но и этикой...

Мишка вернулся к своей амбивалентной подруге.

Почти одновременно с программной вещью П. Рудакова и В. Нечаева критики и фельетонисты, изощряясь в иронии и сарказме, высмеивали в газетах другой стихотворно-музыкальный памятник эпохи первого потепления, который сейчас, по прошествии тридцати лет, воспринимается как продолжение «Мишки»:

Ты сегодня мне принес
Не букет из пышных роз,
Не тюльпаны и не лилии.
Протянул мне робко ты
Эти скромные цветы,
Но они такие милые.
Ландыши, ландыши... — и т. д.

«Ландыши» и «Мишка» породили устойчивое направление в интимной эстрадной лирике. Люди почувствовали тут внимание к своей душевной повседневности:

Не могу я тебе в день рождения
Дорогие подарки дарить.
Но зато в эти ночи весенние
Я могу о любви говорить.

Это направление и сейчас дает о себе знать. Вот один из совсем недавних примеров:

Не дари мне цветов покупных,
Подари мне букет полевых,
Чтобы видела я, чтобы чувствовал ты:
Это наши цветы, только наши цветы.

Отличительная черта этого направления — программная установка на примитив как на насущную *гуманную ценность*. Оно дискредитирует одни штампы («пышные розы», «дорогие подарки», «цветы покупные» и т. п.) и на их место предлагает другие, сделанные, как иронически говорится в подобных случаях, простенько, но со вкусом. Тут ложь с ложью борется.

Так или иначе, во второй половине 50-х годов наметилась мощная тенденция к понижению нравственно-художественного ценза популярной эстрадной песни. Причем с самого начала это понижение мыслилось как единственно возможная альтернатива эстрадной лирике предшествующего периода с ее, в общем-то, нереальным миром.

Именно тогда в нашем кино произошли два примет-

ных события, имеющие самое непосредственное касательство к настоящему разговору. Одно из них — выход на экраны фильма молодого Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» — было уже упомянуто выше. Но ведь почти одновременно появился фильм Ивана Пырьева «Идиот».

Это был режиссер свирепой одаренности и трагической творческой судьбы. Своими предшествующими работами (и прежде всего такими, как «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», сделанными в соавторстве с композиторами Т. Хренниковым и И. Дунаевским), он, по существу, утверждал тот самый эталон, на который равнялась эстрадная лирика 40—50-х годов и с которым, так уж получилось, повели борьбу «Ландыши» и «Мишка». И вот в 1957 году И. Пырьев решительно порвал с миром, им же созданным. Я не хочу сказать, что все его последующее творчество стало сплошным покаянием в содеянном. Речь сейчас не об этом, а о том, что он понял про себя и про всю нашу жизнь нечто настолько важное, что для него стала очевидной невозможность существовать в прежней системе нравственно-художественных ценностей.

Это «нечто» я бы определил так: в условиях, когда политическая узда оказывается ослабленной, когда снимаются внешние запреты, неизмеримо возрастает роль моральной ответственности каждого отдельного человека. Ведь если это внешнее послабление воспринять только как повод к вседозволенности, тогда, выходит, культ сильной личности был оправдан. Своей душевной расхристанностью мы не только подтверждаем необходимость культа в прошлом, но и готовим появление новых великих инквизиторов. Обращение И. Пырьева к Достоевскому было глубоко закономерным. В сердце этого человека только еще искомая правда боролась не на жизнь, а на смерть с уже достигнутой ложью. Так и не победив окончательно.

То, что новое поколение в лице Э. Рязанова предпочло усовершенствовать, казалось бы, изживший себя жанр, весьма показательно. Музыкальная кинокомедия сделалась идеальным аналогом эстрадного действа. Вдруг стало ясно, что ей противопоказаны глубокий лиризм (к чему тяготела «Свинарка и пастух»), равно как и глубокий психологизм или же постановка производственных проблем (что отчетливо видно в «Кубанских казаках»). Она должна быть просто развлекательной, не-

чего этого стыдиться. Конечно, в ней не обойтись без лирики и психологии. В конце концов, пусть ее герои говорят и о работе своей, пусть в ней высмеиваются недостатки наши. Пусть. Но пусть все это не будет скучным! Молодой Э. Рязанов, которому в отличие от И. Пырьева не надо было припоравливать свое искусство к деспотическим требованиям внешней необходимости, пригласил публику весело попрощаться с прошлым.

Здесь еще не было призыва только «петь и веселиться». Но было явственное ощущение того, что эстрада может все и что она — желанна. «Карнавальная ночь» стала провозвестницей четвертьвекового господства эстрады в нашей культурной жизни.

Вообще конец 50-х — начало 60-х — удивительное время! Люди еще не расхотели и не разучились трудиться. К тому же они, пережив сильное потрясение 1956 года, еще были объединены «конкретно» позитивной целью — за двадцать лет построить коммунизм. Вот почему, я думаю, тогда эстрада еще не могла, в принципе не могла стать тем, чем стала теперь — властительницей общественного мышления. В сознании общества еще не было пустот, которые она уже тогда была готова заполнить.

Но с годами все очевиднее становилось, что «нынешнее поколение советских людей» не «будет жить при коммунизме». В прошлом все больше открывалось ужасающих, совершенно варварских отступлений не только от провозглашенной доктрины, но и от элементарного здравого смысла — в экономике, науке и культуре, в правовой сфере. В сущности, уже тогда был потребен ясный и трезвый взгляд на вещи, без которого любая инициатива оборачивается вульгарным волюнтаризмом, а по-русски сказать — самодурством. Только теперь, пожалуй, становится по-настоящему видно, в какой чудовищной мере эпоха культа притупила не только общественный разум и инициативу, но даже общественный инстинкт самосохранения. Однако же если раньше все-таки была настоящая вера в то, что сильная личность и подумает за нас, и подтолкнет нас, и защитит нас (насколько обоснована была эта вера — другой вопрос), то в 60-е годы у нас уже не было этого удобного оправдания.

Противоречие между жизнью на бумаге и реальной жизнью было и раньше. Но теперь оно переживалось го-

раздо болезненнее, ибо теперь все нужно было относить на свой и только на свой счет. Однако предпочли оправдать (следовательно, закрепить) это противоречие ссылками на объективные трудности (три войны, капиталистическое окружение, издержки культа). 60-е годы — это скорее не раскрепощение нашего сознания, а его только частичная эмансипация. Не следует забывать, что начало 60-х годов — это еще и начало первых грандиозных приписок (достаточно вспомнить мясные «поставки» Рязанской области). Расплатой стало постепенное распространение в нашей жизни безверия в таких его формах, как равнодушие и цинизм (равнодушие — это цинизм слабохарактерных). Неслучайно во второй половине десятилетия вошла в моду сумасшедшая песня о зайцах из «Бриллиантовой руки»:

А нам все равно,
А нам все равно —
Пусть боимся мы волка и сову.
Дело есть у нас:
В самый поздний час
Мы волшебную косим трын-траву...

Если в конце 50-х все сошлись на «Подмосковных вечерах», может быть, самой чистой по лиризму эстрадной песне тех лет (вообще тогда общественный вкус еще сопротивлялся недугу бездуховности, доказательством чего служит удивительный факт, по существу, всенародной любви к пианисту Вэну Клайберну, с которым не могла соперничать в этом смысле ни одна эстрадная звезда), то теперь «трын-трава» и «нам все равно» объединяли людей на самых разных социальных уровнях, объединяли в простодушном цинизме, за которым стоял панический страх перед реальностью, отказ и отвычка быть самими собой. Эти надуманные зайцы пришлись как нельзя более кстати.

Не только образ нашей жизни, создававшийся в статистических отчетах, газетных материалах, произведениях литературы и искусства (о чем говорилось в начале статьи), но сама наша жизнь все более становилась недостоверной. И эта недостоверная жизнь в конце концов произвела на свет неизвестный ранее человеческий тип, который я позволю себе определить как недостоверного человека. Скажем, руководитель науки, получивший ученую степень за диссертацию, написанную другим; этот другой, сам, быть может, талантливый исследователь, но приспособивший свое дарование к изго-

товлению диссертаций и монографий для бездарностей, которые хорошо платят; отец семейства, пьяным в дым валяющийся у пивного ларька; колхозник, сеющий то, что приказывает район, а не то, что нужно; писатель — «лакировщик действительности», рассуждающий о правде жизни; профсоюзный деятель, не защищающий интересы рабочих; продавщица, которая, вместо того чтобы обслужить покупателей, учит их жизни; интеллигент, гражданин в душе, который стоически молчит на собраниях и летучках по поводу вопиющей алогичности всего происходящего вокруг него, а дома на кухне перед женою мечет громы и молнии, изничтожая наконец в своем озлобленном (но бессильном что-либо изменить) воображении «кретинов», «быдло», «холуев», «ублюдков», поставленных над ним, и так далее — все это недостоверные люди, которые смирились, свыклись с тем, что живут не своею жизнью. И вот что интересно: для них эта недостоверная жизнь стала реальностью самой достоверной.

Что же касается тех, кто не поддался этому, то на них смотрели как на дураков (если они не стояли на пути) либо обвиняли во всех смертных грехах, и прежде всего в индивидуализме, в отрыве от общества и его интересов, а то и просто лишали работы, лишали возможности быть достоверными людьми, дискредитировали профессионально и морально, даже, бывало, лишали свободы — словом, подчиняли общему правилу, уравнивали с собой в том смысле, что заставляли-таки жить не своей, не соответственной жизнью.

И вот всем этим людям раздвоенной, недостоверной жизни, отчаявшимся либо уже не желавшим устранить в своей душе разрыв между должным и реальным, эстрада (самое недостоверное из искусств, ибо она в первую очередь стремится понравиться, а не постичь жизнь) опять-таки предложила свои услуги. Для нее публика всегда права: не надо печалиться, казнить себя, сетовать на судьбу — жизнь проста, принимайте ее как есть, любите, растите детей, наслаждайтесь тем, что вам доступно, что у вас под рукой, надейтесь, можно и взгрустнуть, но главное при этом — не забывать, что вы все все-таки правы! А ну-ка давайте вместе:

Не надо печалиться:
Вся жизнь впереди.
Вся жизнь впереди —
Надейся и жди.

Публику давно тянуло к эстраде (ведь и раньше первые отделения больших концертов многие смотрели и слушали ради того, чтобы дождаться их вторых отделений). Но если публика послевоенных лет по преимуществу состояла из людей, порадевших и утомленных духом и телом на войне, то в 60-е годы (особенно к концу десятилетия) публика была уже иной. Сформировался совершенно новый зритель, духовно и морально надломленный в испытаниях другого рода, и прежде всего — в испытании ложью, наводнившей и размывшей его жизненное поприще. Это был зритель-клиент, уставший от схваток с окружающими и с самим собой, желающий в усталости своей забыться, чего бы это ни стоило.

3

Итак, к концу 60-х годов люди если не все поняли, то все начали всем своим существом ощущать, что в стране происходит неладное и что каждый независимо от его личной оценки происходящего вовлечен в это неладное, нехорошее, плохо освещаемое действо. Эстрада учла эту социопсихологическую конъюнктуру.

Было как минимум две разновидности нового типа зрителя: пассивная и активная. Одни взалкали самозабвения. Другие в условиях, когда критерии замутнены и почти не ощутимы, возжаждали оправдания и поддержки своего внеморального задора. Дать и то и другое в удобоприемлемой, наиболее комфортной форме могла только эстрада. Воистину эстрада стала тогда (да и теперь еще остается) для душ, нравственно пребывающих в состоянии грогги, транквилизатором и допингом одновременно.

Посмотрим сначала, какой образ социальной активности создала она.

Сейчас уже не вспомню точно, когда (по-моему, на рубеже 60-х и 70-х) я услышал по радио один характерный текст:

Мы судьбою не заласканы,
Если к нам придет беда,
Мы возьмем судьбу за лацканы,
И судьба ответит: «Да».

Это ж надо! Гомер, Эсхил, Софокл, Шекспир, Моцарт, Бетховен, Пушкин, Тютчев, Чайковский, Мусоргский,

Блок... и трепетали перед судьбой, и боролись с нею, но всегда относились к ней, как бы это сказать, интеллигентно, что ли. А тут — не заласкала, и сразу ее за лацканы. Кстати, что это за судьба такая — с лацканами? Хорошо еще, если какой-нибудь бюрократ, стоящий на пути всего нового, молодого. Но я так думаю: здесь скорее всего некая роковая фигура из сферы услуг — ну там администраторша гостиницы, метрдотель или проводница с их зловещим «мест нет!».

Все бы ничего, да вот за судьбу обидно. Есть понятия неотменяемые, которые не то чтобы в узде нас держат, но просто не дают нам потерять человеческий облик. Судьба — одно из них. Эстрада на свой манер приобщает к ним: она не публику поднимает до них, а их опускает до публики. Причем делает это с пафосом почти гражданственным, почти героическим.

Заявив столь решительно о своей позиции (тогда как раз в критике и публицистике нашей начинался «ба-а-альшой» разговор о необходимости иметь свою позицию), активные и бескромпромиссные герои эстрады принялись энергично самоутверждаться. При этом их создатели отважно игнорировали ту очевидную для любого более или менее серьезного художника истину, что сказанное или написанное слово обязательно несет в себе возмездие своему творцу. Ничтоже сумняшеся, устами своих героев они интересничали перед публикой на темы самые задушевные и неизбывные:

Что-то с памятью моей стало —
Все, что было не со мной, помню.

То, что публика приняла этот текст, гораздо больше простительно ей, чем стихотворцу: память о войне — это святое для наших людей, и тут достаточно легкого, самого поверхностного прикосновения, и они уже сами начнут вспоминать (ведь это ж факт — ведь в каждой нашей семье есть что вспомнить!), сами досочинят за автора, а после, не подозревая о том, что благодарят *за свое*, и его поблагодарят и песню эту не однажды попросят исполнить и на радио, и на телевидении, и в концертах. Но сам-то автор... Ведь должен же он понимать, что формула «все, что было не со мной, помню» сомнительна и претенциозна.

Чем чаще исполнялась эта песня, тем настойчивее хотелось посоветовать ее сочинителям и почитателям:

вспомните же наконец, что с вами было, как вы сами жили «на земле доброй» в послевоенные годы — ведь, в сущности, это единственный способ действительно почтить память «того парня». Однако ж не вспоминали. Программно не вспоминали. Бежали от себя — вдохновенно:

Бьют дождинки по щекам впалым...

Любопытно было видеть на одном из авторских вечеров двух ее регулярных исполнителей: особенно хороши были щеки их на фоне этого текста. «Живи, как пишешь, и пиши, как живешь: иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы», — советовал К. Н. Батюшков еще сто семьдесят лет назад.

Но эстрадному человеку положительно невыносимо оставаться наедине с собой. «Наедине со всеми хотел бы я побыть...» — это позднейшая формула (1985 года), но она является логическим продолжением того, что было открыто во второй половине 60-х годов. Так или иначе, образ гражданственности, созданный эстрадой, показывает, что в основе социальной активности ее героя лежит — давайте уж будем называть вещи своими именами — душевная пустота.

Ты прости меня, любимая,
За чужое зло.

Ну что тут сказать? Автору этих слов можно только позавидовать: хорошо, честно, должно быть, прожил жизнь. Впрочем, не будем обольщаться. Это типично эстрадное покаяние, когда человек вроде бы и осуждает себя, но грехи свои в последний момент переносит на других да еще и требует себе сочувствия. И неудивительно — недостоверный человек всегда прав:

Первый тайм мы уже отыграли
И одно лишь сумели понять —
Чтоб тебя на земле не теряли,
Постарайся себя не терять.

Мысль благая, но плоская. К тому же от ее императивности, по зрелом размышлении, становится не по себе. А если я все-таки потеряю себя? Неужели ж вы, все делавшие, как надо, меня бросите? Если вы меня бросите, то значит, вы все делали, как н е н а д о! А ведь бросят. Как пить дать бросят. Не постеснялись же признаться,

что «одно лишь сумели понять». Даже преподнесли это «одно лишь» как высшее этическое достижение.

Впрочем, как уже было сказано, эстрада обслуживала не только активных, но и пассивных зрителя и слушателя. И для неудачников у нее нашлись свои слова. В 70-е годы исключительной популярностью пользовалась песня с таким вот утешительным текстом.

Призрачно все в этом мире бушующем,
Есть только миг — за него и держись.
Есть только миг между прошлым и
будущим —
Именно он называется жизнь...

Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,
Но не всегда по дороге мне с ним.
Чем дорожу? Чем рискую на свете я?
Мигом одним. Только мигом одним.

Иными словами, мне, потерявшему себя, предлагается послать этот мир... в вечность (по слову поэта В. Устинова, счастливо найденному). Тут поневоле задумаешься: а что, собственно говоря, лучше — активность или пассивность (такая вот!), проповедуемые эстрадой?..

Примеры неистребимой фальши эстрадного мышления неисчислимы. Однако ж если бы меня попросили назвать песню самую характерную, то есть самую фальшивую, даже символическую в своей фальши, я бы указал на «Арлекино». Поначалу мне казалось неожиданным и почти необъяснимым столь длительное и в полном смысле слова повальное увлечение этой песней. В самом деле, нельзя же все объяснить только доступностью мелодии и исполнением (и вправду незаурядным). Но внимательно прислушиваясь к русскому тексту этой болгарской песни, я, кажется, понял, почему она обрела у нас свою истинную родину, почему стала своеобразным гимном застойного десятилетия. Клоун, которому в тягость смешить публику, исповедуется в том, что он «Гамлета в безумии страстей играет каждый вечер для себя». Роль принца датского, пожалуй, престижнее, чем роль Арлекино. Но почему же так обременительна, так обидна, даже так оскорбительна для героя чистая и благородная миссия веселить людей? Почему столько нелюбви к жонглерам и силачам? Почему, наконец, столько ненависти ко всем этим людишкам, заполнившим зал? Как явственно она

проступает в имитации их дебильно-утробного смеха! Ведь они, бедолаги, не знают и не должны знать, какое такое «безумие страстей» бушует у вас в груди. Они пришли посмеяться над Арлекино и вместе с ним над самими собой. Отдаете ли вы себе отчет в том, что предали их да еще и счетец за свое же предательство им же и предъявили? Кроме того, неужели же вам не ясно, что, относясь с презрением к своим прямым обязанностям (здесь: веселить людей), вы и Гамлета никогда не сыграете. Хотя бы потому, что Гамлет в его безумии не погнушался ролью клоуна. Вот почему ваш удел — мелодрама, которую вы всегда будете стараться выдавать за высокую трагедию. «Арлекино» — это монолог недостоверного человека. Потому, я думаю, он и пришелся по душе именно в 70-е годы.

Вместе с тем «Арлекино» стал в известном смысле еще и манифестом самой эстрады, в котором она всерьез заявила о своем намерении осваивать сложное психологическое, этическое и эстетическое содержание. Именно тогда бомба дона Базилио и разорвалась, знаменуя начало тотального и победоносного наступления эстрады в нашей жизни, продолжающегося по сей день.

Сформировалось целое поколение (если не два), которое образовывало свой вкус, представление о духовных ценностях, отношение к окружающим, даже политическую информацию получало при помощи эстрадной песни. И неудивительно: средства массовой информации давали представление о внутренней и внешнеполитической жизни не более достоверное, чем то, которое содержалось в эстрадных песнях.

Свои понятия о красоте и самопожертвовании публика черпала в песнях, подобных «Миллиону алых роз». Полуинтеллигентная прослойка видела в нервном поступке героя этой эстрадной баллады* образец «широкого» отношения к деньгам, вообще к материальным благам («Семен, а ведь ты бы так не смог»). Социальные низы видели здесь образец красивой жизни, в которой все не так, как в реальной, все необычнее («Живут же люди!»). А вот то, что в этой песне все вульгарно и пошло от начала до конца, — этого публика уже не видела и не хотела видеть.

---

* Считается, что его прототипом был Пиросмани, но от него до настоящего Пиросмани, как от «Джезуса Крайста» — Суперзвезды до Иисуса Христа.

Люди более утонченного склада нашли свой образ красоты в песне, которая бесхитростно, с какою-то грациозной тривиальностью проповедовала чудовищно потребительское отношение к высокому и прекрасному:

Печалиться давайте
Под музыку Вивальди.

Мне скажут: а вы знаете, что после того, как пошла эта песня, в магазинах стали в неимоверных количествах требовать пластинки с записями музыки Антонио Вивальди? То есть имеется в виду, что песня произвела большой просветительский эффект. Позвольте все-таки усомниться в этом: люди ведь кинулись в магазины не за Вивальди, а за тем, подо что можно комфортно и престижно «печалиться об этом и о том».

Через эстраду многие, очень многие узнали имена Петрарки, Рабиндраната Тагора, Мандельштама, Есенина, Заболоцкого и других поэтов. Я и здесь беру на себя смелость сказать, что не вижу в этом ничего хорошего, ибо ни один из названных поэтов никогда не стремился понравиться публике, но творил, послушный «веленью божию». И здесь (так как в случае с «судьбою», о котором уже было говорено) эстрада, не будучи в состоянии жить только своими ресурсами, приноравливает поэзию великих к требованиям сиюминутным, развлекательным.

И ведь вот что особенно интересно: высокая поэзия, подвергнувшись акту насилия со стороны эстрады, как бы утрачивает свою чистоту, перестает обращать человека к нему самому, напоминая ему о его несовершенстве и о необходимости стремиться к совершенству или к духовному освобождению, что в общем одно и то же. Будучи положенной на музыку любого из эстрадных стилей, она становится средством духовного порабощения человека, ибо, слушая сонет Шекспира или стихи Заболоцкого в соответствующей аранжировке и исполнении, человек не столько вникает в высокий и трудный смысл стихов, сколько подчиняется наваждению именно эстрадной интерпретации, короче говоря, просто балдеет под Шекспира.

Мне возразят, что н а ш а эстрада всегда звала и продолжает звать к раскрепощению лучших черт нашего человека. Да еще, пожалуй, и пример приведут. Скажем, вот этот:

Нельзя в этой жизни
Гореть вполнакала,
Дышать вполнакала...
И жить вполнакала...
Зову я Икара!..
Я верю в Икара!..

Что ж, все мы помним высказывание А. П. Чехова о необходимости по капле выдавливать из себя раба. Но когда раба из человека выдавливают таким гигантским прессом... Согласитесь, что это мало похоже на духовное освобождение...

Конец 70-х и 80-е проходят под знаком усиления дидактических устремлений эстрады. Она к ним тяготела всегда. Но, только завоевав командные высоты в нашей общественно-культурной жизни, она получила наконец возможность вполне реализовать давнюю мечту свою — стать учительницей жизни. Помните «студенческую» песенку 40—50-х годов? О ней шел разговор вначале.

Коль дружить — так дружить.
А любить — так любить
Горячей
И верней,
Чем Ромео Джульетту!

В 80-е годы круг замкнулся. Теперь уже эстрада просто указывает пальцем на целующуюся парочку в последнем поезде метро и выдает такую вот рекомендацию:

Этот вечный спектакль,
Где Ромео с Джульеттою!
Это все за пятак
Я проехать советую.

Если кто-то поучает, то естественно предположить, что ему известна истина. Носители эстрадной мудрости абсолютно уверены в том, что они знают, ради чего стоит жить:

Во имя жизни
Вся наша жизнь!

Эта «всеобщая формула жизни» сочинялась в ту пору, когда мировая конфронтация достигла своей высшей точки и когда отчетливо обозначился жуткий призрак гибели всего живого. Все это, конечно же, надо учитывать.

Но и с учетом этого вывод, содержащийся в цитированных строчках, чересчур уж примитивен в своей биологичности и отчасти даже жутковат. Повторяемый, подобно заклинанию, певцом и хором, он как бы отделяется и от самой песни и от тревожного повода, по которому опа создавалась, приобретает самодовлеющее звучание, делает необязательными размышления над смыслом жизни, которую ведем. При этом забывается, что злые силы, враждебные «всей нашей жизни», против которых обращена вся патетическая мощь этой формулы, в принципе тоже могут под нею подписаться. Ее «экзистепциальная» всеобщность малого стоит. Можно и нужно пойти на подвиг, а случается, и на гибель во имя жизни — но прожить всю свою жизнь во имя нее самой? Да ведь «крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты, а-а и зеленый попугай» не так ли живут?

В годы войны интенданты придумали для себя успокоительную поговорку: война все спишет. Что я хочу этим сказать? Тот факт, что в мире накоплено много ядерного оружия, не может служить оправданием облегченного отношения авторов к своим обязанностям. А то ведь, подобно тому как в 70-е годы правительство объясняло трудности с питанием и жильем необходимостью укреплять обороноспособность страны (при этом миллиардные хищения на личные нужды замалчивались), авторы эстрадных песен всегда оправдывали свою халтуру актуальностью темы. Тому, кто в отчаянии вопрошал, сколько же будет продолжаться это безобразие, отвечали вопросом на вопрос: «Ты что, хочешь, чтобы снова пришла война на твою землю?»

Вообще категоричность, с которой эстрадная песня утверждает свою концепцию современности, не может не восхитить:

Время стрессов и страстей
Мчится все быстрей.

Конечно, наше время — это время ракет и сверхзвуковых лайнеров. Кто же спорит? Но отсюда еще не следует, что живое, реальное время наше стало быстрее. Возможно, у кого-то жизненный ритм и участился до невероятия. У нас же... Я бы с удовольствием посмотрел на автора формулы «время мчится все быстрей» в зале ожидания любого из московских вокзалов, где транзитные пассажиры с детишками, прикованные к своим чемоданам, коробкам, баулам, сутками дожидаются желанной посадки.

Рассказывая о современности, эстрадная песня предпочитает иметь дело с выигрышным, броским материалом: скажем, несущийся вдаль поезд («Под стук колес ко мне приходят сны...», «Станция есть под названьем Минутка...» и т. д.), взмывающий ввысь лайнер («И мы летим, пристегнувшись одним ремнем...»), парящий дельтаплан, катер, на сумасшедшей скорости уносящий водную лыжницу, и т. п. При этом станция Минутка сама по себе с ее буднями, понятно, не интересует героев песни и остается за окнами купе как мимолетное, но приятное впечатление.

Однако вот что характерно: несмотря на очевидную философскую и моральную двусмысленность эстрадного мировоззрения, публика ищет у любимых исполнителей ответы на самые задушевные свои вопросы, обращается к ним за советами, как жить, как поступать в том или ином случае, что читать, во что одеваться и т. п. Это ж до какой степени надо было «эстрадизировать» саму нашу жизнь, чтобы учителями жизни стали поп-идолы!

И вот уже на одном из «Музыкальных рингов» один из популярных исполнителей как бы в ответ на все подобные вопросы спел песню с весьма характерным рефреном, рекомендующим ложь как универсальный способ отношения к миру, и этот «философский» итог, извлеченный эстрадой из нашей действительности, нимало не смущает публику:

Так уж устроен свет:
Ты привыкай, не бойся —
Бывает обман во вред,
Бывает и на пользу.

4

Наверное, многие еще помнят благотворительную телевизионную передачу двухлетней давности, посвященную героям Чернобыля. В киевской студии сидели рядком больные, усталые, скромные и отчасти даже растерянные люди, незадолго до того заглянувшие в бездну, по краю которой скользим мы все. Что касается растерянности на их лицах, то она происходила оттого, что люди попали в непривычную обстановку и еще, как мне кажется, оттого, что им задавали н е т е вопросы и вообще н е т е слова произносили в похвалу и сочувствие.

А в это же время в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» собрались лучшие силы нашей эстрады и вместе с ними один экстенсивный и амбивалентный писатель, который держался самым решительным и бодрым образом и настаивал громким голосом, чтобы гонорар за двузначное по счету издание его остросюжетной повести перевели в Чернобыль. Известная эстрадная певица в незаурядной манере исполняла самые популярные свои песни. Вообще всем московским участникам передачи очень хотелось взбодрить чернобыльцев. Я уверен, это желание москвичей было искренним. Но они были обречены на то, чтобы это искреннее желание выражать в формах столь привычного для них недостоверного искусства. Между тем исполненные заботы глаза, смотревшие из Киева, требовали от них, пожалуй, лишь одного — перемениться. Но перемениться-то как раз было невозможно. Это означало бы, что Дело жизни: все эти муки непризнания поначалу, вся дальнейшая борьба с чиновниками и зрителями за право их же и ублажать, поиски и отработка своих и только своих приемов для самовыражения и для безусловного подавления конкурентов, наконец, победа над всеми, которая потребовала еще большего, чем в дебюте, напряжения сил, — все это ровным счетом ничего не стоило. К тому же, я думаю, репертуар был определен заранее, а возможно, и фонограмма заготовлена.

Глядя на эту жуткую альтруистическую затею, я вспомнил одну короткометражку итальянского телевидения с Анной Маньяни в главной роли. Идет вторая мировая война. Звезду эстрады приглашают выступить перед ранеными. Она взволнована, готовится, советуется с компаньонкой, что спеть (ну, конечно, начать надо песней влюбленного солдата «O vita! O vita mia!»), во что одеться для выступления (придумали трехцветный костюм в подобие национальному флагу). Вот они приезжают в госпиталь. Ее узнают! Комплименты, просьбы порадовать своим прекрасным пением. Вот она уже готова к выходу: последний раз поправляет что-то на себе, контрольная улыбка, кокетливый кивок воображаемому зрителю. Вот сейчас пойдет занавес, и она увидит ждущую публику, услышит первые аплодисменты. Занавес!.. И она растеряна, смята, подавлена. Такой публики она не видела никогда. Слепые, безрукие, безногие, с пробитыми головами. Тампоны, шины, костыли, кресла-каталки. Вся эта груда изуродованного мяса и костей, наполовину за-

бинтованная, чуть шевелится и чего-то ждет от нее. Господи, помоги им, если это еще возможно! Помоги ей: она не знает, как их утешить. Все ее прежние ужимки теперь не годятся. Впервые в своей ненастоящей жизни она встретилась лицом к лицу с настоящим. Слезы застыли в ее глазах. Чужим, каким-то треснувшим голосом она проговаривает под музыку роковую строчку из выходной песни «О жизнь, о жизнь моя!..», оплакивая несчастных, а заодно и свою беспутную жизнь...

Я вовсе не хочу этим сказать, что наша эстрадная певица должна была расплакаться перед телекамерой. Но попытаться, хотя бы попытаться взглянуть на себя трезвым взглядом в свете приоткрывшейся правды можно было. Однако ж этого не произошло. Причем здесь эстрада выступила вполне на уровне общества, которое в массе своей не ведало истинных масштабов правды о Чернобыле, и людей, номинально управлявших его мнением, но морально не готовых поделиться с обществом этой правдой. Так или иначе, телевизионное шоу по поводу чернобыльской трагедии стало, для меня во всяком случае, впечатляющим внешним знаком кризиса, в котором оказалась эстрада как средство выражения общественного сознания.

Между тем кризис этот назревал давно *.

Когда эстрада только-только начинала свое победоносное шествие, возникло и оформилось своеобразное противодействие этому шествию. Я имею в виду авторскую песню (странное, впрочем, название, родившееся, как мне кажется, в голове чиновника «по культуре»). С самого начала эта разновидность (индивидуальная, неофициальная, интимная) песни мыслилась как альтернатива безличной, официозной, бравурной эстрадной песне. Насколько мне известно, инициаторы и поклонники движения сами подчеркивают, что оно выступило именно как реакция на эстрадную туфту.

Я бы выделил четыре основных направления автор-

---

* Характерной его приметой в 70-е годы стали, например, ежегодные концерты в День милиции, на которых сияли эстрадные звезды только первой величины. Ни один профессиональный и даже общенародный праздник не мог соперничать в этом отношении с 10 ноября. Единодушие, с которым откликались на культурные запросы сотрудников МВД лучшие силы нашей эстрады в период щелоковского правления, просто замечательно: ни учителя, ни геологи, ни шахтеры — никто не был обласкан таким вниманием.

ской песни, как они зародились на рубеже 50—60-х годов. Прежде всего это то, что сочинялось во время и для туристских походов, геологических, океанографических и археологических экспедиций, зимовок и т. п. Далее это песенная лирика на темы лагерной жизни, заявившая о себе по мере реабилитации и возвращения репрессированных. Потом это городская романтика и обыденщина (двор, работа, ресторан, пустынные ночные площади и улицы). Наконец, это рафинированная песенная продукция «антикварного» характера (поручики, гусары, генерал-аншефы и т. д.), впрочем, со злободневным подтекстом.

Любое разделение условно, и я не особенно настаиваю на своем. Мне просто хотелось обратить внимание на тематику этих песен. Определенная и довольно значительная часть городской интеллигенции, не пожелавшая приспосабливать свое сознание к тому социально-культурному стандарту, который утверждался официозной прессой и туфтовой эстрадой, с энтузиазмом устремилась в мир авторской песни, где можно было, махнув на все это рукой, уйти с друзьями по «тропе, омытой ливнем», в Звенигород, или унестись мысленно во времена кавалергардов, или выслушать, содрогнувшись душой, пьяную исповедь бывшего лагерного начальника, или, исполнясь неизъяснимой тоски и отчаяния от зрелища безобразий, творящихся вокруг, от сознания своего бессилия изменить хоть что-нибудь, от тяжелых мыслей об ускользающей жизни, сесть в «последний, случайный» троллейбус и кружить, кружить, кружить по ночному городу, прижимая к сердцу горсть своей обиды и заклиная себя оставаться честным и непреклонным, несмотря ни на что... (Ирония в моем пересказе относится не столько к тексту песен — я понимаю разницу между туристской «романтикой» и высокопробной грустью Окуджавы, — сколько к их аудитории.)

Нонконформизм — вот что было написано на знамени бардов и вот что привлекло к ним их публику. Усмешка и печаль определяли интонацию их песен. Не будучи зависимыми ни морально, ни материально от эстрадной индустрии, барды создали целый ряд убедительных и запоминающихся типажей кризисного времени. Они попытались говорить правду, не обращая внимания на внешние запреты. Они в отличие от эстрадников, только имитировавших душевный диалог с публикой, действительно пробивались к душе и уму слушателя, и выше награды,

чем его, слушателя, сочувствие, понимание, для них в ту пору не было и не должно было быть.

Однако ж эстрадный характер всей нашей общественной жизни коснулся и авторской песни. «Блажен муж, иже не иде в совет нечестивых...» В правоте этой библейской мудрости лишний раз убеждает эволюция наших бардов. Впрочем, убеждает от противного. Вместо сочувствия и понимания они со временем возжаждали успеха, то есть вещи конформной и совершенно нечестивой, и в конце концов благополучно прибыли на эстраду и телевидение (которое во многом является придатком эстрады).

Я не хочу сказать, что они предпринимали для этого какие-то специальные ухищрения. Я хочу сказать, что они в известном смысле подчинились порядку вещей, против которого сами же и восставали. Мне возразят: ну и что же плохого в этом — они же принесли с собой элемент искренности, вдумчивости, иронии, интеллигентности, которого так недоставало эстраде! Я отвечу, что, во-первых, самые искренние, самые вдумчивые, самые ироничные и интеллигентные авторские песни на эстраду все-таки не попали и был все-таки неизбежный отсев, а во-вторых, те из них, которые пришли в непосредственное соприкосновение с эстрадной песней, на этом, казалось бы, враждебном для себя фоне стали восприниматься как не очень-то и чуждое явление: положительные качества, присущие авторской песне, в новой среде оказались не то чтобы обесцененными, но — уцененными в соответствии с чисто эстрадной конъюнктурой.

Совсем недавно, отвечая на вопрос корреспондента: «Отчего же бардовская песня — прекрасный противовес серятине, — так ярко заявившая себя в начале 60-х годов, не овладела умами и сердцами молодежи, не восполнила утрату духовных начал, порождаемую официальной эстрадой?» — один из зачинателей движения, Ю. Ким, сказал: «Убежден, так оно и было бы — не будь последующих «откатов». О, если бы дело освобождения наших душ последовательно продолжалось!» («Литературная газета» от 11 мая 1988 года). Это очень ценное свидетельство. Правда, не совсем ясно: слово «откаты» что означает — кто-то откатывал или сами откатились? Точно так же — и «дело освобождения»: не дали продолжить или сами не продолжили?

Впрочем, повторяю, говоря об эволюции авторской пес-

ни, нельзя забывать и о ее полноправных соавторах, то есть слушателях. Ведь за тридцать лет ее истории и их сознание претерпело некоторые важные качественные метаморфозы. Если в самом начале поклонники авторской песни были более свободны в том смысле, что обладали потребностью и вкусом к самостоятельному отысканию и индивидуальной оценке идей, содержащихся в том или ином произведении, часто нелегко распознаваемых, то поколение 70—80-х во многом утратило эти свойства и ожидало от бардов уже не столько постановки социально-политических и нравственных проблем, для решения которых необходима была напряженная работа души, сколько готовых рекомендаций, даже лозунгов, снимавших необходимость в такой работе. Иными словами, даже интеллигентная публика (а ведь поклонники бардов — сплошь интеллигенты) готова была поступиться своею свободой, лишь бы кто-нибудь указал, как жить и что делать.

Корреспондент «Литературной газеты», которому отвечал Ю. Ким, обратился с вопросом к Е. Камбуровой, высказавшейся о «воинствующей бездуховности» поклонников рока, этих ловителей кейфа: «Простите, а когда ночью идет длинной колонной многотысячная масса участников слета КСП с факелами в руках и песней Булата Окуджавы «Поднявший меч на наш союз» на устах — как вы это назовете? Разве здесь нет той же эйфории единения?» И получил ответ: «Нет, здесь единство духовное, а не физиологическое».

И все-таки... Факельное шествие — и духовность? Если уж люди интеллигентные, с развитыми чувствами, с известным интеллектуальным и культурным потенциалом ударились в фанатизм, то плохи наши дела. Скажут: ну что вы опять придираетесь, ну собрались вместе честные, молодые, хорошие ребята, поклялись словами любимой песни составить союз против всего подлого, низкого и так далее и пронесли как один по городу свою клятву — ну что тут плохого? Вон, мол, и Лев Толстой в «Войне и мире» сожалел о том, что честные и добрые люди никак не могут объединиться в отличие от бесчестных и злых. Ведь все это в лучших же видах! Да, но тот же Лев Толстой говорил, что честность — это привычка, а не убеждение. Выносить слово «честность» на свое знамя не интеллигентно как-то. Объединяет по-настоящему все-таки делание добра, но не лозунги. А что касается лучших видов, то надо помнить, что и Чернобыльская АЭС была

задумана в лучших видах. Мы очень долго (даже когда все расстроилось вконец) шли стройными рядами с лозунгами. Настало время общего делания и раздумий наедине с собой.

Между тем после десятилетий отчаяния, угара и неуверенности в завтрашнем дне коллективная тяга к самозабвению продолжает управлять значительной частью публики. Думаю, со мной согласятся многие, если я скажу, что в удовлетворении этой тяги ни эстрада, ни авторская песня не могут конкурировать с анфантерриблем нашего «масскульта» — роком. Он добился успехов, о которых как эстрадники, так и барды и помыслить не могли. Ему завидуют, к нему присматриваются и приноравливаются театр, серьезная музыка, поэзия, цирк, спорт и, конечно же, эстрада.

Я не специалист по року. Буду говорить лишь о том, что просочилось на телевидение (иными словами, о той его разновидности, которая уже успела эстрадизироваться).

Отношение общественного мнения к року определяется противоборством двух тенденций — запретительной и приспособительной. Судя по всему, побеждает последняя. Для нее характерен «реалистический» взгляд на вещи. Ее представители, как правило, говорят своим оппонентам: «Будем реалистами: любые запреты лишь подстегнут интерес к року, и интерес этот обязательно станет нездоровым — запретный плод особенно сладок». А поскольку рок неизбежен, сторонники этой точки зрения предлагают приспособить его к задачам эпохи, влить в него серьезное общественно-политическое и нравственное содержание. При этом учитывается, что поклонники рока — это прежде всего подростки и молодежь. Взрослые, пытаясь выявить корни поголовного увлечения им советских тинэйджеров, пришли к «мужественному» и «реалистическому» выводу о том, что во всем виноваты отцы, которые лгали и подавляли личность, что в связи с этим дети должны были окунуться в рок и что надо в конце концов позволить им окунуться. Дети, в первые месяцы перестройки еще встревоженные за судьбу любимого ими рока, мгновенно успокоились, и наиболее ершистые из них на вопросы прессы и телевидения стали отвечать с вызовом: «Вы нам врали всю дорогу, вот мы и танцуем и поем, что нам нравится, и будем! А вашу туфту пусть ваши «совки» поют».

Слова «мужественный» и «реалистический» я взял в кавычки вот почему. Во-первых, лгали и подавляли

личность не все отцы, а во-вторых, даже если бы это именно так и было, нельзя оправдывать ложью старшего поколения право молодых на воспроизводство лжи в новых формах, на ином уровне и с программным безудержем. Короче говоря, если не правы отцы, то отсюда еще не следует, что дети правы. Им свою правоту еще предстоит доказывать всей своею жизнью. Правота может быть лишь позитивной. Она — преодоление лжи, а не противопоставление одной лжи другой.

Говоря так, я менее всего принимаю сторону запретителей рока. Нереалистичны и неэффективны обе точки зрения. Чтобы эффективно противостоять року как способу осмысления мира и существования, надо выявлять и указывать, кто конкретно из отцов и в чем именно лгал и подавлял, а не валить все в кучу, давая таким образом повод молодым думать, что свальный протест — это именно то, что следует противопоставить свальной отцовской лжи.

Давайте же действительно будем реалистами: ни положительного, ни прекрасного рок не несет с собою. У него есть своя эстетика. Но красота? Вряд ли. Положительное? Говорят, что он неуемно вольнолюбив, не знает и не хочет знать никаких канонов, раскрепощает личность. Но канон все-таки есть: и в исполнении, и в движениях, и в одежде — и попробуй ему не подчиниться. Что же касается раскрепощения, то это прямо-таки «масскульт» личности, который на поверку есть не что иное, как культ обезлички. Еще говорят, что рок в лучших своих образцах по-настоящему драматичен и гражданствен. Однажды я видел по телевизору, как на стотысячном стадионе мировые рок-звезды ненатуральными голосами и «двигательными медитациями» (термин исследователей рока) выражали свой фаллический протест против ядерной угрозы, и мне тогда вспомнились стихи, написанные Т. С. Элиотом более шестидесяти лет назад:

Вот как кончается свет
Вот как кончается свет
Вот как кончается свет
Только не взрывом, а взвизгом.
(Перевел Мих. Зенкевич)

Напомню: рок меня интересует здесь только лишь как самый последний и, казалось бы, самый опасный соперник эстрадной песни. Отдельные рок-звезды и целые рок-группы не упускают случая, чтобы подчеркнуть свою абсо-

лютную несовместимость с эстрадой. Но я так думаю: они все-таки найдут общий язык. Эстрада и рок если и противостоят друг другу, то как два ствола, питающихся из единого корня. Ф. И. Тютчев писал в одном из своих стихотворениий о том, что пошлость — бессмертна.

Впрочем, так ведь недолго заслужить упрек в риторике и идеализме. Однако ж если мы переняли поп-арт и рок у Запада как некую объективную данность, то отчего бы нам не перенять у Запада и опыт противодействия всему этому у Франции, Японии, отчасти у ФРГ. Японцы, например, на основе скрупулезных социологических исследований пришли к выводу, что увлечение всевозможными разновидностями поп-арта и рока снижает производительность труда, что у работника с низкой общей культурой низка ответственность за порученное дело, и хозяева некоторых фирм уже ввели как обязательное требование к сотрудникам (от конвейерного рабочего до директора) посещение занятий по истории мировой литературы, музыки, живописи (высокооплачиваемые искусствоведы, отличные репродукции, записи великих певцов и музыкантов и т. д.). Это уже не идеализм.

Быть может, и у нас введут такое. А пока для нашей массы нет доступной альтернативы поп-арту. Я вспоминаю еще один концерт на стотысячном стадионе — Пласидо Доминго на «Уэмбли». Я не думаю, что сейчас мы смогли бы собрать такую же аудиторию в Лужниках на концертах В. Атлантова или Е. Нестеренко. Нужны ли такие концерты оперных певцов — это уже другое дело. Но наша публика, по существу, лишена возможности выбирать *.

Лишь в последнее время наметилось известное просветительское оживление в прессе и на телевидении. Передача об оперном искусстве, которую ведет Зураб Соткилава, «Музыка в эфире» (ведущий Святослав Бэлза) завоевывают все большую телевизионную аудиторию. Даже такие, казалось бы, эклектичные передачи, как «До и после полуночи» и «Взгляд», непредставимые без эстрады и рока, по-своему работают против эстрады и рока: когда после кадров об одинокой старушке или детдомовцах идут клипы с бисерным и пластмассовым протестом звезд эст-

---

* Радио- и телеэфир, каждый атом окружающего нас пространства заполнены эстрадными ритмами и текстами, которые помимо воли входят в индивидуальное сознание. Все цитаты из популярных песен я приводил по памяти.

рады и рока против наших бед, фальшь «масскульта» обличается сама собою. Не случайны нервные звонки на студию: больше музыки и рока! (То есть: заслоните же от нас настоящую жизнь с ее проблемами!) Вот почему самое главное — это предложить молодежи настоящее дело, большое, честное, благодарное и осмысленное. Эта задача в равной мере касается молодежи и старшего поколения. Сумеют ли политики и экономисты отработать и утвердить четкую формулу стабильности нового жизненного уклада, вселяющую уверенность в будущем? Сумеют ли просветители (историки литературы, искусства, науки и собственно историки) сделать достоянием нового поколения вершинные достижения мировой культуры и воплощенные в них идеалы? Сумеют ли художники своими новыми произведениями облагородить души людей, создать достоверный образ их духовного раскрепощения (если оно воспоследует)? Вот вопросы, не ответив на которые мы будем обречены с умным видом выискивать позитивное там, где его нет, — в роке, в любых других всплесках «масскульта», имеющих быть в дальнейшем. Проблема святынь затрагивает не только наше прошлое, но и будущее. Как писал Ф. М. Достоевский, «без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь».

Я мечтаю о том времени, когда публика откажется видеть в «масскульте» своего идола, своего вожделенного мучителя и свое отношение к нему выразит чем-то вроде строк известной поэтессы:

Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжелая.
А ты не враг, ты просто враль,
и вся игра твоя — дешевая.

Я мечтаю о том, что потомки, учтя наш опыт, посмеются той серьезности и патетике, с которыми мы доказывали вещи аксиоматические.

Я мечтаю, что эстрада все-таки вернется в прежние границы — станет чисто развлекательным жанром (и это очень хорошо).

Сейчас же «субкультура» и культура пребывают в противоборстве, едва ли не смертельном для последней. Вот почему я мечтаю еще о том, что на первом же уроке по мировой художественной культуре (благо такой предмет

собираются ввести) учитель расскажет детям миф об Орфее — великом певце и поэте, чье искусство вобрало в себя всю красоту мира и было настолько всесильно, что при звуках его лиры деревья шли за ним, хищные звери смиряли свой нрав, безжалостные силы ада вспоминали о милосердии. Но оно оказалось бессильным перед беснующейся толпой вакханок, оглушенных звуками своих кимвалов и дурманом, насмерть забивших Орфея камнями, растоптавших и тело и лиру его.

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

В стремительно нарастающем ускорении наших будничных дней все больше сурового, тревожного и непредсказуемого; вчерашние лозунги с непререкаемыми призывами к исполнению преданы осмеянию; провозглашенный в 70-е годы «развитой социализм» остался, как миф, в прошлом, которое теперь именуем «застойным»; и несть числа трагедиям: за Чернобылем — межнациональная резня в Сумгаите; гибель — случай за случаем — пассажирских судов и небывалые по числу жертв, по нелепости породивших их причин железнодорожные катастрофы; апокалипсическое по ужасу и последствиям своим землетрясение в Армении, за секунды поглотившее десятки тысяч жизней; экологический (вернее — антиэкологический) разбой на некогда тихих, привольных просторах Земли — с хищническим уничтожением Аральского моря (целого моря!) и приаральских пастбищ — свидетельство тщеславной амбициозности и некомпетентности как отдельных «ученых», так и целых «научно-исследовательских коллективов»... А теряющая силы Волга, некогда чистые воды которой потемнели от вредоносных промышленных сбросов и гнилых поступлений из водохранилищ-«спутников»? А Байкал, который словно бы специально избран для того, чтобы дразнить возбужденное общественное мнение: приливные протестующие волны уже многие годы глухо разбиваются о дамбу ведомственной вседозволенности. А ядовитые облака смога, которые во многих местах, разбухшие от дьявольской начинки, уже не уплывают нику-

да — сплошь заслоняют первозданную высоту неба, и не где-нибудь, в могучей Сибири, младенцы рождаются с «запрограммированными» злокачественными опухолями, а на Западной Украине дети, подобно многомудрым старичкам, в дошкольном возрасте становятся лысыми... Поступило сообщение: то же самое в Эстонии! Да было ли когда-нибудь такое?

И прежних слов-понятий нам уже как бы не хватает, чтобы обозначить суть происходившего и происходящего. В обиход пущены «плюрализм» и «конфронтация», «оборонное мышление»; мы ныне нашли антоним «коллективизации» — «раскрестьянивание»; мы гласно объявили про позорную «дедовщину» в армии; пошло вовсю гулять словцо-поношение «мигрант» — так в националистическом раже коренные жители некоторых республик с презрением называют тех, с кем вчера еще сидели за одним столом, и никто никому не был должен, каждый ел свой хлеб... А от «мигранта», понятно, всего один шаг до возрождения стертого временем слова «инородец». А что за этим?

Что, наконец, стояло за бурной, подобной безоглядному разгрому кампанией по сносу «неперспективных» деревень? Этакую бы энергию — да на обустройство жизни в них. Так нет, нам с некоторых пор словно бы привычнее другое: не строить — ломать... Раззудись плечо, размахнись рука! А когда опомнимся, угнетенные собственноручно содеянным разором, начинаем терзать, стыдить себя: как можно было?! Ретиво доискиваемся: кто посоветовал, кто затеял? Однако те, кто советовал, проводил решения-рекомендации в жизнь — стирать с земного лика деревни, ставить в сейсмически опасной зоне атомные станции, применять роковые для жизни человека отравляющие вещества на хлопковых плантациях, затоплять огромные пространства водой, да при лукавых обещаниях, что затопленные веси и слезы-стенания согнанных с отчих мест людей не идут ни в какое сравнение с баснословной выгодой в будущем... все эти «советчики» и «радетели» чаще всего остаются безымянными, неведомыми народу, и спросить, по существу, не с кого.

Наше время, вчерашние наши дни? Они, они.

Из них, этих дней, уже в нынешнюю нашу действительность вошли «воинами-интернационалистами» сыновья и внуки тысяч и тысяч семей — мальчики, парни, пережившие тяжесть странной войны на чужой территории, опаленные огнем, изувеченные смертоносным железом. А многие навсегда остались там — в равнодушном безмолвии хладных гор, под чужеземным небом, не успевшие в силу оборванной молодости своей ничего толком понять, так и не осознавшие, кем они могли бы стать для Родины, если бы не выпала им столь несправедливая горькая доля. И уцелевший одноногий или однорукий двадцатилетний ветеран войны,

«приравненный» по льготам к участникам, инвалидам Великой Отечественной, бессонной ночью тяжко размышляет, зачем он был там, а утром правительственная газета бесстрастным слогом своего политического обозревателя даст ему жестокий ответ: «Согласно замыслу мы стреляли во «внешнюю контрреволюцию», а попадали в афганского крестьянина»; «...эффект присутствия советских войск, их участия в боевых действиях оказался явно негативным» *.

Вот так...

Тускнеет серебро заслуженной медали «За отвагу», кровоточит не только культя, растертая протезом, — само сердце кровоточит, и с кого, и за что может спросить он, этот парень на костылях? Он никому ничего не должен, он сам себе судья. Но есть общество, есть государство, и всем нам — в общественном осознании происшедших событий — долго придется нравственно платить за «согласно замыслу... эффект присутствия», а ребята, прошедшие через Афганистан, самым чиновно-глухим не дадут ничего забыть... Афганистан уже не просто за внешними границами, он — после вывода «ограниченного контингента» — теперь внутри наших границ, как обнаженная рана, встревоженная совесть, народное недоумение и народная драма.

Еще не написаны — в полноте откровений и художественного осмысления — «афганские» страницы, однако в рассказе Олега Хандуся «Он был мой самый лучший друг», взятом нами из журнала «Урал», угадывается серьезное направление в развитии этой темы, и более того — как бы в противовес всему тому пафосному письму, что приспособленно укоренилось в нынешних изданиях про афганские события, здесь жестко, остро видны авторские попытки обнажить зловещую сущность войны. Любой войны, а этой — в особенности...

И, как никогда до этого, человек в нашем Отечестве стал слушать самого себя. Освобождаясь от рабского чувства-опасения «как бы чего не вышло», «лучше промолчать», он ныне борется прежде всего с самим собой: переступая через угнетающую (в крови она!) робость, гражданское неумение свое, он заявляет о своих гражданских (опять-таки) правах. Дайте мне занять законное место в государстве, в государственной системе! Он борется, преодолевая прежнюю инертность, с теми, кто в бюрократическом упорстве все еще пытается там и сям поставить его в прежние рамки (от бесправного покупателя в магазине до ничтожного просителя в высоких кабинетах!). И зримо вдруг выявилось, что вчера-позавчера этим нашим чи-

---

* Афганистан: трудное десятилетие. — «Известия», 1988, 22 декабря (№ 358).

новникам-«аппаратчикам», крепко, подобно самоуверенным всадникам, оседлавшим народ, каждый из нас был виден в одном лишь удобном ракурсе: на что способен данный гражданин, трудящийся... как ловчее повернуть его лицом и всей сущностью к сиюминутным задачам, чего, короче, можно взять от него применительно к «текущим» установкам вышестоящих инстанций. Подход был чисто практический, утилитарный, рациональный, и понятие души вгонялось, втискивалось в определенную идеологическую схему — то есть это духовный мир, настроение, мировоззрение всего-навсего работника. Если же человек не вписывался в заранее предопределенные ему «параметры» поведения, выбивался из общего ряда — следовало грозное предупреждение: не моги! Мы все о тебе знаем, ты должен быть таким, а не иным, не выдумывай, чего быть не должно. Не моги!..

Не хотели знать, невыгодно было знать правду о человеке!

Подобный мотив — движения к правде, выявления болевых вопросов нашего бытия — присутствует, надеемся, и в других произведениях, составивших сборник. В них — в той или иной мере, отчетливо или косвенно — звучит пробужденный вопрос «перестроечного» времени: как жить? Так, как жили раньше, нельзя, но тяжек груз прошлого, драматичны народные, социальные потери, блекнут перед ними даже несомненные обретения, человек потрясен и растерян... как жить? На какую веру опираться, чем можно укрепить встревоженную душу? Разве что тем, что «...патриоту не только можно, но и должно знать в себе патриота. Это не милость. В каждом из нас, не утерявшем национальные корни, независимо от того, к какой бы нации мы ни принадлежали, это чувство столь же живо и зримо, как чувство к детям. Спрашивать ли нам у современных иллюминатов, зваться ли нам отцами своих детей, а если нет, то почему надо спрашивать, называться ли сыновьями своей земли?..» (Валентин Распутин. «Патриотизм — это не право, а обязанность.»)

Следовательно, пробужденный вопрос ведет к пробуждению гражданского сознания, и, подошедшие к некой зыбкой, если не опасной границе в нашем движении, предчувствуя, что если так идти дальше — окончательно зайдем в тупик, мы наконец-то (чего не было раньше!) находим в себе силы бескомпромиссно покончить со всяким политическим и прочим лицемерием, заставляем себя думать. В этом побудительное значение перестройки, ее главное качество: оно в надежде, долженствующей, если успеем, объединить и возродить на высокой духовности и ввести в большую созидательную работу все по-

лезные народные силы. Родина исстрадалась на крутых, ухабистых дорогах с тупиковыми обрывами, и в конечном счете только перестройка обещает ей долгожданное возвращение государственного достоинства и государственной уверенности в завтрашнем дне. Об этом, по сути, пишет в своем очерке «Закон и святость» Владимир Крупин, этому — при некоторой запальчивости в доказательствах — отдает свои страницы молодой писатель Георгий Гореловский («Предстоит возродиться...»). Эти же мысли — с углубленной потребностью оглянуться на нас, вчерашних, чтобы утвердиться в чем-то обязательном сегодня, завтра — присущи публицистическому исследованию Евгения Лебедева «Кое-что об ошибках сердца». («Расплатой стало постепенное распространение в нашей жизни безверия в таких его формах, как равнодушие и цинизм (равнодушие — это цинизм слабохарактерных)...»)

Тот, кто следит за выпусками ежегодника «Категория жизни», разумеется, сразу же заметит, что нынешний, 1989 года выпуск во многом отличается от предыдущих. Новый девиз книги на титуле — «Мы и наше время» — побудил обратиться к публицистике, как наиболее выразительному — в смысле злободневности, возможных ответов на волнующие всех вопросы, в смысле побуждения к соразмышлениям — жанру литературы. Мы на этот раз нарушили привычный принцип: брать для книги лучшие, или просто актуальные, произведения только из периодических изданий. Журналы, за малым исключением, почти не публикуют беллетристические страницы о современной жизни: все, будто наперегонки, ударились печатать вещи «забытых» прозаиков или же непременно с определенным уклоном — про «репрессивные» годы. Так что, дабы ощущалось в книге время, мы вынуждены были обратиться и к рукописям, то есть знакомим читателей с еще нигде не публиковавшимися авторскими работами.

Поэтому, наряду с рассказами, позаимствованными из периодики (Белов В. «Деревенское утро»; Жуков А. «Поцелуй младшей сестры»; Залыгин С. «Кто тут?»; Шавкута А. «Монтажник Никулин», «Сегодня рыбалка» и повестью Владимира Пшеничникова «Лопуховские мужские игры» *), в сборнике впервые появляются не просто неизвестные доселе произведения, но и представляющие новые авторские имена, еще не успевшие закрепиться в читательской памяти, — к примеру, москвичка Ирина Полянская («Площадь», «Твой Чижик») и Александр Титов из Липецкой области («Пучков»). Среди новинок — расска-

* «Наш современник», «Литературная Россия», «Литературная газета», «Сельская молодежь», «Новый мир».

зы профессионально зарекомендовавших себя (одаренностью и своеобычностью письма) новгородца Николая Шипилова, Александра Бела́я из Подмосковья, белоруса Алеся Кожедуба, Бориса Агеева с Камчатки, украинки Аллы Тютюнник, писательницы из Кирова Надежды Перминовой, магаданца Виктора Кузнецова, их более старших — по литературной известности — товарищей: воронежца Ивана Евсеенко, Владимира Карпова из Электростали, Геннадия Ненашева с Чукотки. Убеждены, что все эти произведения — при понятной разности в содержании, при неодинаковости достигнутой в них художественности, даже при некоторых заметных если не явно слабостях, то, во всяком случае, элементах эскизности и схематичности у иных авторов, — все-таки находятся в русле основного требования книги: в них пульсирует встревоженность времени, в них заинтересованное стремление прозаиков заглянуть в прошлое — с тем, чтобы лучше осмыслить все теперешнее, в них, добавим, прорисовываются образы, характеры современников. А тем самым мы следуем своей обычной — в выпусках «Категории жизни» — традиции: создавать год за годом своеобразную художественную «летопись» наших неоднозначных дней.

И вот еще что...

Движение... дорога... долгий, многотрудный очистительный путь... Это все она, п е р е с т р о й к а. Мы в понятных опасениях, в тревоге: н е с б и т ь с я б ы... Осилить, преодолеть, победить! Но согревает сердце реальность: партия решительно прорывается к самой привлекательной и жизненно необходимой для нашего общества диктатуре — д и к т а т у р е п р а в д ы. В ней — гарантия перестройки. Она взывает к действию. Такую диктатуру мы принимаем. К ней — в лучших своих произведениях — стремились и стремятся писатели.

ЭРНСТ САФОНОВ

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ

ОЧЕРКИ

Категория жизни : Рассказы, повести, очерки /
К 29 Сост. и послесл. Э. Сафонова. — М. : Мол. гвардия, 1989. — 459[5] с.

ISBN 5-235-00432-9

Очередной выпуск ежегодника «Категория жизни» составили произведения, опубликованные в периодике в 1988 году и написанные авторами специально для этого выпуска. Основной лейтмотив произведений — «Мы и наше время». В рассказах, повестях, очерках писатели пытаются ответить на вопросы, которыми живет сейчас наше общество.

С $\frac{4702010201-252}{078(02)-89}$ 094—89 **ББК 84(2)7—4**

ИБ № 6131

КАТЕГОРИЯ ЖИЗНИ

Заведующий редакцией **В. Перегудов**
Редактор **А. Гремицкая**
Художник **Г. Джабарова**
Рисунок на обложку **Е. Флёровой**
Художественный редактор **А. Романова**
Технический редактор **В. Пилкова**
Корректоры **И. Ларина, Н. Самойлова**

Сдано в набор 22.02.89. Подписано в печать 11.07.89. А00890. Формат 84 × 108 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр-отт. 24,78. Учетно-изд. л. 25,1. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 60 к. Заказ. 916.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00432-9

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» В 1989 ГОДУ ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Астафьев В. П. Последний поклон. Повесть. — Издание дополненное и исправленное.

На протяжении четверти века творческой жизни В. П. Астафьев обращался к теме своего детства. Так родилась эта лирическая повесть в рассказах, не раз переиздававшаяся и заслужившая признание читателей. В последние годы писатель вновь вернулся к своей любимой, «заветной» книге, значительно расширил некоторые прежние и написал новые рассказы: «Стряпухина радость», «Легенда о стеклянной кринке», «Пеструха», «Предчувствие ледохода», «Заберега», «Кончина». Повесть, явившаяся своеобразной поэтической летописью жизни сибирской деревни с 20-х годов и до наших дней, в этом новом своем виде издана в 2 томах.

Головина Н. И. На следующий день. Повести и рассказы.

Произведения московской писательницы Н. Головиной затрагивают болевые точки сегодняшней жизни: к чему ведет компромисс в сфере нравственной и как отражается в жизни личной, семейной, духовной, общественной; какой ценой платит общество за попытку одного индивида «возделывать свой огород» на ниве служебной карьеры, за безответственное отношение к порученному делу.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» В 1989 ГОДУ ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Евсеенко И. И. Однодворец Калашников. Повести.

Новую книгу воронежского писателя И. Евсеенко составили остросатирические повести, написанные им в последние годы. «Шапка Мономаха» известна читателям по публикации в книге «Крик коростеля», вышедшей в «Молодой гвардии» в 1982 году, повесть «За семью холмами», выпущенная в Центрально-Черноземном книжном издательстве в городе Воронеже в 1986 году, в данном издании предстает в своем полном виде. В них, как и в новых произведениях — «Над вечным покоем» и «Однодворец Калашников», — писатель размышляет о тех негативных тенденциях, что сложились в нашем обществе в 70—80-х годах, показывает то, против чего решительно выступает перестройка.

Калинин А. В. Запретная зона. Роман.

Новый роман известного писателя (живет в Ростовской области) рассказывает об одной из первых крупных послевоенных строек конца 40-х — начала 50-х годов, где рядом с вольнонаемными работали под охраной и заключенные. Автор исследует судьбы людей — и несправедливо осужденных, и коренных донских казаков, вынужденных под угрозой затопления переселяться с отчих земель в другие места.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» В 1989 ГОДУ ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Маканин В. С. Утрата. Повести и рассказы.

В книгу известного прозаика (живет в Москве) входят остро-актуальные произведения о жизни наших современников: повести «Отставший», «Валечка Чикина», «На первом дыхании» и «Утрата», а также некоторые рассказы. В центре авторского исследования непростые, порой мучительные поиски ответов на те вопросы, которые рано или поздно задает себе каждый человек: как жить, каким быть в этой жизни? В героях произведений В. Маканина поколение восьмидесятых годов видит себя во всей полноте, со всем добрым и сложным, что есть у поколения, со всем тем, от чего надо отказываться.

Потанин В. Ф. Когда ветер в лицо. Повесть.

Виктор Потанин живет в Кургане — городе, основанном во времена походов Ермака в Сибирь. Он сын сельской учительницы. И по сей день его дом разделен на два — городской и сельский. Сельский ближе писательской душе. Оттого и герои новой повести В. Потанина — учителя, агрономы, механизаторы — люди, прямо или косвенно причастные к главному продукту жизни — хлебу. Они живут сегодня, их судьбы — это судьбы всей России, всей страны.

ро-
ве-
и
ис-
те
ек:
ний
сей
со

во
ни-
ль-
вой
ию-
из-
сей

1 р. 60 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



89

Категория жизни